



ЛИТЕРАТУРНАЯ
ОФИС-ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОПИРОВАНИЕ И РЕПРОДУКЦИЯ
ГАЗЕТА
ГРУППА ТЕАТРА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОТДЕЛ ПЕЧАТНИКОВ СОЮЗМ
СОЮЗСКИЕ ПЕЧАТНИКИ СССР

До конца разоблечь антипатриотическую
группу театральных критиков

Борцовский

КИ

Примером такого отношения может служить «деятельность» последнего до последнего времени, осуществлявшаяся театром в области театрального искусства. Именно такая сложная литературно-художественная работа в области искусства, как работа А. Гурья, И. Аманжолова, А. Бурнаго, Г. Бондаренко, Л. Малого, Я. Варшавского, Е. Хо-

Александр Борщоговский!

Александр Борщевский
записки
баловня
судьбы

Эти главные женские истеты, ох-
валявшие во многом художественных
организаций, в частности в органах Ко-
митета по делам искусств при Сою-
зе Министров СССР — газете «Со-
ветское искусство» и журнале «Те-
атр, зрелище, искусство, зоро-
вня, аттестацию советского искусства»
тлетворным духом буржуазной идео-

[illegible]

Последыши буржуазного эстетства

Table of Contents

[Annotation](#)

[Александр Борщаговский Записки баловня судьбы](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)

[33](#)

[34](#)

[35](#)

[36](#)

[37](#)

[38](#)

[39](#)

[40](#)

[41](#)

[42](#)

[43](#)

[44](#)

[45](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)

[33](#)

[34](#)

[35](#)

[36](#)

[37](#)

[38](#)

[39](#)

[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)

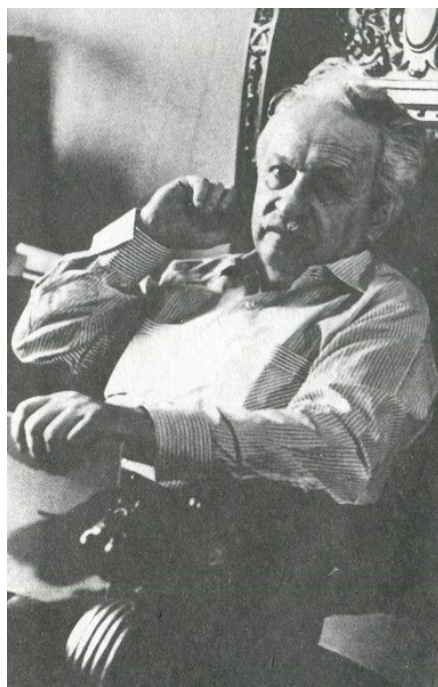
Annotation

Главная тема книги — попытка на основе документов реконструировать трагический период нашей истории, который в конце сороковых годов именовался «борьбой с буржуазным космополитизмом».

Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией...

Александр Борщаговский Записки баловня судьбы





1

Шли годы, а я все откладывал работу.

Что мешало мне приняться за рукопись; требующую душевных сил, которых, быть может, и не найдется во мне? Страх перед немерностью дела? Неловкость, что в рассказе о событиях, относящихся к истории, я вынужден буду часто говорить о себе, своей жизни, ошибках?

Быть может, неосознанно мешал страх оказаться неблагодарным, запоздало кидающим камни во времена, хотя и тяжкие, позорные, но подарившие мне счастье любви, новую профессию и друзей?

В последние годы, готовясь к этой работе, я испытал себя в мемуарных набросках; личное местоимение «я» до недавних пор никак не давалось мне, я не сумел написать ни одного рассказа от автора, от первого лица. Мемуарный очерк — о Симонове ли, о С. С. Смирнове или Анатолии Аграновском — если и обретал у меня дыхание, то только тогда, когда появлялась возможность писать о себе с оттенком иронии или запоздалого раскаяния.

28 января 1974 года позвонил давно не подававший голоса Григорий Нерсесович Бояджиев. Меня не оказалось дома, и он напомнил моей жене — Вале, Валентине, Ляле, Валентине Филипповне, — что звонит нам в юбилейный день: ровно 25 лет тому назад в «Правде» была опубликована редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» и из всех героев этой статьи в живых остались только трое — Бояджиев, Борщаговский и Варшавский. Не забыл ли я о «юбилее»?

Забыл! Признаюсь в этом с повинной, — много работал, ждал добрых перемен вокруг, мог и приукрасить жизнь в собственном воображении, а обиды забывал.

Слишком скоро, в том же 1974 году, колокол ударил близко: скончался Бояджиев, во время какой-то, кажется, несложной операции. Другие «однодельцы» ушли раньше, и, хотя истории их болезней описаны в терминах медицины, я знаю, что убил их и год 1949-й.

Семерых назвала 28 января 1949 года статья «Правды», редакционная статья, у которой, однако, были два автора — Давид Заславский и Александр Фадеев. (Вот эти семеро: Александр Борщаговский, Григорий Бояджиев, Абрам Гурвич, Леонид Малюгин, Ефим Холодов, Яков Варшавский и Иосиф Юзовский.) Их авторство несомненно: в тот день, когда состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), решившее нашу судьбу, Александру Фадееву и «Правде» было высочайше поручено выступить с принципиальной, установочной статьей. В ночном со мной разговоре К. Симонов связывал с авторством А. Фадеева надежду на сдержанность статьи — и, как показал номер газеты от 28 января 1949 года, ошибся. В соавторстве А. Фадеева легко убедиться, сравнив текст статьи в «Правде» с опубликованной немного раньше речью Фадеева на декабрьском 1948 года пленуме СП СССР.

«Правда» не стала трудиться, открывать читателю псевдонимы, это сделала спустя несколько дней газета «Культура и жизнь», впервые в практике нашей печати объявив, что театральный критик Ефим Холодов не Холодов, а Меерович. Со всеми другими «антипатриотами» дело обстояло благополучно: ни Абрам Соломонович Гурвич не нарек себя Аверьяном Семеновичем, ни Альтман — Ивановым.

Странно, непостижимо, почему в большой статье «Правды» не был назван Альтман, хотя Фадеев и метал в его адрес критические молнии. Но в вышедшей в ночь после «Правды» и, следовательно, заготовленной заранее статье «Литературной газеты» Иоганн Альтман занял «подобающее» ему место. Прибавились и другие фамилии — Ф. Левина и критика Б. Дайреджиева, давно и жестоко преследуемого В. Ермиловым. Быть может, Фадеев посчитал достаточной собственную критику в адрес Альтмана на пленуме СП СССР и решил пощадить своего близкого друга, коммуниста-единомышленника. Даже А. Фадеев, быть может, не вполне понимал, что у событий есть своя жестокая логика, завтра кто-нибудь выкрикнет и это имя, и пойдет гулять эхо, и, нахмутив чело, сам Фадеев отдаст друга на растерзание и в приступе партийного покаяния станет преследовать его особенно жестоко.

Раньше других умер Альтман — сердце, потрясенное безвыходностью, предательством друга, безнаказанностью клеветы, измученное судорожными попытками сохранить веру, как-то отделить мразь и черносотенство от святого для него, единственно сущего и дорогого дела революции, — сердце его разорвалось. Он погиб, не дожив до зыбкого рассвета. Он, единственный из семерых, был

арестован спустя три года, почему бы не репрессировать и остальных, в бериевские-то времена публично обвиненных в антипатриотизме и идеологическом вредительстве?! И правда — почему?

Некто всезнающий сказал мне, когда громы поутихли:

— О вас слишком громко кричали на всю страну, чтобы брать...

Брали всяко. Но, может быть, зерно истины есть и в этой позиции: спустя годы я встречал давних знакомцев, пострадавших, проходивших свой крестный следственный и лагерный путь по несуществовавшему «делу Юзовского» или «делу Борщаговского», — задушить в подворотне действительно проще, чем на людной площади...

Приведу здесь, чтобы не затерялось в памяти, эпизод, случившийся с Всеволодом Вишневским в 1949 году. Союз писателей тогда живо откликался на просьбы ведомств и регионов просветить их в проблемах «космополитизма». Яростный трибун Вс. Вишневский выбрал для себя высокую кафедру — клуб НКВД на Лубянке, встречу с высшим начальствующим составом. Самовозжигающийся оратор, он скоро завопил истошно, что *нет никаких сомнений в том, что к каждому из нас, провинившихся театральных критиков, тянутся нити иностранных разведок, мы, мол, служим им давно, а теперь пришел час расплаты*. Он не понял, отчего в зале поднялся ропот и хлопнуло несколько стульев, принял гул за одобрение, и понесло его, как у Гоголя не несло и Хлестакова, и все по части наших давно налаженных агентурных связей с разведчиками империализма. Параноическим своим бредом он бросал обвинения слушателям: ведь это они, если поверить ему, проморгали «шпионские гнезда», хорошо известные секретарям СП СССР!

Я чувствовал себя виноватым перед Иоганном Альтманом еще до того, как он подвергся аресту. Мне было трудно, иначе и быть не могло; и я был выброшен из партии, выброшен раньше других, по армейской команде, но я был молод, беспечен, любим, друзья оставались верны, впереди лежала целая жизнь, мне открылась возможность испытать себя в том, о чем я мечтал и к чему суeta жизни меня не допускала. Я исповедовал убеждение, что до пятидесяти лет человек, если он чего-либо стоит, обязан и раз, и два, и три подниматься на ноги, как бы больно ни сшибали его.

Жизнь для меня не затмилась: мир смотрелся так, как и до катастрофы. Нужно говорить правду, даже горькую, не украшающую тебя, а она в том, что я не испытал внутреннего потрясения. Что-то во мне складывалось таким образом с начала тридцатых годов, а в 37-м и в войну особенно, что удерживало меня и от отчаяния, и от расслабляющих рефлексий. Просто для меня начался другой день, при

других житейских обстоятельствах, и нужно было работать, бороться, не обмануть любви и веры в меня Вали, кормить детей и мать. Это, верно, отцовское во мне, а еще более дедовское, совсем простое, портняжеское, не затронутое ни книгой, ни образованностью.

Я даже не потрясен, а обожженный Иоганн Альтман погибал, корчился, как на костре инквизиции, пламя бушевало и в нем, разрушало его сильный организм. Он не был талантливым критиком, но превосходил всех нас страстью, безоглядной, почти рабской любовью к театру, преданностью искусству, а более всего рыцарской верностью революции. Партийный работник, редактор армейской газеты, потерявший на войне сына, недавний ответственный редактор журнала «Театр», автор множества статей и, увы, ученической книги о Лессинге — он подошел к последней черте, жизнь поистине навсегда затмилась для него. И мне было неловко оставаться рядом с ним, — мне, не ошеломленному, словно бы безразличному ко всему происходящему, — точнее, ощущать себя так, будто все случилось не со мной.

Был и другой, горький личный мотив: за 9 лет до этих событий Альтман напечатал в «Театре» мою рецензию на спектакль и пьесу А. Корнейчука «В степях Украины», — она была только частью большой статьи «Киевские премьеры», присланной мною из Киева, — я тогда редактировал в Киеве украинский журнал «Театр». Критика комедии А. Корнейчука (подглавка статьи называлась «Вопреки здравому смыслу»), в которой угодливые рецензенты находили современное воплощение и слияние лучших комедийных традиций от Шекспира и Мольера до Островского и Тобилевича, резкая критика любимого детища Н. С. Хрущева, вызвала двухподвальную статью в «Правде», подписанную секретарем ЦК Компартии Украины т. Лысенко, но ранее того — мгновенное снятие Иоганна Львовича Альтмана с должности редактора «Театра».

Комедия А. Корнейчука была поставлена и в Малом театре, не украсив столичного репертуара и не оставив следа на русской сцене. Ее отметили Сталинской премией, в Киев на спектакли Театра им. Ив. Франко, по приказу Никиты Хрущева, свозили отовсюду колхозных зрителей на десятках автобусов, и долгие годы я не мог понять природы этой начальственной эйфории, причины жестоких партийных репрессий, обрушившихся не только на редактора «Театра», но и на тех, кто курировал журнал.

Тайна открылась недавно. Д. Волкогонов, получивший доступ к архиву Сталина, опубликовал в своем исследовании «Триумф и трагедия», среди прочего, короткое письмо Сталина Корнейчуку, написанное по прочтении комедии «В степях Украины».

«Многоуважаемый Александр Евдокимович! Читал Вашу „В степях Украины“.

Получилась замечательная штука, — художественно цельная, веселая, развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая: есть

опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания.

Между прочим: я добавил несколько слов на 68 стр. Это для большей ясности.

Привет!

И. Сталин»^[1].

Доброе, почти родительское отношение Сталина к этой комедии только на первый взгляд покажется нелепостью: неужели первому читателю страны не претило сопряжение политики с грубым фарсом, не бросились в глаза примитивность, балаганная крикливость пьесы?

Не претило — радовало! Пьеса была обречена на успех у Сталина, — тогда я этого не понимал. Она как бы венчала страшное десятилетие в судьбах деревни — тридцатые годы, предлагала победный фанфарный итог, пусть в фарсовых, балаганных одеждах, но тем более внятный крикливый итог. Позади ломка жизненного уклада деревни; форсированная и в большинстве случаев насильственная коллективизация; уничтожение миллионов в годы раскулачивания и истребительного голода. Но стоит ли вспоминать о *вчерашних бедах*, о «неизбежных издержках», если достигнута *великая цель*, одержана победа и социализм построен! Оказывается, он не только построен: ретивый автор уже поругивает незадачливого Галушку, простака, потребителя, готового почить на лаврах «социализма», но прославляет рвущегося вперед к коммунизму неутомимого Чеснока. Их соперничество и диалоги через всю пьесу обнажали с резкостью цирковых реприз «подтекст» пьесы: на красивой земле (впрямь красивой!), среди мальвов и подсолнухов уже давно построен социализм, едва ли не с начала 30-х годов, ибо «рыцарь» его Галушка успел уже мохом обрасти, — и вот мы, без задержки, осмеяв ленивых, устремились к высотам коммунизма...^[2]

Сегодня я понимаю, что пропагандистская схема в этой комедии так же обнажена и открыта, как и в другой, серьезной, «заказной» пьесе А. Корнейчука времен Великой Отечественной войны — «Фронт».

«В степях Украины» была обречена на успех у Сталина. Вот отчего так неотвратима оказалась расправа с редактором, — он не только разошелся со Сталиным в оценке пьесы А. Корнейчука, но и позволил неизвестному критику произнести в ее адрес хулу.

Иоганн Альтман ни разу не упрекнул меня ни словом, ни взглядом за невольную мою вину, тем острее чувствовал ее я сам, зная, чем был для Альтмана журнал, буквально наполнявший его жизнь.

Выпущенный из тюрьмы, навсегда сломленный, Иоганн Альтман умер ночью, успев хриплым выкриком: «Убили!» — опередить разрыв аорты. Когда застрелился Александр Фадеев, в сообщении о его самоубийстве говорилось о тяжком недуге — алкоголизме. Это правда, но только малая ее часть, краешек правды, следствие, а не причина. Причина в нагнетавшемся и пригибавшем его чувстве вины перед

многими его погибшими товарищами. И, может быть, последним, не имеющим оправдания грехом Фадеева было то, как спокойно и равнодушно отдал он черной клевете и тюрьме своего друга Альтмана, отдал не посреди безумия и апокалипсиса 1937 года, а двенадцать лет спустя, зная, что благородство не позволит Иоганну, даже и в оправдание себя, назвать имя Фадеева. Это он знал безошибочно.

Умер старейший из нас — Гурвич. Мудрый, несуетный человек, принявший злобное наказание 1949 года еще спокойнее, чем я. Он искал вину в себе, просил и меня думать о своих ошибках и работать, работать, двигаться мыслью и сердцем к истине. Сказано было кем-то, кажется, Гейне: «Это было тогда, когда не все еще думали, что живая собака лучше мертвого льва!» Гурвич и был живым львом — красавец, превосходный оратор, критик, снискавший уважение талантливейших писателей, от Шолохова и Фадеева до Олеси и Паустовского; чтимый и теми, о ком писал сурово, строго, порой несправедливо; партнер Маяковского по схваткам на бильярде; известный шахматный композитор, — он умирал, как в клетке, в своей квартирке на Красной Пресне. Судьба отнимала у него все: деятельность, возможность печататься, из-за длившихся и после 1949 года преследований его В. Ермиловым и Л. Ильичевым, Лялю Левыкину, жену, актрису театра Ю. Завадского, прелестную, верную подругу жизни, а после — это уже было не трудно — и саму жизнь.

Малюгин и Юзовский умерли от рака; если долгое, изощренное истязание нервов может служить причиной или ускорителем рака, то не трудно понять, как пришла к этим веселым, жизнелюбивым и талантливым людям смертная беда.

Утонул в Москве-реке такой мирный, домашний Фима Холодов.

Я остался один из всей упряжки семериком, снаряженной в истязующую дорогу на конюшнях «Правды», при участии опытного казуиста, некогда сражавшегося против Ленина, а с годами сталинского правления сделавшегося одним из апостолов и «святых» большевистской печати, — Давида Заславского.

Я выжил, и живые глаза товарищей смотрели теперь из прошлого на меня: нетерпеливые, полные сарказма глаза Юзовского, красивые, женственные глаза Бояджиева, насмешливые, задиристые — Малюгина, измученные, гневные, вопрошающие — Альтмана и мудрые, библейские глаза Гурвича.

...В иных статьях и книгах я прочитывал абзацы о преследовании «космополитов» и диву давался: до чего же расплывчаты и неверны представления об этой поре! Даже для Ильи Эренбурга борьба против «космополитов» словно бы вся сошлась на Гр. Бровмане — случайной, попутной жертве разыгравшихся страстей. Уже четверть века тому назад мало кто знал, что же все-таки приключилось на исходе 1948 года и в январе 1949 года, — спустя сорок лет все уходит в туманы неясного прошлого.

Я — пришлый, «приблудный», только что вброшенный в «московское море» человек, не привязанный корнями ни к чему московскому — ни к школе, ни к студенческой поре, ни к литературному кругу. Это помогало мне наблюдать, будто со стороны смотреть без особых пристрастий и ограниченности. Со мной ни на один трудный день не порывал Константин Симонов, дорогой мне человек, — он знал о происходящих событиях если не все, то многое, а с ним кое-что знал и я, знал и такое, чего ни вообразить, ни выдумать. Простое не придумывается, сочиняются небылицы, но страшно и поразительно именно простое.

1949 год складывался из множества событий, заблуждений, проступков и преступлений, из лжи и анекдотов, — его герои не только злодеи или святые, но и глупцы, шуты, шулеры, трусы, более всего трусы. Но мне не хотелось бы увязнуть в этом болоте; у событий были и серьезные причины, и трагические последствия. Поэтому начну свой рассказ не с уголовной авантюры Сурова или карьеры Софронова, а с письма, написанного 17 марта 1956 года известным драматургом, автором «Инги», «Загмука» и других пьес, русским интеллигентом Анатолием Глебовым, — письма, адресованного моему другу театроведу Александру Петровичу Мацкину.

В 1949 году Глебов напечатал в газете «Советское искусство» статью «Двурушник Борщаговский», приняв таким образом участие в кампании, которую бойкотировало подавляющее большинство русской интеллигенции. И многие отвернулись от человека, так запятнавшего себя, — среди брезгливо отвернувшихся были и те, чьим отношением Анатолий Глебов издавна дорожил. Он пытался объясниться с Александрой Бруштейн, но успеха не имел. Александра Яковлевна Бруштейн для многих людей литературы и театра была нравственным арбитром. И Глебова она осудила не высокомерным судом, не взглядом, витающим над грешной землей, а по глубочайшему убеждению.

Много лет спустя С. Дрейден прислал мне страничку из ее письма от 6 июня 1955 года, как раз той поры, когда Глебов заметался, запоздало пытаюсь найти понимание у тех, кто упорно, год за годом, не замечал его. «Очень я люблю Борщаговского! — писала „бабушка“ в той особой, озорной манере, которая присуща была ей. — Чем-то он мне напоминает тебя, за то, верно, и люблю его. Только в вас двоих есть такая светлая сила добра (добро — для меня — реальность), такое сочетание доброты, любви к людям с силой души. В общем, как в былинах пишется: „А и крепок татарин, — не изломится! А и жиловат, собака, — не изорвется!“ Оба вы во всем устояли, не сломились, сохранили себя. Он справедливее тебя, вдумчивее, медленно идет по жизни, — тебе в этом мешает какая-то немного истерическая, нервозная торопливость, — но ты все-таки во всем — еще лучше, чем он!»

Могла ли Александра Бруштейн простить давнему знакомцу Глебову участие в кампании, грязная подкладка которой была ясна и ребенку!

Письмо А. Глебова к А. П. Маркину представляется мне куда более важным, чем любые закулисные интриги, грубые, примитивные проявления нетерпимости или злобы, чем его же стандартная статья «Двuruшник Борщаговский». Вот оно:

«Дорогой Александр Петрович! Вы понимаете, что мне не мог быть приятен наш последний разговор о Борщаговском. Я к Вам отношусь с уважением и симпатией, и совсем неприятно знать, что Вы считаете меня „наемным убийцей“.

На досуге я достал оттиск статьи и ее сохранившийся черновик с редакционными выбросками и перечел их. Повторяю: никаких оснований брать свое выступление обратно и извиняться перед Борщаговским *не вижу*. Мог бы ему только документально доказать, что редакция (Вдовиченко) меня мошеннически обманула и, после согласования статьи, уже ночью, в типографии самочинно вставила в мой текст несколько фраз, мною не написанных. К их числу принадлежит фраза о Горьком и Арт. Миллере, которой у меня в черновике *и помину нет*, как **нет**^[3] ряда вульгарных грубостей. Я заявил письменный протест редакции по этому поводу, копию отослав в ЦК партии. Но... это никому не известно, и Борщаговский, разумеется, вправе считать статью полностью моей (что не так на самом деле). Таковы были газетные „ндравы“. Да и сейчас разве они переменились? Эта зараза (писать за автора) широко распространена донине...

Не думаю же я отказываться от статьи о Борщаговском в целом — потому что считаю себя правым в принципиальном споре, а его — нет. Суть спора: в моей статье о теоретических ошибках Борщаговского, напечатанной в кн. 5 „Театра“ за 1948 г. (к сожалению, тоже безбожно обкорнанной редакторами!). Газетная статья для меня была лишь *продолжением* этой полемики, начатой много раньше „космополитской“ кампании. Если у Вас есть „Театр“ за 48 г. — прочтите: тем более стоит, что вопрос и поныне запутан и будет дискутироваться.

Вы скажете, что я не должен был возобновлять полемику с Борщаговским в обстановке травли „космополитов“. Не согласен и с этим. Удар по космополитическим настроениям был сделан *правильно*, ибо они действительно распространились тогда, и не только в литературе, искусстве, а гораздо шире. В это самое время, например, мне пришлось вести жестокую борьбу за приоритет изобретения моего отца (Г. Е. Котельникова, основоположника современного парашютизма), отстаивая это русское и советское изобретение от людей, которые писали: „все советские парашюты *скопированы* (!) с американских“ (в то время, как было в действительности как раз наоборот). Борьба с влиянием французского модерна в музыке и

живописи также была в поле моего зрения. Я, внук художника-передвижника, сын родителей, страстно приверженных к традициям русского реализма (моя мать художница, ее работы есть в Третьяковке, а отец был чудесным актером школы Малого театра), — всегда видел смысл своей деятельности в борьбе за наши, русские реалистические традиции, за Глинку и Чайковского, „могучую кучку“ и „передвижников“ (не говорю уже о литературе и театре) — против Малевичей и Бурлюков, Прокофьевых и Шостаковичей, растлителей русской музыки. Быть может, Вы со мной не согласны, но зато согласны со мной несколько сот человек, *убежавших* из Большого зала консерватории с 5-й „симфонии“ Шостаковича в первой же паузе, после первой части (это было совсем недавно, на концерте 2-го абонементa). Об этом у нас не пишут, молчат! Не принимают всерьез меткого и верного замечания Ильфа и Петрова (в „Одноэтажной Америке“) о том, что популярность Шостаковича в США тесно связана с тем, что „американцы самый немзыкальный народ в мире“. А наш народ не обманешь. Вы со мной не согласны? Что ж, повоюем, и история рассудит, кто окажется прав (убежден, — что буду правым я).

К чему я завел речь обо всем этом? К тому, что Борщаговский выступал за Курбаса^[4] и *против* Корнейчука, как откровенный эстет (буржуазный) и формалист (тоже буржуазный), бил по тому, что мне дороже всего: по реализму, растущему из народной почвы, по национальному *русскому* искусству, в частности воплощенному для меня в творчестве Левитана и Рубинштейна (говорю это, чтобы Вы — не дай боже! — не сопричислили меня еще и к антисемитам). Нынешний Борщаговский (если у него есть совесть и вкус) в глубине души, несомненно, *согласен* со многим из того, что я писал о нем. Мне не надо это знать и слышать, просто я думаю так. Если же нет — и с ним буду воевать дальше. Для меня это война, начатая *Грибоедовым* против „вечных французов“. Продолжив эту борьбу, партия была совершенно права, особенно в современной международной обстановке.

Другое дело, что принципиальную борьбу партии использовали **проходимцы и прохвосты, антисемиты и сволочи** (разрядка моя. — А. Б.). Не принять участия в верной (на мой взгляд) принципиальной борьбе из-за того, что рядом швыряет кто-то г...м? Ну, знаете... еще Ленин сказал, что „политику в белых перчатках не делают“. Это было бы сущее барство, чистоплюйство и снобизм. Ни партия, ни кто-либо из честных людей не несет ответственности за Сурова. Отвечают его единомышленники, но не принципиальная *линия*. Я, во всяком случае, за Сурова и К° отвечать отказываюсь. А за себя отвечаю.

Не вспомните ли Вы, что никто иной, как именно я, в острой обстановке травли „космополитов“ первым выступил с трибуны по этому поводу и призывал не смешивать вопрос борьбы с космополитизмом с национальным вопросом? Если Вы не помните этого, то помнят многие, благодарившие меня за это, и они Вам это

подтвердят. Думаю, одного этого достаточно, чтобы не ставить меня на одну доску с Суровым. А я против Сурова (задолго до его падения) выступал публично не раз, вызвав грубость с его стороны на заседаниях.

Извините за длинное письмо, но хотелось все это Вам сказать.

С приветом

А. Глебов».

Не гоголевский ли Поприщин сочинил это письмо? Читаю о себе в одном ряду с «растлителями русской музыки», во множественном числе поименованными «Прокофьевыми и Шостаковичами», и думаю, что тень Поприщина и впрямь странным образом отделилась от дородного тела «музыковеда» Жданова и пошла гулять по свету. Даже повторять эти строки было неловко...

Но писал это не безумец, а трезвейший человек, литератор-рационалист, Глебов Анатолий, начинавший экзотическим «Загмуком», модной в свое время «Ингой» и окончивший свою многолетнюю литературную работу подражательным «Правдохой», повторившим давно перепетые мотивы П. Замойского, Ф. Каманина и раннего Ф. Панферова. Писал человек, склонный к теоретизированию, ожесточившийся неоправдавшейся претензией на лидерство в драматургии.

Письмо Глебова примечательно как документ времени; в нем не изжившая себя эпоха, гипноз фразы, добровольная повязанность человека лозунгами, позволяющими легко бросить нравственность под ноги политиканству, в нем не уклончивый, не с черного хода прокравшийся, а торжествующий, бьющий в барабаны конформизм. В нем неременная *программа*, жажда заморозить себя обязательностью этой программы, *величием цели*, оправдывающей любые средства. В нем и осмотренность посредственности, известная осторожность, напоминание о собственной порядочности, о непричастности к клану антисемитов; напоминание жалкое, напрасное, — никто из знавших Глебова не причислял и не мог его причислить к антисемитам. Тем поучительнее его движение к «Сурову и К^о» и его нравственное падение.

Беспартийный Глебов подставляет плечо под самоубийственную ношу, полагая, что это все еще святая ноша, проглядев, что ее давно подменили, что он силится поддержать окаменевшую глыбу того самого «г...а», о котором презрительно поминает в своем письме.

Что же такое приключилось с театральной критикой на исходе года 1948-го и в начале 1949 года, что вынесло на поверхность так много грязи, греха, обманов и самообманов?

Утром 29 ноября 1948 года в редакцию «Нового мира» пришла на мое имя телеграмма: «Просим принять участие работе съезда писателей Украины ждем Киеве пятого декабря привет Корнейчук». Именно в этот ноябрьский день в Дубовом зале Дома писателей состоялся мой доклад — разбор пьес и спектаклей сезона 1947/48 года и начала нового театрального сезона. Я говорил о том, что «резко упал интерес зрителей к театру, но что напрасно кое-кто винит водевиль Александра Галича „Вас вызывает Таймыр“ в том, что он „забил“ серьезный репертуар. А был ли, есть ли этот серьезный репертуар? Быть может, „Таймыр“ только заполнил зияющие пустоты репертуара? В прозу пришли новые таланты: Вершигора, Гончар, Панова, Некрасов и другие, их книги выстраданы, а о многих ли новых пьесах можно сказать, что они выстраданы? Попробуйте поставьте это святое слово рядом с „Не от мира сего“ К. Финна или „Зеленой улицей“ А. Сурова, и вы испытаете чувство неловкости». «Драматурги пытаются из равновеликих кубиков строить разные комбинации „игрушечных домиков“; уже в „Большой судьбе“ А. Сурова больше ремесленного сочинительства, — говорил я, — полунаблюдений, полуштампов, чем живой жизни, ее атмосферы. Пьеса инсценирует общеизвестное и не дает ничего нового для познания действительности. А „Зеленая улица“ вся построена на реминисценциях. Многие в этой пьесе находятся на грани пародии. Неудивительно, что и Художественный театр показал крайне поверхностную работу...»

«Откуда дух казенщины и начетничества в театре? Почему так часто образы большевиков разъедаются менторством, нравоучительством, сухостью? Драматурги обычно ставят эти образы над жизнью, над конфликтом, — они судьи, а не творцы, прокуроры, а не созидатели. Они лишены судьбы, хотя в биографических сведениях нет недостатка...»

«Многие коллизии при попытке психологического анализа попросту исчезают, распадаются, как самолет в воздухе...»

Это только немногие из положений доклада, длившегося около двух часов, положений, подкрепленных попыткой анализа пьес и спектаклей.

Наивный человек, в те дни еще не зная, что Суров не повинен ни в достоинствах, ни в недостатках подписанных его именем пьес, я всерьез, с тревогой пытался исследовать их, показать, как стремительно сужается основа личного, жизненного опыта драматурга, как убывает правда из его писаний в движении от пьесы «Далеко от Сталинграда», через «Большую судьбу» («тут больше сочинительства, штампов, — утверждал я, — полунаблюдений; пьеса умозрительна и вполне могла быть написана любым другим драматургом») к «Зеленой улице», где многое уже за пределами профессиональной литературы.

С не меньшей прямоотой повелся разговор и о пьесе А. Софронова «Московский характер». О том, что ложные, надуманные ее «коллизии»

на проверку оказываются нестоящими пустяками, что если в «доказательство интеллигентности героев пьес на сцене воздвигаются огромные стеллажи, заполненные книгами, целые библиотеки, и на нас смотрят тисненные, роскошные корешки книг, — должна же хоть частица мудрости, заключенной в этих книгах, перейти к их владельцам!».

На двухдневном совещании прозвучала и забота о судьбах театра, особенно МХАТа — ничтожные пьесы не могли не отразиться пагубно на его спектаклях, на уровне актерского и режиссерского искусства. Театральные критики, дорожившие Художественным театром, все громче выражали свою тревогу, и скоро — не прошло и месяца! — Александр Фадеев ответил нам на наши не только своевременные, но и запоздалые тревоги лицемерным имперским окриком: «Каждый, — сказал он, — кто критикует (а лучше „поднимает руку на...“!) МХАТ, это человек, дающий пощечину моей матери!»

Фадеев, возглавивший нашу московскую делегацию на съезде писателей Украины, именно в эти недели готовился к трудному для него пленуму правления Союза писателей СССР на тему о состоянии и задачах советской драматургии. Прошло больше года после постановления ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров, постановления, опустошившего афиши сотен театров и случайно пощадившего только две пьесы: «Старые друзья» Л. Малюгина и «За тех, кто в море» Б. Лавренева. Их играли все драматические театры, во всех городах, а в городах покрупнее и по два театра одновременно. Суровое постановление ужесточило и без того доведенные до бессмысленности строгости: злой умысел, порочность, идейная «кривизна» виделись чиновникам буквально в каждой пьесе, под цензорский нож легли пьесы Л. Леонова, Б. Горбатова, А. Крона, К. Симонова, Вс. Вишневского, А. Корнейчука, А. Файко и многих других. Заступиться за эти пьесы или за некоторые из них Фадеев не хотел или не решался, но цену таким «новинкам», как «Зеленая улица» или «Московский характер», как «Великая сила» Б. Ромашова — старая, залежавшаяся у автора мелодрама, наскоро, топорно подогнанная под злобу дня, — Фадеев знал хорошо. Он, случалось, лицемерил по необходимости, так сказать, по высокой службе, но наедине с собой судил литературу истинным, высоким судом, любил поэзию, хорошо знал ее, познал тайны и профессиональные «секреты» художественной прозы. Вполне зрячий, он позволял себе, при нужде, надевать на глаза шоры или глухую повязку.

По завершении украинского съезда у Фадеева оставалась до пленума в Москве одна неделя, и неоткуда ждать новых пьес, московское обсуждение в последних числах ноября не оставило сомнений в том, что «новинки» Сурова и Софронова никак не выдать за достижения советской драматургии; все обнажилось, и разговор мог идти только прямой и честный. Пришлось бы отступить от принятого

обыкновения лавировать, спастись полуправдой, исподволь завышать оценочные «баллы» каким-то пьесам, чтобы выкарабкаться к мало-мальски оптимистической картине.

Пришлось бы сказать правду, и, кажется, Фадеев готовил себя к этому испытанию, мучительному для него еще и потому, что Д. Т. Шепилов, пришедший в ЦК партии между съездами и не бывший, в отличие от Фадеева, членом ЦК, Шепилов — заведующий Агитпропом — не одобрил подготовленный к пленуму доклад Софронова о драматургии. Д. Т. Шепилов рекомендовал отказаться от этого доклада как несостоятельного, а то и отложить пленум.

В Киеве утром 10 декабря, в день закрытия съезда писателей Украины, Фадеев и произнес ту речь о драматургии, к которой он внутренне готовился. 10 декабря, повторяю, в последний, пятый день съезда писателей Украины, проходившего горячо, даже драматически, когда Андрей Головкич, доведенный до крайности упреками в том, что он давно ничего не пишет, решился с трибуны сдать свой писательский билет, а Н. Хрущев, тогда первый секретарь Компартии Украины, обвинил писателей в плохом знании жизни, поставив им в пример того же Фадеева, которому, мол, хватило и недолгого пребывания в шахтерском поселке Краснодоне, чтобы написать «замечательное, правдивое произведение о молодогвардейцах».

Имя, образ или тень Фадеева осеняли первые четыре дня съезда, сам же он, увы, не мог покинуть гостиницы, что оказалось ему под силу только 10-го, когда Корнейчук готовился уже выйти к трибуне для заключительного слова.

Делегаты съезда знали, почему запоздал Фадеев, и не корили его, даже и в душе. Но едва ли они могли понять, с чего это он всю речь посвятил драматургии, нисколько не «состыковав» ее со страстями и проблемами завершившегося съезда.

В украинской «Літературній газеті» речь Фадеева была полностью опубликована 12 декабря (№ 52 за 1948 г.). Вот некоторые ее мысли в моем переводе с украинского: «Конечно, и в области драматургии, и особенно в области кино, у нас есть очень большие удачи. И все-таки несомненным остается тот факт, что по существу мы не выполнили решения Центрального Комитета ВКП(б) про репертуар наших театров, так как развитие советского театра в значительной мере тормозится отсутствием *большого количества настоящих, хороших пьес*... Что же, собственно говоря, является главным тормозом в развитии этих нужных нам жанров? Мне кажется, что тут есть несколько причин, и кроются они в *нас самих*».

Все привычно, все по правилам знакомой игры: упоминание о «больших удачах» (их не может не быть, такое предположение было бы само по себе кощунственно!), и сетование на отставание, и мужественное признание о невыполнении решения ЦК ВКП(б), — повинную голову меч не сечет!

Каковы же, на взгляд Фадеева, эти кроющиеся «в нас самих» причины? Мысли, которые он развивал далее, не импровизация, не случайность, — обо всем этом ему предстояло поведать всесоюзному пленуму правления СП СССР.

«Если художник лишен истинного чувства нового и знания явлений этого нового, — утверждал Фадеев, определяя первую причину отставания драматургии, — он не может быть хозяином конфликта в пьесе, он становится его рабом.

Вторая причина в том, что мы несколько недооцениваем некоторых особенностей нашего социалистического гуманизма и пытаемся иногда решать конфликты в пьесах и сценариях по старым меркам».

Этот, второй пункт Фадеев щедро развил, в который раз возвращаясь к критике В. Г. Белинского за его *формулу* «старого гуманизма», к критике Льва Толстого, не показавшего Кутузова в «Войне и мире» при исполнении служебных полководческих обязанностей, и И. С. Тургенева — с помощью цитаты из Добролюбова — за то, что в «Накануне» Инсаров «не дан в гражданской деятельности...».

Когда бескомпромиссная, «бесстрашная» критика обрушивается на Толстого и Тургенева, Суров и Софронов могут чувствовать себя в безопасности!

Но оратора не покидало и чувство личной вины за временное банкротство драматургии и за вынужденное отсутствие его самого на заседании украинского съезда. И чем это чувство острее, тем громче должен звучать пароксизм самокритики, потаенно обращенный к Тому, Единственному, Всевидящему, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не может ошибиться. Так к «Войне и миру» и к «Накануне» был мужественно присовокуплен и только что похваленный Хрущевым роман Фадеева «Молодая гвардия», пострадавший якобы от слабого изображения «большевиков в работе». «Вспомним, — сказал Фадеев, — как *критиковалось* (известно, что критика эта исходила лично от Сталина. — А. Б.) изображение большевиков в моем романе „Молодая гвардия“. Кроме политической стороны вопроса, которая хорошо вам знакома, в романе есть и тот недостаток, что я плохо изобразил большевиков в работе. Я как бы хотел сказать читателям: вы их любите, хотя они плохо работают, но они „хорошие“ люди... Когда наши драматурги и киносценаристы не умеют найти этого основного звена, они пытаются подставить какую-либо старую сюжетную схему, которая прежде отображала только личные человеческие отношения — семейные, любовные и т. д.».

На сей раз Фадеев пощадил Чехова, в прошлом — излюбленную мишень его эстетической критики, но уже в самом умалении *личного*, в странном убеждении, что отныне любовь, семья «и т. д.» уже не выражают, как некогда, личность человека, возникает гибельная опасность для искусства, тот *примитивизм*, который так с руки

ремесленникам, так по душе драматургии безжизненной и конъюнктурной.

Было время, когда другой художник, выслушав «высочайший совет» — повернуть Григория Мелехова к революции, остался верен жизненной правде и самому себе; для Фадеева независимая позиция оказалась невозможной, хотя прав был не Сталин, а он, и внесенными поправками он не улучшил, а ухудшил роман, ибо истинная оценка *дела большевиков* выразилась в воспитанных ими юношах и девушках, в их свободном полете, в их самостоятельных поступках, а не в навязшем в зубах выполнении поручений.

Не думаю, чтобы Фадеев не понимал и не чувствовал этого, но жестокие правила «игры» требовали покорства, покаянно склоненной головы. Самокритикой, уничижением собственной работы Фадеев как бы поднимал цену тем жестким оценкам и признаниям, которые он подготавливал пленуму. Могут ли обидеться на него драматурги, если он беспощаден к себе?!

«Третья причина слабости драматургии заключается именно в том, что советские драматурги мало работают над формой».

Помянул оратор и актеров, и вовсе не в том смысле, что их унижают или сживают со свету театральные критики; напротив, как и большинство критиков, он защищал актеров от плохих драматургов: «У нас прекрасные актерские силы, а мы часто даем им художественно слабые, непродуманные вещи».

И ни слова о критике! Ни единого слова о критике, которой он спустя неделю посвятит сорокаминутную разгромную речь, этакое образца тридцатых годов обвинительное заключение по *делу о театральных критиках*.

Знал ли Фадеев в тот день, в Киеве, перед отправлением обратного вечернего поезда, о московских *чудесах*, действительных или мнимых, но так много переживавших в наших судьбах?

Думаю, не знал. Он был тих и внимателен, охотно смеялся, слушая в купе темпераментного Яна Дрду, но до конца не сбрасывая с себя какой-то задумчивости, усталости, больного покоя, — мало говорил, больше слушал.

Но жизнь непредвиденна: Фадеева ждал в Москве поистине *царский* подарок. Пока он исстрадывался в гостиничном номере, пока мы с Валею бродили по улицам родного, покинутого два года тому назад города, не поспевая к друзьям, к родне, радуясь не по-осеннему щедрому солнцу, пока под стук колес слушали неумолчного Яна Дрду, подкармливая его тещинными отбивными котлетами, Сталин в Москве, если верить Софронову и Сурову, неутомимо инспектировал театральные премьеры. В несколько дней он успел *одобрить* «Зеленую улицу» во МХАТе, «Московский характер» и «Великую силу» в Малом театре. Не думаю, чтобы эти спектакли, а пьесы в особенности, заслужили особых его похвал: будь это так, В. Ермилов, в ту пору —

редактор «Литературной газеты», не посмел бы ровно год спустя, при жизни Сталина, в праздничном ленинском номере газеты от 21 января 1950 года напечатать разгромную редакционную статью о пьесе «Московский характер». Такого не решился бы напечатать ни один редактор, веря в то, что Сталин лично одобрил пьесу, да еще напечатать рядом с огромным трехколонником «Вождь и народ» о фильме «Падение Берлина». Возможно, к этому времени Ермилов и Фадеев уже знали, что и они стали жертвами *блефа*, к которому систематически и безнаказанно прибегал Суров, распространяя слухи почти о каждой своей пьесе: ее, мол, прочитал Сталин, ему, Сурову, звонил Поскребышев и т. д.

Но у «Московского характера» был и другой влиятельный заступник и вдохновитель, Г. Попов — секретарь МК и МГК, секретарь ЦК ВКП(б), и почему его покровительства оказалось недостаточно в январе 1950 года, есть тайна великая, едва ли драматург решится открыть нам ее.

Но Сталин был на спектаклях, не ушел посреди действия, не хлопнул дверью правительственной логи, досмотрел, быть может, и сказал нечто одобрительное или не обидное, — не имея точных свидетельств, не могу писать об этом, — чего было достаточно для причисления всех трех названных пьес к выдающимся достижениям современной драматургии.

Фадеев, готовый каяться, уже принагнувший повинную голову в киевской речи («...не выполнили решения Центрального Комитета ВКП(б) о репертуаре наших театров...»), воспрянул духом. Снова его красивая, молодецкая голова чуть откинута — горделиво и уверенно — на высокой юношеской шее. Накануне он — нищий, под рукой нет достойных пьес, не хвастаться же «Старыми друзьями» и «За тех, кто в море», — этот драматургический *актив* был уже зачтен Союзу писателей при театральном разгроме 1946 года. Но миновала поездная ночь, он ступил на перрон Киевского вокзала в Москве и стал вдруг крезом; оказывается, есть три хорошие пьесы, три славные современные пьесы, три большие удачи советского театрального искусства! Кто там смел морщиться, привередничать, *эстетствовать*, корчить недовольные рожи при таком изобилии?!

Критики! Конечно, критики, злые духи искусства и литературы.

В прошлом памятные десятилетия, эпохи, славные одной-двумя пьесами — «Горе от ума», или «Ревизором», или, скажем, «Борисом Годуновым»! А в его руках — напрасно виноватых, еще подрагивающих покаянно руках — три шедевра, и авторы их — славные ребята, свои, простецкие, чего бы только они не сотворили еще, если бы не косоротая ложь злокозненных критиков...

Ничего не хочу упрощать: Фадеев не мог не знать цену Софронову и Сурову. Фадеев, при всех его заблуждениях, при оценке Чехова на уровне ранних статей В. Воровского, был серьезным ценителем литературы, человеком элитарного круга в искусстве, личностью

артистической, писателем, знавшим границу между ремеслом и вдохновенным творчеством. Его внутренний мир сложен, и многие тревоги века, времени стучались в это сердце, открывались ему в своем мучительстве, наготе и непримиримости.

Его жизнь и смерть — доказательство того, как рушится личность от долгого сосуществования с неправдой и подчинения ей, от постоянных моральных компромиссов и укореняющейся привычки к насилию *политиканства* над нравственностью.

К Софронову Фадеев относился с брезгливым неуважением, — даже если бы обнаружили письма и записки Фадеева к нему, начинающиеся словами «дорогой» или «милый Толя», они бы сказали только о привычке к двоедушию, о подчиненности обстоятельствам, но не о дружбе или уважении. Я еще расскажу подробно о своем знакомстве с Александром Фадеевым у Константина Симонова (на Беговой), когда решался вопрос о включении меня в редколлегия «Нового мира», — здесь упомяну только о коротком диалоге к концу обеда, когда Фадеев, кажется, уже принял меня в качестве будущего москвича. Софронова я тогда не знал, дела писательского цеха меня, театрального критика, не слишком занимали. «Устал... Очень устал», — пожаловался Фадеев Симонову так, будто разговор вели только они двое. «Съезди куда-нибудь, Саша». — «Шолохов давно зовет порыбачить на Дону...» (Стояли и в Москве теплые осенние дни 1946 года, а на Дону в эту пору особенно хорошо.) — «И поезжай!» — как-то даже загорелся Симонов. Фадеев помолчал и вздохнул: «Не поеду! Софронов увяжется или приедет следом... А мы выпьем и наговорим лишнего... Нет!»

Повторяю, Софронова я еще не знал и вообразил себе такого юркого, худого пролазу, памятливого, смекалистого, вездесущего...

Но к 11 декабря 1948 года, к появлению Фадеева на перроне Киевского вокзала, царский подарок был ему преподнесен, и в нем разыграл службист, политик, как сказали бы те, кто давно заменил принципиальную политику, требования чести прислужничеством, изворотливым ораторством, лживой критикой на уничтожение.

Сталин, как умел, ценил Фадеева, относил его к числу серьезных писателей, случалось, щадил в обстоятельствах, в которых был бы беспощаден к другим. В конфликтах, случавшихся у Фадеева с Комитетом по Сталинским премиям, неизменно принимал сторону Фадеева. (Так случилось, к слову сказать, с не состоявшимся из-за возражения Фадеева — его одного! — присуждением Г. Мдивани Сталинской премии за одну из его пьес. Случилось однажды и другое: назначенный главой Совинформбюро, Фадеев куда-то запропастился, «выпал» на несколько дней, а Сталину понадобились документы из сейфа Совинформбюро — и сейф особой сложности пришлось резать автогеном; любому другому это могло стоить если не жизни, то

карьеры навсегда, Фадеев был «тихо» отстранен от должности, несовместимой с его недугом.)

Сталин чтит Александра Фадеева, а Константина Симонова, кажется, любил, относился к нему со всем доступным авторитарному, деспотическому правителю вниманием. В мире абсолютной власти, в атмосфере обожествления вождя, во всеобщем экстазе веры, которая, как всякая вера, была и источником силы, — выделенность личности самим вождем не может не накладываться на нее и горькой печати, не калечить ее в какой-то мере.

Сейчас я вспоминаю Фадеева за несколько дней до пленума правления СП СССР, от которого и следует вести прямой отсчет началу открытия кампании борьбы против так называемых «безродных космополитов».

Попытка отыскать начало, повести временной отсчет событий часто наталкивается на возражения, которым не откажешь в памяти и здравом смысле. Какое уж там *начало*, нередко возражали мне, когда за год до того, в январе 1948 года, в Минске был злодейски убит Михоэлс! Уже разогнан московский Госет, в подвалы Лубянки брошены лучшие еврейские поэты и писатели, уничтожен Еврейский антифашистский комитет. *Начало* спрятано глубоко в губительных темнотах личности Сталина, в его жестокости и бесчестии. Черный поток не пресекался, он то полускрывался, уносил свое преступное нетерпение под почву, то выходил наружу, клокоча и бесчинствуя, готовя новое решение очередного «национального вопроса», новых изгнанников, в отличие от крымских татар или немцев Поволжья, «провинившихся» не в годы войны, а в благословенные мирные дни, осеняемые гением Сталина... С этими всегда трудно, они — вечные скептики, спорщики, кичливые интеллектуалы, и если в годы войны до них, рассеянных по всей советской земле, руки не доходили, то в мирные дни почему бы и не решить новой *исторической* задачи: глядишь, и в имперской короне Сталина сверкнет еще один «бриллиант на крови» — автономная еврейская республика. У нас вдоволь земли и есть время подумать, быть ли республике таежной, заполярной, тундровой или уйти ей, как давним предкам, в пески пустыни. Две, а то и три тысячи лет шли они, приволакивая ноги, сбивая их в кровь, оставляя спартански скудные кладбища по всей Европе, а теперь дадим им вагоны, для элиты даже не скотские, пассажирские вагоны...

Все так, но, по мне, антикосмополитическая кампания не замкнута на антисемитизме. Ее угрозы и ее преступления шире, в ней, хотя и с отрицательным черным знаком, есть и некая «всемирность» деспотизма и насилия. К тому же историк и летописец, не теряя из виду непрерывность процесса, сложные связи причин и следствий, непременно различат и этапы этого процесса, ступени, по которым общество может подниматься вверх или сходить вниз, в бесчестие.

Такой ступенью в бесчестье и был поход против «безродных космополитов», начатый яростными инвективами Фадеева против театральных критиков, хотя, быть может, ослепленный собственным демагогическим красноречием, он и не предвидел реального развития событий в масштабах страны.

Напомню еще об одном немаловажном обстоятельстве.

В ЦК партии появился новый человек, формально уступавший Фадееву в партийной иерархии, но руководивший идеологией, культурой и искусством. Это Дмитрий Трофимович Шепилов, уже упоминавшийся мной, заведовавший Агитпропом ЦК ВКП(б) и редактировавший газету «Культура и жизнь», печатный орган, позволявший себе поучать и поправлять «Правду». Это был живой, умный и решительный человек, не только здравомыслящий, но и образованный, способный оценить действительное состояние дел в литературе и искусстве. Встревоженный поверхностной, дилетантской подготовкой к предстоящему пленуму, Шепилов через Отдел культуры ЦК обратился непосредственно к театральным критикам Москвы, — в ЦК прошло многочасовое совещание, состоялся разговор о пьесах и спектаклях, о наших общих тревогах. Совещание шло без официальных, должностных лиц Союза писателей или ВТО, разговор был лишен казенности — только действительные, серьезные и честные размышления о ходе дел в нашем театре после постановления ЦК ВКП(б) 1946 года о репертуаре драматических театров.

Напомню, что Шепилов (совещание с критиками проводил не он, а работники Отдела культуры ЦК Вл. Прокофьев, театровед, исследователь творчества Станиславского, и Дм. Писаревский, впоследствии редактор «Советского экрана») не рекомендовал Фадееву проводить пленум, если нельзя подготовить доклад более серьезный и содержательный, чем представленный в ЦК текст Софронова.

Обыкновение представлять тексты докладов в Агитпроп (или в Отдел культуры) ЦК сохранилось и после смерти Сталина. Тут соединяются две силы, два энергетических «поля»: требование партийного аппарата, особенно с появлением в его влиятельном и деятельном среднем звене людей властолюбивых и амбициозных, и стремление законопослушных чиновных руководителей творческих союзов обезопасить себя, застраховать от любых случайностей.

Многим памятно печатное заявление Тихона Хренникова о том, что доклад 1948 года о музыке был им только прочитан вслух, а подготовлен и написан в ЦК ВКП(б) и, таким образом, его вина — только в привычном для тех времен послушании, но ничего его личного в напаках на Прокофьева и Шостаковича нет и не было. Если это и правда (хотя докладов за писателей, художников и композиторов в ЦК

не писали, хватало охочих и умелых и в самих союзах!), то и такая правда не делает чести Хренникову. Далеко не каждый из композиторов согласился бы на роль чтеца-декламатора, и далеко не к каждому решились бы подойти с таким предложением. Но, допустим, начинающий общественный деятель 1948 года, только что обретший власть в творческом Союзе, оступился, прочитав чужой и якобы чуждый ему доклад, а ведь через год, в разгаре нечистой борьбы против «беспачпортных бродяг в человечестве», он выступил вновь — печатно и устно — с анафемой против художников, «далеких от народа», Прокофьева и Шостаковича, а более всего против «космополитов» — музыковедов и музыкальных критиков. Как быть с этим?

Но вот пример из других, брежневских времен.

Год 1980-й, я лечу в Уфу на празднование столетия со дня рождения Мажита Гафури, чьи повести я перевел на русский язык, но главная моя забота — в очередной раз попытаться не допустить уничтожения прекрасных цветных витражей работы московских художников Л. Полищука и С. Щербининой. Витражи эти вызвали необъяснимый гнев партийных руководителей республики Шакирова и Ахудзянова, война вокруг них идет не первый год. Второй салон самолета, в котором я лечу, забит до отказа, но я узнаю, что весь первый салон занят только одним пассажиром — Сергеем Михалковым, тоже летящим на юбилей Гафури.

Я проникаю к скучающему Сергею Владимировичу — вот кто в эти дни может помочь святому делу защиты уникального цветного витража! Взволнованно рассказываю о ситуации, прошу его поговорить в Уфе с грозным и своенравным Шакировым: почва подготовлена, уже с «первым» беседовали К. Симонов, С. А. Герасимов и Мустай Карим. (Думаю, что искательство мое оказалось не бесплодным, что-то Михалков подтолкнул в добром направлении, — власти так и не приступили к кощунственному демонтажу, сегодня огромный цветной витраж открыт посетителям Дворца культуры Химического комбината Уфы.)

Наш разговор неизбежно и скоро повернул к литературе. Сергей Михалков спросил, читал ли я недавно появившийся на страницах «Нашего современника» роман Пикуля «У последней черты», а если читал, то как я к нему отношусь. Оказалось, что отношение Михалкова к роману такое же безразличное, как и мое, и не только к этому роману, но и к явно определяющейся общественно-политической и нравственной позиции журнала и его редколлегии. Я напрямик спросил: как же вы в руководстве Союза писателей РСФСР не найдете управы на редакционную коллегию, почему не спросите построже с редактора?

И Сергей Михалков пожаловался мне, *читателю*, безвластному писателю, что все его попытки образумить главного редактора журнала парализуются решительной и безоглядной защитой С.

Викулова Юрием Бондаревым, Мих. Алексеевым, Ф. Кузнецовым и некоторыми другими влиятельными членами секретариата СП РСФСР. Неожиданно, будто найдя счастливый выход, он напомнил мне, что скоро состоится съезд писателей Российской Федерации (съезд или пленум) и почему бы мне не выступить серьезно и аргументированно на эту тему.

— Это не исключено, — ответил я. — Но вы — докладчик, вам общественно необходимо сказать хоть малую толику тех сердитых слов, которые я только что от вас услышал о романе Пикуля и журнале «Наш современник».

— Мне нельзя — мне это выбросят в ЦК.

— Неужели вы не вправе иметь собственную точку зрения на чей-то роман?

— Я представляю текст доклада наверх, а там непременно вычеркнут. Возьмите слово вы.

— Нет!

— Боитесь? Вот видите — боитесь, а от меня требуете.

— Бояться мне нечего. Вы, Сергей Владимирович, *вы* сами не дадите мне выступить. Сейчас у вас вырвалось благородное предложение, а на съезде — не дадите слова, передумаете.

Он невесело посмотрел на меня и улыбнулся виновато:

— Правда — не дам... Не дам! Ну их всех к черту! А про витраж я Шакирову скажу.

Может быть, по пути из Киева в Москву Фадеев мысленно и допускал возможность уступки, оскорбительного для его самолюбия отступления, поражения в первом же столкновении с молодым, полным энергии партийным лидером. Но царский подарок все переменял, и переменял решительно. Унылый стереотип киевской речи: «Конечно, и в области драматургии... у нас есть очень больше удачи» — обретал набатную силу, уже не об отдельных удачах и не под сурдинку говорилось, а пелось о триумфальных успехах. Все выстраивалось превосходно, и, чтобы сбить горечь или стыд недавней растерянности, печальной необходимости сказать правду, собственного, как теперь понималось, минутного малодушия, нужно было назвать, вернее, наказать тех, кто пытался отравить *праздник* советской драматургии и театра, кто так искусно чернил прекрасные пьесы и спектакли...

Кто виноват?

Критики, неисправимые личности, не ценившие даже те пьесы, которые пришлось по душе Сталину. В критиках корень зла, они искажают великую перспективу советского искусства.

Прежде чем рассказать о странном пленуме, принявшем резолюцию по вопросу, не названному в повестке дня и не обсуждавшемуся в заседании, о пленуме с фатально гаснущим электричеством и грозными

речами в полутьме, при свечах, о пленуме, как бы предсказавшем полубезумные сборища начала 1949 года, их угар, бессердечие и низость, — прежде чем обратиться ко всему этому, постыдному и горькому, — немного истории.

3

Фадеев обладал незаурядным опытом сокрушения критики. Ни житейская мудрость, ни губительная практика шельмования литературы немилосердной рапповской критикой в прежние годы, ни даже возникавшее сознание своей неправоты не мешали Фадееву наносить удары по неугодной ему критике. Критическая мысль, едва она обретала внутреннюю свободу и независимость и входила в противоречие с казенными оценками Союза писателей, с табелью о рангах, с официальной «шкалой талантов», с отработанной системой выдвижений, поощрений и наград; критика, не ориентирующаяся на *иерархию*, делалась ее смертельным врагом, будь она трижды справедлива и общественно необходима.

В 30-е годы существовал журнал «Литературный критик» — детище Горького и новой литературной атмосферы после ликвидации РАППа в апреле 1932 года. Он просуществовал около 8 лет и был *прихлопнут* по инициативе Фадеева в 1940 году. В десяти томной Малой Советской Энциклопедии нет и заметки об этом журнале, ни даже упоминания о нем в статье «Литературоведение». В новом однотомном энциклопедическом словаре упоминание промелькнуло однострочное; даже не эпитафия, а надгробная, с хрипотцой, надпись: «Сов. ежемес. журнал. 1933-1940. Москва».

Журнал был основан, чтобы покончить с беспринципными критическими склоками, с бесчинствами рапповских «гегемонов» литературы, с гонением на самых талантливых писателей, униженных ярлыком «попутчиков». И журнал успешно выполнял задачу консолидации, собрав вокруг себя почти все самое значительное, что было в нашем литературоведении и критике. Но, увы, авторы этого журнала помнили, что мировая литература началась не с «Недели» Ю. Либединского, не с «Цемент» Ф. Гладкова и даже не с «Разгрома» Александра Фадеева, что некогда творили и Гомер, и Шекспир, и Пушкин, и Толстой, и Бальзак, и Чехов. «Литературный критик» не упускал из виду этих высот мировой и русской литературы, убежденный в том, что постыдно и вредно, каков бы ни был предлог, снижать художественные критерии оценки текущей литературы. А новая иерархия складывалась быстро, уже тогда на иные литмундиры надлежало взирать с благоговением; однако авторский коллектив журнала сложился из личностей, они обладали и умом и характером.

Как прихлопнуть содержательный, революционный по направлению журнал? Обвинить его в смертных грехах не удавалось, пожаловаться

вслух на «недобор» похвал, комплиментарности в адрес «живых классиков» в ту пору никто еще не решался; комической показалась бы и вельможная жалоба Сергея Михалкова на то, что «многие уже готовы просто не замечать людей, которые и Звезды носят, и народные артисты СССР, и так далее» («Лит. Россия», 1987, 27 марта, № 13(1261). Как великолепно это почти эстрадное, чечеточное «и так далее»!

Фадеев нашел выход совершенно в *сталинском* духе. Посетовав на слабости критики (какой безотказный, спасительный, трогательный мотив на все случаи жизни, что бы ни происходило в литературе!), он нашел причину в том, что критика в толстых литературных журналах оскудела из-за того, что *всех* критиков присвоил журнал «Литературный критик», а это цеховое обособление критики, как всякое обособление, противно принципам партийности и весьма опасно. Разойдутся критики по журналам, под надежное управление, и все образуется, своевольничать будут меньше, найдется на них редакторская узда...

Сталин понял с полуслова, учуял крившуюся за деловыми соображениями тоску оскорбленного единоначальника, — и «Литературный критик» приказал долго жить.

Духовная репрессия и на сей раз была поднята, так сказать, на принципиальную высоту: всем критикам, не только активу журнала «Литературный критик», но и всему *цеху* критики дано было понять — под иезуитским предлогом помощи, поддержки, неотвратимого «дальнейшего подъема», — что они люди подневольные, литераторы второго сорта, навсегда отданные в крепостную зависимость сановникам и чиновникам от литературы. Решением ЦК ВКП(б) была упразднена *секция* критиков в Союзе писателей, ее посчитали «искусственно созданной», критиков приказано было рассовать по другим секциям: пишешь о поэзии, ступай в секцию поэзии, поэты тебя научат, как и о ком писать. Очередная отеческая забота обернулась новым сиротством и поруганием.

Насколько проще казалось спустя годы расправиться с горсткой театральных критиков, не согласных восторгаться пьесами Сурова или Софронова и озабоченных начавшимся падением искусства Художественного театра.

Все и обошлось бы просто и, может быть, без крайностей: дело ограничилось бы отеческим мордобоем, полуудушением театральных критиков в подворотне Дома литераторов, носящего теперь имя Фадеева, не вступи в борьбу Дмитрий Трофимович Шепилов. Появление этого отличного оратора, выступавшего не по заготовленному тексту, человека живой мысли, красивого и немного красовавшегося на трибуне, доискивавшегося истины, когда так удобно и просто выполнять указания, — его появление в ЦК на высоком посту руководителя Агитпропа представляется мне случайным и странным. К тому же он появился в аппарате ЦК ВКП(б) между съездами и не был,

как я уже сказал, в отличие от Фадеева, членом ЦК. Может быть, в увлеченности делом он сам не почувствовал некоторой своей чужеродности, я бы сказал, обреченности, зато ее чувствовали другие, и неучи, стоявшие выше Шепилова в партийной иерархии, и тонко чувствующий, но уже приноровившийся к косности, научившийся и из нее извлекать пользу Александр Фадеев.

Меня связывали с Шепиловым памятный ночной разговор по телефону и два моих письма к нему как официальному лицу. По складу характера я всегда сторонился начальства; не знаю, что это — «унижение паче гордости» или не изжитый за долгую жизнь провинциализм, не берусь судить, — но рядом с начальством, большим или малым, меня почти никогда не оказывалось. Что-то удерживало, гнало в противоположную сторону; я складывался как личность «начальственно непроходимая», — успех иногда сопровождал моим письмам, особенно писанным за кого-то и не от моего имени, но очные мои «сеансы» неизменно терпели фиаско. Угодившие в начальники друзья теряли меня, я им звонил все реже, и возникало неизбежное отчуждение.

Дом Симонова в Переделкине (и в Москве тоже) был открыт и гостеприимен, нас поначалу настойчиво звали, но за годы сотрудничества в «Новом мире» я не упомяну больше трех приездов туда, и всё приезды не гостевые, а по делу. Люди, близкие Константину Михайловичу, общие наши друзья, мысленно вычеркивали нас из списка коротких друзей, — мы с Валею безошибочно нашли друг друга: ее, двадцатитрехлетнюю, застенчивую и скромную, принимали за славную простушку, и все дамы, от соседки по дому на улице Дурова, Любви Добржанской, до Валентины Серовой, принимались усердствовать, приобщать ее «светской» жизни, даже не подозревая, как богат и тонок ее внутренний мир, как много трагического позади в этой короткой жизни — тогда еще очень короткой! — сколь чуждо ей все показное, наигранное, неистинное.

Иногда мне кажется, что в 1937 году меня не бог уберег от ареста, а все та же упрямая, абсолютная отдельность моей жизни от начальства. Тогда, в возрасте 24 лет, я, комсомолец, исполнял обязанности начальника Главреперткома Украины, был заместителем редактора, а с лета 1937 года фактически редактором ежемесячного журнала «Театр». Аресты буквально опустошили республиканский Комитет по делам искусств и тридцатидвухквартирный жилой дом Наркомпроса на ул. Толстого. В газете «Комсомолец Украины» появилась статья обо мне некоего Мельничука, подручного Полины Николаенко, заматеревшей в параноических клеветах, особенно после того, как ее похвалил Сталин, сказав с высокой трибуны, что Николаенко «оказалась права, а Киевский обком неправ». Я обвинялся

на страницах «Комсомольца Украины» в растрате нескольких сот тысяч рублей в Киевском русском драматическом театре, к которому не имел отношения, и в разрешении «контрреволюционных водевилей Остапа Вишни» в 1927 году, когда я только еще перешел в пятый класс семилетки в Белой Церкви. Что ложь нелепа, смехотворна, чудовищна, тогда ничего не значило; напротив, человек, арестованный по столь бессмысленному обвинению, обречен вдвойне — легче «выколотить» из него признание, чем сознаться в *следственной* нелепице.

Я никогда не бывал в начальственной свите, не попадал на групповые парадные снимки, на правительственные и полуправительственные приемы, — с семилеткой за плечами мне пришлось за несколько лет самому освоить институтский курс, сдать экстерном — тогда это допускалось — экзамены за театральный институт и вступительные экзамены в аспирантуру и проучиться в ней под руководством наезжавшего в Киев ленинградского ученого А. Гвоздева, — тогда я написал свою первую работу об исторических хрониках Шекспира.

Не хочу сказать, что вел жизнь схимника или аскета: нет, жил весело, в кругу друзей, интересами театра и театральной печати.

Не знаю, что уберегло меня в 1937 году: молодость ли — в 23-24 года я выглядел восемнадцатилетним; то ли что я не был членом партии и не переступал порога ЦК КП(б)У, ухитряясь «самостийно» решать свои реперткомовские проблемы^[5]; может быть, меня спасла только счастливая случайность, — этого я никогда не узнаю.

Должен признаться: из 1937 года я вышел с не упавшей, а укрепившейся верой в людей. Это может показаться кощунством, но правду сказать надо. Ее нужно сказать, хотя бы и ради будущего. Может быть, старые большевики — тогда еще не старые! — знавшие цену Сталину, могли объять цепенеющим мозгом глубину происходившей трагедии; наше виноватое поколение энтузиастов, неисправимых оптимистов незряче вошло в 1937 год и вышло из него с безвольной надеждой, что скоро наступит день справедливости и безвинные вернутся. Может быть, трагические европейские события второй половины тридцатых годов: Испания, Польша 1939 года, война с Финляндией, а затем и война против нацистской Германии — оказались спасительными для Сталина, — потрясения войны как бы загородили от большинства вымирающую страну лагерей.

Это не досужее размышление: Валентине шел четырнадцатый год, когда арестовали ее ни в чем не повинного отца. Три последующих года заполнены им, болью, неотвязными воспоминаниями, поисками, но война и оккупация на время затянули и эту рану, словно переместили всех в иную галактику. Жизнь предложила другую, казавшуюся тогда еще более немилосердной школу трагедий и палачеств.

Арест отца 8 октября 1937 года круто переменил жизнь семьи. Непомерное испытание легло на душу и на плечи тринадцатилетней

Вали и ее матери, красивой тридцатидвухлетней женщины. Непрочность во всем, зыбкость, опрометчивые метания вошли в их жизнь, страдание и постоянные розыски изнуряли душу. Передач у них не брали, а с середины ноября не взяли и денег для передачи Филиппу Малецу, бросив им в окошко вселившую надежду, но странную и, как оказалось, лживую фразу: «Приговорен к десяти годам без строгой изоляции...»

Не у кого было искать поддержки, защиты, покровительства, — пришло повзросление до срока, слишком ранний брак, в 1940 году у шестнадцатилетней Вали родилась дочь Светлана. Пока не началась война, жизнь, даже в трудные дни, согревалась надеждой, что отец жив, какие-то особые обстоятельства не позволяют ему подать голос, но он непременно вернется, будет счастлив внучке и, может быть, может быть, выполнит главное свое обещание, — он его не раз давал Вале в детстве, — покажет ей мир.

На страданиях 1937 года лежала та же печать *соборности*, что и на людском горе военных лет. Муки матерей и жен не становились легче оттого, что беда в те же дни входила и в дома соседей, и все же, все же *соборное* горе, смерть на миру что-то и меняли, иным прибавляли мужества, сил и дыхания. Долгие стояния в притюремных очередях, у пересыльной тюрьмы, на дальних подъездных путях, куда подавались арестантские теплушки, встречи со многими, прежде незнакомыми людьми, а теперь товарищами по несчастью, всегда собранная, готовая передача — все отнятое от себя, от своего голодного стола, — только бы позволили, только бы сказали, куда бежать с узелком.

Война и оккупация погасили надежды. Только в мечтах возникал на пороге высокий, красивый и целомудренный человек, труженик, никак не причастный к политике, к чему-либо суетному и недоброму. Но разум, мысль, многому научившаяся за годы войны, трезвая мысль теперь уже постигла неисправимость приговора. Остались нежность, печаль, совестливое чувство вины без вины виноватых людей, продолжающих жить, радоваться, осязать и видеть мир, отнятый у самого дорогого человека. Оставалась неотступная, губительная строка в анкете, полагалось без утайки ответить — не гневно и обвиняюще, а повинно, согнувшись в три погибели, ответить: что случилось с отцом на исходе тридцатых, отчего он выбрал такой *неудобный* для смерти год — вернее, удобный, «урожайный» для палачей и такой настораживающий, такой приметливый для глаз их послевоенных наследников.

Однажды мне удалось одолеть эту строку в анкете Вали, после многих безуспешных попыток добиться для нее разрешения на туристскую поездку в Европу.

Создавалась специализированная группа для рабочей поездки в Данию, и глава нашей небольшой делегации Маргарита Ивановна Рудомино — создатель и директор Библиотеки иностранной литературы

в Москве — предложила мне сотрудничать с ней в этом напряженном по регламенту вояже. Человек ясного ума и благородного сердца, Маргарита Ивановна удесятирила свои усилия, когда узнала, что Валю не выпускают за рубеж из-за исчезновения отца в 1937 году. Рудомино совершила невозможное: добилась паспорта для Вали. «Бои» были продолжительные, с бессмысленным редактированием анкеты — ибо Валя не соглашалась лгать об отце, — с редактированием уже не нами, а кадровиками, которых загоняла в угол Рудомино; с отказами, компромиссами, взаимной нелюбовью, со сложной «дипломатией», как будто речь шла о судьбе межгосударственных отношений, а не о короткой поездке в Данию молодой женщины, оставляющей на родине двух дочерей, мать и весь этот жестокий и такой любимый, единственный для нас мир.

Отец не уходил из памяти, а с ним и отнявший отца год 1937-й. Но миновали десятилетия, и уже не терзало отчаяние, а только долгая, то пригасавшая, то овладевавшая Валею печаль, горестное недоумение, скорбь, — но глубины скорби размыты, они без дат, без адресов, без тех точных природных, «географических» примет, которые так обостряют наши чувства, так обнажают их.

И вдруг в июне 1989-го, уже после публикации «Записок баловня судьбы» в журнале «Театр», давнее преступление и горе, пережитое более полувека тому назад, вернулось к нам в дом с силой самой действительности, с реальностью только что случившейся беды, вернулось почти зримое, слышимое, обоняемое, как выстрел, прозвучавший в двух шагах от тебя. Сотрудники «Мемориала» в Киеве отыскали *дело* Филиппа Малеца — несколько бумажных страниц в тощей папочке и профсоюзный билет, тоненькую двуязычную (русско-украинскую) книжечку с фотографией отца. На этот раз Валя получила не стандартную, привычную в послехрущевские годы *отписку* о посмертной реабилитации и прекращении дела ввиду отсутствия состава преступления. Теперь она узнала жестокую правду о приговоре и об убийстве ни в чем не повинного человека.

«СПРАВКА»

Согласно имеющимся архивным материалам, Малец Филипп Дмитриевич родился 1 февраля 1890 года в с. Городысько Холмского уезда (Польша)^[6], русский, из крестьян, беспартийный, работал начальником почтового отделения № 50, проживал в г. Киеве по ул. Саксаганского, 133, кв. 4.

8 октября 1937 года был арестован НКВД УССР по необоснованному обвинению в проведении антисоветской деятельности (ст. ст. 54-7, 54-10 УК УССР). В процессе следствия виновным себя не признал. Постановлением НКВД и Прокуратуры СССР от 17 ноября 1937 года

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 26 ноября 1937 года. Сведений о месте захоронения в архивных материалах не имеется, и установить его, к сожалению, за давностью времени не представляется возможным.

В связи с поступившей в 1962 году в адрес Генерального прокурора СССР жалобой жены Малец Ф. Д. — Битепаж (Малец) Любви Александровны уголовное дело в отношении него было пересмотрено Прокуратурой УССР и определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда УССР от 22 декабря 1962 года Малец полностью реабилитирован.

Как видно из материалов дополнительного расследования по делу, Малец Ф. Д. характеризовался работавшими с ним сотрудниками как хороший специалист по почтовому делу, к своим обязанностям относился добросовестно, много уделял внимания вопросам подготовки кадров для отделений связи. В архивных материалах сохранился профсоюзный билет Малец Ф. Д., который можно возвратить дочери — Борщаговской В. Ф.».

Все открылось в жестоко обнаженном свете. Слух, что отец вскоре после ареста оказался в тюремной больнице, слух, таинственным образом возникший в октябре 1937 года, вдруг получил косвенное подтверждение: Валя и ее мать предчувствовали, что по натуре — гордой и вспыльчивой — сорокасемилетний Филипп не стерпит безответно не только побоев, но и грубого оскорбления, что *старомодная, несчастная*, в условиях рабства, натура неотвратимо толкнет его на бессмысленное, отчаянное сопротивление. Поразительно кратким, поспешным было следствие по *несуществующему* делу, месяца с небольшим хватило для вынесения смертного приговора и приведения его в исполнение. Как тут не заподозрить наглое и вовсе бессудное уничтожение человека, расстрелянного сразу же, когда его, после безрезультатных пыток, сумели наконец поднять с больничной койки. Душа Вали наполнилась гордостью от сознания, что Филипп Малец ни в чем не признал себя виновным, а значит, никого и не оговорил, остался до конца человеком честным и несломленным.

Могу свидетельствовать: год 1937-й был пережит спустя 52 года с неожиданной сотрясающей силой. Ведь все последние годы, думая о жертвах сталинщины, мы часто ломаем голову над загадкой самооговоров, думаем о том, что заставляло сильных людей клеветать на себя и других, признаваться в несовершенных преступлениях. *Рютинские* судьбы единичны, и Валя вправе гордиться тем, что отец, человек далекий от политики, оказался нравственно непогрешимым и, расстрелянный, выиграл свой единственный в жизни трагический бой.

Профсоюзный билет с марками, которыми выклеены странички членских взносов, — вот и все материальное, что осталось от былой

славной жизни, ее единственная реликвия. В 1937 году все еще брезжила надежда: а что как жив, жив и вернется?! Все еще возможно.

Чем эгоистичнее — при отсутствии эгоизма в характере — я прожил тот год и два последующих; чем искуснее и непростительнее, как показало время, была наша социальная и биологическая самозащита от трагического набата; чем исправнее мы в те годы служили, усаживались за накрытые столы, засыпали на чистых простынях, подолгу не вспоминая тех, кто погибал на Колыме, — тем отчетливее и горше с годами обозначалась во мне вина каждого из нас, вина поколения.

Есть счастливы, убедившие себя, что они все понимали и в 1937 году и раньше того, — быть может, им удастся обмануть иных простаков, но я большинство из этих *провидцев задним числом* помню по жизни, по службе и фронту, и у меня нет основания верить им.

Но если живо чувство вины за слепоту, за несопротивление 1937 году, то как можно выйти из этой беды с укрепившейся верой в людей? Ведь и я воспитался в атмосфере непререкаемого диктата *политики*, государственной необходимости, партийных указаний над нравственностью. Нравственность и мораль, если они так или иначе оказывались неудобными политике, обязаны были умолкнуть, склониться перед необходимостью. Это не обсуждалось, это была вера, религия, и кто исповедовал ее, был по-своему счастлив, защищен от скорби, от тирании ужасной мысли; жил делом, работой, в его душе могла царить гармония, вопреки всем несправедливостям, нужде и боли.

Возможно, тут срабатывала и слепая сила биологической самозащиты; мы были молоды, жили надеждами, надеждами и на то, что невинные будут оправданы судами, жили, не зная реального ужаса лагеря, как и немецкий обыватель не подозревал ада Освенцима или Майданека. Жили, и вокруг была жизнь, не только миллионы неведомых людей, но и десятки или сотни тех, чье существование близко касалось нас. Наше окружение, друзья, наши товарищи.

И эти вот люди, с памятным мне выражением глаз, со своими тревогами и колебаниями, во все трудные дни жизни укрепляли во мне веру в людей и, может быть, удерживали от падения.

Трижды собирал инструктор ЦК ЛКСМУ комсомольское собрание Комитета по делам искусств в Киеве — после «разоблачительной» обо мне статьи в «Комсомольце Украины», — стучал кулаком по столу, угрожал: «Вы хотите, чтобы Борщаговского посадили с комсомольским билетом в кармане?!» И трижды пятнадцать комсомольцев *единогласно* голосовали против исключения меня из комсомола, требовали проверки и еще проверки, еще комиссии!

Что за чудо! Что за идиллия? — скептически улыбнутся люди моего поколения, даже и не претерпевшие. Что сказать о тех, кто попал в костоломку, в ГУЛАГ, объявлялся агентом не одной, а нескольких

иностранных разведок? О тех, кому и не снились руки голосующих товарищей?

Через три с половиной года, в 1940 году, я, тогда уже член партии, провинился перед Никитой Хрущевым, критикуя пьесу его любимца и фаворита Александра Корнейчука. Заведующий Отделом культуры ЦК КП(б)У, литературовед Ю. Кобелецкий, передал секретарю партийного бюро Киевского театрального института прямое указание Хрущева: «Гнать его из партии!» «Даже не подумаем ставить этот вопрос на партийное собрание, — ответил Иван Пискун, секретарь партийного бюро института. — Никто не поддержит исключение Борщаговского за статью о комедии Корнейчука „В степях Украины“. Мы склонны строго указать ему за *либеральную* критику вредной пьесы...»

Сегодня трудно и представить себе такое, но было так. Мог ли я не проникнуться и тут верой в совесть и принципиальность людей?

Существовала, вероятно, и другая причина уступчивости Хрущева, о ней тогда же рассказал мне зять Никиты Сергеевича, Виктор Гонтарь, и я, справедливости ради, не могу умолчать о ней. За обедом в доме у Н. С., желая угодить своему гостю, Корнейчуку, и уже на подпитии, хозяин дома вслух предложил не только выгнать меня из партии, но и... выселить из Киева. Корнейчук горячо заступился за меня, уверяя Хрущева, что я честный человек и критик, только придирчив к нему, но без умысла. Возможно, спасло меня это, а не дерзость Ивана Пискуна.

И наконец, в 1949 году, после расправы, исключения из партии, после того, как меня с семьей вышвырнули из квартиры на дворовый асфальт, друзей вокруг меня — пришлого, не москвича — прибавилось. Испугались, скрылись в тень немногие, на удивление немногие, но пришли новые друзья, сделавшиеся навсегда близкими. А ведь гроза 1949 года была нешуточная, никто не мог предсказать, чем кончится нагсадное, истерическое поругание. «Берут тихо»? Может быть, но можно взять тихо после громких криков, выдержать паузу и увести однажды ночью, как увели Иоганна Альтмана, чье имя обычно открывало наш список...

Молюсь на друзей; выше не могу поставить ничего, — это подвиг долгий, совершенный не в порыве схватки, а мощью и одновременно простотой нравственного начала. Я еще назову имена этих друзей.

Но случалось, мне психологически помогали и люди совсем другого круга, не бывшие близкими мне ни прежде, ни потом, такие, как генерал-лейтенант Сергей Савельевич Шатилов — заместитель начальника ГЛАВПУРа — или ничего не подозревавший, но оказавший мне незримую поддержку Дмитрий Трофимович Шепилов.

4

В январской книжке «Нового мира» за 1948 год мы напечатали повесть Владимира Добровольского «Трое в серых шинелях», заметную

в ту пору книгу, по-новому выразившую умонастроение вернувшихся с войны молодых, их вживание в мирную городскую жизнь, их несломленное жизнелюбие. Знакомство с Добровольским, недавним фронтовиком, аспирантом филфака Харьковского университета, перешло с годами в длящуюся уже четыре десятилетия дружбу. Немногословный, худой (кто бы поверил этому, зная его нынешнего), высоченный молодой человек очень располагал к себе скромностью, культурой, чувством юмора, одаренностью натуры. Повесть произвела на меня самое благоприятное впечатление, с интересом отнесся к ней и К. Симонов. Я вел рукопись, редактировал ее довольно осторожно, — это был один из первых моих опытов редактирования прозы; может быть, поэтому я особенно не терзал автора. И, закончив работу, я не думал, — к счастью, и автор повести не думал, — что мы предложим читателю нечто совершенное, — в набор ушла добрая, нравственная, юношески наивная повесть. Не переоценивая ее, мы искренне радовались находке, понимали, что встретились с одаренным литератором, которому суждена писательская жизнь, верили, что читатель, особенно молодой, с интересом примет повесть.

И вдруг — гром с ясного неба: на страницах «Правды» Осип Резник, истосковавшийся по рапповским критическим рейдам, напечатал разгромную рецензию, находя повесть не только бесталанной, но и пошлой, неопрятной, наполненной «сексуальным томлением». Удивительная подробность: Добровольский в день выхода «Правды» откликнулся телеграммой в редакцию «Нового мира», извиняясь, что подвел нас, попросил не пересылать ему остаток гонорара (60 %), сообщил, что переводит редакции и те деньги, каких не успел еще истратить, а после наскребет и все остальное...

Молодой коммунист, начинающий писатель Вл. Добровольский нашел в себе мужество в самый разгар травли критиков-«антипатриотов» обратиться в Культпроп ЦК ВКП(б) с решительным письмом, копию которого он прислал мне в почтовом конверте, не дожидаясь okazji.

«Я знаю Александра Михайловича Борщаговского с ноября 1947 года, когда рукопись моей повести „Трое в серых шинелях“ попала к нему как к члену редколлегии журнала „Новый мир“, — писал он. — До этого я никогда крупных вещей не печатал, и мои представления о редакторах были весьма смутны и настороженны.

С первых дней знакомства с А. М. Борщаговским как с редактором я почувствовал в нем не только очень простого и благожелательно настроенного к начинающему писателю человека, но и человека с очень цельным партийным вкусом, как жизненным, так и литературным.

Тогда мне было очень дорого, что А. М. Борщаговский первый оценил здоровую идейную основу моей повести и крепко — не просто официально, а по-человечески, творчески, с большой внутренней верой

в повесть и заинтересованностью ее судьбой, — всемерно помог мне напечатать ее в журнале „Новый мир“.

Если из меня когда-нибудь выйдет настоящий писатель, я смогу еще раз повторить, что в самом начале своего творческого пути встретил в лице А. М. Борщаговского человека, оказавшего мне самую дружескую поддержку, которая в моей работе сыграла большую положительную роль».

Прочел ли кто-нибудь это письмо в Культпропе ЦК ВКП(б)?

Сомневаюсь. А если и прочел, то посмеялся или позвонил в Харьковский обком КП(б)У, чтобы призвали к порядку расхраб्रившегося вояку, новоиспеченного лауреата Сталинской премии Добровольского.

Я понимал, что это письмо, как и другие письма, судьбы моей не изменит. Но как много меняли они во мне, в моем самосознании и вере в людей!

Мы телеграфно потребовали от Вл. Добровольского прекратить самоистязание и перевели ему весь гонорар. Симонов просил нас спокойно отнестись к случившемуся, сказал, что это удар не столько по Добровольскому, сколько по нему (и он, несомненно, был прав), с этим нам придется сталкиваться не раз и потому надо привыкать. Что в литературе существовали враждебные ему силы, понятно и почти естественно, учитывая быстрое его возвышение в годы войны. Но недруги были и в Культпропе ЦК ВКП(б), в партийной печати и в «Правде», а это, при том что Симонов пользовался благосклонностью (почти как Фадеев!) Сталина, трудно объяснить. Мне не пришлось узнать, где, на каком этаже ЦК обретались эти люди, много ли их было, но одного ненавистника я знал и наблюдал. Это — некто Маслин, человек, который быстро разрушался физически и морально, из Культпропа ЦК был изгнан за непростительный бытовой проступок, трудоустроен в ИМЛИ им. Горького, но, разучившийся работать, спился и скоро перестал обременять собой культуру и советское литературоведение.

Может быть, и кое-кого из влиятельных людей в ЦК раздражала *избранность* Симонова, его как бы не полная подчиненность аппарату, возможность обращаться и посылать свои письма лично Сталину и от него ждать решения их судьбы, как это было с пьесой «Чужая тень». Симонов был умен и дипломатичен, аппарата никогда не задевал — партийная иерархия была для него, увы, свята и незыблема, — однако самой возможности *личного* обращения к Сталину могло оказаться достаточно, чтобы вызвать раздражение или скрытое неудовольствие хотя бы и Жданова. А *слуги* просцениума достаточно проницательны, умеют читать и скрытое недовольство.

Шли дни, я не находил себе покоя из-за статьи Осипа Резника в «Правде», так несправедлива и развязна была оценка повести «Трое в серых шинелях», — подобное *начало* способно убить в молодом

литераторе веру в свои силы. Необходим был поступок, совет Константина Михайловича сохранять спокойствие не отрезвил меня, — только поступок, действие могут дать выход возмущенным мыслям и эмоциям. Я не верю скептическим резонам: зря, мол, полез, зачем попусту тратить силы, никто тебя не услышит. С годами сердце мое переставало болеть только после поступка, публичного выступления, как бы тяжело ни пришлось за них платить. В душе наступает если не лад, то некоторое успокоение, мир с собственной совестью — сознание исполненного долга врачует.

Так поступил я и тогда: написал пространное письмо в ЦК, высказал резкое и *презрительное* несогласие с рецензией Осипа Резника в «Правде», написал, что если Резник прав, а я слеп и неопытен, то мне нельзя доверять редактуру и я прошу освободить меня от обязанностей члена редколлегии «Нового мира». Заведующая редакцией Зинаида Николаевна, *докладывавшая* Александру Кривицкому обо всем, что делалось, шепталось и только еще думалось в редакционных комнатах, сообщила ему о моем письме, которое перепечатывала машинистка редакции, и Кривицкий попросил познакомить его с текстом.

Случилось то, чего я и предполагать не мог, узнав уже Александра Кривицкого, его зоркую осматрительность, отсутствие сентиментальности, интеллигентских рефлексий и позывов к милосердию. Чем-то письмо затронуло его, он захотел поставить и свою подпись, только сняв ультимативную фразу об отставке, — заместителю главного редактора не пристало отзываться ультиматумом на *партийную критику*.

Письмо ушло в ЦК, потянулись безответные дни и недели. Я не мог оправиться от другой, самой страшной беды — гибели в Минске Михоэлса и моего друга Володи Голубова (Потапова). Мы с Валею ждали ребенка, я поверх головы был занят театром, редактурой и переделкой пьесы Вадима Собко «За вторым фронтом», счастливым для меня сотрудничеством с Алексеем Дмитриевичем Поповым. Но горькая мысль о поруганной повести не давала покоя.

В феврале — не упомяну числа, но это было за несколько часов до выхода номера газеты «Культура и жизнь» со статьей Маслина «Дубинка вместо критики» — нас с Валею в два часа ночи разбудил телефонный звонок. Кто-то раздраженный спрашивал Александра Михайловича: «Сколько их у вас в редакции — вы уже третий Александр Михайлович!» (Правда, в редакции нас было четверо: А. М. Лейтес, А. М. Ильницкий, я и опытный редактор прозы А. М. Дроздов.) «Я не разбудил вас?» — «Нет, конечно...» — малодушно ответил я, стоя на холодном полу в чем мать родила; спать, когда бодрствует Сталин и ЦК, было непатриотично. «С вами будет говорить Дмитрий Трофимович Шепилов».

Вот как развивался наш диалог:

— Вы редактировали «Трое в серых шинелях»?

— Я.

— Как попала к вам рукопись?

Почти следственный вопрос, он не предвещал добра.

— Автор прислал ее в Москву. Мне прислал. — Нужно договорить, на худой конец защитить журнал. — Я рекомендовал рукопись, редактировал, категорически несогласен с оценкой «Правды» и писал об этом в ЦК.

Я пододвинул себе стул, холодный, будто железный стул из реквизита Центрального театра Красной Армии (обе комнаты и кухня были нищенски обставлены списанной сценической мебелью), сидел нагишом, мысленно расставаясь с «Новым миром».

— У меня нет вашего письма, — сказал Шепилов нелюбезно. — Вы считаете, что повесть без недостатков?

— Они есть: это первая работа автора...

— Почему же вы не помогли ему устранить недостатки?

— Помогали и помогли. Это видно, если сравнить рукопись с журнальным текстом.

— Но недостатки остались и в публикации? Так? Почему не помогли доработать?

Я сказал, что существуют недостатки, от которых литератор избавляется с годами, с опытом, а иногда так и не освобождается до конца жизни; что, помогая автору советами, мы на каком-то этапе дошли до границы возможного для него сегодня, взвесили достоинства и слабости и посчитали, что достоинства перевешивают, почему и напечатали. Сказал, что это непереносимое условие работы с молодыми авторами, уважения их личности и терпеливого воспитания год за годом...

— Слабости! Недостатки! — Он будто поддразнивал меня. — Назовите хотя бы одну слабость.

— Ну, вот Тамара, центральный женский образ. Она «голубенькая», эфемерная, в ней нет истинной и полной достоверности, так сказать, человека во плоти...

— Почему не помогли? — перебил меня Шепилов недовольно: если диагноз так точен — лечи!

Я пустился в литературоведческие рассуждения, не пощадил и Фридриха Шиллера, сказав, что и гений не подвигнул его к созданию шекспировских, полнокровных женских образов, что не всем даже великим мастерам это удавалось.

Похоже, что я надоел собеседнику.

— Какого возраста Добровольский?

— Кажется, 1919 или 1920 года...

С этой минуты я слышал два голоса Шепилова: внятные вопросы ко мне и реплики «à parte», «под сурдинку», с прикрытой ладонью трубкой. Я эти реплики закавычу: «Молодой», — сообщил он кому-то.

— Воевал?

— Воевал. Награжден боевыми орденами.
— «Воевал, есть боевые награды».
— Он служит где-нибудь? Член партии или беспартийный?
— Коммунист. Служит в Харьковском университете и заканчивает аспирантуру...

— «Член партии... Свяжитесь сейчас же с обкомом...»

Мне показалось, что он обрадован анкетными данными Добровольского.

— Хорошо сделали, что напечатали талантливую повесть, — сказал он, помолчав. — Ложитесь спать, а утром читайте «Культуру и жизнь». Спокойной ночи.

Так я узнал, что Шепилов редактирует газету «Культура и жизнь», и сообразил, что разговор о Добровольском он вел, подписывая газетную полосу в печать.

Уснуть нам уже не удалось: мы дожидались минуты, когда протиснутые в дверную почтовую щель газеты упадут на пол.

«Культура и жизнь» вышла со статьей «Дубинка вместо критики», подписанной Маслиным. К нашему новомирскому письму в защиту повести «Трое в серых шинелях» он дотачал вступительный абзац о горьковской традиции помощи молодым и назидательную концовку. Письмо хранилось у него, вызывало в нем разлитие желчи, но, когда вдруг был дан приказ защитить повесть, Маслин оказался способным, быстрым на руку «автором», — статья *родилась* мгновенно (Шепилов: «У меня нет вашего письма...»). Через несколько дней узналось, почему «Правда» покорно приняла выволочку от «Культуры и жизни»: письмо *правдолюбцев* из «Нового мира» не имело ровно никакого значения, оно пригодились только Маслину, — о повести «Трое в серых шинелях» благосклонно отозвался Сталин.

Мое отступление «в Шепилова» и новомирские дела важно для главной темы, — в жизни все переплетено, наперед не оценишь важности каждой встречи, подробности, разговора.

Ночной телефонный диалог в феврале 1948 года расположил меня к Шепилову. А когда сотрудники Культпропа ЦК ВКП(б) по его поручению пригласили нас, театральных критиков, для обстоятельного и откровенного разговора о состоянии драматургии и театра, я укрепился в убеждении, что он доискивается правды, объективной картины и хочет добра делу, — не критикам хочет добра (такого не бывало, чтобы захотели добра критикам!), а всему театральному делу.

И случилось так, что с последней декады декабря 1948 года в незримом «поединке» сошлись Фадеев и Шепилов, но «взорвать» ситуацию, резко опустить чашу весов не удавалось ни тому, ни другому. Сделал это походя пустой, малообразованный человек, вскоре изгнанный, но тогда еще немаловажная персона — секретарь МК и МГК Г. Попов, вхожий к Сталину. В тот роковой день, по дошедшим до меня сведениям, он был принят с расположением, ибо явился с обещанием

очередного чуда, на манер лысенковских «чудес», — с идеей электротрактора, коему надлежало произвести революцию в упавшем сельском хозяйстве.

5

Писательская Москва знала, что Д. Шепилов не рекомендовал Фадееву начинать Пленум с никчемного, не дающего пищи для полемики и прений доклада Софронова. Но Сталин одобрил три пьесы (шедевры ведь рождаются редко, а тут сразу три шедевра), как же не дать автору одного из них выступить на пленуме с докладом!

Решение вовсе не рискованное, скорее безошибочное, жизнь это подтвердила. Но Фадеев, талантливый писатель, муж Ангелины Степановой, горестно переживавшей унижение МХАТа постановкой бездарных пьес, не мог не понимать всей убогости опусов, одобренных Сталиным. Всякий, кто хоть немного знал Фадеева, кто знал переписываемые им собственноручно в заветную тетрадь лучшие стихи современных поэтов, кто слушал его разбор — в упрек и в назидание московским прозаикам — «Гардениных» Эртеля, кто, наконец, читал его «Разгром» или «Последний из удэге», согласится, что вымученные схемы Софронова и Сурова не могли быть ему близки. Но, вероятно, истина и нравственность в который раз уступили политиканству, конъюнктурному расчету, службистской мысли, что надо выстоять, укрепиться на командном месте, а после все поправить, всех вразумить, все расставить по местам. Оно было непобедимо, это упование на после, вера в то, что неправое дело, безнравственное, постыдное, нужно делать бестрепетно во имя некой высшей, завтрашней цели. Как неотвратно шел Фадеев дорогой гибельных компромиссов, задыхался в разреженном до крайности воздухе 1937 года, как исстрадался укоряющими глазами отданных расправе товарищей, их, слышными ему одному, потрясенными, проклинающими голосами, — как обреченно шел он к своему искупительному выстрелу...

18 декабря 1948 года пленум по драматургии начался докладом Софронова. Он не дал пищи для размышлений или серьезного, озабоченного разговора о репертуаре театров. Неудивительно, что доклад не вызвал на трибуну никого из известных драматургов, кроме Корнейчука. Единственным из критиков, кто выступил в тот день, был, увы, я, вынужденный ответить Софронову по существу и по личному поводу. Из памяти Софронова никак не уходил мой доклад о минувшем театральном сезоне и критика «Московского характера», — в помощь ему подоспел Аркадий Первенцев, недавно возникший как драматург на афише Центрального театра Красной Армии («Южный узел»)

Пьесы Аркадий Первенцев не писал, он был только соавтором сценария двухсерийного фильма «Третий удар», в коем львиная доля авторской работы легла на кинорежиссера Игоря Савченко. Мы же с А. Д. Поповым, убедившись, что толку от Первенцева как драматурга ждать нечего, отпустили его с богом на Кубань, а после к морю, в Адлер, и принялись самостоятельно «вырубать» из двухсотстраничного сценария 60–70 страниц, пригодных для праздничного (к 30-летию Октября) театрального зрелища. В августе и мы с Валею впервые в жизни оказались в том же известинском санатории («Новый мир» печатается в издательстве «Известия»), я захватил туда для Первенцева экземпляр *пьесы* «Южный узел», испытывая притом еще и подлое «интеллигентское» чувство неловкости — как-то ему понравится собственная пьеса?! Ведь на обложке только его имя, без Игоря Савченко, а он текста не читал, многого по новизне не узнает, — не обидится ли он на наше с А. Д. Поповым самоуправство? Не обиделся! Даже не стал читать, сказал: «Посмотрю на генералке, чего там!» Вот так бодро, по-генеральски начался театральный дебют Первенцева, началась и, строго говоря, кончилась его карьера драматурга.

Возникновение касты сановных, «непогрешимых» литераторов, точнее, литературных деятелей, чьи писания — любые! — встречали только похвалу и громогласное признание, привело к нравственной и творческой деформации. Именитые авторы сбрасывали на плечи редакторов (чаще всего грамотных, опытных, с развитым вкусом женщин) сотни и сотни своих неухоженных страниц, не имея потом ни случая, ни времени, ни даже желания взглянуть на редакторскую правку или хотя бы прочесть верстку своей книги.

Слово *художника* падало в цене: если его не выстрадал торопливый автор, то откуда бы возникнуть чуду — откуда бы взяться полновзвучному слову? Редактору оставалось только перешерстить рукопись, убрать несообразности, описки, кричащие проявления безвкусицы — похозяйничать бестрепетной рукой, если он храбр или служебно независим. Сколь фантастична расхожая в те времена внутриредакционная оценка прозы: «Книга нужная, ну, а язык... Язык поправим». Такова была примета времени — времени массовых, разделенных на три сорта (три степени!) Сталинских премий, времени служебных карьер в литературе и тотального вокруг нее политиканства, времени «мастеров», то ли никогда не знавших, то ли растерявших в конъюнктурной спешке муку и радость творчества: когда в *слове*, и только в слове, в единственном для писателя слове, только так, и не иначе, мог воплотиться мир их действительности и фантазии. Не потому ли так разрушительно беспечен к своим страницам сделался с годами Ф. Панферов? Не потому ли эстетствовавший в молодости В. Кожевников так небрежно и неуклюже напяливал на себя маску *народности*, этакой простоты, за которой уже

и не просматривалось искусство? Не потому ли он бросился по начальству с рукописью романа «Жизнь и судьба», не понимая, что книга *выстрадана, рождена*, а не сочинена и убить ее уже невозможно?

Еще живы некоторые из тех, кто редактировал многолистные эпопеи своих главных редакторов, они могли бы с пользой для литературы запечатлеть кое-что из устного, красочного на сей счет фольклора.

Софронов бегло коснулся «Закона чести» А. Штейна, мягко пожурил пьесу, разоблачавшую уже затравленных к тому времени Клюева и Роскина, за иллюстративность, невразумительно, уклончиво высказался о «Молодом лесе» Н. Погодина, неодобрительно о новой комедии К. Финна, покуражился без всяких доказательств или цитаций над пьесами ленинградских авторов (И. Меттера и Я. Ялунера) и обрушил неукротимый гнев на совратителей советского театра — театральные критиков. И ни слова о «Зеленой улице» или «Московском характере»! Теперь, после слухов об одобрении сделавшихся модными пьес Сталиным, умолчание о них в докладе должно было показаться подвигом скромности. Не осмелился Софронов коснуться пьес серьезных, именитых драматургов, пьес, убиенных совместными усилиями партийных чиновников, цензоров и печати, принесенных в жертву молоху приснопамятного решения ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров.

Пустота, безмыслие и тупая — до воплей, до косоглазия — ненависть к театральным критикам, к урезанной и жалкой самостоятельности их суждений. Но театральные критики не были собраны вокруг одного журнала, вроде «Литературного критика» 1940 года, их нельзя было прихлопнуть одним махом, да еще с улыбкой, под благовидным демагогическим предлогом. Пришлось изобретать нечто оригинальное, небывалое, идти «новаторским» путем, быть может не предвидя размеров будущего бедствия, не ведая того, что смрад истребительного огня перекинется на многие отрасли науки и техники, отравит нашу духовную жизнь, что даже интеллигент Анатолий Глебов, взбодрясь, объявит священную войну против «растлителей русской музыки Шостаковичей и Прокофьевых».

Мне пришлось выступить, хотя по пути к трибуне меня придержал за рукав Аркадий Первенцев, очевидно полагая, что адлерский пляж и мои труды над его текстами сблизил нас, и шепнул: «Помни о Вале и детях!..» Я успел бросить через плечо: «Помню, потому и иду выступать». Далеко не сразу я понял, что уже тогда Первенцев знал нечто серьезное, отнюдь не литературное, нечто ворочавшееся и вызревавшее в чьих-то кабинетах: не Георгия ли Попова? Ведь этот секретарь МК и МГК часто делил застолье с Софроновым и

Первенцевым, а пьесу «Московский характер» считал написанной по своему персональному «социальному заказу».

Но делать нечего; правило жизни — не прятаться, отвечать поступком, идти до конца, чтобы, теряя многое, не потерять самоуважения, — сработало. Ведь картина была ясна: зал, из которого с трудом выманили к трибуне после Первенцева двух ораторов из республик, и вновь — долгое, как на постылом профсоюзном собрании, угрюмое молчание — никто не хочет говорить. Что-то ложное, недоброе ощущается в самой атмосфере зала.

В президиуме, кроме Фадеева, почти все известные драматурги: Л. Леонов, А. Корнейчук, А. Крон, Вс. Вишневский, Б. Горбатов, А. Файко, К. Симонов, Б. Лавренев, Н. Погодин. И у каждого — кроме двух последних — запрещена последняя по времени или недавно написанная пьеса или, как у Симонова, угрожающе «заморожена» драма «Чужая тень», посланная Сталину. Что может быть тревожнее, а то и предосудительнее, чем такое затянувшееся молчание? Не лучше ли прямой цензурный запрет? Он прост, однозначен, шею не ломит оттого, что заглядываешь слишком высоко, на горние вершины.

Я напомнил о речи Фадеева на съезде в Киеве, о том, что, краткая, она заключала больше мыслей и самокритики, чем пространный доклад Софронова. Сказал, что сколько-нибудь серьезный разговор о сегодняшнем репертуаре может начаться, если заговорят сидящие за столом президиума драматурги. Надо понять — что случилось. Если именитые драматурги все разом как-то разошлись с эпохой, с ее нуждами и высокими идеалами — по мелочам пьесы таких драматургов не мытарят и не запрещают! — то кризис слишком велик и загадочен, без помощи самих драматургов нам в беде не разобраться. Если же запреты несправедливы, вредны для искусства, — а я напечатал статью о пьесе Бориса Горбатова «Закон зимовки» и нахожу пьесу нужной, идейно здоровой, — если тотальные запреты — самоуправство цензуры, нам надо общими силами отстоять честный труд и честь писателей. «Если бы тов. Софронов, — цитирую по стенограмме, — хотя бы попытался проанализировать эти пьесы, мы сообща, обсуждая их, пришли бы к полезным выводам, никак не входя в противоречие с постановлением ЦК от 1946 года».

Тут Фадеев-службист почувствовал, что упрек докладу задевает и его, — ведь это он, вопреки рекомендации Культпропа ЦК, выпустил на трибуну докладчика с убогими страницами. И Фадеев перебил меня репликой:

«Кроме последней работы Симонова, все эти пьесы были написаны до решения Центрального Комитета партии и были все абсолютно *обсуждены* после решения».

Цитирую по стенограмме:

«т. Борщаговский: — Это подход скорее канцелярский, календарный, чем творческий. Я не знаю ни одного собрания

писателей, а тем более Всесоюзного пленума, на котором бы эти вопросы, эти пьесы, обсуждались так серьезно и глубоко, чтобы посчитать, что мы во всем разобрались. (Голоса: „Правильно“.)

Я говорю об этом вовсе не потому, что хочу обязательно лишний раз напомнить о неудачах, но истина в том, что серьезного разговора о послевоенной драматургии у нас не было. Не будем педантами, сверяться с датами, мерять месяцами, мы говорим о литературе, о внутреннем мире писателей и не получим никаких ответов, если не заговорим на более ответственном и высоком уровне мысли...»

Не стану утомлять читателя полным пересказом своего выступления; напомню, что помимо «Чужой тени», на которую уже невольно легла тень высочайшего отвержения или небрежения, среди запрещенных цензурой оказались: «Золотая карета» Леонова, «Второе дыхание» Крона, «Закон зимовки» Горбатова, «Капитан Костров» Файко, «У стен Ленинграда» Вишневского, пьесы Финна, Ялунера, Меттера и многое другое, чего и не упомнить.

Была среди них и «Мечта» Корнейчука, пьеса, важная для моего рассказа, и я сделаю отступление по поводу «Мечты».

Напомню только, что выступил я перед перерывом на обед и не успел собрать бумажек, которые неведомо зачем беру с собой на трибуну, как услышал фразу Фадеева обо мне, обращенную к Корнейчуку:

— Вот е... его мать: ведь правду сказал!

Не скрою, сия непарламентская похвала порадовала; матерщину я только этот единственный раз и слышал из уст Фадеева, он казался и кажется мне сегодня человеком иного, более высокого духовного порядка, но кто из нас прожил, не осквернив уста! Хуже другое: то лицемерие и кликушество, площадная демагогия, которые обрушились на нас после долгого обеденного перерыва и бушевали сначала при сверкающей люстре, а после — когда казалось, не выдержала лжи и лицемерия и нечистая «электрическая сила», — демагогия воспарила еще выше при колеблющемся никлом огне зажженных свечей. Сие действие шло в Дубовом зале, бывшей «главной зале» масонской ложи Москвы, где стрельчатые цветного стекла окна. Стоял декабрь, началась предрождественская неделя, в эту пору здесь и днем держится полумрак. Автор «Мечты» побил все рекорды демагогии, он отчасти и сам превратился в шутовской, фантасмагорический персонаж.

А что думал о «Мечте» Корнейчука Александр Фадеев?

Я уже писал о том, что осенью 1946 года Константин Симонов появился в Киеве, вместе с журналистом Василием Коротеевым они поселились в гостинице на Владимирской улице. Симонов по приезде позвал меня: по пути в Киев он дочитал в только что вышедшей книжке журнала «Знамя» первую половину романа Виктора Некрасова и спросил, не знаю ли я его.

Знал ли я Некрасова?

С Виктором Некрасовым мы были знакомы еще по довоенному Киеву, в пору его театральных увлечений, а с весны 1945 года сошлись коротко, сделались близкими друзьями на долгие годы. В конце марта или в первых числах апреля 1945 года Виктор оказался в Киеве, приехал на короткую побывку после госпиталя. Война шла к концу, он был ею сыт по горло, к *апофеозу*, к наградам не рвался, подспудно и неотвратимо всем существом тянулся к той работе, которая и стала его жизнью.

За два месяца до того, в феврале 1945 года, я был отозван из армии и назначен заместителем редактора республиканской газеты «Радянське мистецтво», и когда я предложил Некрасову должность заведующего отделом архитектуры и изобразительного искусства, он согласился без колебаний. Демобилизовать его оказалось не трудно: на Украине тогда существовал Наркомат обороны, мы обратились туда с письмом Комитета по делам искусств УССР — и при поддержке Отдела культуры ЦК КП(б)У все благополучно решилось.

Весенний Киев, уцелевшие друзья, мама — Зинаида Николаевна, глотающая книгу за книгой в небольшой солнечной квартирке на Кузнечной улице, — все снова было с Виктором. Но появилось и другое, то, о чем он до времени не заговаривал даже с друзьями, — святая святых, рукопись, трагический опыт жизни, переплавленный в страницы прозы. Не заговаривал до той поры, пока не возникла рукопись, немного громоздкая, но готовая рукопись, которую мы смогли прочесть.

Виктор, хотя он был избран секретарем партбюро редакции, вдруг исчезал, пропадал на два-три дня, а то и на неделю, готов был молча, с иронической улыбкой принимать любые упреки и выволочки, подозрения, что он околачивается на дарницком, пляжном берегу Днепра (иначе откуда бы взяться густому загару!). Но когда открылась причина его редакционных «прогулов», и я, и редактор газеты добрейший Ив. Ив. Чабаненко закрыли на них глаза.

По просьбе Симонова я позвонил Виктору домой на Кузнечную, и он примчался молниеносно, в вечной короткой ковбойке навыпуск, в узких брючках (прообраз будущих джинсов), в неизменных спортивных, пахнущих резиной и «подновленных» чернилами тапочках. Симонов отдал ему журнал, сказал, что если вторая половина так же глубока и интересна, то он написал лучшую из всех, что были до этой поры, книгу о Сталинграде и об этой войне вообще. Наклонив мальчишескую голову с лежащим на лоб чубчиком, Некрасов молча выслушивал похвалы, улыбался, переступая с ноги на ногу... Я знал, что у него на уме: скорее в трамвай, остановка рядом, на углу Владимирской и Прорезной, и домой, к маме, к друзьям, которые вместе с ним ждали выхода «Знамени», волновались и не были вполне уверены, что публикация состоится. Тому были свои причины: именно в это время Дмитрий

Поликарпов ополчился против книг о войне, разрушавших героические плакатные стереотипы; первыми его мишенями были «Спутники» Веры Пановой и роман Некрасова.

Симонов предложил мне войти в редколлегию «Нового мира», — в те дни он ее формировал и посчитал, что я смогу принести пользу журналу, занимаясь литературами республик и разделом искусства. Я согласился, немного удивив его тем, что не захотел идти в штат, на зарплату, сказал, что служить буду у Попова, в театре, Алексей Дмитриевич настойчиво приглашал меня в завлиты. ГЛАВПУР дважды обращался к Н. С. Хрущеву с просьбой откомандировать меня, но Киев на письма даже не отвечал, Хрущев, как оказалось, держал в памяти ненаказанного отступника, развязного критика комедии А. Корнейчука «В степях Украины», и не унижался до ответа. (В тяжкие августовские дни 1942 года у Сталинграда, увидев во фронтовой газете «Красная Армия» мой страничный очерк «Двое», Хрущев строго спросил у редактора Льва Троскунова: «Это какой же Борщаговский? Не критик ли из Киева?» Похолодев, Лев Израилевич выдохнул: «Да, тот...» — «Ладно, — сказал после паузы Н. С. — Вот пусть и занимается делом, а не учит Корнейчука, как писать пьесы...»)

Буду служить в театре, сдам киевскую квартиру, театр поселит меня, Симонову не придется думать о моем жилье. Интересы мои так тесно, узко сходились на театре и драматургии, я так мало был осведомлен в делах журнально-литературных, что у Симонова были все основания вернуться в Москву без меня.

Ведь я был далек от глубокого, профессионального понимания прозы — это несомненно. Радуюсь похвалам Симонова в адрес Виктора, его романа, я, слушая эти похвалы в гостиничном номере, отчасти и поражался: отчего такая горячность и щедрость оценок?

Увы, я, один из первых читателей рукописи, остался не разочарован ею, но как-то спокоен, не взбудоражен и не взволнован. Обширность первоначальной рукописи романа, его лишённое внешних эффектов движение, его, как мне показалось, ровность не вызвали во мне восторгов. Мне и не с чем было сравнивать роман Виктора — очень многое в литературе проходило тогда мимо моего сознания, мерилom прозы для меня оставалась классика, и только классика, или уж такая «приперченная» проза, как рассказы Бабеля или сатирические романы Ильфа и Петрова. Процесс развития современной прозы как новая реальность мною еще не осмысливался. Если исходить из этого, то мне и не следовало возникать в редакции «Нового мира», — пусть читатель знает и это, ибо так оно и было.

Но что-то Константин Симонов знал или подозревал обо мне, чего не знал и я, во что-то поверил, — и на следующий день мы сели в московский поезд. Меня, новоиспеченного члена Союза писателей (с лета 1946 года), ждало представление Александру Фадееву:

предложение о редколлегии журнала на рассмотрение Оргбюро ЦК ВКП(б) должен был подписать Фадеев.

Я уже упоминал об обеде у Симонова в доме на Беговой. Разговор шел самый нецеремонный и дружеский, Фадеев расспросил меня о моих делах, ни в душу, ни в «анкету» не лез.

И вдруг, отвлекаясь от темы, уже переговорив со мной обо всем, Фадеев сказал:

— Не знаю, как помочь Ангелине. Ее назначили на главную роль в пьесе Сашка «Мечта», она попросила меня прочесть. Знаешь, Костя, какой-то бред. Ничего не могу ей посоветовать...

Я даже вздрогнул: господи, как хорошо, что умный, понимающий человек справедливо оценил пьесу, доставившую мне и моему другу, Абраму Акимовичу Гозенпуду, такие огорчения.

Имя ленинградского профессора, доктора наук, талантливое музыковеда и театроведа, полиглота А. Гозенпуда ныне широко известно. Тогда и он был киевлянином, перевел на украинский язык несколько пьес Шекспира, с датского — комедии Людвиг Хольберга, с немецкого — лучшие пьесы Гауптмана, много и с блеском писал о театре Леси Украинки, о выдающихся музыкантах России, преподавал в консерватории и театральном институте.

В июле 1946 года нам обоим в один день позвонил Корнейчук, сказал, что нам давно пора вступить в писательский коллектив, напрасно мы сторонимся Союза, он должен стать и нашим домом. Это был шаг добрый, искренний, без задней мысли. Но надо было знать гипертрофированную застенчивость и скромность Абрама Акимовича и мое наивное представление, что писатель — это нечто такое высокое, такое другое, отличное от нашей поденной работы, чтобы понять, почему мы так и не пришли на Подвальную улицу, в Союз писателей с заявлениями о приеме. Вспоминали разговор с Корнейчуком, настойчивые звонки секретарши Союза писателей, чувствовали в душе и некоторую благодарность, но заявления о приеме в Союз писателей у нас просто не получались; едва написав строку, мы со смехом объявляли себя Хлестаковыми, авторами «Юрия Милославского».

Месяц спустя, так и не подав заявлений, мы получили выписки из решения СПУ о нашем приеме^[7]. Мы встретились с Корнейчуком, вручившим нам членские билеты. Обласкав нас, одарив обаятельной белозубой улыбкой, он сказал — напомним случившееся за сто лет до этого с Белинским и молодым Достоевским, — что хотел бы не «войны», а товарищеских отношений, ведь о пьесах лучше говорить до премьер и публикаций, когда критика и спор могут принести творческую пользу.

Мы унесли от него по экземпляру пьесы «Мечта».

Сколько могли, оттягивали встречу с ним и с Вандой Василевской, преданно его любившей женой. Ее польская довоенная трилогия была в

числе моих любимых книг, мне в них чудилась та же сила и народность, что и в романах Бласко Ибаньес.

«Мечта» поставила нас в тупик не меньше, чем Ангелину Степанову.

Вот с чем мы столкнулись, что должны были разыграть актеры Художественного театра: у героини «Мечты» (не запомнив имен, назову ее Мария) — день рождения, она ждет возвращения любящего мужа, ждет подарка, обещанных хороших *чулок*, — в послевоенный год и это непростая забота. А муж, забыв обо всем, по дороге домой истратил деньги на покупку... микроскопа. Муж — ученый, кажется, крупный ученый, но зачем-то ему понадобился выставленный в магазинной витрине микроскоп.

Мария потрясена. Она разрывает с невнимательным мужем. Ей нужны деньги на жизнь, и она решает продать присланную ей братом-полковником из Германии старую картину. С этим полотном она попадает к антиквару, разумеется, чужестранному агенту, валютчику и проходимцу. В интеллигентном доме Марии и ее ученого мужа никому и в голову не приходило, чье полотно содрал с подрамника брат-полковник, но осколок старого, собственнического мира сразу же узнает знаменитую картину Рембрандта. Мария потрясена тем, в какую она угодила западню, на какую вступила гибельную стезю, и она попадает в нервную клинику.

Как завершить пьесу, как выволить героиню из дома для нервных больных? Выход есть: нужно принести в палату чулки, то, чего Мария ждала в день своего рождения, это вернет ее в исходное состояние.

К общей радости, так и случается.

Если я и упростил сюжет, то только в той мере, в какой краткий пересказ неизбежно схематизирует его. Мелодрама дурного вкуса, плохо написанная, до нелепости не продуманная. Правда, спустя несколько месяцев Климент Ворошилов, ведавший какое-то время культурой в Совнарком СССР, запретил «Мечту», но по другой, парадоксальной для нас причине, — не отыскав в ней никакой «крамолы», мы с Гозенпудом не знали, куда деться от элементарной неловкости. Абрам Акимович брел за мной, порываясь сбежать, твердя: «Говорить будете вы, Шура. Вы, вы, это вы втянули меня, я занимался Шекспиром и Чайковским... и оставьте меня в покое!» Близорукий с детства, с поражавшими меня телескопическими стеклами очков, мучительно страдавший от любого проявления пошлости, даже непрофессиональности, он обреченно смотрел на милиционера, дежурившего у калитки, — Корнейчук был тогда в числе крупных сановников.

Милиционер предупрежден о нас, мы вступаем на светлую, узкую, в две цементные плиты, дорожку, протянувшуюся через двор к особняку. Вокруг не густой сад, а кустарники и два или три многоэтажных дома, с балконов которых и из окон особняк виден как на ладони.

Мы на веранде, на столе вино, вазы с фруктами, есть уже и виноград, и любимая поздняя иссиня-черная слива, и груши, и еще что-то, чего мы толком не разглядим; сунув на стол два экземпляра пьесы, мы чего-то ждем от хозяев, ждем какого-то выхода, счастливой случайности, милосердия. Василевская в роскошном халате, но что-то мне видится в ней, как всегда, печальное и высокое, сейчас ее жестковатые черты смягчены любовью к загорелому, красивому мужу, сверкающему белизной зубов и игрой живых, женственных глаз.

Идет разговор ни о чем, бродим вокруг да около, не трогая пьесы. Сливы и виноград не лезут в глотку; церемонный Гозенпуд в чесучовом пиджаке, а мне и в рубаше жарко, августовский пот катится по лицу. Абраша умоляюще смотрит на меня, и я заговариваю о том, что неясно, зачем муж Марии купил микроскоп: если это обыкновенный школьный микроскоп, то какой же он тогда ученый. Гозенпуд, ободряясь снисходительными кивками хозяев, замечает, что надо как-то оживить антиквара, слишком уж трафаретный получился образ, а вместе с тем «мефистофельски» неправдоподобный. Черт возьми! Могут же они уступить нам хотя бы антиквара — и мы заткнемся.

Ванда Василевская совершает ошибку: нельзя было трогать тени великих, Абрам Акимович пойдет на эшафот, защищая Шекспира, Бальзака, Толстого или, скажем, любимого чешского композитора Яначека.

— Что вы говорите! — раздался ее строгий, любящий голос. — Сашко прекрасно написал антиквара, это красиво, сильно, как у Бальзака.

Все взорвалось и рухнуло: забыта осторожность, милиционер, мимо которого нам придется вновь проходить, — Гозенпуд бросился на защиту Бальзака.

— Бальзак?! — взревел он. — Оноре де Бальзак?! (Как будто подвернись под руку другой Бальзак, и мы бы кончили миром.) Как вы можете! Это же... это рукоделие... школьное сочинение... бред!

Остановить его невозможно. Через минуту мы обреченно брели по асфальтовым «вафельным» плиткам, сзади шел Корнейчук, поддерживая нас под локти и непрестанно повторяя:

— Ничего, ничего... Все хорошо... Ничего... Не беспокойтесь...

Не вышло из нас Белинских, но и перед нами был не автор «Бедных людей», — увы, даже не автор «Гибели эскадры»: его уже развратила атмосфера избранности, обреченности на успех всякой написанной им страницы.

...И вдруг я слышу из уст Фадеева — а я его уже люблю! — «Прочел „Мечту“ Корнейчука, знаешь, Костя, какой-то бред!..».

Как мне хотелось поведать о нашем фиаско в Киеве на Обсерваторной улице, но я удержался, только сказал:

— Степанова права, я знаю пьесу. А вы бы сказали Корнейчуку, к вам он прислушается.

Реакция была неожиданной: Фадеев откинулся к спинке стула, рассмеялся, запрокинув голову и показав на меня пальцем:

— Костя! Кого ты в редколлегию берешь! Десять раз подумай. — Смех оборвался, он сделался серьезным. — Ничего я Сашку не буду говорить, не-ет! Пусть ему другие объясняют.

Наивный провинциал, я не понял тогда, как много значений скрывается за фадеевской политикой невмешательства, готовностью забыть, что он *глава* советской литературы, ну если не литературы, то Союза писателей.

6

Во время затянувшегося перерыва на обед в ЦДЛ судьба пленума была решена. Нечего взывать к активности московских и съехавшихся из республик драматургов. Нечего ждать, пока, на беду устроителей, разговаряются театральные критики, — а ведь могут, могут, они златоусты. Все эти Юзовские, Альтманы, Гурвичи, Малюгины могут испортить праздник.

С прокурорской, в традициях Вышинского, речью вышел на трибуну Фадеев. Не сразу, а спустя две недели она была напечатана полосой в «Литературной газете» под заголовком «О некоторых причинах отставания советской драматургии». Этой причиной оказалась критика, не то чтобы слепая или бездарная, а злонамеренная и взявшая верх в нашем театральном деле. Творцов одолели критиканы, которые «в первую очередь стремятся подбить ноги советским драматургам, отражающим новое в советской жизни», «стремятся расшатать доверие театров к советской теме и расхолодить их в деле постановки советских спектаклей в театрах». К этой поре личность Фадеева уже вполне сложилась: позади жестокая рапповская школа, разгром критики в 1940 году, привычка к имперским нравам и жестам, уверенность в безнаказанности любого слова, если оно, пусть и лживое, приправлено необходимой фразеологией, стереотипами верности и преданности. Чего стоит корнейчуковская «Мечта», он понимал; что я сказал правду, тоже признал, — сопровождавший его слова «матерок» выразил только одобрительное удивление; что «Зеленая улица» и «Московский характер» — пустышки, пошлость, пытающаяся угнездиться в святом храме русского театра, — и это он понимал не хуже любого из нас. Но позади у него было и нечто пострашнее: необходимость принять, а то и освятить своим именем истребление в 1937 году сотен честных писателей, его коллег. А случалось, и друзей. Такое сгубит любую душу, любую натуру, даже и прекрасно сложенную природой, взыскующую изначально красоты, правды, гармонии; такое

ввергнет в тяжкие запой и подтолкнет, когда станет неспособен, к выстрелу в сердце.

В феврале 1949 года, уже после статьи в «Правде», после изгнания меня из театра и редакции «Нового мира» по решению Оргбюро ЦК ВКП(б), подписанному Маленковым, после исключения из партии, Алексей Попов все еще не мог смириться с несправедливостью и искал возможности поговорить с Фадеевым, а тот, предчувствуя неудобный разговор, ускользал. Но вот они встретились на заседании Комитета по Сталинским премиям, Фадеев — председатель Комитета, Алексей Попов — один из его новых членов, — встретились вдруг в уборной — благословение непредвиденностям жизни! И Алексей Дмитриевич принялся уверять Фадеева, что со мной произошла явная ошибка: только за два сезона я отыскал для ЦТКА семерых драматургов-дебютантов, работал с ними, помогал, театр поставил пьесу А. Барянова «На той стороне», «Южный узел» А. Первенцева, «Последние рубежи» Ю. Чепурина, «Сказку о правде» М. Алигер, «За вторым фронтом» В. Собко, «Степь широкою» краснодарского автора Н. Винникова, «Призвание» А. Кузнецова и Г. Штейна; литчасть театра стала своего рода лабораторией советской пьесы и т. д. Гордый, независимый человек, Алексей Попов почти униженно просил, торопился высказать главное, что могло меня защитить...

— Он смотрел на меня ясными глазами, — поражался потом Алексей Дмитриевич. — Сказал: «Я обратился к ним с отеческой, доброй критикой, а они затеяли возню; теперь два-три года я ничем не смогу им помочь...» Черт знает что такое! — воскликнул Попов. — Он верил в то, что говорил; понимаешь, верил! Он держался как обиженный, а не виноватый! Я перестаю понимать людей!

Обвинения в идеологическом вредительстве — «расшатывание доверия театров к советской теме, подбивание ног советским драматургам» — в представлении Фадеева были и «отеческой» и «доброй» критикой! Нужно ли удивляться тому, что, выполняя поручение Маленкова, он в соавторстве с перевертышем Давидом Заславским сотворил и один из позорнейших документов времени — статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», со страниц «Правды» взывавшую к расправе над нами.

«Безродные космополиты», «антипатриоты» — это посерьезнее, чем обвинения в эстетстве или злостных отступлениях от реализма. Правда, и здесь у Фадеева нашлось алиби — ведь слова «космополиты», «антипатриоты» произнес Сталин, прогоняя посрамленного Шепилова из высокого кабинета; это Сталин, защищая Фадеева, отшвырнул от себя письма театральных критиков и изрек: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК товарища Фадеева».

Нашлось алиби, как находилось всегда, год за годом, пока груз лжи и нравственных компромиссов не сделался гибельным для него самого.

Я назову речь Фадеева *неопрятной* во всех отношениях. Играя судьбами людей, невольно повинуюсь давившим на него — отнюдь не антисемита — юдофобским страстям других людей, «сомкнув ряды» с Суровым и Софроновым, понимая, что вся затея дурно пахнет, Фадеев для «интернационализации» списка грешников включил в него Малюгина и Бояджиева, уже много лет занятого в основном историей западного театра, чистым фундаментальным театроведением.

Леонид Малюгин тоже почти оставил критические берега, писал пьесы и киносценарии. Давно не рецензировал современных спектаклей Иосиф Юзовский, углубившись в свою бескрайнюю по объему «Драматургию Горького» (он провинился перед суровыми и софоновыми только разошедшейся по Москве остротой: «Может быть, в этой навозной куче и есть жемчужное зерно, но я не петух, чтобы искать его!»). Еще раньше отошел от театра и обратился к анализу прозы Абрам Гурвич. Если послушаться разума и совести, рухнуло бы все: наскоро собранные в нездоровой памяти имена или списки, подсказанные нечистыми советчиками.

Во всем была своя логика и убежденность. Но прежде всего — инстинкт. Инстинкт самозащиты и самосохранения, порождаемый авторитарностью, а он всегда оборачивается агрессивностью. Неважно, что каждый из нас, взятый по отдельности, выпадал из фадеевской обвинительной схемы, дело не в *отдельных* людях (тут Фадеев выступает классическим учеником сталинской школы), а в самом существовании неподчиненной, свободной *мысли*, в отвратительном свойстве — чьим бы то ни было! — размышлять самостоятельно, высказывать суждения, не совпадающие с принятой, высказанной свыше точкой зрения. Мысль может и не быть высказана публично, и, не обнародованная, она жива, читается во взгляде, в усмешке, даже в гордом *нежелании* спорить, в заносчивом молчании. Она может быть одиноким криком вопиющего в пустыне, все равно авторитарность не пощадит ее. Ей не следовало бы существовать, нельзя было родиться, она злит и тревожит, нарушает стройность и гармонию мироздания, ее надо уничтожить.

Мне случилось испытать эту горькую истину на себе. Ну что бы Александру Корнейчуку и хору его апологетов в 1940 году с презрением отвернуться от моей статьи о комедии «В степях Украины»? Многого ли она стоила против сотен газетных и журнальных панегириков. Что она, наконец, против увенчания пьесы Сталинской премией?!

Однако *один несогласный*, наглец, шагающий не в ногу, индивидуалист и горделивец допекает, тревожит, так и хочется наказать его, стереть в порошок. И я искренне ценю благородство, с которым А. Корнейчук защитил меня во время уже упомянутого обеда в доме у Хрущева в конце 1940 года.

Этот *один* бесит потому, что за ним, что ни говори, *мысль*, а мысли дано особое, неподчиненное существование. И кто знает, сколько молчащих, не пишущих рецензий людей думают так же, а то и резче, беспощаднее. В самом деле, критика моя была весьма поверхностна и «малокровна», я вел разговор о художественной нищете комедии и не помыслив о безнравственности и ложности для тех, предвоенных лет конфликта между «негативным» Галушкой, который, видите ли, удовлетворился *достигнутым построенным социализмом*, и положительным председателем Чесноком, шагающим прямиком в зримый коммунизм. Мое критическое рукоделье было, увы, не добролюбовских «кровей», комедия не поверялась реальной жизнью, а критиковалась с эстетической школьной указкой в руках. Подобие мысли, намек на мысль. Но и намек оказалось достаточно, чтобы изгнать редактора московского журнала «Театр» И. Альтмана, а спустя полгода, на пороге войны, и меня, редактора украинского ежемесячника «Театр». И сегодня, спустя почти полвека, повторяется та же трагикомедия: попытка поднять корыстное преследование критики на уровень высокой политики, защиты якобы национальных интересов и святынь. Критик И. Дедков напечатал в «Вопросах литературы» статью о романе Ю. Бондарева «Игра», достаточно сдержанную, если иметь в виду очевидную слабость романа, его облегченную беллетристичность и психологическую недостоверность. В том же номере журнала помещена и другая, захваливающая роман статья Идашкина, печатались и десятки других захлебывавшихся похвалами опусов, книга вышла в «Роман-газете», издается и переиздается, словно наперегонки, чтобы стереть память о дедковских страницах, — но как мало это помогает!

Письмо Анатолия Глебова, с которого я начал рассказ, убедительное свидетельство того, как в атмосфере демагогии и авторитарности любая спорная мысль, несовпадение взглядов на границы реализма в искусстве, разница в оценке спектакля, творчества композитора или художника превращается в предмет неукротимой кровавой борьбы. Как низок оказался духовный КПД эпохи, сколько талантов не реализовалось или было отброшено, хотя бы и с закрытием «Литературного критика». В толстые литературные журналы, о которых лицемерно пекся Фадеев, охотнее звали бесцветных, «смирных», готовых *обслужить*, отдать свое перо местническим, групповым страстям и взглядам. Лучшее было отринуто, ушло в теорию или в горькое, полудремотное существование.

Фадееву до этого не было дела, ни в 1940 году, ни тем более в 1949-м. Надо было сломить несмирных, расчистить путь многолюдной, как оказалось, фирме «Суров и компания», сочинениям Софронова или Мдивани, чье творчество с годами уходило в таинственную, почти криминальную «дымку». Трудно было определить, на каком же языке пишет Мдивани: по объявлению — на грузинском, а переводит их на

русский некто Гольдман, респектабельный старший инспектор театров всесоюзного подчинения Комитета по делам искусств. Гольдман, увы, не знает грузинского, но и автор весьма слаб в нем, если иметь в виду не бытовой язык, а язык творчества, — как же совершается таинство творчества, откуда что берется и почему Гольдман получает весомую часть гонорара, как заправский соавтор? Однажды Фадеев взорвался, запротестовал против присуждения Мдивани Сталинской премии, но услужливая, я бы сказал лакейская, критика продолжала хвалить *именно язык* пьес Мдивани, русский авторский (а не переводчиком подаренный) язык как истинно народный, сочный, якобы хранивший самобытность, удаль, живую силу народа, прохладу и прозрачность равнинных рек, размах российских просторов...

Фадеев знал всему цену, в какой-то момент запротестовал против освящения *конторы* Мдивани Сталинской премией; но в больших делах «политика» была для него прежде всего. *Порядок*, любезный его сердцу, желанный «верхам», не должен нарушаться. Внешне речь Фадеева выглядела почти пристойно, этакая строгая, требовательная, и, если бы то, о чем он говорил, было правдой, ее можно было бы отнести к ораторским удачам. Совсем не то случилось с Корнейчуком. Выступил он темпераментно, с претензией на образность, метафоричность и выстраданность. Как смешны и жалки украшения, когда нет честной и сильной мысли! А тут еще гаснет свет — все как некое зловещее представление, и оратор настроился на театральные лады в духе инсценированного «Вия».

Я ждал полуобрученно, что он нанесет удар по мне. У нас с ним уже не только спор о комедии «В степях Украины», но и открытое несогласие по поводу его бутафорской исторической драмы «Богдан Хмельницкий», скептическая оценка пьесы «Банкир» и даже — даже! — трезвый, мой сдержанно критический взгляд на его так хваленную в тридцатые годы мелодраму «Платон Кречет».

Но обошлось. Корнейчук не назвал меня, и на этот раз победило благородство или здравомыслие. За все время ожесточенной травли «безродных космополитов» он только однажды на писательском собрании в Киеве сказал: «Про цю людину скажу тільки одне: я тричі в своєму житті плакав — один раз, коли померла мати, і двічі через нього!»^[8]

Скажу откровенно: я был благодарен Александру Корнейчуку за *непреследование* меня в те годы. Не могу избавиться от ощущения, что в глубине души он относился ко мне лучше, уважительнее, чем к своим панегиристам и медоречивым критическим лакеям.

Он поддержал Фадеева (о докладе Софронова и самом докладчике все как-то позабыли, словно его и не было) и поведал драматический эпизод смерти старой колхозницы-пятисотенницы. Назвал деревню, где жила она, мастер выращивания свеклы, назвал и ее имя, через десятилетия мне его не упомнить. Будто бы она, почувствовав

приближение смерти, попросила дать знать Корнейчуку, что хочет его увидеть перед кончиной. Он на машине помчался за десятки километров к ней и, к счастью, успел. Женщина протянула ему слабеющую руку и успела шепнуть, чтобы они, все они, честные люди, были осмотрительнее, боевитее, иначе «эти критики» сживут их со свету... Получалось так, что даже в глубинках, где нет ни театра, ни затравленных критиками драматургов, даже там на уме у простого, мудрого человека — одна забота, как уберечься от злонамеренных театральных критиков-«космополитов».

Чувство неловкости овладело людьми: помню, как прятали глаза темпераментные бакинцы, тбилисцы, ереванцы, как в замешательстве замерли карандаши стенографисток. Сюжет перещеголял даже нелепицы «Мечты», а Корнейчук — само обаяние, энергия, напор, молодость — отошел от трибуны с чувством исполненного долга.

После этого нечего было и думать о проблемах драматургии. Понурившись, пленум свернул свою работу, покорно и подавленно принял резолюцию по вопросу, которого и не было в повестке дня: о театральной критике.

Тогда и началось то, что Фадеев назвал в разговоре с Алексеем Дмитриевичем Поповым *возней*, — его борьба против Дмитрия Шепилова, длившаяся чуть больше месяца, до того дня, когда «судья на ринге», секретарь МК и МГК и ЦК ВКП(б) Г. Попов, поднял руку победителя — Александра Фадеева.

Память удержала еще одну подробность.

Президиум не спеша уходил с невысоких подмостков, Фадеев задержался с кем-то, и к нему через проход, расталкивая людей, бросился тяжело сбитый, коренастый Суров со своей массивной тростью-палицей в руках.

— Александр Александрович! — хрипло прокричал он. — Можно я вас расцелую!

Мне казалось, что Фадеев не сразу узнал просителя, и секунда, чтобы отшутиться, отпрянуть, была потеряна.

Фадеев неловко наклонился — он был выше Сурова и стоял на подмостках — под уста драматурга.

Может быть, и сам Суров не понимал еще, какие возможности открыл ему отныне Александр Фадеев.

7

Культипроп ЦК ВКП(б) фактически не признал пленума.

Дмитрий Шепилов не позволил даже «Литературной газете» напечатать принятую резолюцию, поскольку на пленуме не слушали доклада о театральной критике и не обсуждали ее проблем. Запрет Шепилова логичен со всех точек зрения, кроме авторитарной и амбициозной «точки» самого Фадеева. Он и его «команда», и более

всего Софронов, понимали, что не разум и логика и уж конечно не справедливость решают трудные проблемы, а *тактика* и обходной маневр. Кто-то сильный, если не всеильный, должен вмешаться и движением мизинца отшвырнуть Дмитрия Шепилова со всей его правдой и принципиальностью.

Потянулись тягостные дни. Фадеев, думается мне, жил с ощущением поражения. Литературная и театральная Москва знала подробности *поединка* Фадеева и Шепилова, и большинство радовалось бессилию Фадеева, но были и те, кто негодовал на Шепилова, а среди них и покровитель Софронова, грозный еще в ту пору Георгий Попов.

Была и «возня», если можно так назвать самозащиту оболганных критиков. Сотрудники Агитпропа ЦК обзванивали нас, рекомендуя обратиться с аргументированными письмами на имя Сталина. Мне позвонил Дмитрий Писаревский, но я исключил для себя столь высокий адрес, сказав, что не вижу повода тревожить *самого* Сталина своей обиженной персоной. Казни меня, сегодняшний взыскательный, всезнающий читатель, во мне затрепетал в порыве скромности Бобчинский или Добчинский. Не знаю, кому адресовали свои письма мои коллеги, помню только, что мудрый Гурвич не написал никому, в убеждении, что все ответы нужно искать в себе, что выход всегда заключен в самосовершенствовании.

Я написал десятистраничное письмо Дмитрию Трофимовичу Шепилову.

«Расправа, учиненная надо мной, — писал я, — имеет определенный смысл. Она свидетельствует о нетерпимом отношении к критике, о боязни критики. У руководителей Союза писателей не хватило большевистской самокритичности, чтобы вскрыть подлинные, глубокие причины отставания советской драматургии. По-видимому, в Союзе писателей по-прежнему намерены выделять группу лиц, фактически находящихся вне критики, оказывая им очень плохую услугу, из ложного представления о поддержании авторитета».

Опустите вышедшее из обихода слово «большевистской», и этот абзац подойдет к ситуации не только 48-го года, но и 1949-го, и 1959-го, и т. д., не исключая, кажется, и 1989 года. Что за беда, затяжная, неизбывная, — неисправимое и, увы, ничем, кроме *времени*, не наказуемое самоуправство литературных князьков.

«Расправа, учиненная надо мной, — утверждал я, — продиктована групповыми и личными соображениями, она является наказанием за принципиальную критику пьесы тов. Софронова „Московский характер“ — даже товарищеская критика тов. Софронова кажется ему и поддерживающему его тов. Фадееву недопустимой и нетерпимой. Запугивание критики, сваливание ее в одну кучу может принести только вред общему делу».

Ведь я и был тем *летухом*, по выражению Юзовского, что рылся в огромной куче... пьес и находил в ней если не жемчужины, то

отдаленно напоминавшие их стекляшки, радовался каждому проблеску, порой видел их и там, где их не было; обманываясь и ошибаясь, отыскивал одаренных людей, подталкивал их к писанию пьес, понимая, что дело это «хитрое», диковинное даже, вопреки ошеломляющему заявлению Мдивани (на собрании драматургов, созванном ГЛАВПУРОМ и Центральным театром Красной Армии), что «драматургия дэло нэ хытрое!». Более всего задело меня утверждение Фадеева о фасаде, парадном ходе, где все мы выглядим почти прилично, и о «черном ходе», где открывается истинное наше лицо, где плетутся заговоры и замышляются козни. И в письме Д. Шепилову я сказал о том, что Фадеев — член ЦК, политический деятель, и ему к лицу прямой, без обиняков, разговор; нужно иметь мужество назвать двоедушие или двойную жизнь — двурушничеством. Не знаю, как нарек свой донос на меня Анатолий Глебов, — в «Советском искусстве» он вышел под жирной шапкой: «Двурушник Борщаговский». В распоряжении Сурова и его «штаба» были и все наши письма в ЦК, руками беспартийного интеллигента Глебова, воителя против «Прокофьевых и Шостаковичей», была введена в обращение та *политическая* формулировка, которой я ждал от Фадеева.

С падением Д. Шепилова ничто не сдерживало размашистого демагога Сурова. Но до падения оставался еще долгий зимний месяц. Приближался Новый год, после некоторых колебаний, понимая, что без позволения ЦК В. Ермилов резолюцию пленума не опубликует, Фадеев позвонил Шепилову и спросил, вправе ли он напечатать в «Литературной газете» свою речь. Этого, само собой разумеется, не запретишь: слово Фадеева о театральной критике, или, иначе, «О некоторых причинах отставания советской драматургии», напечатали.

Казалось бы, Фадееву можно бы и удовлетвориться этой публикацией, — резолюция пленума только повторяла его речь с незначительными купюрами. Но не таков был его характер: член ЦК, руководитель Союза писателей, председатель Комитета по Сталинским премиям, — он не смирился.

«Возня» продолжалась.

Редактор газеты «Советское искусство» Вдовиченко (след его спустя время затерялся где-то в МГУ) пригласил меня и вызвал сотрудника газеты Якова Варшавского; это случилось после публикации речи Фадеева в «Литературной газете». Вдовиченко задумал поспорить с Фадеевым, дать в «Советском искусстве» ответную полосу, разбить по пунктам его обвинения, опираясь на публиковавшиеся статьи и рецензии ошельмованных критиков. Не думаю, чтобы идея принадлежала самому Вдовиченко; хотя он и относился с уважением к людям, годами работавшим в «Советском искусстве», он был слишком службист, чтобы самовольничать.

Авторство предложено было мне и Варшавскому, одаренному, яркому критику, острому и находчивому; я же, вероятно, привлек

Вдовиченко своим письмом Д. Шепилову — деловым и насыщенным фактами.

«Я не обращаюсь с письмом в Союз писателей, — писал я в конце своего обращения к Д. Шепилову, — так как не хочу участвовать в унижительном, анекдотическом редактировании резолюции пленума, которое сводится к непрерывному перемещению критиков из одной „группы“ грешников в другую... Так Бояджиев был переведен из группы „идущих на поводу“ в группу *вдохновителей* эстетской критики, а затем, после заседания президиума СП СССР 24.XII, водворен обратно к „идущим на поводу“. Такую же „круговую“ описал и критик-коммунист Я. Варшавский. Весь этот анекдотический торг, эта чехарда с именами свидетельствуют о крайней неподготовленности вопроса, о легкомыслии в таком важном деле, о циничном отношении к судьбам людей».

Вдовиченко хаживал в ЦК, надо думать, видел копии наших писем. «У вас ведь готова статья, — сказал он мне, — посидите день с Варшавским, мы вас объемом не будем ограничивать».

Я от этой чести отказался, и причиной тому была не робость. Неприятной сделалась поднявшаяся в «кругах» возня, звонки иных «добреньких» меценатов: «Сходи к Софронову, я с ним говорил о тебе, нужно найти общий язык, он неплохой парень». Отвратительно было и думать о каком-то «выторговывании» судьбы или малодушной самозащите; да и Фадеев в моих глазах стоял еще тогда высоко, был не чета суетливому, оживившемуся, осмелевшему вдруг чиновнику Вдовиченко; к тому же в письме я высказался вполне, и незачем было больше касаться этой грязи.

Вдовиченко обиделся: «Но „Советское искусство“ должно выступить, как же вы не хотите!» — «Газета пусть выступает, а я не буду. Варшавский ваш служащий, прикажите — он напишет...» Редактор обозлился, но спустя месяц был, я уверен, благодарен мне за отказ: появился тогда в «Советском искусстве» антифадеевский памфлет (только жанр памфлета и подходил к случаю!) — и несдобровать бы Вдовиченко, не усидеть в редакторском кабинете, не сохранить партийного билета. А так, из-за нашей пассивности, редактор был спасен, вскоре получил возможность громить нас, печатать пасквилы, в том числе и глебовскую статью, жить припеваючи, фактически сдав бразды правления заместителю редактора... Сурову, и, может быть, только среди ночи жене или небу жаловаться на горькую судьбу, вынуждающую его делать подлости.

Слеп был Вдовиченко, слеп был и я. Похоже, что из нас троих один Варшавский провидел будущее, учуял победителей, унюхал их трудовой пот и небрезгливо бросился к ним. Он молчал при нашем разговоре с Вдовиченко, потом увел меня в редакционную комнату и сказал с присущим ему цинизмом: «Я и письма не писал и тебе советую: помолчи ты насчет этих дерьмовых пьес. Им нравится это дерьмо, пусть

жрут и радуются... Уймись!» Жизнелюб Варшавский уже тогда искал контакта с Суровым, скоро всеильный босс помог ему на бюро райкома или горкома, спас от исключения из партии. Но и платить пришлось дорого: отработывая повинности, Варшавский писал для Сурова немало, в том числе сочинил сияющую Сталинской премией пьесу «Рассвет над Москвой». Но еще пришлось платить и потерей друзей...

Потерпи, читатель, эти цеховые *мелочи*, подлости «по маленькой», наполеоновские замыслы Сурова или Софронова, — ведь из этой, как выразился Фадеев, *возни* родилась драма тысяч и десятков тысяч людей по всей стране, *духовная катастрофа*. У нас есть счастливый случай увидеть зарождение катастрофы, ее общественный механизм, соединение случайностей с закономерностями времени. Здесь — первый толчок, начальное, почти неуследимое движение раскрутившегося вскоре «*маховика*», не щадившего репутаций, чести, жизней. «Маховика», попридержанного затем, полузастопоренного Сталиным, действовавшим по всегдашнему его обыкновению — дать событиям зайти далеко, до крови, дать простор преступлениям, а после вмешаться в роли спасителя, продиктовать очередное «Головокружение от успехов». Жизнь дала мне странную, горькую возможность наблюдать развитие событий, узнать многое, чего сегодня уже не узнает из газет и документов никто, и узнать не от третьих лиц, а от участников драм и фарсов, а если порой и говорить с чужих слов, то только со слов таких людей, которым верил и верю.

Апокалипсис 1937 года нашел и будет, неотвратимо будет еще находить свидетелей и выживших жертв, историков и аналитиков, талантливых изобразителей, — это необходимо всем, и более, всего социализму.

Растет библиография работ о Чаянове, о Вавилове, о преступлениях Лысенко, есть научные истолкования «драмы идей», связанной с гонениями на кибернетику. История борьбы с «безродными космополитами» расплылась и «выцветает» без определенных — документальных, контрастных — границ и весомых реалий. Вредным для ее летописи оказалось убеждение многих, что эта борьба — только элементарное проявление антисемитизма, а если так, то и толковать не о чем; пожалеем Григория Бровмана, еще двух-трех едва увернувшихся из-под колес — и будет.

Скажу о *мелочи*, чтобы не забыть. Это в свое время понадобится.

Я тогда не печатал на машинке и Валю, в недавнем прошлом профессиональную машинистку, отлучил от печатания. Тогда, в канун 1949 года, у нее еще была надежда завершить образование и получить специальность; год 37-й, как мы уже знаем, отнял у нее отца, надежды, хлеб; рано став матерью^[9], она все еще пробовала, пыталась учиться, окончить химический техникум в Киеве. Но война и оккупация отрезали

все пути-дороги, и только в Москве, в 1948 году, после рождения нашей младшей, Елены, ей удалось поступить на двухгодичные курсы иностранных языков в Лялином переулке.

Письмо Шепилову я печатал в «Новом мире», — а там, как я уже писал, ни одна страница, ни полстраницы не могли отпечататься на белой бумаге без того, чтобы о них не узнал Александр Кривицкий. И вот я у него со *свежим* письмом, с предложением помощи, буде она мне понадобится. Он помог мне, собственноручно набросав новый текст первой страницы, сделав ее острее и политичнее, по правилам обращения в высокие инстанции, хорошо известным ему и неведомым мне.

Сюжет более подходящий для прозы: печальный, одновременно и ничтожный и разоблачительный — такого и не придумаешь! Писанная рукой Александра Кривицкого, его характерным почерком страничка, *несуществующая*, сразу же полетевшая в корзину для бумажного мусора, страничка в воображении Александра Юрьевича продолжала жить, волновать его, существовала как кошмар и наложила диковинную печать на наши отношения. Я долго не понимал некоторых его поступков, уверток, обещаний помощи, которой от него я не ждал, оборванной на полуслове доброты или сочувствия, при почти нескрываемом его желании, чтобы я исчез, испарился, уехал из Москвы, не тешил себя опытами прозы и т. д. За всем этим подрагивала, трепетала на ветру, смущала его близорукие глаза первая страничка моего письма в ЦК, так неосторожно переписанная его рукой...

Кто знает, как долго тянулась бы явная и тайная борьба Фадеева и Шепилова и длилась бы иллюзия критиков о поражении Фадеева, сколько месяцев прошло бы до начала катастрофы, не вмешайся в дело московский самоуправный вельможа Георгий Михайлович Попов.

8

Он был крут, груб, всевластен в своей столичной епархии, достаточно темен, чтобы принимать всерьез, как явления искусства, писания Софронова или Сурова. Они были *свои; однозначно* близкие по духу, и в подпитии, и на трезвую голову. Он вещал, давал указания, вдохновил Софронова на сочинение «Московского характера» (это тогда настойчиво афишировалось), возможно, был даже простодушно горд на спектакле Малого театра, слушая скудные, нищие тексты в исполнении, что ни говори, хороших актеров. Пройдет время, и Георгий Попов, уж не знаю за какие провинности, полетит из державного экипажа, потеряет власть и исчезнет, оказавшись то ли рядовым директором завода, то ли провинциальным чиновником на малых ролях.

Но еще до того, как падет всемогущий Попов, вдруг очнется «Литературная газета», ее редактор В. Ермилов напечатает редакционную статью, и официальная, партийная оценка совпадет с критикой этой пьесы «безродным космополитом» Борщаговским. А ведь прошел всего лишь год, критикам еще и головы поднять не позволили, мы в нужде, оболганы, не знаем завтрашнего своего дня, — почему бы не извиниться, не снять с нашего имени табу, проклятия, не дать нормально печататься? Но нет, «политика» не позволяет, мешают таинственные высшие соображения; нравственность по-прежнему угнетена, правдой и честью продолжают пренебрегать.

В январе 1949 года Попов еще всевластен. Его приводят в ярость мыслящие люди, бесит непокорство, свившее гнездо в «его» столице, то ли в ВТО, то ли в Союзе писателей, в мире, которому авторитарная власть никогда не сможет доверять до конца. Среди строптивцев изрядно евреев, это не прибавляло ни снисходительности, ни доброты Попову. Отчего их так много среди тех, кто судит об искусстве, пишет статьи и рецензии? Почему так сложно найти управу на племя критиков вообще? А так хотелось защитить песенного, компанейского, застольного и такого талантливое Софронова от всех этих Альтманов, Борщаговских, Юзовских, — и не божеское ли это дело?

Была у Георгия Попова еще и трагикомическая причина ненавидеть театральных критиков, и в частности — так уж случилось — меня.

Летом 1948 года Театр им. Вахтангова на гастролях в Сочи показал не сыгранную еще в Москве премьеру пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья». Не знаю, в одиночестве ли смотрел Попов спектакль или с литературными «экспертами», с кем-нибудь из драматургов, коим тогда еще никак не удавалось *вломиться* в репертуарную афишу вахтанговцев (пройдет несколько лет утешения, и эта операция удастся!), на трезвую ли голову смотрел или под парами, но приговор его был нелеп и суров: насквозь буржуазная (даже не мелкобуржуазная, поскольку главное действующее лицо — *крупный* предприниматель, производитель авиационных моторов!) пьеса, изрек он. Театр совершил политическую ошибку.

Ничего более несправедливого и глупого об этой *разоблачительной*, критической пьесе, обнажающей цинизм и преступное бессердечие чистогана, сказать нельзя было, и вахтанговцы — тогда еще был жив Рубен Симонов — постарались забыть, как дурной сон, этот курортный анекдот; открыв в Москве сезон 1948/49 года, они вскоре показали премьеру «Все мои сыновья».

Георгий Попов пришел в ярость: его оценкой, его *указаниями* пренебрегли! Он создал комиссию МГК по проверке деятельности и репертуара Театра им. Вахтангова; к «откровенно буржуазной стряпне» Артура Миллера комиссия присчитала еще и водевили Лабиша и

«прочих французов», нежелание руководителей театра на ответственнейшем этапе культурного строительства стать пропагандистами передового опыта и т. д. и т. п. Комиссия закончила работу, назначила на 24 ноября 1948 года общее собрание труппы. Судьба руководства была решена: директор театра Спектор подлежал изгнанию, Рубена Симонова могла спасти только истовая самокритика, сиречь — самобичевание.

О сочинской барской выволочке Москва не подозревала — вахтанговцы помалкивали. Обсуждение Артура Миллера Георгием Поповым не отразилось на московской премьере, успех ее был полный. Мы с Валею оказались рядом с тогдашним редактором «Известий» Л. Ф. Ильичевым. После утихших оваций, еще в зале, он сказал: «Хорошо! Сильно. Правда ведь хорошо?» Я поддержал похвалу. «Напишите для „Известий“, а? Быстро напишите, а мы, не откладывая, напечатаем». Если он, в отличие от меня, знал о гневе несимпатичного ему Георгия Попова — умный, образованный человек не мог любить этого тупицу! — и о тучах, собравшихся над театром на Арбате, я готов запоздало поклониться ему. С него и такое станет, он весьма изобретателен, но кажется мне, что и он не ведал, что творит и что разрушает.

Я написал статью, «Известия» дали ее большим «подвалом» именно 24 ноября 1948 года. Газета вышла на рассвете того самого дня, когда в театре трубили сбор для оглашения «обвинительного заключения» комиссии МГК. Идейным стержнем обвинений был спектакль «Все мои сыновья», и сбор труппы пришлось отложить — не на день, не на неделю, а навсегда... Правда, и для меня это была последняя статья, последняя моя театральная рецензия! Зарубка на душе Попова была глубока, ярость — непомерна, ее хватило надолго.

Поначалу я не понял благодарственных звонков из театра, я ведь не знал о назначенном и отмененном собрании. Но скоро, уже в начале февраля 1949 года, газеты «Московская правда» и «Вечерняя Москва», послушные органы Георгия Попова, наперегонки поносили меня из-за Миллера. «Борщоговский пропел дифирамбы вредной пьеске американского драматурга Миллера „Все мои сыновья“, — писала „Вечерняя Москва“ 11 февраля 1949 года, — социальная проблематика которой рассматривается автором с чуждых нам позиций буржуазной морали». Потом была проделана грубая операция *подлога*: корреспондентам коммунистических газет США было сообщено, что я выступил апологетом Миллера, некоего американского писателя Миллера, а вот Артура или Генри Миллера, считавшегося одним из столпов порнолитературы, — об этом заокеанским коммунистическим газетам не сообщили. Но если Артур и был назван, то и это дела не меняло; скорее всего, журналисты этих газет не имели представления о драматурге Миллере и охотно поддержали клеветы никогда не ошибающейся Москвы. И теперь уже газеты Георгия Попова получили редкую возможность опубликовать хулу в мой адрес, раздавшуюся из-

за океана, хулу намеренно введенных в заблуждение американцев — от тамошних коммунистов^[10].

А в январе 1949 года Георгий Попов был принят Сталиным. Случилось это в середине двадцатых чисел, накануне того дня, когда по указанию Сталина Г. М. Маленков провел заседание Секретариата ЦК, где и решились наши судьбы: «Не подпускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати!»

Попов был принят по делам Москвы и Московской области, но, улучив удобную минуту, бросился на защиту обиженного, загнанного в угол и униженного Фадеева. Защита Сурова или Софронова могла не иметь успеха, тут был риск, защита же Александра Фадеева — хотя Попов и вторгался в дела «не по чину» — была почти гражданским подвигом. Фадеева, члена ЦК, любимца Сталина, травят критики, они осмеливаются бороться против него благодаря поддержке Культпропа ЦК, а сам Фадеев, человек предельно скромный, не обращается за помощью к Сталину...

Шепилов был призван к ответу. «Антипатриотическая атака на члена ЦК Фадеева!» — таков, как мы знаем, был диагноз. Не знаю, тут ли было произнесено слово *космополиты*, но в этот день или спустя два-три дня к нему прибавилось и другое словцо: «безродные» — и точки над «і» были поставлены. Ведь и Герцен был космополитом (и гордо возвещал об этом), был «полукровкой» от немецкой матери, реакция награждала его яростными ругательными эпитетами, но, кажется, *безродным* его не называли. Понадобилась духовная работа целого века, бесценный вклад Пуришкевича, Дубровина, Пихно, кровь погромов, разгул расизма, чтобы так легко и естественно к слову «космополит» подогнали и эпитет *безродный*.

Впервые я заговорил о таком, чего не наблюдал лично, о чем до времени мне не мог рассказать и Шепилов, умный и все-таки наивный человек, понадеявшийся, что Сталин станет смотреть принесенные им бумаги, вникать в них, доискиваться истины.

О своем торжестве Георгий Попов рассказал Софронову и Фадееву, последний уже назавтра присутствовал в ЦК на заседании под председательством Маленкова, а вечером того же дня, вернее, около двух часов ночи Симонов рассказал мне о случившемся, рассказал подробно, со слов Фадеева. Тот сдержанно радовался победе, без мстительности, с тем оттенком державной озабоченности, которая так красит руководителя. Он тотчас же связался с Симоновым, понимая, что случившееся непосредственно затронет и Константина Михайловича. Рассказал о заседании, о гневе Сталина. Он хорошо понимал, что, отвергнув его «отеческие» плевки, мы попали в долгую беду. Главное, что его «модель» осуществилась, получила высокое

благословение, — общество благодаря ему разоблачило вредоносную группу антипатриотов, а эти — семеро — потерпят!

Если бы он знал, какой полыхнет пожар во всю страну, каким зловонием понесет над родными просторами, как скоро пойдет, покатится улюлюканье, «срывание масок», глумливое уличение крайней плоти, убывшей — а то и не убывшей — в беспамятном детстве.

Если бы он знал о масштабе сотворенного бедствия — предпринял ли бы он что-нибудь решительное, благородное? Не думаю; он уже сложился, как и все мы, в атмосфере повиновения, в благоговейной слепоте, в вечной благодарности «вождю всех народов». Он и не смог бы ничего изменить. События развивались уже независимо от воли Фадеева. Уже и его *понесло*, уже и он был заложник, бредущий по засасывающему болоту бесчестия. Своим поведением в партийном деле Иоганна Альтмана, старого своего товарища, Фадеев показал, что нет для него открытого, мужественного возвращения к истине и чести. Выстрел Фадеева был неожиданностью для всех нас, но когда эхо этого выстрела умолкло, когда мы узнали о двух его, по меньшей мере двух, исповедах, в обращении к ЦК и в письме к литературному другу, — мы, печальась его смертью, не могли не увидеть в ней и закономерности.

Я стараюсь не вдаваться в эпизоды нашей частной жизни, но о *пограничном*, памятном вечере у Симонова должен рассказать.

Константин Михайлович позвонил около десяти часов, сказал, что посылает за нами машину и ждет нас непременно. Он сразу положил трубку, чтобы не было колебаний, вопросов, сомнений, не поздно ли нам ехать. Но тревоги в его голосе не было.

В Переделкине, в бывшем доме Федора Гладкова, купленном и перестроенном Симоновым, гости: Корнелий Зелинский с молоденькой, заразительно смеющейся женой, Кривицкий, армянский прозаик Гарегин Севунц, незнакомый поэт с женой, тоже дети Кавказа, кто-то еще, кого не упомяну. Застолье не громкое, но веселое. Зелинский немного утомляет изысканной, чуть приправленной иронией лестью; Кривицкий покусывает его острым, находчивым словом; тосты Севунца истовы и чересчур серьезны... идет время, я не пойму, зачем мы здесь, — дома, в Москве, Алена, которой нет и года, девятилетняя Светлана, моя мать, так и не свыкшаяся с Москвой, всегда находящая повод для тревоги.

То и дело уединяются Симонов и Кривицкий, уходят в кабинет — большую квадратную бревенчатую пристройку с печью посреди — и скоро возвращаются, серьезные, с вынужденной улыбкой. Мы порываемся уйти, но как уйдешь, ночью до Москвы можно добраться только машиной.

В третьем часу ночи Симонов уводит меня в кабинет:

— Я давно порывался рассказать вам, но Саша (это Кривицкий, в отличие от меня, Шуры) все отговаривал меня: не торопись, успеешь с этими новостями... Понимаете, Шура, сегодняшний день, нет, не сегодняшний, уже вчерашний, для меня особенный. Позвонил Поскребышев, соединил со Сталиным, и Сталин сказал мне хорошие слова о «Чужой тени». Вы знаете, она там пролежала долго, я уже поставил на ней крест... Помните, я вам говорил: написал плохую пьесу, огорчать меня не хотят, самому надо понять, что пьеса не получилась. Оказывается — получилась; мне привезли экземпляр, читанный Сталиным, там подчеркнуто несколько фраз. — Он помолчал, поднял на меня некстати опечаленные глаза: — Поверьте, я отдал бы эту радость за то, чтобы в *тот же самый день* не обрушилась на нас другая новость, плохая, очень плохая...

И он рассказал мне о том, что читателю уже известно.

Я слушал, будто все это не обо мне, но не нашелся, что сказать сразу, даже не напрягся мысленно, — мир оставался тем же, что и был, и я тем же человеком, за дверью меня ждала Валя, она ничему этому не поверит. Ну, случилось, не затмится же жизнь.

— Что же вы молчите, Шура? Вы меня поняли?

— Что тут скажешь; придется уйти из редакции — уйду...

— Не думаю, — ответил он неуверенно. — Фадеев сказал бы мне^[11].

— Я ведь в театре служу, — напомнил я.

— Да, да... Я очень рад, что вы так спокойны. Я сделаю все, чтобы вам перенести этот удар с наименьшими потерями.

Я имел не один случай убедиться в его открытой поддержке, день за днем и год за годом. И если я однажды посмотрю на него критически, то не по неблагодарности, не как судья праведный, — ведь некоторые его слабости были и моими слабостями, и, может быть, я совершил бы больше ошибок, поменяйся мы местами. Я и на этот раз оказался *баловнем судьбы*, то есть гонимым, — мне не было позволено унижать других.

— Верите, что я отдал бы пьесу, только бы отменилось другое?

— Верю, Константин Михайлович, но я бы не позволил вам такой жертвы: не тревожьтесь, все обойдется.

Что это — бодрячество, не так уж чуждое мне? Врожденный оптимизм? — наполовину, так сказать, «генный», наполовину — исторический, так много лишений и жестокости пришлось на судьбу России, сыном которой я себя не только считал, но и всегда ощущал. А еще ведь через тысячелетия катил и другой поток, судьба народа, в котором существовали мои предки, мой дед и прадеды, отчасти и отец — просвещенный русский интеллигент. Так все было знакомо, познано до рождения, так жданно, так родственно сливалось с народным, неунывающим: «от сумы и от тюрьмы...» — что страх исчезал. Не казнят же меня! А если позволят жить рядом с Валею, детьми, матерью, так неужели не прокормлю себя, хотя бы и дворником. О «дворницкой»

(образно говоря) перспективе никогда не думал со страхом или подавленностью и, случись такое не в воображении, а на деле, выдержал бы экзамен даже и во дворе, населенном писателями. Низкий вам поклон, Андрей Платонов; я помню вас той, нареченной дворницкой поры, — напрасно Александр Кривицкий выдал вас за своего, духовного брата. Вы боялись его, вы долго топтались у двери его кабинета, прежде чем отворить ее, войти, попросить о чем-то, — я слишком часто наблюдал это, чтобы ошибиться.

Но, пожалуй, мое спокойствие в час, когда я узнал о грозящей нам беде, когда шепотом пересказал новости Вале и успокаивал ее, плачущую, в машине, — это спокойствие незнания, неосведомленности, а то и душевной грубости. Валя лучше меня таинственно угадывала людей и скрытых подонков, ласковых, «припудренных», не пускала на порог нашего дома; она столько тяжкого пережила за свои двадцать с небольшим лет, что ей вовсе и не нужно было знать, она чувствовала, слышала шаги несчастья.

Мы вернулись с Симоновым к столу, сопровождаемые близоруким, но цепким, неверящим взглядом Кривицкого.

Я тогда не мог догадаться, что осторожного, предусмотрительного Александра Юрьевича угнетала и страшила мысль о написанной его рукой черновой странице моего письма Шепилову если он написал первую (а она совпадет при сравнении с машинописным текстом, посланным в ЦК!), то мог написать и все остальное, а что как я малодушно попытаюсь переложить всю вину за письмо на него? Было от чего затревожиться.

Прошло два-три дня, и все вокруг загромыхало грозными басами, завизжало гневным фальцетом — возмущению «общества» обещанного безродными космополитами, не было предела. Без малого полоса в «Правде» «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» легла на наши судьбы могильной плитой. Теперь нас могли безнаказанно точить черви клеветы, доносов, судебных исков, трибунных оговоров, пасквилей, от анонимных, редакционных, до восклицания Юрия Завадского на активе театральных работников Москвы: «Эта группа антисоветских критиков... (Шум, движение в зале.) Я не оговорился, товарищи, их непременно назовут антисоветскими!...» Как он нравился себе в этот миг, как гордился собственной прозорливостью, самой возможностью художника, интеллигента принять участие в благородной очистительной работе! Не было ли это и для него, как для Глебова, войной, начатой еще Грибоедовым, против «вечных французов»?

Нужно сказать, что русская интеллигенция в подавляющем большинстве презрительно отвернулась от кампании черносотенной лжи и преследований. Ораторский пароксизм Юрия Завадского не в счет; это скорее срыв, привычка к декламации и грех самовлюбленности, не позволивший ему тут же извиниться за оговорку.

Я могу назвать только двух-трех серьезных писателей, кто публичным словом в феврале — марте 1949 года «накоротке» поддержал развязанную кампанию борьбы против «безродных космополитов». Начатая суровыми и софоновыми, она и велась ими самими — на помощь при нужде призывались Первенцев или Бубеннов, — интеллигенты же шарахались как от чумы.

А Константин Симонов? — спросит читатель. А его доклад на общемосковском писательском активе в феврале 1949 года?

Именно потому, что чистые руки русских интеллигентов презрительно заводились за спину от ищущих, взывающих о поддержке рук суровых, понадобились особые усилия и даже обман, чтобы заполучить Симонова — пусть только Симонова, — создать иллюзию широкого фронта духовной борьбы, не замкнутого на лицах сомнительной нравственности.

Случилось так, что я был в домашнем кабинете Константина Симонова в ту минуту, когда позвонили из ЦК с просьбой от очень высокого лица. Я помню каждое слово — их было тогда сказано совсем немного, и так они тесно касались нас, меня и моего будущего, что мне их не забыть.

9

После статьи «Правды» от 28 января 1949 года (подготовленный ночным разговором на даче у Симонова, я все же прочел ее неверящими глазами, так велика была пропасть между моей деятельной жизнью, отданной созданию современного репертуара, работе над чужими пьесами, поддержке в прессе новых драматических произведений, и той криминальной картиной, которая была нарисована в редакционной статье) я дал себе зарок не смотреть газеты, не касаться грязи, ждать, когда безумие кончится. Я не столько понимал, сколько чувствовал, что все это — истерика, параноический приступ, бред, который не может длиться долго, как не может у взрослого человека неделями держаться температура выше 40°. Диктовалось мое решение не страхом перед газетными строками, а брезгливостью и инстинктом самосохранения, — даже молчаливый, внутренний спор с газетами, перебор в уме (и в сердце!) аргументов отнял бы много сил, необходимых для дальнейшей моей работы.

Жизнь мне отомстила. В году 1949-м я облегчил себе жизнь, не читал хулы, не вступал в смрад; молодой, полный сил, я дал себе поблажку, — тем горше навалилось все это на меня, когда, готовясь к работе над этими записками, я погрузился в неароматное чтение, изучил более ста газетных статей, отчетов, полос, подвалов, памфлетов, сенсационных разоблачений, за каждым из которых искалеченная судьба, нужда, смерть, беды и страдания близких.

«Основополагающую» статью в «Правде», которую затем будут цитировать и перепевать на все лады в партийной и специальной печати, как я уже упоминал, писали Фадеев и Заславский. Вероятно, понадобились усилия и третьих лиц — в статье подробности и цитаты из статей и книг, в которые никогда не заглядывали ни сановный Фадеев, ни тем более Заславский, некогда печатно требовавший расправы над Лениным, затем прощенный и возвышенный Сталиным, милостивым, как известно, к «перевертышам», к успешно проходящим лакейскую «переэкзаменовку» и готовым служить безоглядно, а если потребует эпоха, то и бессовестно.

В статье не узнать руки не только Александра Фадеева, но и хлесткого публициста Давида Заславского; видимо, жанр доноса или обвинительного заключения не только не требует литературного таланта, но и сопротивляется позывам очеловечить, одухотворить текст. После вступительного столбца, повторяющего общеизвестные истины о борьбе Белинского за реализм, о Чернышевском и Добролюбове, о массовом героизме нашего народа и животворной силе советского патриотизма и принятого в ту пору сталинско-ждановского убеждения, что любой, самый последний советский человек «на десять голов выше любого представителя буржуазного мира», о победах социалистического реализма, авторы статьи утверждали: «В *театральной* критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала „Театр“ и газеты „Советское искусство“. Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости».

Обратим внимание на определение: «национальной советской гордости»! Ныне единомышленники вожаков черносотенного клана «Память» не теряли бы времени попусту, сразу и без обиняков повели бы речь о чуждости «безродных» чувству *русской* национальной гордости. Авторы редакционной статьи «Правды» неотвратимо придут к этой ключевой формуле, но только после нескольких ритуальных «интернационалистических» па.

Список врагов открывается Иосифом Юзовским. Что это — случайность, первое попавшееся на язык презренное имя? Нет. Сработало невольное, но точное понимание значительности и таланта критика, его яркого, а порой блистательного слова, тайное сознание его заслуженного авторитета в театральной, художественной среде страны. Сегодня едва ли кому придет в голову оспаривать значение Юзовского — театрального критика, исследователя драматургии Горького, едва ли возможно писать историю советского театра 30—60-х годов, пренебрегая статьями Юзовского, умевшего написать о

спектакле — именно о спектакле — так, что он вживе вставал в воображении читателя. Сегодня умерший Юзовский — памятная, славная страница истории советского театра, его книги издаются и раскупаются, они сушая часть русской культуры.

Чем же провинился Юзовский тогда, в 1949-м и предшествовавшие годы?

Единственно тем, что мыслил! Мыслил, а не раболепствовал, мыслил, не укрываясь за частоколом спасительных цитат. Влюбленный в Горького, он и из него не сотворил идола, не подползал к нему на брюхе. Он размышлял, вглядывался, спорил.

Ах это ненавистное, еще с рапповских времен, независимое размышление критиков! Как неуместно оно вторгается порой в разлинованную, как школьная тетрадь, выстроенную по казенному ранжиру жизнь литературы, не литературы даже, а писательского Союза.

Чем же все-таки провинился Юзовский, по мнению «Правды»?

«Огромное идейно-художественное значение имеет образ рабочего-революционера Нила в пьесе М. Горького „Мещане“, — читаем мы. — А критик И. Юзовский, среди **иезуитских похвал** (разрядка моя. — А. Б.) по адресу пьесы, пытался внушить читателю, будто Нил — „несовершенная фигура у Горького“, будто автор выступает „здесь как публицист, не всегда заботясь о том, насколько в данном случае правомерно это вмешательство публицистики в художественную ткань пьесы“... Вот маска буржуазного эстета, которой он прикрывает свою антиреволюционную, антипатриотическую сущность, пытаясь принизить мужественный, благородный образ одного из первых рабочих революционеров-большевиков, запечатленный великим пролетарским писателем А. М. Горьким».

Даже если бы Юзовский был неправ, находя в Ниле избыточную публицистичность, значит ли это, что он, взволнованный истолкователь пьесы, ее панегирист, — реакционер, антипатриот и буржуазный эстет? Да, значит, если этого очень захотеть, если серьезный художественный и социальный анализ пьесы обозвать «иезуитскими похвалами», если вердикты судей безнаказанны, сколько бы они ни городили нелепицы и лжи.

За что же еще Юзовский предается остракизму?

Оказывается, он, «цедя сквозь зубы слова барского поощрения, с издевательской подковыркой по линии критики „сюжета“ (вот они, шедевры „канцелярита“: „по линии критики сюжета“! — А. Б.) пишет о пьесе А. Сурова „Далеко от Сталинграда“, о пьесе „Победители“ Б. Чирскова, отмеченной Сталинской премией... Полна издевательства его статья, где он язвит по поводу „счастливого, бодрого“ вида героев в советских пьесах, по поводу того, что драматурги нередко идут якобы „от тезиса“, что авторы пьес зачастую не хотят „думать“ и тем самым не дают якобы „думать своему герою“». «А чего стоит, — возмущаются

авторы редакционной статьи, — такое рассуждение: „Раз герой советский, то он обязательно... должен одержать победу — этого рода философия ничего общего с диалектикой не имеет“». Все передержки, частые «якобы», многоточия в разрывах цитат, именно там, где добрые намерения критика должны быть утаены от читателя, — весь убогий маскировочный набор обвинителей не скроет от нас серьезности и безусловной правоты критика Юзовского: он, разумеется, хочет, чтобы искуснее, а значит, естественнее строились и развивались сюжеты, чтобы поскорее исчезли со сцены «бодрячки», заранее уверенные в победе, уверенные бестревожно, только потому что они советские герои и этим все сказано; хочет, чтобы их место заняли мужественные и проницательные персонажи, а наше волнение за исход борьбы было бы сущим и непритворным.

Имеет ли на это право критик? Да что там право: это его прямая гражданская обязанность! Ведь два месяца тому назад и Фадеев, готовясь вскоре покаяться бить себя в грудь, заявил на съезде писателей Украины: «У нас прекрасные актерские силы, а мы часто даем им художественно слабые, непродуманные вещи». В той же речи он упрекал драматургов, лишенных «истинного чувства нового и знания явлений этого нового», и находил одну из причин «слабости драматургии именно в том, что советские драматурги мало работают над формой».

Подумать только: «...советские драматурги мало работают над формой». Советские драматурги, все скопом, мало работают над формой! Скажи такое Юзовский, и по приговору «Правды» он заслуживал бы высшей меры, — ведь он только размышлял вслух о том, как овладевать формой, как писать лучше, как защитить превосходных актеров хотя бы и МХАТа и Малого театра от художественно слабых и непродуманных пьес (помните: «...авторы пьес зачастую не хотят „думать“ и тем самым не дают якобы „думать своему герою“»? Не у Юзовского ли вычитал Фадеев мысль о «непродуманности» пьес для своей речи в Киеве!).

Против Юзовского позволено употребить и недостойный, уголовный прием: оказывается, о том, что победа героя должна быть сущей, истинной, а не предначертанной заранее и свыше, критик писал «в 1943 году, после великой победы Советской Армии под Сталинградом. И этот свой вредный бред он пытается выдать за критику художественных недостатков, за борьбу с „художественной демобилизованностью“. Нет, здесь не только скрытая, но и явная борьба против стремления изобразить сильный, всепобеждающий характер советского человека».

Вот демагогия, которая в правовом социалистическом обществе должна быть уголовно наказуема, наравне со злостной клеветой. Как мог написать такое Фадеев, только что, в ноябре 1948 года, посвятивший свою речь о драматургии именно теме ее

«художественной демобилизованности»? О Давиде Заславском говорить нечего: так и вижу седую, склонившуюся над листом бумаги голову, блудливую, всегда влажную стариковскую губу под усами, циничную игру глаз за стеклами очков, так и слышу ленивую, приуставшую за десятилетия лжи речь.

Фадееву можно, Юзовскому нельзя — он *безродный*, «беспаспортный бродяга» в человечестве. Он осужден «Правдой» только на основании тех обвинений, которые приведены мною. Ничего другого. Ничего больше. Ни слова правды.

Бывают времена, когда можно обойтись ложью.

Времена «духовных погромов», если эти два слова соединимы.

В чем провинился «преступник № 2» Абрам Гурвич, уже забросивший к тому времени театральную критику, занятый после войны аналитическим разбором прозы?

Авторы статьи в «Правде» знают, что Юзовский и Гурвич отошли от текущей театральной критики, но даже и это их не смутило: нельзя же, в самом деле, обойтись без звучных имен, без вожаков в выдуманном стане врага! «Давно обанкротившиеся Юзовские и Гурвичи „молчали“, за них выступали Борщаговские и другие, проникавшие из специальной искусствovedческой печати в общую и прикрывавшие громкими фразами все ту же неприязнь к воплощению в художественных образах идей советского патриотизма». Как же быть с молчаливниками? Можно попрекнуть их за равнодушие, но уж судить-то их не за что. Но выход и тут нашелся, и, как всегда, в сталинской цитате: «Мы помним слова товарища Сталина: „Могут сказать, что замалчивание не есть критика. Но это неверно. Метод замалчивания, как особый способ игнорирования, является тоже формой критики, правда, глупой и смешной, но все же формой критики“».

Глупой и смешной! Но «Правде» нужны злодеи, вооруженные до зубов, иезуиты, антипатриоты, сочинители «гнусных поклепов», и, взяв слово *молчали* (Юзовский и Гурвич) в кавычки, они пытаются превратить *молчащих* во врагов.

С какой пронзительной психологической отчетливостью выразилась в этой сталинской цитате его натура, его неукротимая личная ненависть не только к тем, кто осмеливался спорить или колебаться, но и ко всем тем, кто *подозрительно* молчал, не торопился вступить в хор славящих, не аплодировал до опухших ладоней, не льстил, не раболепствовал. А если они, эти, в прошлом были замечены в «ереси», в «уклонах», а сегодня молчат или благовестят недостаточно громко, судьба их будет не «глупой и смешной», а страшной и губительной.

«Метод замалчивания», «способ игнорирования» — из этих деловых формулировок в сталинские времена проклевывалось уже нечто угрожающее, суровый взор прокурора или судьи. Еще одно небольшое стилистическое усиление, парочка прилагательных, вроде «опасный» или «вредоносный» («вредоносный метод замалчивания», «опасный способ

игнорирования»), «умышленный» или «продуманный», — и *молчальнику* будет уготована лагерная судьба.

Если подобное с успехом культивировалось в политике, отчего бы не применить логику сталинизма к искусству, к эстетике?!

«В статьях А. Гурвича другая форма маскировки, нежели у Юзовского, — читаем мы в редакционной статье „Правды“. — А. Гурвич делает злонамеренную попытку *противопоставить* советской драматургии классику, опорочить советскую драматургию, пользуясь авторитетом... Тургенева. Говоря о советских спектаклях, он вещает: „Только один образ заставил нас восторгнуться, почувствовать что-то значительное и близкое... Это была Верочка из „Месяца в деревне“ Тургенева... Мы... в глубине души почувствовали, что только одна эта застенчивая, страстная девушка протягивает Зое Космодемьянской через столетие и через головы *многих героинь* наших пьес свою руку и обменивается с ней крепким рукопожатием“».

Велико желание правдистских извечников представить мысль Гурвича в злонамеренном свете, ради этого они много опускают в плавном, убедительном течении мысли критика — и все равно не выходит, не получается, мысль его чиста и благородна. Он ищет близости в духовности, в нравственном уровне людей, ищет исторические корни характера Зои, ее родство с идеальными личностями прошлого, он возвышает, поет Зою, а от него требуют анкетного подхода, равнения на иных героинь современных пьес, не продержавшихся и одного сезона, пустых, по определению самого Фадеева — *художественно слабых и непродуманных*. И вот какой криминальный счет выставляется Гурвичу за тургеневскую Верочку: «Поставим точки над „i“. „Мы“ — это те, кто лишен чувства советского патриотизма, кому не дороги по-настоящему ни образ Зои Космодемьянской, ни произведения нашей литературы, которую советский народ ценит за правдивое отображение героической красоты нашей жизни, красоты душевного мира советского человека».

Гурвич — исследователь и знаток драматургии Н. Погодина; критик, понимавший новизну и красоту открытого Погодиным мира. Не панегирист, не услужающее перо, но критик-друг, соратник по искусству. Никогда не писал он о Погодине тех резкостей, какие уважительно выслушивали от него Юрий Олеся или Андрей Платонов, или критического памфлета, вызвавшего гнев Всеволода Вишневского. Но что до того авторам статьи в «Правде» — они ведь изначально уверены, что Гурвичу *не может не быть чужд* русский национальный характер: «А какое представление может быть у Гурвича о национальном характере русского советского человека, если он пишет, что в „благодушном юморе и наивно-доверчивом оптимизме“ пьес Погодина, в которых якобы выразился „национальный характер мироощущения драматурга“, зритель видел свое отражение и „испытывал радость узнавания“, ибо, дескать, „русским людям не

чуждо и благодушие“. Поклеп это на русского советского человека. Гнусный поклеп! И именно потому, что нам глубоко чуждо благодушие, мы не можем не заклеить этой попытки оболгать национальный советский характер».

Какое блудливое перо и какая отвага смошенничать, все вывернуть наизнанку! Как верно и хорошо сказано: «русским людям не чуждо и благодушие». И — благодушие! Не к одному благодушию сводится характер русского человека, но к его чертам, к его достоинствам относится «и благодушие». Произнеси это кто-нибудь другой — не говоря уже о Сталине, похвалившем в 1945 году русский народ за терпеливость, — никому в голову не придет возразить. «Благодушие, — определяет Владимир Даль, — доброта души, любовное свойство души, милосердие, расположение к общему благу, добру; великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение». Вот какие достоинства числил за русскими людьми Гурвич, знавший и любивший *русское* глубже, чем его оппоненты, истовее потому, что в нем, Гурвиче, жила поэтическая, независимая душа, а противостояли ему сталинские «схимники», мастера фразы, так притерпевшиеся ко лжи и демагогии, что они уже не могли правдиво осмыслить ни сегодняшний день жизни народа, ни его вековые традиции и особенности. По их логике, Гурвич не смел рассуждать о сей материи, не смел и затрагивать таких мотивов, — Абраму Соломоновичу это непременно должно было выйти боком. *Национальное* — это словно заповедные леса владетельного феодала, само появление в них смерда-иноверца могло караться смертью...

Третья, и последняя, *улика* против Гурвича поставит в тупик каждого, кто читал или смотрел на сцене пьесу Погодина «Человек с ружьем». «А. Гурвич в образе Ивана Шадрина из пьесы „Человек с ружьем“ видит человека раздвоенного, *захваченного волнами революции* и „барахтающегося в бесплодном сопротивлении“, прежде чем *отдаться ее могучему течению*. Это сказано о солдате-крестьянине, встретившемся с Лениным, о человеке, сознание которого пробудилось под влиянием рабочего-большевика»

Ну, не бред ли это, не наваждение ли? Ведь об этом и писано у Гурвича, именно об этом — о человеке, который созревает, идет к революции. В статье Гурвича, если читать ее всю, говорится и о сцене с Лениным, и о влиянии на Шадрина рабочего-большевика. Попросту нет предмета спора, к тому же и сама статья давних, далеких, довоенных времен.

Надо сказать, что после долгого растерянного молчания, 2 марта 1949 года, со статьей «Их методы...» («Лит. газета») выступил и Николай Погодин — оставаться в молчальниках показалось ему вдруг небезопасным. «Было бы гораздо лучше, — писал он, — и для меня и для нашего Союза писателей, если бы эти мысли пришли ко мне до пленума, где была резкая и справедливая критика тов. А. Фадеева по

моему адресу. Во всяком случае, полезно, что я получил хорошую встряску и серьезно задумался о настоящем положении вещей в драматургии».

Со времени пленума прошло три месяца; если бы Погодин промедлил еще недели две, не было бы у него постыдной необходимости выслуживаться перед Фадеевым. Пафос статьи Н. Погодина направлен против Юзовского, и не вообще против этого критика, а в адрес его предисловия к однотомнику пьес Н. Погодина (Гослитиздат, 1935), работы 14-летней давности, к тому же, как заведено у нас, прочитанной своевременно автором сборника (это право живых авторов никогда у нас не оспаривалось). Ругать Гурвича в связи со своими пьесами Н. Погодин посоветился — у него не было более серьезного истолкователя, — с тем большей яростью он набросился на памфлет Гурвича о киномомане Вс. Вишневского «Мы — русский народ». Это особая тема. Памфлет Гурвича «Мультипликационный эпос» — классическая работа, неотразимый удар по фразерству, демагогии, доведенной до масштабов самопародии. Н. Погодин не мог не понимать этого.

Так были ошельмованы *столпы космополитизма*, в поддержку пошли Г. Бояджиев (из статьи так и не понять было, какими писаниями, какими своими взглядами провинился талантливый критик и ученый); А. Крон как председатель комиссии Союза писателей по драматургии; Л. Малюгин, «ополчившийся против таких глубоко патриотических произведений, заслуживших широкое признание народа, как „Великая сила“ Б. Ромашова, „Хлеб наш насущный“ Н. Вирты и „В одном городе“ А. Софронова»; критик Я. Варшавский; Е. Холодов — он, оказывается, тоже «вел атаки» против пьес Софронова и Вирты.

Не скупясь описала «Правда» и мои злодеяния. Я вынужден напомнить и это.

«Именно там, — писала „Правда“, имея в виду объединение театральных критиков при ВТО и комиссию по драматургии Союза писателей, — театральный критик А. Борщаговский, умалчивая о произведениях, извращающих советскую действительность и образы советских людей, весь пыл своей антипатриотической критики направил на пьесу А. Софронова „Московский характер“ и на Малый театр, поставивший эту пьесу. Тот же А. Борщаговский, который в свое время пытался опорочить пьесу „В степях Украины“ А. Корнейчука, вознамерился ныне ошельмовать такие произведения, как „Хлеб наш насущный“ Н. Вирты, „Большая судьба“ А. Сурова и др.».

Жаль, забыты еще две «обесчещенные» мною пьесы: «Зеленая улица» А. Сурова и «Великая сила» Б. Ромашова.

Далее «Правда» цитирует по неуправленной стенограмме наш диалог с художественным руководителем Малого театра К. А. Зубовым, точнее, мой комментарий к его прочувствованной, льстивой речи. «То, что заложено в пьесе Софронова, — говорил он, — столь велико, столь

радостно, столь дышит верой в нашу жизнь, столь поэтическая комедия, чистая комедия, оптимистическая комедия, которая заражает верой в нашу жизнь, в нашу действительность, в наше будущее, в те идеи, которыми мы живем, которыми мы дышим, — это уже столь важно, что нельзя отказать себе в удовольствии работать над этим... Вы проникаетесь вместе с драматургом верой в нашу прекрасную действительность...»

Но что же мы, вопреки ложноклассическому монологу Зубова, видели на сцене? Очевидное бессилие драматурга: бесплодие мысли, убожество формы (о которой так заботился Фадеев) и вкуса! Я не сказал тогда в ответ К. Зубову и десятой части того, что следовало бы сказать, умолчал не из страха, а по узости, ограниченности собственного критического обзора. Когда принимаешься всерьез и вдумчиво рассматривать то, что заслуживает в лучшем случае фельетона, неизбежно заходишь в тупик: в конечном счете творцы макулатуры ненавидят тебя за сдержанность похвал и стократно — за любое, даже частное замечание.

«Когда К. Зубов начинает патетически говорить о том, что Софронов дышит идеями нашего времени и т. д., — цитирует меня „Правда“, — я в речи самого режиссера улавливаю какое-то излишнее придыхание, словно некое священнодействие творится во всем существе режиссера-художника. Но я, по обязанности критика, должен сопоставить этот ложноклассический темперамент с реальным спектаклем на советскую тему, с тем, что я вижу на сцене Малого театра...» На этом «Правда» обрывает цитату; но далее я сказал: «Конфликт в „Московском характере“ построен ложно, и это в значительной мере парализует усилия автора. Труд — главная тема, но „узкопроизводственного“ романа или драмы не существует, это наше далекое, печальное прошлое. Человек в драме — и комедии — должен стоять в центре, а то или иное решение чисто производственного конфликта должно быть духовно, лично важным и сущим для зрителя. Важна не разница во взглядах на технические параметры станков, а нравственная, духовная разница, разница в моральных категориях. Без нравственного эквивалента нет конфликта, существенного для зрителя. Недоразумение неинтересно. Технический спор — не интересен для драмы. Увы, автор „Московского характера“ то и дело оказывается в ложном кругу недоразумений и мелочных препирательств. Он весьма рассудочно разыгрывает простенькую шахматную комбинацию: в меру грубости, немного чувства, преимущественно водевильного, бездна прямолинейности, несколько патетических тирад, и все обходится благополучно. Не связывая себя и в малой мере требованиями психологического анализа, автор до крайности облегчает и упрощает конфликт...»

Разбор пьесы и спектакля был достаточно обстоятелен. «Ты этого хотел, Жорж Данден!» — могу воскликнуть и я. Попытка говорить

серьезно о вздорных пустячках и ремесленных уродцах не может не быть наказана.

Но прислушаемся к строгой оценке «Московского характера», отчасти близкой моему взгляду: «Если очистить пьесу от нарочито дискредитирующих Потапова реплик, если обратить внимание не на форму, в которой выражает Потапов свои взгляды, а на их существо, если попытаться увидеть за громкими фразами его противников те подлинные побуждения, которые движут ими, то станет ясной вся ложность, порочность драматургического решения... конфликта. В борьбе двух тенденций — передовой и отсталой — драматург не, смог занять правильную позицию, не обнаружил глубокого знания жизни, не смог по-партийному разобраться в ней...»

Какой антипатриот написал эти кощунственные слова о пьесе, одобренной Сталиным? О лучшем, что ни говори, творении театральной *музы* Софронова?

Это из редакционной статьи «Литературной газеты» от 21 января 1950 года. А пьеса исчезла. Она и была ничтожной однодневкой, — разве что, в отличие от Анатолия Сурова, Анатолий Софронов сам писал свои драмы и комедии. Может быть, они и выиграли бы от соавторства, но Софронов до этого не опускался.

Так какие же *святые* защищал от нас Александр Фадеев? Что позволило ему, политику, члену ЦК, к этой поре уже обросшему грехами и винами, говорить и писать о нас подобное: «Шипя и злобствуя, пытаюсь создать некое литературное подполье, они охаивали все лучшее, что появлялось в советской драматургии... Мишенью их злобных и клеветнических выпадов были в особенности пьесы, удостоенные Сталинской премии... Надо решительно и раз навсегда покончить с либеральным попустительством всем этим эстетствующим ничтожеством, лишенным здорового чувства любви к Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кроме злопыхательства и раздутого самомнения»?

Весной 1949 года Фадеев позвонил Александру Мацкину и после нескольких общих фраз спросил:

— Как живет Абраша?

— Плохо живет, — ответил Мацкин. — У него описали и вывезли мебель, оставили только книги, письменный стол и супружескую кровать.

— Как вывезли?

— По суду. Издательство подало в суд, и вывезли.

— Он, наверное, без денег?..

Мацкин промолчал. Станный вопрос, странная забота о «злобствующем ничтожестве».

— Я хотел бы дать ему денег. Скажи Абраше.

— Позвони ему сам, это деликатное дело, — уклонился Мацкин. Они с войны перешли на «ты», с Гурвичем Фадеев тоже давно был близок.

— Я тебя прошу: сделай это для меня.

Мацкин уступил и позвонил на Красную Пресню. Трубку взяла Ляля Левыкина, жена.

— Даже не передам Абраше, — оборвала она разговор. — А Александру Александровичу скажи, что, если появится, я его спущу с лестницы.

Какая печаль, какое горе, когда крупный писатель, пылкий оратор всемирных антифашистских форумов не может понять, что подачками нельзя искупить такой вины, как всенародное поношение человека, объявление его «ничтожеством, лишенным здорового чувства любви к Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кроме злопыхательства и раздутого самомнения».

Летом 1970 года я послал Леониду Первомайскому интересовавшую его книгу Шешукова «Неистовые ревнителы». Письмо Л. Первомайского по прочтении труда Шешукова имеет прямое отношение к предмету моих записок. Ведь и Первомайский был ввергнут в 1949 году в кампанию клеветы, изощренные и наглые поношения довели его до крайности — покушения на самоубийство.

«Прочитал я „Неистовых ревнителей“, — писал он 18 августа 1970 года из Ирпеня, — и обуяли меня мысли разные, не об отдельных лицах, роль которых в этой книге едва-едва проясняется, а о целом направлении мыслей, к которому в той или иной мере многие были причастны... Автор книги не без оснований говорит, что среди четырех тысяч писателей, числившихся в РАППе, было только две талантливые индивидуальности — Фурманов и Фадеев. Но Фурманов только *начинал быть* писателем и не успел им по-настоящему стать, а Фадеев проделывал обратный путь — он *переставал быть* писателем, и талант его был не настолько велик, чтобы давать ему моральное право и служить основанием для роли руководителя или учителя одной из величайших в мире литератур... В творчестве побеждают не теории, а таланты. Плачевная практика РАППа тому не лишнее доказательство — четыре тысячи писателей, господи боже мой, но советскую литературу сделали ведь не они, имена же их господи веши... И заканчивается книга сомнительным утверждением, будто бы после длительного периода ошибок и заблуждений, приводивших Фадеева к губительным действиям, скажем, против Платонова, его ждали многие славные и добрые дела... Может быть, по отношению к Василию Гроссману?

Может быть, Фадеев был лично добр... Но какое это может иметь значение в свете объективных результатов его деятельности? Когда меня оболгали, превратили в изгоя, отщепенца, то есть во времена, памятные и тебе, он предложил мне путевку в санаторий за счет Литфонда... Хотел ли он этим отмежеваться от несправедливости,

малой долей добра откупиться от угрызений совести в связи со злом, к которому был причастен с самой первой минуты его возникновения?

Вспомни, кого травил РАПП и кого травили после РАППа. Новостью для меня является только то, что даже молодой Шолохов, то есть Шолохов наилучшей своей поры, оказывается, был не пролетарский, в лучшем случае эволюционирующий в сторону революции, то есть попутчик, а не враг... А сколько и кто был возведен в ранг „врагов“ со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Был ли конец Фадеева искуплением вины? Чувствовал ли он ее за собой?.. Некоторые люди полагают, что служебное их участие в объективно добрых делах на пользу миллионов освобождает их от обязанности личной доброты к каждому нуждающемуся в ней отдельному человеку. Противоречие Фадеева заключается в противоположном — он хотел остаться лично добрым, но как раз это и невозможно».

10

Встретясь в те дни с редактором «Правды» Петром Поспеловым, Константин Симонов посетовал на то, что меня исключили из партии, и редактор центрального партийного органа, две недели тому назад обвинивший нас в идеологическом вредительстве, удивился: «Как это — исключили? Мы не ставили об этом вопроса, мы критиковали товарищей за ошибки».

Поспелов не лицемерил: его дремавшее, цепеневшее в пожизненной подчиненности, в исполнительском рвении сознание плохо справлялось с драматизмом и грубостью жизни. Незадолго до 1949 года несколько правдистов в подпитии пошумели в ресторане и обложили матом призванных на помощь милицейских. На следующий день о дебоше было доложено Поспелову, он пригласил всех троих в кабинет и долго допытывался, как именно оскорбили они милицейских, какие были произнесены слова. Наконец кто-то признался: «Мы их послали к...» Поспелов вскинул руки и со стоном воскликнул: «Какая резкая формулировка!.. Идите!..»

Если пьяный мат — резкая формулировка, почему газетный донос не может быть товарищеской критикой ошибок?

Увы, мне пришлось иметь дело не с «донкихотами» большевизма, убежденными догматиками, и не с Шкирятовым, этим Малютой Скуратовым ЦК ВКП(б). Тем более хочется мне вспомнить генерала Шатилова Сергея Савельевича, заместителя начальника ГЛАВПУРа. Не знаю, как сложилась его судьба, но мне он тогда хотел помочь, и если не преуспел, то не по своей вине.

Закрытое собрание парторганизации ЦТКА проводилось в большой гостиной правительственной ложи.

Генерал Шатилов приехал загодя: невысокий, крепкий, плечистый, со светлыми глазами и гладкими пшеничными волосами на крупной голове. Он увел меня из гостиной в ложу, мы стояли над сумерками дневного зала и безлюдной сцены вдаль, он приобнял меня за плечо и сказал:

— Послушай, ты нам сегодня помоги: не жалобь людей.

— Не понимаю? — Я действительно не понял.

— Тебя в театре уважают... И за дело, — добавил он самоотверженно. — Ко мне приходил Попов (речь шла об Алексее Дмитриевиче), требовал, чтобы мы защитили тебя, предупредил меня, что на сборе трупы он не скажет о тебе плохого слова, только хорошее... С ним не сладишь, а ты на партийном собрании не жалобь людей. Я тебе так скажу: если их не посадят, все у тебя будет в порядке. Все! — повторил он уверенно.

— Кого «их»? — снова не понял я.

— Ну, Юзовского, Гурвича, Альтмана... Всех стариков! — нашелся он вдруг.

— За что, Сергей Савельевич? Тогда и меня могут!

— Нет! — Он даже повеселел. — Ты на виду, а они... — Никак он не мог даже самому себе объяснить мрачных криминальных подозрений. — Они закрытые, по домам сидят... Старики.

Старики... Индивидуалисты! Нигде не служат, этакий мусор, люди изначально виноватые, хотя никому невдомек, в чем именно виноватые. Люди, о которых общество не заплачет... Что-то пугающее было в готовности согласиться с их арестом, принять его как должное, вдвойне пугающее оттого, что говорил мне это как будто расположенный ко мне человек.

Собрание не затянулось: секретарь партбюро артист Майоров доложил о статье в «Правде», посетовал, как не повезло театру: прежде был завлит-антипатриот Бояджиев, сменил его «безродный космополит» Борщаговский. О репертуарном «вредительстве» он говорить не решался, еще на это не хватало дыхания, — кругом сидели актеры, знавшие мою работу и то, что своих героев, всегда чуть напыщенных и слащавых, «социальный герой» Майоров сыграл в отысканных и отредактированных мною современных пьесах. Мою вину пришлось формулировать сложно: театром и завлитством я, оказываюсь, маскировался, а вредительством занимался в критике, в газетных и журнальных статьях. «Он заранее знал», — сказал начальник театра генерал Паша С. И., уже изгнавший меня с должности, погоревавший с глазу на глаз со мной и показавший выписку из решения ЦК — за подписью (факсимильной) Маленкова — об освобождении меня от всех должностей. «...Он заранее знал („заранее“ — любимое его словцо), что тут, у нас, черное дело не пройдет, вот и работал, искал пьесы, а мы его проглядели...»

Выступлений было немного, и все не актерские, а из цехов, людей, не знавших меня. И смысл их был прост. «Гнать из партии», — требовали послушные. «К белым медведям!» — надсадно кричал кто-то из жестокосердых.

Запомнилось только одно актерское выступление, заслуженного артиста РСФСР и народного УССР Георгия Николаевича Полежаева, принятого в театр по моей рекомендации, актера, как-то потерявшегося на огромной сцене ЦТКА, в давно сложившейся труппе, и единодушно не принятого режиссурой.

Я работал с ним до войны в Киеве, в театре Киевского особого военного округа, куда он был приглашен из Новосибирска после его громких успехов на сцене «Красного факела». Нервный, легко возбудимый актер, с любопытной внутренней жизнью, так заметной на небольшой камерной сцене, он самобытно сыграл Гамлета в поставленном у нас С. Э. Радловым спектакле. Больше двух лет мы провели с Полежаевым на фронте — от Равы-Русской до Сталинграда — и в частях Забайкальского фронта, я был одним из рекомендовавших его в партию. В Москве жизнь его не складывалась, режиссеры — все до единого — «не видели» его в ролях, не занимали в спектаклях. Он говорил об этом со мной, зная о добрых моих отношениях с Алексеем Дмитриевичем, но ничего изменить я не смог, — так, увы, случается в театре, особенно с человеком, избалованным провинциальным премьерством. Сильный должен уйти, не надрывая души.

И вдруг беда со мной, его дважды *рекомендателем*: в партию и в ЦТКА. Когда взял слово Полежаев, я пожалел его: господи, не кидайся ты на защиту, тебе и без того трудно, а этого тебе и подавно не простят. Помолчи, твоя защита ничего не изменит... Сиди я рядом с ним, я удержал бы этого щупленького, небольшого, с вытянутым, некрасивым, но таким живым, вопрошающим актерским лицом человека. Я бы шепнул: не надо, подумай о себе, я уже поплыл. Я бы удержал этого волнующегося, неуверенного человека от губительного для него вмешательства в мою судьбу

Но он успел выйти вперед, уставиться на меня незнающими глазами и начал:

— Мне сегодня тяжелее всех, товарищи. Ведь этот человек, от которого все мы справедливо отвернулись сегодня, этот антипатриот дал мне рекомендацию в партию! Как мне искупить вину? Если бы я знал его нутро тогда, во фронтовом театре, я бы ни за что не принял из грязных... враждебных рук рекомендацию в партию. Поверьте мне.

И речь его, продиктованная страхом и каким-то хлыстовским самобичеванием, длилась под презрительные, несмотря ни на что, взгляды. Он странно всхлипывал, не плакал, нет, у него была такая привычка, этакая помесь всхлипа и вздоха, придававшая какую-то значительность маленькому человечку

Он неловко попятился, сел, понурившись, будто и правда на его плечи давила тяжесть, почти такая же, как и на меня, за мои злодеяния.

Я наблюдал голосование. Казалось, оно длится неестественно долго. Я вижу, как, опустив голову, поднимает руку за исключение кандидат в члены партии Андрей Попов, сын Алексея Дмитриевича, как со слезами на глазах, поникнув и как-то сломленно голосует седоголовый, славный, расположенный ко мне художник Ниссон Шифрин и все, все другие.

Кажется, зря Майоров спрашивает наигранным актерским голосом, исполняя ритуал: кто против?

Кто может быть против, если злодей не разоружился, не признался во враждебных замыслах!

— Кто против?

Поднялись две руки. Что это — ошибка, рассеянность, замедленная реакция?

— Вы «за» или «против»? — недоумевает генерал Паша.

— Против! — спокойным густым басом отвечает Гай, Гриша Гай, мой ученик по довоенному театральному институту в Киеве. — Борщаговский честный человек, я его хорошо знаю. Я против, — повторяет он, чтобы не было никаких сомнений.

Я пожалел было Полежаева, но Гая не жаль, нет, в эту минуту я горжусь им. Я счастлив, что не весь мир рухнул, что молодость честна и отважна, что можно остаться человеком и в таком трудном положении, зная, что за это тебя непременно ждет изгнание.

Вторым был молодой актер Юффа (может быть, и Юфа, через одно «ф», прошу прощения, если ошибся), мало знакомый мне в этом огромном караван-сарае, актер без перспективы, без выигрышных данных, с какой-то своей, как мне казалось невеселой и сложной жизнью в этом разъятом мире.

И это было счастье, я не задавался вопросом — почему? Значит, верит, не поддался стадному чувству остался человеком.

Всех троих тут же и повымело из театра. Полежаева не хотел больше видеть Алексей Дмитриевич Попов. Гришу Гая изгнал генерал Паша. Юффа спустя несколько дней был арестован. Это моя боль, хотя и нет на мне вины. А если и есть, то только та, что, прожив два года в одном с ним театре, я не узнал его, не помог, если моя помощь была ему нужна, а он оказался мне другом и защитой. Об этом не скажешь: слабой защитой. Нравственная, благородная защита — абсолютна.

Генерал Шатилов снова захотел остаться со мной наедине. Вновь расположение ко мне и добрый совет:

— Ты вот что: заболей! Да, заболей. Повремени, никуда не ходи. Знаешь, как у нас делается: шумим, орем, сами себя не слышим. Пусть утихомирится, а до того не ходи... Будут звонить из второго дома — не ходи, болен. Партбилет при тебе, вот и держись.

Второй дом НКО — это в военной партийной иерархии то ли райком, то ли горком-обком; исключив из партии, там уже отнимают билет.

Еще выше парткомиссия или партколлегия ГЛАВПУРа; там царил лицедей интеллигентного вида и речи, с породистым, но порочным лицом, полковник Леонов. Видел я его дважды: когда он исключал меня в апреле 1949 года и осенью 1955 года, когда Комиссия партийного контроля при ЦК, под председательством тов. Комарова, восстанавливала меня. Во второй раз он сидел, рядовой член КПК, помалкивал, не подавал и вида, что причастен к партийным репрессиям, хотя мог бы кое-что рассказать о том, чего никак не умел взять в толк старый коммунист, сам хлебнувший неправосудия Комаров: «За что же все-таки вас исключили?» — все недоумевал он.

11

До моего возвращения из театра дома трезвонил телефон.

Звонил Симонов: что на собрании? как решилось мое дело? не вернулся ли я? Волновался и Алексей Дмитриевич — и моей судьбой, и тем, как поведет себя его сын. Тревога нагнеталась; может быть, с той поры навсегда трудны стали для Вали телефонные звонки, вторжения чужих голосов, страстей и бед.

Заждалась мужа Нина Майорова; звонила бестактно: не пришел ли Александр Михайлович? — неужели все еще длится собрание? Да, видимо, идет, отвечала Валя, я места себе не нахожу... «Мне бы ваши заботы!» — откликнулась горькая ревнивица Нина.

Я еще досказывал Вале и матери о собрании, когда в который-то раз позвонил Алексей Дмитриевич и, услышав мой голос, объявил:

— Посылаю за тобой машину. Ничего не спрашиваю: жду.

Меня поразило подчеркнутое «ты» — братское, счастливое в этих обстоятельствах «ты» — и решительность тона: быть может, у него есть какие-то планы. Алексей Попов — человек чистой, доброй души, но в жесткой, случалось, и суровой оболочке, немногословный, правдивый, умевший взглядом, а то и рукопожатием сказать больше иного словоохотливого, а главное — прямее, честнее.

Я не знал, живут ли молодые Поповы с родителями на улице Щукина, стеснялся — если живут — неизбежной встречи с Андреем, только что сдавшим экзамен на партийную зрелость и дисциплинированность.

Алексей Дмитриевич увел меня к себе в кабинет, отделенный от прихожей дверью с непрозрачным, узорчатым стеклом в верхней половине.

Он ничего не знал. Не хотел звонить генералу Пашё в театр, и Андрей не позвонил. Квартира Попова как-то притихла, будто беда стряслась здесь, а не на улице Дурова; у меня дома — дети, мама, которая не станет волноваться, уже потому хотя бы, что в любом

случае *мир* не прав, но всегда прав ее сын; там любящее, уже провидящее многое, колотящееся в недобром предчувствии сердце Вали. Здесь мечущийся по кабинету Алексей Дмитриевич.

— Исключили? Исключили! Как они могут, за что?! Кто выступил?

Но я не успел рассказать.

— Молчи! Ничего не говори, все знаю, все представляю себе... Вот как, оказывается, дело ведется; а я ведь собрался подать заявление в партию. Со мной давно говорили, недавно Шатилов меня убедил, только я не успел написать. Знаешь, что я был когда-то в партии?

Я никогда не слыхал об этом. Оказывается, он вступил в партию большевиков в год революции сознательно и убежденно, а в 1919 году случилось так, что он отказался от какого-то казенного назначения, от должности, решив посвятить себя театру. Уехал в Ярославль и был исключен за «интеллигентщину» и «отрыв от парторганизации».

— Прошло тридцать лет, я не возвращался, а совсем недавно — решился. Теперь — ни за что!

Ну, конечно, я стал его убеждать, что он не прав: и моя судьба решена не окончательно, и вообще можно ли соотносить такие жизненно важные поступки с чьими-то обидами, с «частными несправедливостями». Сын века, и в подкорке, в подсознании, отдающий нравственность в лакейское услужение политике, я говорил с ним почти виновато — не хватает, чтобы моя нескладница обернулась еще и такой потерей для партии!..

Его рот подергивался и кривился, все подвижное лицо отвергало меня, он не удостоил меня и спора, только махнул рукой и спросил:

— Как голосовали? Все за исключение? — И снова не дав ответить: — А Ниссон? И он за исключение? — Такое ему трудно было вообразить и принять: Ниссон Шифрин — прекрасный художник, целомудренный человек, мог ли он поступиться совестью?

Я сказал, что Шифрин хотя и со слезами в глазах, но руку поднял.

Попов еще яростнее заметался по кабинету и вдруг остановился напротив меня:

— А Андрей? Кандидаты тоже голосуют?

— И Андрей, а что ему было делать. По такому случаю все голосовали.

— И не нашлось ни-ко-го, кто возразил бы? — все еще не верил он.

Я назвал Гая и Юффу.

— Смогли, не испугались!..

Я все еще малодушно хотел смягчить отца.

— Они не спорили, не ораторствовали особенно... — предавал я их гражданский подвиг. — Просто подняли руку против исключения.

Алексей Дмитриевич не успел ответить: во входной двери заскрежетал ключ, вернулся Андрей, он добирался дольше, чем я на посланной Поповым машине. Алексей Дмитриевич метнулся к двери,

подав мне знак молчать, и скрылся в прихожей. Всякое слово разговора отца и сына было мне отчетливо слышно.

— Где ты так задержался, Андрей?

— На партийном собрании. Там о Борщаговском... ты же знаешь.

— Ничего я не знаю! Что вы там обсуждали?

— Статью «Правды».

— Ну и что? — Голос раздраженный, недобрый, Андрей не мог не чувствовать этого.

— Его исключили из партии...

— И ты голосовал? — Большая пауза. — Ты тоже голосовал за исключение?

— Да, папа, — ответил Андрей.

— Ты веришь, что он плохой, бесчестный человек? Что его надо гнать?

— Нет, папа... К нам приехали три генерала. — Это правда, кроме С. С. Шатилова, явились еще два генерала; так подчеркнута была государственная важность дела.

— Ну и что, что генералы! Как ты смел голосовать, если думаешь иначе!

В ответ — молчание.

— Уходи! Не хочу тебя видеть!

Алексей Дмитриевич вернулся в кабинет опустошенный; из глубины квартиры я уже слышал голос домашнего ангела, славной, доброй жены Алексея Дмитриевича, она уже принимала сына в свои врачующие объятия.

Я любил Андрея всю жизнь, чтил в нем незаурядного художника, актера-мастера (режиссером сколько-нибудь значительным он не был) и достойнейшего человека. Но без этой правды — житейской, психологической — не передать атмосферы времени; останется одно лишь злодейство или шарлатанство суровых. Многие ли из читателей этих «Записок» решились бы в подобной ситуации, при «отце родном» и «гении всех времен», поднять руку против грозного общего мнения, как это сделал Гриша Гай? Мучительно думаю о том, как поступил бы я сам? Не испугался бы — это я знаю. Но только ли страх толкает нас к компромиссам и самоунижению?

Из второго дома НКО позвонили через три дня, и я поехал на заседание, памятуя совет Сергея Савельевича, но не умея им воспользоваться, — этому я не научился и во всю долгую жизнь. Скрываться, прятаться, хитрить, «болеть», когда я вызван, что называется, «к барьеру», когда дело идет о чести, о сущности моей жизни, — не умею; это даже не позиция и не голос рассудка, а несчастливое устройство натуры.

Скоропалительного заседания в старом здании напротив нынешнего ГУМа, тогда глухого и слепого, мертвого, чтобы суетной человеческой жизнью не оскорблять величие того, кто правил за Кремлевской стеной, почти не помню. Память сохранила только мою анкету из личного дела, передвигаемую по столу от одного чина к другому, странный, какой-то морковный палец, задержавшийся на 5-м пункте ползущей, как при замедленной съемке, бумаги. Взгляды, скорее равнодушные, с погашенным любопытством, — я для них как будто горсть золы или пыли из другой галактики. Председательствующий назвал статью, напечатанную в «Правде», сообщил, что в парторганизации театра я исключен *единогласно* (стоит ли считать голоса тех, кого уже и след простыл!). Мне не задавали вопросов, выслушали мое спокойное объяснение — будто я эксперт, а не подследственный, — что статья несправедлива и в том, что я писал о театрах, не было дурного антипатриотического умысла.

Не знаю, перемолвились ли все они перед тем, как вызвать меня из приемной. Похоже, что поговорили наскоро, иначе как объяснить отсутствие интереса к предмету, мгновенное, механическое решение моей судьбы; не понадобилось даже и поднятых в единодушном порыве рук. «Дело ясное», — сказал председательствующий и отодвинул в сторону заранее испрошенный у меня, уже не принадлежащий мне партбилет. На синеватой корочке партбилета, сверху, неопрятное коричневатое пятно. «В каком виде...» — упрекнул меня председатель. «Это моя кровь, — сказал я. — Пуля прошла между четвертым и пятым ребром в миллиметре от аорты. Пришлось как раз на верхнюю кромку кармана гимнастерки; пролилось немного крови».

Я не «жалобил», по выражению С. С. Шатилова, а давал сухую справку, с некоторой даже угрюмостью. Но к чему она им, старшим офицерам, кто повидал много смертей и крови в недавние еще годы, а подавно тем из них, кто не повидал, не воевал и привык только судить других. Я жив, здоров, сравнительно молод, и кто знает, моя ли это кровь или хитрый «реквизит» космополита, «беспачпортного бродяги в человечестве»? С *них* станется, они на все способны...

Уже кличка «безродные космополиты» стала чем-то расхожим, паролем и отзывом, бикфордовым шнуром, подведенным к судьбам и жизни тысяч и десятков тысяч честных людей всех профессий и областей знания. По прошествии недели-двух в газетах писалось и не такое: блаженненький редактор «Правды» Петр Поспелов, так удивившийся моему исключению из партии, позволил Софронову на страницах «Правды» напечатать такой, я бы сказал, шедевр мысли и стиля: «Борщаговский — этот подонок литературы, разбойник пера и бандит от критики...» Не образец ли это краткости, экспрессии и высокого гражданского пафоса, святого гнева патриота, скромного художника слова на *безродных космополитов*.

Ко многим известным художникам заинтересованные лица обращались с предложением использовать против нас оружие изосатиры, откликнулись только двое. Русские художники в большинстве пренебрегли посулами, недобрым натиском («оскоромился», кажется, только Черемных), покорно исполнили урок Бор. Ефимов и Ганф. И как не откликнуться, когда у Бориса Ефимова за спиной маячит тень уничтоженного брата, Михаила Кольцова, а Ю. Ганфу (как, впрочем, и Ефимову) не трудно было вообразить и себя в черных списках «безродных космополитов», жидомасонов тех лет.

Постыдная работа Ефимова попала на глаза в Ленинской библиотеке: он проиллюстрировал речь Фадеева и статью «Правды». В многофигурной композиции обличались «герои дня» — жалкая фигура маячила у закрытого шлагбаума с надписью: «Борщаговская застава», это я перекрывал дорогу на сцену пьесам советских драматургов. С карикатурой Ю. Ганфа я познакомился спустя годы в Стокгольме при посещении издательского концерна и редакции журнала «Фолькет и билд». Сотрудник редакции учтиво преподнес мне альбом советской карикатуры^[12] более чем за сорок послереволюционных лет — альбом, изданный в Швеции, — и спросил: не меня ли имеют в виду в карикатуре на заложенной им странице?

...Отброшена крышка мусорного ящика, приткнувшегося к дощатому забору, на заборе сидит хищный американский гриф или кондор, он жадно высматривает себе поживу и конечно же находит ее на этой свалке истории, среди отбросов: там валяются человечки, а на них написаны наши фамилии.

С Ю. Ганфом меня пытались познакомить в начале семидесятых годов в Малеевке. Мне нравятся такие люди: подтянутые, опрятные, с острым живым взглядом, несуетные, — в других обстоятельствах я был бы рад знакомству, но тут, каюсь, не смог пересилить себя и подать ему руку. В 1949 году он пустил в дело сатирический карандаш страха иудейского ради; ведь какая честь, ему предложено *участие* в борьбе «особенно, — по выражению Глебова, — в современной международной обстановке...».

«Международная обстановка»! Она ведь всегда *современна* — скольких демагогов она выручала, для скольких барахтающихся в безмыслии ораторов послужила спасительным якорем.

На парткомиссию ГЛАВПУРа, к полковнику Леонову, я поехал в начале апреля без гнева в душе, непростительно спокойный. Я быстро привыкаю к новым обстоятельствам, к новым стенам, столу, нищему рациону, — так *привык* я и к своему исключению: почувствовал, что беда продлится годы, исцелить меня может только работа, работа и близкие люди, их терпение и наша обоюдная нежность. А все

остальные так мало значили для меня, им был закрыт доступ в мой внутренний мир.

Я сидел в прихожей вместе с несколькими ждущими решения своей судьбы офицерами. Но еще до приглашения меня из кабинета вышел головастый полковник в пенсне, а может, и в очках, — этого я уже никогда не вспомню точно, но, кажется, в пенсне, — он выглядел «породисто», а вместе с тем и провинциально, очень похоже на нашего белоцерковского гинеколога. Узнать меня — штатского среди военных — нетрудно, и, поздоровавшись кивком, он пригласил меня в соседнюю небольшую комнату.

— Сейчас мы вас позовем, товарищ Борщаговский, и я хотел бы помочь вам. Моя фамилия Леонов.

— Спасибо... — Пришла мысль: не Шатилов ли печется обо мне?

— Мы на днях рассматривали два дела, одно за другим, так уж вышло. Один из офицеров серьезно провинился, но мы увидели перед собой раскаявшегося человека. Он весь был открыт, и знаете, отделался легким наказанием. Другой проштрафился куда меньше, но держался воинственно, ничего не признавал за собой, и мы его исключили. Пришлось исключить: с партией не хитрят. Вы — человек знающий, умный, подумайте над этим, времени осталось немного.

Его притча ясна; это приглашение к сознанию в несодеянных грехах. Попытка осудить меня, облегчив к тому же собственную совесть, если его совесть в этом нуждалась. Желание заполучить в партийное дело, кроме ругательской статьи «Правды», еще и чистосердечное раскаяние безродного.

Мы стояли посреди комнаты. Он торопил меня взглядом, движением грузных плеч.

— Как критик я не могу претендовать на безгрешность, — ответил я. — Быть может, я кого-то перехвалил, а к чему-то был строг и несправедлив. Но если вы ждете от меня признания в антипатриотической деятельности, во враждебных поступках, то вы ошибаетесь. Будь я антипатриотом, я бы не вступал в партию и не добивался бы теперь восстановления. Я не подлец и не трус...

— Дело ваше: я счел нужным предупредить.

После ухода из кабинета очередного штрафника меня позвали не сразу. Видимо, полковник вводил в курс непривычного для них дела членов коллегии, оно и правда было необычно среди всех других дисциплинарных, противоуставных или бытовых дел, которыми сплошь и рядом занималась коллегия.

Я вошел в кабинет, когда уже в любой паре уставившихся на меня глаз нетрудно было прочесть приговор. Так всем оказалось много легче. Ведь не было дела, ясного, зримого для них проступка. Мое неуловимое преступление было столь же *грозно, серьезно*, сколь и эфемерно, нематериально, но гипноз значительных, *политических* газетных слов был для них сильнее здравого смысла и чувства

справедливости. Я едва успел повторить то, что сказал барственному полковнику, — быстро и сбивчиво.

Отныне я мог искать справедливости только у очередного съезда партии.

Надо было жить, если позволят, жить и работать, благословляя горы освободившегося времени, — прежде его поглощала суета.

Я еще вернусь к новой жизни, наступившей с первыми числами февраля, к *мертвому* телефону, умолкшему на два месяца, к сожженным письмам Ярослава Галана и других хороших, чистых людей, к благородству одних и подлости других, к нужде, к разорванной семье, к изгнанию меня из залов Ленинской библиотеки, к трудной национальной проблеме — вечному еврейскому вопросу, к московскому Госету, к гибели Михоэлса, а с ним и моего друга Володи Голубова-Потапова, к несостоявшимся репетициям моей пьесы в Театре на Малой Бронной, но прежде немного горестной февральской хроники.

12

«Литературная газета» мгновенно откликнулась на статью «Правды» и на следующий день дала редакционный обзор — переложение руководящей статьи и триста строк от себя, выказывая резвость мысли и обещание будущей неукротимой деятельности.

Дружный газетный залп Москвы следом за «Правдой» — результат даже не самой статьи, а команды, поданной сразу же после заседания в ЦК под председательством Г. М. Маленкова. Иначе бы им не успеть.

Оживились доносители и люди, сводившие личные счеты, подгонявшие отныне любые клеветы под борьбу с космополитизмом. Кроме редакционной статьи «Литературка» в том же номере дала и другой материал — извлекла из портфеля редакции статью Вероники Мотылевской о Всеволодском-Гернгроссе. В. Ермаков приспособил статью под злобу дня, тиснул ее под названием «Космополиты из журнала „Театр“». Не просто тиснул, от автора потребовались новые, актуальные параграфы, и женская рука бестрепетно вывела их: «Последовательный мракобес в области истории русского театра, В. Всеволодский-Гернгросс не постеснялся оболгать даже величайшего русского драматурга А. Н. Островского...», «Идеалист и формалист, матерый представитель „компаративистской“ школы, а в прошлой своей литературной деятельности верный ученик и последователь Алексея Веселовского и академика Перетца, В. Всеволодский-Гернгросс — яростный, воинствующий сторонник иноземного, в особенности немецкого влияния на русский театр. Он злобно, на протяжении всей своей жизни, протаскивал враждебные, унижающие национальное достоинство русского советского человека, „теории“; засорял головы нашей театральной молодежи антипатриотическими, антинаучными утверждениями...» О бессмертное племя Чибиряк и Тимашук!

«Злобствующий ненавистник, чуждый всему русскому, чуждый народу и его идеалам», «клеветнические измышления», «безродный космополит», «ненависть к русскому народу», «махровый космополит», льющий «воду на мельницу антипатриотической группы критиков и историков театра, раболепствующих перед всем иностранным»...

Не знаю, как сложилась ученая судьба Мотылевской, стала ли она доктором наук, или статья «Космополиты» из журнала «Театр» была ее звездным часом, венцом ее духовной деятельности, но Всеволодского-Гернгросса знал довольно хорошо, прослушав у него курс истории русского театра в аспирантуре Киевского театрального института. Педант, забавный человек, далекий от марксизма, особенно далекий, когда он хотел казаться марксистским историком, он был фанатически предан своему предмету. Он один проделал ни с чем и ни с кем не сравнимую работу собирания и публикации материалов и документов по истории русского театра; осуществил труд целого института, но института дельного, а не того, где бесплодно теоретизируют и творят «концепции» на потребу дня. Он подарил науке ее зерно и первый хлеб — факты, реалии, достоверную летопись русского театра XVIII века.

И наступило время, когда все оказалось дозволено, а неутомимый летописец русского театра, отнюдь не *безродный*, а родовитый дворянин, так неосмотрительно сохранил вторую свою, немецкую по корням фамилию — Гернгросс.

Отныне допустим любой уровень тупости. Так «Литературка» писала об одной публикации критика-«антипатриота» Гурвича: «В статье, уже самое название которой является злопыхательским: „Будни одного города“, критик утверждал, что „там, где спектакль изображает будни советских людей, он сам, к сожалению, становится *будничным*“». «То подавай им, этим капризным снобам, — негодует газета В. Ермилова, — Гамлета, то тургеневскую Верочку, то Расина, — кто их знает, чего они еще захотят, лишь бы принизить советскую драматургию». «Гурвич, — утверждала „Литературная газета“, — рассматривал советскую драматургию, так сказать, с высот мировой классики... Любимым его героем, которого он особенно часто использовал таким способом (т. е. в упрек Софронову, Сурову и даже Н. Погодину! — А. Б.), являлся Гамлет. Это, по мнению Гурвича, и „венец и вершина“ всей мировой литературы. И вот с этой-то вершины Гурвич и рассматривает всю советскую драматургию... Она, советская драматургия, не „устраивает“ их своим патриотизмом, своей партийностью, цельностью, душевной прямоотой своих героев, чуждых какому бы то ни было „гамлетизму“. Ах, какие излишне цельные, излишне прямые эти люди, изображаемые советскими драматургами, эти большевики, партийные и беспартийные! Вот бы „гамлетизм“ им подсунуть, — таков смысл всей этой, в сущности, идеологической диверсии!»

Санитарная служба мысли, интеллекта, если бы такая существовала, должна бы запретить и сегодня эти цитаты, унижающие сам род человеческий. Но как еще рассказать о всенародной беде, об анафемах «интеллектуальных» матерщинников, о катастрофической отметке падения уровня духовности? Как доказать, что все было так, истинно так?

«Литературная газета» покаянно колотила в грудь и себя, таков ритуал. «Литературная газета», каялся В. Ермилов, «совершила и прямую ошибку в вопросе об отношении к современному репертуару, и в частности к спектаклю „Московский характер“. В редакционном отчете с претенциозным заголовком „Разговор о судьбах репертуара“ („ЛГ“, 1948, 4 декабря) она фактически подняла на щит порочный доклад А. Борщаговского на совещании о новых пьесах и присоединилась к его злопыхательским выпадам против постановки современных патриотических пьес на сцене Малого театра».

Изъясняясь подобным «канцеляритом» («ошибку в вопросе об отношении», «подняла на щит»), газета, однако, пеняет «безродным космополитам» за их *не русскую речь*: «Критики-космополиты даже писать не умеют по-русски, они разговаривают на каком-то воляпюке, диком и странном для русского читателя». Правда, откуда и прийти языку, если они, злокозненные иноверцы, не желают «знать русский язык, русский народ, русскую культуру».

Впервые раскрыв литературный псевдоним Е. Холодова (Меерович), «Культура и жизнь» словно дала выстрел из стартового пистолета для печати всей страны. Это был удар по тем, кто, следуя примеру многих чтимых страной людей (Ленина, Горького, Сталина...) или против своей воли, подчиняясь в годы войны грозному повелению начальника ГЛАВПУРа А. Щербакова, избрали себе литературные псевдонимы. Отныне они обличались как жулье, норовящее обмануть великий и доверчивый (по Гурвичу, еще и не лишенный благодушия) народ. Другая новация «Культуры и жизни» заключалась в объявлении Всеволода Эмильевича Мейерхольда «враждебным нам человеком», «целиком зависевшим от растленного декадентского западного театра». Наконец-то и бериевские палачи смогли узнать, за что они истязали и казнили великого режиссера.

Статья за статьей, отчет за отчетом. В. Ермилов активен особенно: наступил его час, можно сводить счеты, *любую* ошибку окрестить космополитизмом, остаться одному на критическом Олимпе. Кто-то написал для Сурова статью «Эстетствующие клеветники» («ЛГ», 1949, 9 февраля). В ней цитируются театроведческие работы, которых, я убежден, Анатолий Суров никогда в руках не держал, приводятся имена и названия, вроде «Леди Микельсфильд», которых ему не упомянуть и после публикации подписанной им статьи. Кто писал ее? Сегодня на многое трудно ответить, но уже тогда, через считанные дни после выступления «Правды», кто-то уже отдался на милость А. Сурова,

кому-то он уже обещал защиту на уровне райкома и даже горкома партии, посулил сохранение партбилета, требуя взамен послушания и литературного прислужничества.

11 и 12 февраля газеты вышли с отчетами о партийном собрании Союза советских писателей. С докладом на собрании выступил А. Софронов, позиции соответственно ужесточились, густо потекла площадная брань («группа оголтелых, злонамеренных космополитов, людей без рода и племени, *торгашей и бессовестных дельцов...*», «они *хулигански* охаивали все новое, передовое, все лучшее, что появлялось в советской литературе» — «Правда», 1949, 11 февраля), расширился список «врагов»: возникли Л. Субоцкий («охаял патриотическую „Повесть о настоящем человеке“» Б. Полевого), «антипатриот» А. Лейтес, «злопыхатель» А. Эрлих, Д. Данин («пытался „изничтожить“ замечательную патриотическую поэму „Колхоз „Большевик““» Н. Грибачева»), «безродный космополит» Б. Хольцман (Яковлев). Оскорбленный Н. Грибачев призывал до конца разоблачить «космополитическое отребье», утверждая, что «Д. Данин унаследовал методы оголтелых космополитов, в свое время травивших Горького и Маяковского и возвеличивавших антинародную, безыдейную поэзию Б. Пастернака и А. Ахматовой. Д. Данин облил грязью за один только год шесть поэм». Партийному бюро поручено было рассмотреть вопрос о членах ВКП(б) И. Альтмане, Ф. Левине, Л. Субоцком и кандидате в члены ВКП(б) Д. Данине.

Софронов срочно «переоборудовал» доклад на пленуме СП СССР в статью для «Литературной газеты» (1949, 12 февраля), обратив ее пафос не к узкому профессиональному кругу, а к сотням тысяч читателей. Альтмана он казнит за утверждение, что вахтанговская «Принцесса Турандот» «не формалистический спектакль», а «эксперимент, смелый замысел художника»; Э. Казакевича за повесть «Двое в степи»; Д. Данина за «грубейшие политические извращения»: «Если верить Данину, у нас построен только фундамент социализма, а самого здания, самого социализма еще нет. Но это же наглый поклеп на нашу действительность». «Еще в 1936 году товарищ Сталин говорил, — напоминал Софронов, — „наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило в *основном* социализм, создало социалистический строй, т. е. осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или низшей формой коммунизма“». Видимо, для того, чтобы убрать сталинскую оговорку 1936 года «в основном», понадобился год 1937-й, когда на смену *выборочному* уничтожению своих противников, инакомыслящих или подозреваемых в инакомыслии, пришла сплошная *вырубка*, уничтожение цвета партии, армии, народа.

Кроме лиц, чья нравственность охотно допускала участие в травле коллег-писателей (В. Ермилов или Н. Грибачев), свое имя и репутацию предоставили в распоряжение гонителей М. Шагинян и А. Макаров. Но

если Шагинян ограничилась общими словами, «вспоминая, как на разных этапах развития советской литературы критики-снобы травили писателей, отображавших в своем творчестве первые годы социалистического строительства», то Александр Макаров опустился до недостойных его дарования и личности речей. Сославшись на опубликованное в «Литературной газете» письмо, он сказал: «Старый рабочий назвал космополитов живыми трупами. Это верно! Трупный яд до сих пор отравляет наши молодые литературские кадры. Он до сих пор проявляется еще в статьях и выступлениях ряда литературных критиков. Им заражены такие критики, как Данин и Рунин».

Шли доносы.

«Вечерняя Москва» сообщила (1949, 12 февраля) о собрании партийного актива Краснопресненского района, где открылось, что «на биологическом факультете МГУ, где долгое время подвизались вейсманисты-морганисты, еще не до конца разоблачены последыши реакционных „теорий“, а на филологическом „руководящие посты до последнего времени занимал представитель буржуазного, формалистического направления Виноградов“». Так начавшаяся на театральном плацдарме борьба шовинистов и корыстолюбцев против вымышленных «космополитов» стремительно вливалась в общий поток наступления лженауки и лжелитературы на все здоровое, сохранявшее верность истине и здравому смыслу. Родовой же чертой грязной возни в литературе и искусстве была антисемитская окраска: говоря о людях «без рода и племени», прибавляя затасканные эпитеты «дельцы» и «торгаши», устроители шабаша понимали, чьим темным инстинктам они потрафляют, какие «эмоции» они могут разжечь в читающей публике.

Поток поношений и анафем так раздвигал берега, что скоро и не докричаться стало с берега на берег.

Иван Пырьев тоже напечатал статью, в которой в «отцы-формалисты» зачислялись Г. Козинцев и Л. Трауберг. Но вот тяжкая, необратимая логика «потока», в которыйходишь будто бы добровольно, надеясь сохранить честь и приличие, и вдруг открываешь, что ты уже не хозяин себе. Скажешь вдруг дурно, неопратно, а после прочтешь свои слова еще и «отредактированными», ужесточенными. Кто может надеяться жить в сточной канаве, в клоаке, не замарав рук! И вот уже Пырьев, самобытная личность, человек, ни у кого не искавший милостей, обрушивается на С. Эйзенштейна за его «неудачный фильм» «Генеральная линия». «В этом фильме, — размышляет И. Пырьев, — режиссер поставил перед собой благородную задачу — показать первые годы коллективизации сельского хозяйства и великое значение коллективизации для страны и народа. Но к решению этой новой для себя задачи он подошел со старыми *формалистическими методами* „монтажа аттракционов“, чем исказил и действительность и характер русских людей». Сергей Эйзенштейн

искал правды, образного, впечатляющего и резкого выражения подлинного материала действительности, но подошло время, когда сложности и драмы жизни принято было (и велено было!) скрывать, маскировать средствами искусства лакировочного, **карамельного**, вскоре доведенного до некоего идеала и новой «эстетической нормы» в «Кубанских казаках» или в «Сказании о земле Сибирской». А Эйзенштейн, как замечает автор статьи о нем в энциклопедическом словаре «Кино», пытался противопоставить «испытанным, банальным приемам актеров театра и кино» «правдивое, естественное поведение людей с характерной внешностью и трудовыми навыками, необходимыми для исполнения роли». И главную женскую роль в фильме (его второе название — «Старое и новое») сыграла крестьянка Марфа Лапкина. Не «формализм» загубил фильм. Не было в нем «искажения характера русских людей», а были люди из самой жизни, был новаторский поиск, который в будущем принес немалые успехи итальянскому неореализму и нашим режиссерам В. Пудовкину или М. Калатозову. Оскорбила иных именно *естественность*, подлинность натуры, грубый и прекрасный подтекст жизни, но Пырьев бестрепетно подверстал и этот экспериментальный фильм к кампании борьбы против космополитизма.

В году 1954-м или 1955-м, когда я еще не был восстановлен в партии, Иван Пырьев, тогда директор «Мосфильма», пригласил меня для разговора об экранизации романа «Русский флаг» и сделал предложение, которое должно было польстить мне: принять должность главного редактора «Мосфильма». Я ответил, что тяжелой ценой завоевал возможность писать свое и на службу не пойду, — в недавние годы я мог убедиться, как растаптывают «служивых» людей, как охотно делают это даже и художники с именем... Я не хотел уязвить Пырьева, но возникла томительная пауза, и Пырьев хмуро простился со мной. Кресло главного редактора занял Лев Шейнин — о нем разговор впереди, — человек, которого в недавние годы боялись или опасались все и который теперь жил в страхе перед всеми...

Все текло, не изменяясь, только усиливалась муть и запахи клоаки. Уже давно все мы «злобные антагонисты социалистической культуры», «враги всего нового», «последыши буржуазного эстетства», а Леонид Малюгин, автор комедии «Старые друзья», отмеченной в 1946 году Сталинской премией, по мнению «Вечерней Москвы», еще и «выродок, отщепенец советского общества...».

Но в самые черные дни мы с Валею благословляли судьбу за то, что беда не обошла нас, что я не оказался в числе спасенных «счастливчиков» и, в благодарность за пощаду, за милость судьбы, не поставлен перед необходимостью «встать под ружье». Отсидеться, отмолчаться удавалось немногим. Я говорю не об известных стране талантах и благородных личностях, не о Чуковском и Паустовском, не о Леонове и Пастернаке, не о Маршаке или Эренбурге, к кому

литературные «охотнорядцы» не смели и сунуться, а о критиках и литературоведах, и прежде всего о коммунистах, активно работавших в печати. Смог бы я отмолчаться, исчезнуть на время, ослепнуть, уложить руку в гипс? Или, страдая, покорно, малодушно, распаляя себя рабьей благодарностью за «доверие», за позволение «причастности», побрел бы на психологическое и нравственное заклятие? Я не случайно не называю страха среди мотивов падения — страх не погнал бы меня к нравственной пропасти. У подлости много подручных не только вне человека, «снаружи», но и в душах людских, и перечислять их долго. Самую хитрую, успешную службу несет не страх, не крайности, а другие психологические искушения и мотивы, скрытые инстинкты, — они проникновеннее, вкрадчивее, действеннее. И потому говорю по старинке: *бог меня уберег* — я не встал перед трудным, ужасным даже выбором, он под силу самым лучшим, сложившимся в высокой нравственности людям, а во мне тогда, увы, соображения политики, общественной необходимости пересиливали требования нравственности. И все могло дурно кончиться.

Сошлюсь на горький опыт З. Паперного. Он был буквально выхвачен из огня и спасен своим редактором В. Ермиловым, ценившим его перо и острый, оригинальный ум. Приходилось «отрабатывать», писать, участвовать в сочинении редакционных опусов, пестривших фразами вроде такой: «Они (т. е. антипатриоты) ползли на нас с оружием в руках с другой стороны баррикады!» Но логика жизни, логика борьбы не позволяет ограничиться анонимным участием в «священном походе», а требует еще и личного вклада, за подписью. 16 февраля 1949 года в «Литературке» была напечатана разоблачительная статья З. Паперного о «космополите» Л. Субоцком.

Однако подлость стоглаза и всевидяща: как от злодея фельдфебеля, от нее не укроется, кто в шеренге карающих полоснул шомполом «от души», с оттяжкой, до крови, а кто ленивой, снисходительной рукой. И 25 февраля 1949 года в «Правде» публикуется письмо из Ярославля, директора областного государственного издательства П. Лосева, издали и тем более ревностно наблюдающего газетные экзекуции в столице. «Сомнительные выкрутасы работников „Литературной газеты“» — так названо письмо, и в нем среди прочего мы читаем: «...каково же было наше удивление, когда после выступления „Правды“ „Об одной антипатриотической группе театральных критиков“ у „Литературной газеты“ хватило нескромности широко расписать свои „успехи“ в области пропаганды советских пьес и только вскользь сказать о допущенных ошибках. Эта линия самовосхваления особенно отчетливо проявилась в статье критика З. Паперного, опубликованной в „Литературной газете“ от 16 февраля. *Под видом разоблачения космополита* Л. Субоцкого З. Паперный весьма беззастенчиво рекламирует сам себя и свою газету. Цель З. Паперного ясна: доказать,

что „Литературная газета“ якобы всегда решительно боролась с гнилыми тенденциями Л. Субоцкого. Так ли это на самом деле? Разумеется, не так. Только после того, как правление Союза советских писателей сняло Л. Субоцкого с поста секретаря ССП, в „Литературной газете“ замелькали „разоблачительные“ описи З. Паперного и иже с ним. Понятно, что большой храбрости тут не требовалось». П. Лосев жаждет крови. Ему не по душе и такая расстановка фигур на шахматной доске, когда З. Паперному приданы функции фигуры атакующей, вместо «глухой защиты». «Но, думается нам, — грозитя воевода из Ярославля, — не помогут все эти беспринципные выкрутасы тов. Паперному и его единомышленникам». Один неуверенный шаг, робость карающей руки — и ты уже сам на виду, под угрозой: легко вообразить себе гибельную судьбу «безродных космополитов», беззащитных «иноверцев» в городе Ярославле, в вотчине П. Лосева, если его недреманное око надзидало и за центральной печатью, чтобы не попустить и малого, не оставить без покарания не только видимых «врагов», но и их тени, их незримых «приспешников» и «иже с ними» — ведь они непременно должны быть, не могут не быть!

Гневный лосевский, ярославский набат, прозвучавший с полосы газеты «Правда» 25 февраля 1949 года, вероятно, показался З. Паперному карающим, если не погребальным, вверг его в депрессию, однако же на деле он был спасительным, воскрешающим, можно сказать, гласом господним, отторгшим талантливую литератора от гибельного для личности дела.

Кампания ширилась, голоса разоблачителей становились визгливее и громче, надсаднее, будто воители против «безродных» уже и сами поверили в собственную ложь и стали страшиться ими же сотворенных фантомов. Громкие проклятия неслись отовсюду, со всех кафедр; на сборе трупы Малого театра К. Зубов «выразил глубокое удовлетворение разоблачением антипатриотической деятельности безродных космополитов», а Александр Жаров, певец комсомола и пролетарского интернационализма, тоже сыграл роль взыскательного художника, непримиримого «к антипатриотическим проискам театральных критиков Борщаговского, Бояджиева, Альтмана» («Культура и жизнь», 1949, 11 февраля). Как удачно шли в подверстку и армянские фамилии — Дайреджиева и Бояджиева. Или неосторожно сохраненные Всеволодским рудименты родового немецкого, гернгроссовского прошлого (немецкую кровь черная сотня великодушно прощала только царской фамилии). Или не вполне стерильные, на взгляд невежд, фамилии Мейерхольдов и Эйзенштейнов, а уж потом, драгоценным камнем в перстень, совсем немногие, подобные Леониду Малюгину.

Отозвался Ленинград, еще в рубцах блокады, еще с подрагивающими руками после надругательства над Зощенко и Ахматовой, над ленинградскими литературными журналами, над

«неким Хазиным», талантливым, славным Сашей Хазиным, моим другом давней, довоенной харьковской поры. Александр Дементьев с Борисом Чирковым в паре громили и театральные критиков — Цимбала, Дрейдена, Березарка, Шнейдермана, Янковского, а заодно и газеты — «Вечерний Ленинград», «Ленинградскую правду», «Смену», которые «не вели последовательной борьбы с антинародной деятельностью подобных критиков». Президент Академии художеств СССР А. Герасимов заклеил черным словом злоумышленников, проходящих по его ведомству: А. Эфроса, А. Ромма, О. Бескина, Д. Аркина, И. Маца, Н. Лунина и других — всех неугодных, всех способных мыслить, а не лакейски комментировать взгляды начальства. Газеты торжествовали: «Ныне разоблаченные Г. Бровман, Ф. Левин, Л. Субоцкий изгнаны из Литературного института». В Литинституте разоблачались и студенты (Гольдштейн, К. Левин, Г. Поженян, В. Кривенченко), которые «в своем творчестве следовали учению мэтров-космополитов», а уж эти «мэтры» будто бы распоясались вовсю. «Многие высказывания П. Антокольского, — утверждала „Литературная газета“ в номере от 12 марта, — могут соперничать с „откровениями“ акмеистских или имажинистских „манифестов“. Это он в 1948 году возглашал, что „поэтам ли говорить о колдовстве поэзии, когда они сами *колдуны*“; это он сетовал, что у одного из его студентов „нет обнадеживающих ошибок“; это его, наконец, „очень радовало пристрастие“ одного из студентов „к сказке, к благодушной импровизации“...».

Слыханы ли были в цивилизованном человечестве обвинения более нелепые и невежественные! Павел Антокольский — романтик, нежный воспитатель и друг молодых поэтов, художник, артист в каждом своем движении и строке, отдавший революции всего себя и свой страстный талант, обличался озлобленными тупицами за то, что заслуживало поддержки, в чем так прекрасно выразился его дар воспитателя.

Расцвел донос, взмыл, достигая высот 1937 года, с той разницей, что донос теперь сделался ликующий, публичный, почти горделивый, — тайное стукачество, никогда не переводившееся в человечестве, отступило в тень, вперед вышел ораторствующий клеветник, объятый священным трепетом и гневом, лгущий, выхватывающий из текстов полуфразы, зачарованный собственным верноподданническим красноречием и расторопностью. Но было и спасительное отличие от событий двенадцатилетней давности: в тюрьму попали сравнительно (с 1937 годом!) немногие; на этот раз шло разрушение нравственности, удушение совести; дискредитация понятий чести и порядочности выдавалась за идейную патриотическую закалку общества.

Извращаются оценки, русскую поэзию с ее могучим дыханием, разнообразием и непредсказуемостью талантов, с ее духовностью истязают сами же поэты. Лучшие из них молчат в ошеломлении, между тем как Николай Грибачев с поистине новорапповскими грубостью и сектантством поносит Д. Данина, Б. Бунина, П. Антокольского,

«отечески» наставляет и других поэтов. Уже Алигер, как он уверяет, «начала терять связь с подлинно советской поэзией и скатываться в болото декаданса», и «не случайно духовные воспитанники П. Антокольского начинали вхождение в литературу с наглых декадентских или формалистских книг — М. Алигер, А. Межиров („Дорога далека“). Не случайно, оказывается, и С. Гудзенко, тоже воспитанник Антокольского, „не видит или не хочет видеть героических дел советского народа“, а „многие стихи, написанные поэтом (П. Антокольским. — А. Б.), скорее напоминают переводы с иностранного, почти не связаны с поэтической культурой русского народа“». «Рабочие, профессора, художники идут в народное ополчение, идут, чтобы защитить Москву, — писал всегда рядящийся в тогу философа и социолога Н. Грибачев, процитировав десять строк Алигер из ее сборника „Лирика“, десять благородных и печальных строк, полных совестливого раздумья. — И в это время поэт, забыв о народе, о Родине, обо всем, что свято для советского человека, копается в своей *мелкой душонке!* Когда в одном из выступлений автор этой статьи (т. е. Н. Грибачев. — А. Б.) упомянул о декадентских мотивах в творчестве М. Алигер, ее покровитель поэт П. Антокольский метал громы и молнии. Но разве не знал П. Антокольский стихов Анны Ахматовой, в точности схожих со стихами М. Алигер?» (Н. Грибачев. Против космополитизма и формализма в поэзии. — «Правда», 1949, 16 февраля).

Никто не вызвал Грибачева на дуэль за «мелкую душонку», за оскорбление двух женщин-поэтов — Анны Ахматовой и Маргариты Алигер, никто не получил возможности публично опровергнуть клеветнические обвинения их поэзии, рядом с которой стихов Н. Грибачева попросту не существует; хотя они всякий раз «актуальны», цена им та же, что и публицистике в подобострастной книге «Лицом к лицу с Америкой», за которую он и весь коллектив соавторов были увенчаны Ленинской премией.

Репрессивная машина действует. Время от времени цепкие монополисты, «неистовые ревнители», как точно назвал их рапповских предков Шешуков, держатели старых идеологических акций, притворяющиеся идейным оплотом партии, когда они чувствуют малейшую тревогу за свое положение в литературе, в печати, угрозу своей безнаказанности, ополчаются на спасительную для культуры новизну, на всякую попытку искать, на любое самобытное, еще не звучавшее слово. Они не ведают снисхождения: узнав о тяжелом инфаркте Веры Пановой, они продолжают бестрепетно вести по ней огонь, заявляя: «Нас инфарктами не запугаешь!» (Вс. Кочетов), а восстановление справедливости спустя годы и десятилетия, публикацию книг коллег, тех прозорливцев и страдальцев, кто при жизни не увидел в печати своих честных книг, спешат окрестить «некрофилией» (П. Проскурин). Как живучи рыцари косности, как чуют

они свой час, время поворота к обскурантизму, нетерпимости, не то что к инакомыслию, но даже к непривычной форме выражения мысли, к поэтическому образу, не выморенному в ста щелочных и перекисших водах догматизма. *Терпеливцы*, они десятилетиями ждут своего часа, в «антрактах» набирая награды, звания, собрания сочинений, издания, что стоят невостребованными на библиотечных полках.

Преследование сотворенных злобой «антипатриотов», «космополитов» и «формалистов» распространялось по городам и весям со скоростью радиосигнала. Разрушительный, заранее ненавидящий взгляд инквизиторов от эстетики и литературы проникал повсюду; за Литературным институтом последовал ГИТИС («Безродные космополиты в ГИТИСе», — «Вечерняя Москва», 1949, 18 февраля), за Всеволодским-Гернгроссом — Алперс, Фрейдкина, Мокульский и другие. И все второпях, не давая себе отчета в серьезности трудов ученых, не затрудняясь точным написанием их имен, только понаслышке известных *воителям* (так газеты упорно писали Макульский вместо Мокульский).

Стали на вахту и композиторы — с докладом выступил Тихон Хренников, подняв на дыбу музыковедов Мазеля, Житомирского, Шлифтштейна, Оголевца, профессора Гинзбурга (Ленинград), Пекелиса, Ливанову и др., и с особым ожесточением Игоря Бэлзу. По мнению Хренникова, Бэлза — один «из самых ярых адвокатов формализма в музыкальной критике... Поддерживая все уродливое и отрицательное в творчестве советских композиторов, стоявших на позициях формалистического направления, Бэлза одновременно с этим возводил чудовищную клевету на великих русских композиторов прошлого...». «„Творчество“ космополита Бэлзы характеризуется лакейским раболепием и пресмыкательством перед буржуазной западной культурой».

На собраниях возник своеобразный ритуал: каждый оратор должен был принести к алтарю заклятия свою «жертвенную овцу». И расторопные несли: тов. Апостолов — книгу Беркова о Глинке, полную «пресмыкательства перед буржуазным Западом»; тов. Грошева — безродного космополита Вайнкопа, который «пакостит и вредит советскому искусству»; тов. Коваль — Штейнпресса...

Тезисы своего программного доклада Тихон Хренников развернул в статье «Буржуазные космополиты в музыкальной критике» («Культура и жизнь», 1949, 20 февраля), и обнаружилось, кого именно имел в виду композитор, понося «формалистов» и «космополитов от музыки»; мишенью оказался не угодивший Сталину Шостакович и многие «из „обслуживающих“ этого композитора» критики. «Восторгаясь 9-й симфонией Шостаковича, далекой от жизни советского народа, оторванной от отечественной почвы, как по своей идее, так и по языку, безродные космополиты доказывали, что симфония „концентрирует то

типичное для современной музыки, что заложено вообще в *современном искусстве*».

Вот так Хренников, не чуждый музыкальной экзотики, серенадных ее трелей, позволил себе говорить о гениальном художнике, уже создавшем оперы «Нос» и «Катерина Измайлова» и великую Ленинградскую симфонию! Какое народное бедствие, какая чума позволяет так изолгаться сотням людей, и не только бездарным ловкачам и демагогам — с них какой спрос, — но и талантливым и, казалось, здравомыслящим людям! Как уберечь наше общество от рецидивов этой болезни, от всех рыщущих, алчущих, дожидających обстановки безнаказанности, атмосферы подозрительности и доноса?

Тон собранию, состоявшемуся в издательстве «Искусство», задал сам Анатолий Суров. Мнимый автор нескольких «патриотических пьес» (к этой «тайне века» я вернусь) томился недомолвками, эзоповым языком печати, рвался к сокровенному, к сути дела, к тому, что партийная печать стыдливо замалчивала, ибо ныне, присно и во веки веков антисемитизм и черносотенство *программно* враждебны коммунистической идеологии и декларативно заклеены. Но что значит идеология, ее святыни для спивающегося драматурга-лауреата, торгующего чужим трудом? Миф, призрак, мертвые слова! Если нельзя ругнуть напрямик жидов и жидовствующих, то он, Суров, сумеет выразиться так, чтобы стало ясно, с кем он готов сражаться не щадя живота. «Корни космополитизма, — изрек он („Вечерняя Москва“, 1949, 19.11), — следует искать в *буржуазном национализме*. Именно на этой почве (сиречь на почве еврейского буржуазного национализма, ибо тут ни русский, ни грузинский, ни полинезийский национализмы не подойдут! — А. Б.) произрастали такие двурушники и предатели, как Юзовский, Гурвич и им подобные. Этим презренным вырождакам не должно быть места в наших рядах».

В день опубликования статьи «Правды» у нас в доме появился Константин Рудницкий. Он пришел, движимый добрыми чувствами, душевным ко мне отношением. Ушел он от нас, радуясь спокойствию дома, опрометчивой нашей вере, что все обойдется, будет и жизнь, и работа, и будущее. Чистый человек, он не видел ничего зазорного в посещении моего дома, рассказал об этом в редакции «Советского искусства», и вот как это отозвалось ему в печати: «Подручный Варшавского — Рудницкий, желая во что бы то ни стало избежать разоблачения, прикинулся таким политическим младенцем, которого якобы насильно заставили выполнять черное, антипатриотическое дело. Вот уж поистине „блудлив, как кошка, труслив, как заяц“... Как выяснилось на собрании, Рудницкий, узнав о разоблачении и исключении из рядов партии своего *наставника* Борщаговского, тотчас же поспешил к нему с визитом. Зачем? Как ни увиливал он от ответа,

как ни изворачивался, уйти от партийной ответственности ему не удалось. Был он у Борщаговского, оказывается, для того, чтобы договориться, посоветоваться со своим „мэтром“ о плане дальнейших действий» («Вечерняя Москва», 1949, 19 февраля).

Бедный Костя! В обстановке, когда невозможно сказать простую правду: я пожалел Борщаговских, там семья, старая мать, жена, дочери, как они все? — достойного выхода не найти, любое объяснение будет злобно извращено и ты окажешься с клеймом «подручного». А. Суров, в те дни уже фактический хозяин редакции «Советского искусства», не без тайного умысла ополчился против Рудницкого, включил его в число грешников-антипатриотов, хотя мог бы и обойтись. Его расчет был прост: все, что продиктовано благородством, душевной добротой, так называемым «абстрактным гуманизмом», должно быть наказано, а всякий *разоблаченный*, особенно потерпевший коммунист — потенциальный литературный «негр» Сурова, которому придется трудом оплатить помощь при решении партийного дела. К счастью, К. Рудницкий быстро вырвался из нечистых рук, удалось это далеко не всем.

А «чистка» шла без промедлений.

«Повысить бдительность!» — вещала резолюция партийного собрания ИМЛИ, разоблачавшая И. Новича и Т. Мотылеву, Б. Яковлева (Хольцмана, тогда же исключенного из партии) и других.

Изгонялись «безродные» из райских кушей архитектуры (Р. Хигер, А. Буров, Д. Аркин, И. Маца). Клеймились «пособники» критиков-антипатриотов из числа сотрудников ВТО. Люди лишались заработка, хлеба, веры в завтрашний день. Из Ленинграда, из республиканских столиц, областных городов, университетов и вузов все громче слышались голоса «разоблачителей», доброхотных судей — все ругливее делались их речи, все более настойчиво напирали они на буржуазный национализм, питающий космополитическую скверну и ересь.

Буржуазный национализм...

Слово «сионизм» тогда еще не было в ходу, но, говоря о буржуазном национализме космополитов, Анатолий Суров конечно же рассчитывал на понимание слушателей. «Беспачпортные бродяги в человечестве», «без роду и племени», «безродные космополиты» — кто они? Надо думать, что не цыгане; среди цыган не так уж много театральных критиков. Цыганский «национализм» скорее назовешь таборным, кочевым, чем буржуазным.

И однажды, 14 марта, в пик разнузданной кампании лжи, сорвалась «Вечерняя Москва», закричала громче положенного, напечатав статью С. Иванова «Наглые проповеди безродного космополита», о книге Александра Исбаха (Бахраха!) «Годы жизни». «*Мерзкую* книжку

написал Александр Исбах!» «Исбах открыто пропагандирует в своей книжонке сионизм, повествует о сионистской организации... рассказывает о сионистском кружке в гимназии, о „добрых дядях“, отправлявших евреев в Палестину...» «Исбах занят прославлением иудейской религии. Вся книжка, от первой до последней страницы, насыщена религиозным культом. Первый рассказ так и называется „Бог“...» «Мы узнаем мельчайшие подробности ритуала иудейской службы, даже можем прочесть текст заупокойной молитвы...»

Что такое стряслось с Сашей Исбахом, автором многих интернационалистических книг, серьезной работы об Анри Барбюсе и многих исследований, очерков, документальных повествований, острие которых всегда направлено против всех и всяческих проявлений национальной спеси? Почему он изменил себе, своим убеждениям старого коммуниста, правовернейшего из правоверных?

Стоит взять в руки и полистать автобиографические рассказы в сборнике «Годы жизни», как все станет на место. Это — *антиклерикальная*, воинствующе *антисинагогальная*, богоборческая книга, обличающая сионизм и не «добрых дядей», а вербовщиков, ловцов душ. Это рассказ о том, как некий Александр Штейн — таково имя героя, от лица которого ведется повествование, — *освобождается* от власти религии, от ее гнета, стряхивает с себя *ветхого* Адама, преодолевает национальную и местечковую ограниченность; как из косного, патриархального мирка он уходит в мир революции. Но нельзя показать, как юный Самсон рушит храм, не изобразив храма, невозможно уйти из синагоги, не вступив в нее, а текст иудейской «заупокойной молитвы» мог бы, пожалуй, вызвать трепет радости у С. Иванова — на что уж тут гневаться!

В честной дискуссии все прояснилось бы в считанные минуты. Но в 1949 году не до дискуссий. Исбах — сионист! Он — исчадие ада! Он — прокаженный...

Исбаха арестовали. После смерти Сталина его вернули семье, Москве, писательской организации, но это уже был навсегда травмированный, больной, потерянный и полуживой человек.

13

На людях Михоэлс называл меня: Борщагивський. Произносил так смачно, так по-украински природно, будто Тевье-молочник окликал кого-то из своих соседей. Борщагивський и Борщагивський...

Соломон Михайлович приехал в Киев на юбилей тамошнего Госета, мне Культпроп ЦК КП(б)У поручил доклад о 25-летнем пути театра, но пришлось коснуться и далекого прошлого: Гольдфадена, Ицхока Переца, Эстер-Рохл Каминской, дореволюционных профессиональных трупп, драматургии начала XX века, затем и пьес П. Маркиша и С. Галкина. Я говорил по-украински, и, кажется, именно это непривычное

звучание близких ему имен и названий, их певучее, поэтическое украинское эхо заставили непоседу Михоэлса с детским простодушием, выкатив нижнюю губу, выслушать, поглядывая на меня, весь доклад.

Мы провели, почти не расставаясь, двое суток. Киев рвал на части своего кумира: он был зван в театры, в гости к друзьям и незнакомым, пил, порой брал короткую передышку в неустойчивой, раблезианской, добровольно принятой роли. Меня он не отпускал: «Борщагивський, ты пойдешь со мной! Ты меня не бросишь на растерзание!» Я с радостью сопровождал его, свадебного генерала без свадеб (в 32 года я еще мог обойтись без сна и пить почти вровень с ним; говорю «почти», потому что пить наравне с Михоэлсом мог, кажется, только его друг Александр Фадеев).

Нужно ли говорить о том, что я видел Соломона Михайловича во многих ролях (даже и 20-х годов!), что был он для меня чудом, а ко времени знакомства я знал и цену его мысли, его сознательной миссии художника в человечестве. Тогда в Киеве меня покорила и его самородный характер, его цельность, то понимание жизни, которое свойственно человеку из народных низов, артисту до мозга костей, но без тени элитарности. Я был счастлив, но встреча миновала, оборвалась с отходом московского поезда, только держалось на слуху и в памяти — «Борщагивський».

Свело нас, уже в Москве, общее дело. Я посещал премьеры Госета, бывал и на рядовых спектаклях, несколько раз в году прикасался к до конца не разгаданной, подлинной тайне искусства Михоэлса и Зускина. Были и короткие, на ходу, беседы, мудрые сентенции Соломона Михайловича, «рапирные» выпады его мысли — их записывать бы, чтобы сохранить, но я этого никогда не делал. А с осени 1947 года, за несколько месяцев до гибели Михоэлса, мы сошлись с ним короче.

В 1947 году Главрепертком запретил мою пьесу, неуклюже, но в духе времени названную — «До конца вместе». В ней я впервые подошел к теме, которую спустя годы выразил сильнее в драме «Дамский портной»^[13].

Гитлеровцы вошли в Киев, из города не успевают уехать еврейка, актриса, — назовем ее Рахилью. Она тяжело больна, и любящий муж, украинец, известный историк, не рискует трогаться с ней в путь. В первые дни оккупации, до взрыва Крещатика, до Бабьего Яра, в дом из окружения возвращается избежавшая плена сестра историка Оксана, военврач, черноокая и черноволосая, цыганистая украинка. Возникает и некто Величко, вечный дилетант, человек самолюбивый и слабохарактерный. Он давно и безответно любит Оксану. Не буду утомлять читателя пересказом фабулы, кратко скажу о сюжете: когда в дом приходят эсэсовцы забирать по чьему-то доносу Рахиль, в гостиной их встречает Оксана. Волею случая в ее внешности больше семитского, чем в Рахили, светловолосой и голубоглазой еврейке. И Оксана дает увести себя: это импульсивное решение, защита близкого,

родного человека, и надежда, что брату удастся немедленно спрятать Рахиль, тогда Оксана откроется, докажет палачам, кто она. Но в дело вмешивается Величко. Потрясенный случившимся, он готов прислуживать эсэсовцам, старается открыть обман, спасти Оксану, но при очной ставке наталкивается на ее непреклонность и презрение. Он разыскивает Рахиль, обвиняет ее в том, что она готова спасти свою жизнь ценой жизни Оксаны, понуждает ее добровольно явиться к палачам...

Пьеса о человеческом братстве и готовности к самопожертвованию, о противостоянии благородства и чести расизму и подлости.

Начальствовавший в Главреперткоме Северин невнятно втолковывал мне, почему нельзя играть эту пьесу. Сам «цыганистый», с темными, тяжелыми женственными глазами, он считал искусственной позицию, при которой Рахиль похожа на славянку, а украинку принимают за иудейку. «Нелогично!» — сказал он и запретил пьесу. Я легко смирился с запретом: важно поставить точку, освободиться, двигаться дальше, а что точка оказалась черной кляксой, на то не моя воля.

Но случилось так, что я прочитал пьесу дома у Переца Маркиша, — то ли к слову сказалось о ней, и он позвал прочесть, то ли читку организовал давний мой друг, бывший актер и режиссер Госета, позже художественный руководитель Киевского еврейского театра, народный артист УССР и Казахской ССР, Моисей Исаакович Гольдблат.

Он был один, без жены, неразлучного своего друга, Евы Исааковны; жена Маркиша хлопотала по хозяйству, слушала краем уха; в уютном кресле сидел молчаливый гномик, выдающийся еврейский прозаик Дер Нистер, он был сама старость, даже уши его защищались от потока звуков густым, седым стариковским волосом. Он не шевельнулся, не сказал ни слова ни до, ни после читки, я не уверен, что он услышал пьесу.

Гольдблату пьеса пришлась по душе; снисходительный друг, он не замечал многих ее недостатков, увлекся живым диалогом и порежиссерски нетерпеливо потирал руки, будто готовый приступить к делу.

А хозяин дома бушевал! Что-то он сказал и доброе, не сказал — сглотнул. Едва ли ему, поэтическому трибуну, человеку пафосных, страстных строф, была близка психологическая атмосфера пьесы, авторские претензии на подтекст и полутона. Но гневался он, мечась по просторной гостиной в доме на Тверской у площади Белорусского вокзала и вопрошая: «Ну почему? Почему нужно кому-то все время спасать Рахиль?! — Он выразительно колотил себя ребром ладони по затылку. — Она все время — жертва! Из-за нее остается в оккупации муж, ради нее готова отдать жизнь Оксана, а потом рискуют всем и незнакомые люди! Что за проклятый груз на ногах у людей, у всего

человечества?!» Без *всего* человечества, без вселенского обобщения Маркиш не мог, всякий другой масштаб был для него мал.

О пьесе узнал Михоэлс, взял ее у меня, в несколько дней решил вопрос о постановке и отдал пьесу переводчику. Я напомнил, что пьеса запрещена Главреперткомом, он ответил, что это хорошая рекомендация, разрешенных пьес он давно не ставит.

— Мы с вами изменим только одно обстоятельство, — сказал он тоном заговорщика, — к началу спектакля наша Рахиль жива-здоровая, как самая крепкая из дочерей Тевье! Но болен ее муж, тяжело болен, такое ведь случается и с историками. Его нельзя трогать с места, и Рахиль остается с ним. Это не подвиг, это — любовь, долг жены. Она поступает ради любимого человека так, как потом поступят ради нее другие. Так можно выстроить драму. Даже трагедию, — сказал он после паузы. — Храмы как строятся: обширный фундамент на земле, большие объемы, много воздуха и только постепенно все сужается, устремляется вверх, к богу...

Я подумал: не Маркиш ли рассказал ему о пьесе, посетовав на унылую жертвенную заданность образа Рахили?

Михоэлс вело безошибочное чутье художника, стремление к гармонии, к реальности, к *мускульности* человеческих существований на сцене, неприязнь к анемичности. Мысль Михоэлса открывала новые возможности характера — он мог обрести силу и жизнестойкость.

Я задержался на пьесе неспроста. То, что я узнал тогда от Михоэлса о нем самом, войдя в новый для меня круг, очень важно для всего рассказа.

Я подошел к тому времени, когда созданный во время войны (1942 г.) Еврейский антифашистский комитет (ЕАК)^[14] подошел к кризисной черте. Вероятнее всего, с окончанием войны и разгромом гитлеровской Германии ЕАК должен был бы самоликвидироваться. Гитлеровская Германия перестала существовать, нацизм повержен, и, как нам тогда казалось, повержен навсегда.

В годы войны Михоэлс вместе с поэтом Ициком Фефером совершили успешную поездку по США, умножая симпатии к сражающемуся Советскому Союзу и собирая валюту на общее дело разгрома врага. Из США Ицик Фефер привез два дорогих подарка, две баснословно дорогие меховые шубы, сшитые евреями, скорняками Нью-Йорка, одну для себя, другую... для Сталина! Можно себе представить ярость и неистребимую злобную память Сталина об этом подарке! Шуба, достойная цадика, сшитая примерно по его росту руками американских евреев, — ему, владыке полумира, спартанцу, признающему только шинель и сапоги! Равноценные, равнопрекрасные, равноблагодарственные шубы Сталину и Ицику Феферу! Такое могло привидеться только в фантазмагории, в кошмаре, в чаплиновском фарсе, — уж лучше бы Фефер привез себе из США погребальный саван!

Антифашистский комитет продолжал свое рутинное существование и после войны, невольно превращаясь в некий департамент по еврейским делам. Сюда летели сотни и сотни писем на разные темы: кто-то рвался (как в тридцатые годы в Испанию) на Ближний Восток, помогать партизанам в освободительной борьбе против ненавистного Сталину Черчилля; кто-то, вернувшись из эвакуации, потеряв на фронте кормильца, не мог получить ни старого, ни нового жилья; кто-то столкнулся с проявлением антисемитизма, — Украина, Белоруссия и часть России побывали под немцем, пусть и короткая, власть нацистов, воспитав в народе ненависть к захватчикам, кого-то, напротив, подтолкнула к антисемитизму. Антифашистский еврейский комитет беспомощно барахтался в потоке писем — деятельная, честная натура Михоэлса тяготилась этим, ему не нужна была власть, никакие ее формы, кроме власти над зрительным залом. Гостями Комитета бывали корреспонденты *левых* еврейских газет, в одном Нью-Йорке их насчитывалось изрядно, — *левизна* их была относительна и шатка. ЕАК жил как на юру, действовал кустарно, одолеваемый всякого рода маниловщиной.

После войны Ицику Феферу, заместителю председателя ЕАК, взявшему в свои руки дела Комитета, и нескольким поддерживавшим его членам Комитета была «подарена» самоубийственная идея: просить для заселения, вместо Биробиджана, то ли весь Крым, отнятый Сталиным у крымских татар, то ли степные районы Северного Крыма, где до войны существовали еврейские колхозы. Идея вызвала протесты и несогласие совестливых членов Комитета — самыми упорными из несогласных были

Михоэлс и Маркиш: «Нельзя строить свое благополучие на чужом несчастье, чужой беде... Крымские татары еще вернутся на свою родину, и дай им бог!..»

Странно и как-то вскользь вспоминает о драматическом «крымском узле» Наталия Михоэлс в книге об отце: «Лишь спустя много лет я узнала, что существует версия о том, что поднимался в Комитете вопрос о создании в Крыму, где раньше, до войны, находилось несколько еврейских колхозов, Еврейской Автономной Республики вместо Биробиджана... Но никакого документального подтверждения эта версия, по-видимому, не имеет» (с. 215-216).

Если Наталия Михоэлс до конца искренна, значит, она была слишком далека от забот и тревог отца.

Несколько членов Комитета отправились к Эренбургу за советом. Он не только повторил совестливую мысль Михоэлса, но и сказал: «Какого черта вы хлопчете о создании гетто. Никто вас не гонит в гетто, а вам все нейдет!..»

Михоэлс попросился на прием к Кагановичу: вот уж кто развеет сомнения и даст дельный совет. О посещении Кагановича Соломон

Михайлович не просто рассказал мне, он почти сыграл всю сцену в кабинете вельможи, так, что я и сейчас вижу ее в подробностях.

Каганович какого поспешно завел разговор о понравившемся ему спектакле «Фрейлахс».

— Лазарь Моисеевич, я пришел посоветоваться, — переждав похвалы, виновато начал Михоэлс. — У нас в Комитете возникла мысль о Крыме...

Каганович не слышит собеседника, его голос делается громче, раскатистее, он заполняет все пространство кабинета:

— Каждый бы сезон такой спектакль, как «Фрейлахс»! Его могут смотреть и не евреи; танцы, песни, всем весело, все понятно.

— Да... Мы ищем, это не так просто. Как говорится, свадьба^[16] бывает раз в жизни. Говорят о Крыме, но это чужая земля.

— Как студия при театре? — гремит голос Кагановича. — Студийцы участвуют в «Фрейлахсе», и очень к месту... Прибавилось молодости.

— У нас расхождения, я хочу посоветоваться с вами...

— Без молодых актеров у театра нет будущего, — бодро говорит «оглохший» Каганович. — Хорошо, что у вас есть школа-студия.

Каганович поднимается, берет Михоэлса под локоток, ведет через весь кабинет к двери, громко говорит пустяки, обещает при нужде помочь театру и выпроваживает растерянного посетителя.

Мы встретились с Михоэлсом в тот же день.

— Что случилось? — недоумевал он. — Почему он не слышал меня?

Каганович слышал; это понимал и Михоэлс. Слышал и не смел разговаривать на эту тему. Слышал и боялся, по опыту зная, что невозможно скрыться от вездесущих служб. Слышал, но, может быть, и знал (или подозревал), как возникла крымская «идея», кто задумал всю эту чреватую кровью провокацию^[17].

Не знаю, успел ли ЕАК войти в правительство с формальным ходатайством о Крыме, но это и не суть важно: нашлись бы черновики, наброски *бериевской* провокации, а то и только слова, вслух сказанные, — «семена» заговора так или иначе проклевывались и давали ростки. А Михоэлс воевал против крымского проекта; отныне, по примитивной *полицейской*, палаческой логике, Комитет уже как бы и заинтересован в устранении своего председателя. Кто еще в подлунном мире мог бы хотеть смерти этого волшебника сцены, мудреца и скромнейшего человека? Он никому не мешал, только шайке заговорщиков, их преступному предприятию. Вот какой «прочный фундамент» можно было подвести под *ликвидацию* Михоэлса!

В январе 1948 года Михоэлс был убит на глухой полуночной заснеженной улице города Минска. Походя, по «необходимости», был убит и мой друг, критик Володя Голубов (Потапов), автор первой книги о Галине Улановой и многих ярких статей о театре. Противник «операции Крым» был уничтожен, театральная Москва рыдала, мир людей, причастных искусству, скорбел. А кто же злорадствовал и

потирал руки? Конечно же те, кому он мешал: в отсутствии гласного и справедливого суда версия об убийцах из Еврейского антифашистского комитета должна была, по замыслу подлинных убийц, выглядеть безупречно. Она давала возможность уничтожить вслед за Михоэлсом и других, его вымышленных врагов: духовного брата Михоэлса — Зускина, цвет еврейской литературы — живого классика Бергельсона, Переца Маркиша, поэта Квитко и других.

Причастность к убийству Михоэлса службы Берии обнаружилась уже в том, что накануне поездки Михоэлсу заменили спутника. С Соломоном Михайловичем от ВТО должен был ехать театральный критик Ю. Головащенко, но вдруг, буквально в одночасье, все поменялось: *приказано* было ехать Голубову.

Поездка Ю. Головащенко ничего не давала будущим убийцам, его постоянное присутствие могло только затруднить дело. Голубов был для них находкой, такой удачи и не придумать. Он пил и каким-то образом впал в трагическую зависимость от ведомства Берии.

Он не хотел ехать, тосковал и печалился, не зная, не провидя своего конца, но обеспокоенный загадочным натиском, категоричностью приказа о поездке и сопровождении Михоэлса. Мягкий, уступчивый, слабохарактерный человек, к тому времени — холостяк, он пользовался общей нашей любовью, никто и отдаленно не подозревал о его горькой зависимости, о трагедии *заложника*. Наблюдательный, ироничный человек, полнолицый и улыбчивый, в трезвости он был удивительным собеседником («Я, когда напиваюсь, — пожаловался он однажды мне, — почему-то всегда оказываюсь на железной дороге, помню рельсы, рельсы, пустые вагоны, переходные площадки, железные щиты, тамбуры — ни человеческого голоса, ни паровозных гудков, только путевское железо...»).

Голубов пребывал в тоске, хотя его посылали в Белоруссию, в родной Минск, откуда он, выпускник Минского института инженеров железнодорожного транспорта, и приехал в Москву. Ему бы радоваться поездке с Михоэлсом, встрече с друзьями, наконец, достойному собутыльнику, а он нервничал, места себе не находил.

В день отъезда я виделся с ним дважды — в ВТО, куда я заглянул через Пушкинскую площадь из «Нового мира», и на Белорусском вокзале, вечером, перед отходом поезда. Я убежден в том, что он нужен был режиссерам злодейского убийства именно как бывший житель Минска, человек, оставивший там какие-то связи и знакомства; *корни* и сработали, вывели обреченных на ночную улицу Голубов не мог и подозревать, что они обречены, но, человек впечатлительный, он заметался, неясные предчувствия прогнали с его лица полудетскую, добрую, незащищенную улыбку

Не зная, что я приду на вокзал, Михоэлс позвонил ко мне домой, поговорил с Валеи, передал, чтобы я не тревожился, он скоро вернется и прочтет уже переведенную пьесу труппе.

На вокзале Володя Голубов внезапно приник ко мне, признался, что «вот так» — он пухлой рукой провел по воротнику пальто — не хочет ехать, не думал, не собирался, не хотел и не хочет! Я поразился: «Зачем же ты дал согласие? Ты же служишь не в ВТО (он работал в редакции „Советского искусства“), послал бы их подальше!» Он посмотрел на меня серьезно и печально, прицокнул языком, сказал, что — нужно, просят. Потом чуть посветлел, мол, с Михоэлсом все-таки интересно, так и быть...

При профессиональном следствии уже эта торопливая, странная смена спутника Михоэлса дала бы в руки следователя важную нить. И когда рука юриста коснулась этой и других нитей — следователя мгновенно отстранили от дела и скоро упрятали за решетку. Почему сменили *проводящего*? Кто приказал ВТО переоформить командировку?

Никто не смел задавать таких вопросов; явная ошибка со стороны ведомства Берии заключалась уже в том, что на ночь тело Михоэлса оставили в Театре на Малой Бронной, там при нем был художник Тышлер, и он смог убедиться, что никакого наезда автомобиля в Минске не случилось. Автомобиль, любой, не может наехать так, чтобы проломить виски двум пешеходам и не оставить других травм на теле.

Работа невежественная, как-то нарочито топорная, а кого, собственно, могли опасаться убийцы?!^[18] Ведь версия *наезда* родилась позднее; возникни она раньше, в Москве, ничего не стоило бы держать в Минске поблизости от места убийства грузовик и пустить его проехаться по мертвому Голубову и не сразу умершему Михоэлсу.

Сработано было грубо.

14

Как трудно дается целостное восприятие действительности, понимание текущей жизни как звена исторического процесса, а не случайного нагромождения событий. Вдвойне трудно, если события — счастливые или драматические — захватили тебя самого, обожгли, оскорбили или, напротив, показались даром судьбы, чудом, которого ты, кажется, и не заслужил.

По-разному отнеслись к репрессиям ошельмованные 28 января 1949 года театральные критики. Всякое, как я уже упоминал, было: от гордого презрения и, одновременно, обращенного внутрь себя взыскующего взгляда Гурвича до апокалипсически яростного душевного бунта Юзовского, с упованием на мировой набат протеста, если и не всего человечества, то — самое малое — всей Польши, до угрюмой, свинцовой сосредоточенности Альтмана на решении его партийного дела, на том, что было для него свято, вбирая и гася все другие страсти человеческие.

Но ни у кого из нас не возникало ясного ощущения, а тем более отчетливого представления, что случившееся с нами — только этап в

развитии грозного и едва ли остановимого процесса. Мы, пишущие люди, интеллигенты, причислявшие себя к марксистам, с разной степенью уверенности в этом, сделались слепцами, потеряли историческое зрение. Те, кто повел бесчестную борьбу против «бездородных», были куда точнее в выборе средств для достижения своих целей. Они не были прозорливцами, но опыт прошлых десятилетий, опыт кровавых репрессий и геноцида подсказал им единственно надежный путь *политического доноса*, обвинения нас в преступлениях, делающих неизбежным наш арест. Именно поэтому Анатолий Суров подготовил к писательскому собранию в феврале 1949 года лжесвидетеля, и не со стороны, а из числа названных в «Правде» критиков, свидетеля, который публично заявит, что существовала закрытая от людских глаз (читай — тайная, подпольная и т. д.) организация театральных критиков, были их полу конспиративные сборища в ресторане «Арагви» и в помещении Всероссийского театрального общества, сходки, на которых якобы решалось, какой спектакль и какого драматурга «миловать», какого — казнить, и решения эти тотчас же передавались ленинградским, и не только ленинградским, собратьям-«космополитам».

Такого щедрого доносительства хватило бы для начала обвинительного следствия, а уж Рюмина и К^о не пришлось бы учить, как повести энергичные допросы с «признательными показаниями» ни в чем не повинных людей. Что ни говори, а мы были нормальными людьми, случались застолья, для «оформления» нашего дела так часто и больно задеваемому нами — особенно в диспутах и обсуждениях! — драматургу и старшему следователю Прокуратуры СССР по особо важным делам Л. Р. Шейнину не пришлось бы тратить слишком много сил и фантазии...

Сталин, объятый отчаянием и паникой в первые дни войны, потрясенный вероломством Гитлера и мгновенно рухнувшей границей, позже, с переломом в ходе войны, оплаченным многими миллионами жизней, поднялся еще на несколько крутых ступеней палачества. Кровавый опыт тридцатых годов полностью сохранялся в карающем аппарате сталинщины — все так же истреблялись люди в лагерях, истлевали трупы «врагов народа», тюрьмами преследовалось любое инакомыслие в доказательство сталинского тезиса об усилении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства.

В годы войны для побеждающего и победившего вождя открылось новое преступное поприще: геноцид, депортация, жестокое наказание по национальному признаку целых народов. Довоенные *репетиции*, коснувшиеся корейцев и курдов, не имевших в СССР своей государственности, прошли для страны с убитой гласностью почти незамеченными, к великому нашему стыду и позору. Правда, к сороковым годам у сталинщины уже был огромный опыт уничтожения миллионов изгнанных из родных изб и деревень крестьян, опыт

поистине беспрецедентный: единственная забота заключалась в том, чтобы загнать людей в «скотские» вагоны, и неважно, что их ждет впереди, где они поселятся, не перемерут ли с голоду, не пропадут ли в тайге и болотах, поедаемые тучами гнуса, никогда прежде не знавшего такой богатой поживы.

И как же безмерно велика наша вина в том, что мы жили, не осмысливая всей бездны страдания страны, жили, часто не зная ничего о судьбе целых народов, согнанных с земли своих предков, или зная, но как-то статистически-равнодушно, преступно, не бунтуя, не протестуя — сколь ни безнадежен был бы этот протест — и даже не отчаиваясь.

Об этом с горьким чувством вины, не ослабевшим и спустя десятилетия, писала недавно вдова Переца Маркиша в мемуарной книге «Столь долгое возвращение» (Тель-Авив, 1989, издание автора^[19]). Умная и правдивая книга, с отдельными неточностями, которых не избежать человеческой памяти, издана крохотным тиражом 500 экземпляров и недоступна читателю. Я позволю себе процитировать из нее некоторые существенные подробности, важные для моих записок.

Как-то незаметно для нас самих, под барабанный бой, возвещавший окончательную победу дружбы народов, братства и непоколебимого единства, сталинизм вел разрушительную работу, унижая нации, делая их объектом политических спекуляций, льстивых восхвалений или репрессий. Маниакальная идея все обостряющейся классовой борьбы порождала разъединение общества, недоверие и даже озлобленность одного слоя общества против другого, готовность закрыть глаза и уши, не слышать чужих стонов, не замечать невинно пролитой крови, пролитой не в твоём, а в чужом доме.

«Гибель миллионов русских крестьян не коснулась нас непосредственно — и мы закрыли на нее глаза, — с болью раскаяния пишет Эстер Маркиш. — В конце сороковых годов гибель пришла в наш дом — и миллионы остались слепы к нашей беде. А ведь речь шла не только о гибели Переца Маркиша — о планомерном уничтожении всей еврейской культуры в СССР.

Горько признаваться, но я не могу не сказать сегодня, что то была трагическая вина Маркиша, которую он разделяет со всей почти советской интеллигенцией. Лишь собственное горе заставило нас осознать весь ужас нашей жизни в целом — не только муки интеллигенции, но муки всей страны, всех социальных групп, всех народов, ее составлявших. После ареста Маркиша наша домработница, прожившая у нас больше 15 лет и ставшая, по сути, членом нашей семьи, сказала мне:

— Теперь ты плачешь, а почему не думала ни о чем, когда папаню моего раскулачили, погубили ни за что ни про что, семью по миру пустили?!

В этих словах не было ни злорадства, ни даже укора, была только боль за человеческую слепоту и эгоизм, в которых, вместе с другими, были повинны и мы» (с. 68–69).

Мстительное, истребительное изгнание людей с их исторических земель, уничтожение культуры и государственности своих же народов, а не чуждых завоевателю, не захваченных в ходе войны этнических племен, — это новая черная страница в мировой летописи преступлений, чудовищное порождение деспотической воли, палачество, не знающее аналогов.

Натренировав руку в Крыму и на Дальнем Востоке, в Прикаспии и на берегах Волги, Сталин после войны близко подошел к решению вождяленного «еврейского вопроса». Горстку жителей Биробиджана не обвинишь, как немцев Поволжья, в политической измене, — гитлеровские дивизии далеко, за многие тысячи километров, а японцы медлят, колеблются, не решаются из Маньчжурии форсировать Амур. Да и куда сошлешь биробиджанцев?!

В первые же послевоенные годы репрессивный аппарат Сталина — и сам он, и наиболее доверенные лица — усиливает карательные акции в идеологической области, все шире захватывая разные участки науки и искусства. Покарания такого рода случались и в тридцатые годы, по мере кровавого упрочения культа личности Сталина, но они обычно локализовались в сравнительно узком кругу деятелей искусства или ученых, жертвы еще исчислялись десятками или сотнями лиц, а не десятками тысяч, хотя миазмы и отравляющие «выбросы» давали себя знать по всей стране. Стегали «провинившихся» композиторов, и прежде всего тех, кого и Анатолий Глебов числил во врагах русского реализма, — Шостаковича, Прокофьева, Шапорина, Мясковского.

После войны удар следует за ударом. Проводятся, выражаясь языком ринга, ошеломляющие серии. Любая акция, имеющая конкретный адрес, вроде бы локальная, тотчас же абсолютизируется, ее действие распространяется на все без исключения сферы духовной жизни общества. Любая акция тотчас же распаивает двери идеологическому палачеству, наказаниям, осуждению «по сходству», по аналогии, а еще — по прихоти.

Вот один из малоизвестных примеров.

В 1947 году — году тридцатилетия революции — мы в «Новом мире» опубликовали записки шофера Ленина С. Гиля. Небольшая рукопись привлекла нас простотой и скромностью, передачей каких-то бытовых черт, житейских подробностей, по-своему, с неожиданной стороны выразивших человеческую натуру Ленина. Рукопись без тени рисовки, лакейства, без какого-либо приукрашивания. В ней, я бы сказал, была точность и обаяние фотографии, сделанной скрытой и к тому же любительской камерой.

Результатом был выговор редакции от Секретариата ЦК (первый выговор новой редколлегии во главе с Симоновым, за ним последовал

второй — за публикацию рассказа А. Платонова «Возвращение» — и третий за обнародование киносценария Ч. Чаплина «Мсье Верду»), — но это полбеда: губительным оказалось принятое в связи с записками С. Гиля постановление ЦК ВКП(б) о том, что отныне любая страница о Ленине может быть напечатана, только получив визу ИМЭЛ! Что это значит — хорошо известно: это почти то же самое, что набирать артистов для балета на льду ночью, на кладбище, среди покойников!.. («...В результате чего, — читаем мы в редакционной статье журнала „Коммунист“ № 9 за 1989 год, — резко затормозился выпуск научных работ, воспоминаний и художественных произведений о Ленине. Более 600 произведений о нем были фактически запрещены, в том числе воспоминания Н. К. Крупской и книга Джона Рида „Десять дней, которые потрясли мир“».)

Шли годы и годы, мертвящая длань ИМЭЛ — а после, когда выпала не любимая Сталиным буква «Э» (Энгельс!), длань ИМЛа — пресекала все живое, любую неординарную мысль или концепцию, всякое поползновение написать не так уныло и плоско, как писалось и повторялось из года в год. А родился этот пагубный запрет из брезгливой фразы Сталина, отринувшего от себя книжку «Нового мира» с публикацией С. Гиля: «Скоро парикмахеры начнут писать о Ленине!..» Подобострастная служба принялась наводить порядок — для нее все пишущие были ни более ни менее *парикмахеры!* — уже по новым меркам, послевоенным, не допускавшим кустарщины. В ход пошел параграф, сразу перекрывший все ходы и лазейки для злокозненных воспоминаний, разом для всех, от парикмахеров до... Крупской.

Почти каждая из идеологических кампаний послевоенных лет подкармливала антисемитизм Сталина, его давнюю, стойкую нелюбовь к евреям. В любой ученой области, подвергавшейся разгрому по «гениальным указаниям» вождя, оказывалось известное — случалось, не малое! — число евреев, имена их так заметны больному глазу, так нелюбимы, а обыкновение связывать эти имена с коллективной, непременно коллективной виной, виной целого народа, и не меньше, довершало атмосферу нелюбви и осуждения. Они — пришлые, так сказать, «безземельные», привитые к другому этническому древу (славянских ли обширнейших корней или любых других, от Кавказа и до предгорий Памира...), они словно бы своим дыханием, своим фактом существования, преданным, истовым интересом к иной, не еврейской культуре подпитывают космополитическую идею, ненавистную Сталину герценовскую идею *гражданина мира*.

Сойдись евреи все вместе, да еще во взрывоопасной зоне времен войны, и как просто было бы решить проблему, решить так, как решалось с Калмыкией, Чечено-Ингушетией, татарским Крымом и любой другой «провинившейся» провинцией империи. Но эти не давались, выскальзывали из удушающих братских объятий, задавали Сталину труднейшую, доводившую его до бешенства задачу. Нужны

были годы, чтобы подготовить страну к беспрецедентной акции — депортации миллионов советских евреев, чтобы придать ей, хотя бы внешне, цивилизованные черты. Время уже не военное, обыкновенная жизнь теперь все больше на виду у мира, а еврейское население вкраплено решительно во все регионы страны. Акция эта, среди прочего, потребует *принуждения* к выезду тысяч и тысяч известных стране и миру людей, и весьма возможно, что она, эта акция, должна быть многоступенчатой, изощренно-хитрой, а у владыки полумира давно уже не в чести терпение и осторожность; у него и времени осталось уже не так много — надо при жизни решить грандиозную историческую задачу.

Убийство Михоэлса 13 января 1948 года в Минске, при всей своей топорности и неосмотрительности, открыло новый этап энергичной подготовки к достижению заветной цели. Если бы Михоэлс и его спутник не были казнены на черносотенный лад ударами кистеня, гирьки или фомки в висок, а были застрелены, я бы назвал эти выстрелы *стартовыми*. Но стартовыми — для нас, в общем-то слепых и благодушных современников, а для людей Бери — деловым переходом к энергичным действиям после томительного ожидания и нескольких лет подготовки.

15 марта 1989 года «Литературная газета» опубликовала очерк-памфлет Аркадия Ваксберга «Заслуженный деятель», включавший некоторые отрывки из объяснительной записки генерал-лейтенанта юстиции Чепцова. Он председательствовал в Военной коллегии Верховного суда СССР, которая вынесла смертный приговор деятелям Еврейского антифашистского комитета. Но вскоре, в середине 50-х годов, А. Чепцову пришлось держать ответ и давать объяснения по делу ЕАК, проходившему летом 1952 года.

«На первый вопрос суда — признают ли они себя виновными? — сообщал А. Чепцов руководству страны, — 5 из 14 обвиняемых стали отрицать свою вину полностью, ссылаясь на то, что их показания на следствии были неправильными и данными вынужденно под физическим воздействием со стороны следователей...

Подсудимый Фефер упорно на протяжении многих дней изобличал всех подсудимых в антисоветской деятельности, в том числе и Лозовского как организатора и руководителя этой преступной организации. Однако под влиянием перекрестного допроса... Фефер стал давать путаные, не внушающие доверия показания.

...На закрытом отдельном допросе, спустя месяц после начала процесса, подсудимый Фефер заявил суду, что он с 1944 года являлся негласным сотрудником МГБ СССР. („Это заявление Фефер сделал в отсутствие других подсудимых, — уточняет А. Ваксберг, — сообщив, что является агентом под псевдонимом „Зорин“ и действовал по заданию этих органов“. „Проверкой установлено, — говорится в определении Военной коллегии от 22 ноября 1955 года, — что Фефер

действительно сотрудничал с органами МГБ.) После ареста и угроз избиением он подписывал все протоколы допросов, изготовленные следователями, и... перед судебным процессом был предупрежден следователем о необходимости подтверждать свои показания на суде“».

Мы многого никогда не узнаем, если не получим доступа ко всем 48 томам следственного и судебного дела. Но и материалы очерка А. Ваксберга, и другие появившиеся в последнее время публикации вносят известную ясность в ту проблему, которая в данном случае более всего занимает меня.

Подробности, рассказанные Эстер Маркиш академиком Линой Штерн, не оставляют сомнений в страшной и трагической роли Зорина-Фефера.

27 ноября 1955 года Э. Маркиш в приемной Военной коллегии Верховного суда, куда были вызваны вдовы расстрелянных членов ЕАК для объявления им посмертной *реабилитации* мужей, встретила со *старой, сгорбленной* Линой Штерн, и та сказала:

«— Зайдите ко мне, я кое-что вам расскажу.

Я пришла к ней с детьми — я понимала, что речь пойдет о Маркише. Лина Штерн была единственной, кто уцелел на процессе членов президиума Еврейского антифашистского комитета. Она получила пять лет ссылки и выжила. Другие женщины, проходившие по процессу: Мира Железнова — секретарь Ицика Фефера, журналистка Чайка Ватенберг, бывшая американская гражданка, работавшая переводчицей в Комитете, и член президиума Комитета, историк, фамилию которой я запомнила, были расстреляны 12 августа (1952).

Лина Штерн — крупный ученый-физиолог — приехала в Россию из Швейцарии в конце тридцатых годов. За ней пришли в начале 1949-го, сказали, что министр государственной безопасности приглашает ее на „собеседование“.

Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:

— Нам все известно! Признайтесь во всем! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!

— Я впервые это слышу, — сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.

— Ах ты, старая блядь! — выкрикнул Абакумов.

— Так разговаривает министр с академиками... — горько покачав головой, сказала Лина Штерн.

До мая 1952-го Лина Штерн не видела никого из наших — кроме Фефера. С ним у нее была очная ставка.

Фефер выглядел больным, жалким, раздавленным^[20].

— Ну, признайтесь, Лина Соломоновна, — сказал Фефер. — Вы ведь состояли в нашей подпольной сионистской организации...

— О чем вы говорите?! — воскликнула Штерн. — Какой организации?

— Признайтесь, признайтесь! — твердил Фефер» (с. 314-315).

Сколько раз пришлось Феферу, из страха, малодушия или партийной эйфории принявшему на себя ужасную роль осведомителя, сколько раз приходилось ему твердить, почти молить: «Признайтесь! Признайтесь!», — пряча глаза от вчерашних коллег, измученных допросами, пытками, физически сломленных и не сломленных, избегая их яростного, презрительного, ошеломленного или несчастного взгляда!

«Лина Штерн, — пишет Э. Маркиш, — видела окровавленного Шемилиовича, полубезумного Зускина, немощного старика Бергельсона. Видела Маркиша.

Никто из обвиняемых не признал себя виновным — кроме одного: Фефера. Выступая с последним словом, бывший заместитель министра иностранных дел Лозовский называл Фефера „свидетель обвинения“» (с. 315).

Неудивительно, что Фефер — «соавтор» следствия — был арестован первым и, более того, первой из всех жен была арестована его жена — реально было предположить, что жена Фефера знает о деле больше, чем положено было знать.

Фефер — Зорин!.. Зорин?.. Зорин?

Как могло случиться, что осмотрительный, отнюдь не запальчивый, не безрассудный человек для сотрудничества с МГБ избрал псевдоним, уже послуживший ему, причем — открыто, в двадцатые годы, а потому непременно известный какому-то числу людей искусства, живших тогда в Киеве. «После очищения Украины от белогвардейцев, — писала дочь Фефера, Дора Исааковна, много претерпевшая с мужем и всей родней в связи с арестом и осуждением членов ЕАК, — отец работал редактором газеты в г. Звенигородка. На партийной конференции был избран секретарем Звенигородского горкома партии, где проработал три года. Затем был отозван Киевским губкомом для работы в Союзе работников искусств Украины, где некоторое время являлся председателем Союза *под псевдонимом Зорин*» (воспоминания дочери И. Фефера, рукопись).

Дочь Фефера не могла знать, что давний, хранившийся в семейной памяти и домашних преданиях псевдоним «Зорин» возродился, но на этот раз тайно, маскируя, что ни говори, постыдную и жалкую роль осведомителя, агента или, как угодно было Феферу назвать себя, «негласного сотрудника МГБ СССР». Воспоминания дочери об отце, Исааке Соломоновиче Фефере, полны любви и гордости за отца — поэта и общественного деятеля, ставшего жертвой репрессий. Как ни тяжка роль Фефера во «вращивании» самого дела ЕАК, в его формировании, в создании его «рабочих чертежей», едва ли он хотя бы отдаленно предполагал характер и масштабы готовящейся провокации, едва ли

понимал до поры, к какой пропасти покатился, едва ли мог что-либо изменить, когда приоткрылась страшная палаческая реальность.

Дочь Фефера-жертвы, Фефера, реабилитированного в 1955 году вместе со своими содельцами, идеализирует отца, еще не зная ничего о его черной роли в судьбах людей. Но и узнав эту горькую правду, она не перестанет смотреть на него как на жертву, быть может, самую страшную жертву, на чью долю выпало не только уничтожение, но еще и муки совести, ужас предательства, тяжесть, способная раздавить и очень сильного человека.

Зорин!.. Вновь Зорин. На этот раз Зорин — агент, Зорин для ничтожно малого круга, быть может, даже только для одного-двух человек. Почему бы поэту, литератору с фантазией не выбрать себе другую фамилию среди десятков тысяч фамилий и имен?

Мне не ответить на этот вопрос со всей определенностью. Если бы его пришлось *ломать*, склонять принуждением, угрозами, шантажируя его командировками 1929 года в Чехословакию, Германию и Польшу и бог знает чем еще другим, собранным в его досье, он, скорее всего, не прибег бы к так памяtnому, романтическому даже — по молодой поре — известному множеству его знакомых по Киеву середины двадцатых годов имени.

А вот если его призвали как правоверного и законопослушного Коммуниста, если ему в... ЧК, в славном, героическом ЧК оказали доверие, попросили о «сущих пустяках», не посягая, так сказать, на его честь и нравственность, если его приобщили к высоким «тайнам», — но страшная, сокрушительная угроза все-таки хоронилась на донышке глаз того, кто пригласил его в кабинет, — то все могло стать так, без серьезной мысли о неизбежном трагическом финале для всех, не исключая и его самого.

Ведь он будет говорить правду, всегда только правду, ни в чем не солжет, никому не причинит вреда — правда не может, не должна вредить людям. Он останется все тем же честным, незапятнанным Зориным двадцатых годов... А что как он будет первым в истории тайным агентом, не вред приносящим, а ангелом-хранителем своих товарищей и коллег...

Я беру крайнюю ситуацию: в реальности все было, вероятно, много страшнее и бесцеремоннее. Подтекст жизни всегда грубее и шершавее, чем наши фантазии.

Не знаю, когда и как «жестко» попросили Фефера о дополнительной информации — в 1943 году, перед его поездкой с Михоэлсом в США, или после возвращения: какая, в сущности, разница! Он не погрешит ни в чем, сообщит только подлинные факты, проинформирует сотрудников МГБ об успешной, триумфальной поездке по Америке, ни один штрих никому не повредит. Если ему доведется говорить и о правых, о сионистских кругах в США, то и тут он будет

держаться правды, ведь эти люди в равной мере враги ЧК и советских евреев-трудящихся...

Но — коготок увяз, всей птичке пропасть!

Среди моих друзей, литераторов, были два человека (я узнал об этом много позднее, когда повальный страх уже не сковывал уста), кого в разное время приглашали, обволакивали добрыми, патриотическими словесами, то припугивали, то апеллировали к патриотическому долгу, обещали жизнь чистую и незапятнанную, прося, в сущности, о безделице, а может быть, может быть, и эта безделица не понадобится, говорили им. Они, те, о ком знаю я, отвечали: «Оставьте меня! Если я по слабости характера или в страхе и дам сейчас согласие и что-то подпишу, то, придя домой, я повешусь...»

Фефер поступил иначе, не провидя своего страшного искупительного конца.

Михаил Матусовский сохранил для нас бесценный документ времени, подтверждающий свидетельство Лины Штерн. В точности его невозможно усомниться. Это рассказ Самуила Галкина об очной ставке с Ициком Фефером во время следствия по делу ЕАК.

Я познакомился с Галкиным и узнал его еще до войны, когда киевский Госет репетировал его пленительную, нежную стихотворную пьесу-легенду «Суламифь». В том, что рассказал Матусовский, я увидел абсолютный по сходству слепок живой натуры, его благородный, добрый характер и нравственную чистоту. Галкин, как и академик Лина Штерн, из немногих, а может быть, и единственные, кто проходил по делу ЕАК, по его центральной группе, и не был казнен. Он возвратился в Москву больной, физически разрушенный и, пересиливая страх, сумел кое-что рассказать.

Чтобы сломить сопротивление Галкина, не подписывавшего «признательных» протоколов, следователь устроил ему очную ставку с Фефером.

«Гражданин Фефер, — спокойно спросил следователь, заранее уверенный в ответе, — вы подтверждаете показания, данные вами на прошлом допросе, что вы и бывший ваш друг Самуил Галкин были связаны с контрреволюционной организацией „Джойнт“?» И Фефер, опустив голову, глядя куда-то в пол, вернее даже никуда не глядя, глухо ответил: «Да». — «Не стесняйтесь, не стесняйтесь, говорите громче. Вы подтверждаете, что заключенный получал деньги от вышеназванной организации и сообщал через вас сведения секретного характера?» Фефер снова, не поднимая глаз, пробормотал еле слышно: «Да...» — «Ну вот видишь, а ты не верил. А теперь сам лишил себя добровольного признания вины. Можете увести Фефера!»

И тут случилось то, что не могло, кажется, случиться ни с кем другим из известных мне людей, случилось нечто, выразившее полно и высоту личности Галкина и трагедию Ицика Фефера.

«Сознавая, что это, может быть, в последний раз в его жизни, Галкин решился взглянуть на своего друга. Он увидел такого несчастного и жалкого, такого растоптанного и уничтоженного человека, что даже не мог презирать его, хотя и хорошо понимал, что одним словом „да“ тот predetermined всю его дальнейшую судьбу. Истощенный и запуганный, с черными печатями у глаз и кровоподтеками на восковой лысине, он был уже совсем другим человеком, только отдаленно похожим на Фефера, только носившим его имя. И тут Галкин, заранее прощая его за все, что он сделал ему и сделает еще, снимая с него вину, подошел и поцеловал Фефера. Какими собачьими, виноватыми, только на миг оживившимися глазами поглядел на него его друг. Они были сейчас выше всего, выше несправедного суда, выше власти, готовой расправиться с ними в любую минуту, выше самой жизни, которой они нисколько, уже нисколько не дорожили...»

Очевидно, что Фефера били, били тяжело, били по-черному, истязали, как могут истязать только «своего», уже за ненужность — вусмерть!

Но зачем? Стоит ли калечить человека, который столько лет помогал органам, нес свою службу, информировал о деятельности ЕАК — о полезной для страны, патриотической деятельности! — служил и, надо полагать, шаг за шагом в ужасе убеждался, в какую трясику он проваливается? Не бить, а поощрять, ублажать по возможности надо негласного сотрудника, подручного в разоблачении «джойнтовских» злодеев и их агентов. А эти били, дух выколачивали — не абсурд ли?

У кажущегося абсурда есть разгадка: по мере того как перед Фефером открывалась кровавая бездна следствия и его собственная роль в этом следствии, возникали дни отчаяния, мольб, смертных криков, смятенных отказов от вчерашних показаний, выколотых из него, открывалась та истина, что и его ведут напрямик к расстрелу; возникали убийственные пробуждения совести, попытки солгать, запутать мастеров своего дела, обмануть, отречься от самого себя... Всего и не предусмотреть, не увидеть на расстоянии, не предугадать в той потрясающей, может быть, самой потрясающей драме: ведь других защищала собственная совесть, честность, непреданная честь — у Фефера не было и этого убежища.

Перец Маркиш не поцеловал бы его и полуистребленного...

Самуил Галкин поцеловал, и поцеловал бы, даже зная о долгой «внештатной» службе Зорина. У него хватило бы света и добра на целое человечество.

А мы будем теряться в догадках, пока не получим доступа к томам следственного и судебного дела ЕАК.

Важен несомненный факт. С самого создания Еврейского антифашистского комитета в него был внедрен осведомитель, и не рядовой сотрудник или член Комитета, а второе после председателя

ЕАК, Михоэлса, лицо, причем человек деятельный, активный, политик в большей мере, чем весь остальной Комитет, вместе взятый.

О сотрудничестве Фефера с органами госбезопасности я впервые узнал из публикации «Литературной газеты» 1989 года. Но об одном загадочном, связанном с его арестом обстоятельстве я написал еще в 1987 году, теряясь в догадках, стараясь не задеть ничьей чести.

Приведу это место из журнала «Театр», № 12 за 1988 год, позволив себе сделать только одну поправку, точнее, привести подлинную фразу Переца Маркиша по рукописи, вместо сглаженной при публикации.

«Первым арестовали Ицика Фефера, — писал я, — коммуниста с 1919 года, поэта, певца революции, обладателя второй сказочной шубы от скорняков Нью-Йорка.

Об этом аресте я узнал случайно, столкнувшись с Перцем Маркишем при входе в Комитет по делам искусств на Неглинной. Они не ладили, Фефер и Маркиш, — были слишком непохожими как люди и как поэты.

— Ночью арестовали Фефера. Слыхали? — Экспрессивный Маркиш до боли сжал обе мои руки выше локтей. — *Этот негодяй один в могилу не уйдет, всех за собой потащит...*»

Последнюю фразу — она дана курсивом — при журнальной публикации мы заменили нейтральной, напрямик не задевающей Фефера, — добрейший и благороднейший редактор «Театра» Афанасий Салынский и в этом случае, как и во многих других, неизменно стоял на позиции защиты доброго имени и достоинства личности. Мы написали: «Теперь всех потащат...»

Но теперь, когда мы знаем гораздо больше, я думаю о том, что же все-таки скрывалось за вещими словами Маркиша, за полыхнувшей в нем ненавистью? Подозревал ли он Фефера или попросту не любил за многолетнее усердное функционирование, законопослушность и приверженность указаниям начальства?

Думаю, что сильнее всего в гневных и тоскующих, полуобреченных словах Маркиша было предчувствие трагедии — состояние, которое после убийства Михоэлса он уже ничем не мог заглушить.

Воспоминания Эстер Маркиш помогут нам глубже вникнуть в характер и атмосферу надвигавшейся драмы. При этом не будем принимать на веру любое ее свидетельство и не будем забывать о многолетнем литературном соперничестве двух поэтов, при котором, правда, Маркиш своими успехами был обязан выдающемуся таланту, Фефер же возмещал недостаток дарования общественной деятельностью.

«„Непорочный“ Фефер... — пишет Э. Маркиш, — интригуя и не брезгуя доносами, уверенно двигался вверх. (Речь идет о Москве, куда И. Фефер переехал после войны. — А. Б.) Ему помогал в этом Шахно Эпштейн, ответственный секретарь Антифашистского комитета, в котором Фефер занимал пост „комиссара“ — заместителя

председателя... Однажды Маркиша срочно пригласил к себе Александр Фадеев. Маркиша связывали с Фадеевым отношения обоюдной симпатии — но Маркиш не стремился к дружбе с „всесильным“ руководителем Союза писателей, как вообще не стремился к общению с „сильными мира сего“. Фадеев сказал, что на Маркиша написан донос в ЦК. В доносе Маркиш обвинялся в сионизме и еврейском буржуазном национализме, что особо отчетливо проявилось, по словам доносчиков, в главе „Разговор с сатаной“ из поэмы „Война“. Донос переслали в Союз писателей с указанием изучить главу и представить рекомендации в ЦК. Маркиш было только рукой махнул — мол, очередная чепуха! — но Фадеев заметил, что дело серьезное и что донос подписан Х. и У. — людьми, с мнением которых в ЦК считаются» (с. 169–170).

Кто они, эти Х. и У., которых не захотела или не смогла — по незнанию — назвать Э. Маркиш? Во всяком случае, к этому времени еврейские писатели, большинство из них, раскололись на «маркишистов» и «феферистов», и нетрудно догадаться, что к обвинениям Маркиша в сионизме могли иметь отношение только последние. Незадолго до доноса завязался публичный спор между Фефером и Маркишем — «...отвечая Феферу, Маркиш сказал, что неверно и неправильно дробить еврейский народ на „польский еврейский народ“, „русский еврейский народ“ и т. д. Есть единый еврейский народ, живущий в нашем мире... Такая формулировка была в ту пору и „подозрительна“ и „опасна“ война осталась позади, еврейская солидарность в борьбе с фашизмом уже начинала превращаться в глазах властей в „заговор сионских мудрецов“, „орудие империализма“ и тому подобное» (с. 171).

Маркиш воспринимал «железного партийца» Фефера как недремлющее око *властей* в ЕАК, вот почему, даже не зная о тайной службе Фефера в МГБ, он увидел в аресте Фефера разверзшуюся бездну, которая поглотит десятки, если не сотни людей.

Представляет интерес и случившееся в Госете в последней декаде декабря 1948 года, когда театром назначен был руководить Зускин, в ту пору больной, лечившийся долгим, многонедельным сном в больнице. «22 или 23 декабря в театр вдруг приехал Фефер, — пишет Э. Маркиш. — Он был не один — с ним вошел в театр самый страшный после Сталина человек в России: министр государственной безопасности Абакумов. Вместе прошли они в бывший кабинет Михоэлса — там был оборудован временный музей. Закрывшись в комнате, Фефер и Абакумов что-то делали там, что-то искали, перебирали бумаги и документы... Что ж, министр госбезопасности не обязан был уметь читать по-еврейски. И не важно, что искал и что делал Абакумов в кабинете Михоэлса, — важно, что делал он это вместе с Ициком Фефером» (с. 180–181).

Если бы решение об аресте своего осведомителя еще не было принято, любой чин МГБ не ставил бы его так открыто под удар. Эта

«свободная», партнерская акция Абакумов — Фефер была последней — через сутки Феферу суждено было стать подследственным.

«В ночь с 24-го на 25 декабря первым был арестован в своей московской квартире Ицик Фефер. В ту же ночь забрали Зускина — из больницы, спящего, завернутого в одеяло. Проснуться ему было суждено на Лубянке» (с. 181).

Докладная записка генерал-лейтенанта А. Чепцова от 15 августа 1957 года осветила кровавую панораму уничтожения ЕАК. Уже в том, что Фефера арестовали первым, была его обреченность. спектакль вчерне отрепетирован, действие развивалось стремительно в декабре 1948 года и в январе — марте 1949-го (под аккомпанемент или, если угодно, под «глушилку» громкой, крикливой кампании борьбы с «безродными космополитами» — тут идеальное совмещение по временному графику!); действие развивалось, уводя в тюремные кулисы писателей и деятелей еврейской культуры не в одной Москве, а повсеместно — в Ленинграде и Киеве, в Одессе и Минске, в Харькове и Черновцах, — повсюду, где был *подходящий* человеческий материал. Четыре года сотрудничества Фефера, доступ к бумагам ЕАК позволили поставить на очередь не десятки — сотни фамилий, еще до обыска в ЕАК, до ареста бумаг и документов и печатного органа Комитета — газеты на еврейском языке «Эйнекайт».

Органам уже не нужен разгуливающий на свободе Фефер. Теперь, быть может, понадобятся его ежечасные консультации по писателям, живущим далеко от Москвы; следствие не склонно было сводить в один громоздкий процесс более сотни обвиняемых — одессита Нота Лурье; Абрама Кагана, арестованного 24 января в городе Черновцы; драматурга-сказочника Пинчевского, приехавшего в 1926 году из Латинской Америки в Киев помогать строить социализм; Эли Шехтмана, Давида Гофштейна или М. Талалаевского (все Киев) и множество других еврейских писателей, а попросту говоря — весь их корпус, за небольшим исключением. Найдутся на всех «тройки» и «осо», тюрьмы и лагеря, палачи, истязатели, хватит на всех — выживших! — и щедрых сроков — от десяти до двадцати пяти лет содержания в лагерях строгого режима. Сникнет, умрет в лагере 76-летний классик еврейской литературы Дер Нистер, добрый, мудрый гномик, тот, кто в доме у Маркиша слушал и не слышал пьесу, прочитанную мною. Он умрет в декабре 1950 года, умрет от «порока сердца», как умрут и многие другие, помоложе, в лагерях Коми АССР и других адовых регионах ГУЛАГа.

Так и вижу недовольное лицо строгого критика: что ты все о Маркише и Бергельсоне, о Михоэлсе и Зускине, ведь в ту пору погибали в лагерях и другие — тысячи, сотни тысяч других, известных и неизвестных, русских и нерусских, палачи творили свой черный кровавый «интернационал» вот уж чей подход к выбору жертв был поистине космополитичен!

Все это так, так, и, склоняя в скорби голову, опускаясь на колени перед прахом Квитко или Бергельсона, я сознаю и помню, что, погибая, они только разделили судьбу России, трагическую судьбу миллионов замученных и казненных, жизнь которых так же свята, а смерть от руки убийц не имеет оправдания.

Я обратился к материалам ЕАК и судьбе еврейской художественной интеллигенции, чтобы показать нечто существенно новое — то небывалое злодейство, за которым не просто цепь убийств, а единый замысел, планомерная подготовка к уничтожению *всех* еврейских писателей, всех сколько-нибудь заметных деятелей национальной культуры — к уничтожению их как этапу на пути к геноциду в отношении целого народа.

Помню начало тридцатых годов на Украине, когда сталинские репрессии под предлогом борьбы с буржуазным национализмом отнимали свободу и жизнь у многих талантливейших украинских писателей, когда сгинули Микола Кулиш и Иван Кулик, драматург Ирчан и поэт Семенко, Досвитний, Хвильовой, Блакитный, Влызько, Рулин и многие, многие другие. Народ и его культура несли невосполнимые потери (равно как и другие национальные культуры страны), но по многим причинам не могло быть и речи о, так сказать, завершённом, законченном апокалипсисе, об уничтожении *всех* писателей какого-либо народа, всей его культуры.

С еврейской советской литературой решено было поступить именно так: истребить в ней всех, от аполитичных патриархов, поэтов-лириков, прозаиков — певцов новой жизни еврейского народа до самых молодых, только заявивших о себе в литературе.

ЕАК был редкостным по удобству полигоном прицельной стрельбы по живым, ничего не подозревающим мишеням, а четыре года близкого, легализованного наблюдения за деятельностью ЕАК должны были помочь составить исчерпывающие списки «преступников» и историю их «преступлений». Можно представить себе нетерпение палачей: четыре года искуса, четыре года поста, горы бумаг, сфабрикованных «доказательств» — и столь долгое томительное ожидание...

Убийство в Минске стронуло с места лавину. Отныне режиссура задействована, и все же она бездарна и опрометчива, она ломится напролом, в сознании собственной безнаказанности.

В книге Наталии Михоэлс о ее отце приведено свидетельство дочери генерала Трофименко, командующего Белорусским военным округом, о том, что днем 13 января 1948 года, когда был убит Михоэлс, в ресторане гостиницы, где проживали Михоэлс и Голубов, видели Ицика Фефера в «черных очках» за столиком.

Не зная о связях Фефера с органами, я в журнальной публикации «Записок» склонен был считать этот слух «бездарной подкачкой из низкопробного детектива». Теперь мне думается, что нельзя так

однозначно относиться и к этому слуху. Откуда к дочери генерала могла прийти такая версия? Кто информировал ее, а точнее, генерала Трофименко о визите в Минск Фефера? Не Михоэлс ведь! Действительно ли был отправлен в Минск Фефер вслед за Михоэлсом, но тайком от него, в маскировочных черных очках, или он и не выезжал из Москвы, а слух был пущен намеренно, для подготовки обвинения в убийстве председателя ЕАК его заместителем да и всем Комитетом, которому Михоэлс, дескать, мешал в одном жизненно важном, «судьбоносном» для всего народа деле?

Вполне можно предположить, что Феферу-Зорину приказали съездить в Минск, показаться там в гостиничном ресторане, чтобы другие агенты или «негласные сотрудники» могли при нужде подтвердить его пребывание там в день гибели Михоэлса. И так как он не смог бы разумно объяснить причину своего появления в столице Белоруссии, то позиция его была бы незащитима и из него можно было бы, что называется, вить веревки...

Если бы Сталин в телефонном разговоре с Берией, рапортовавшим ему об устранении Михоэлса, не остановился на глупой версии автомобильного наезда или катастрофы, если бы он потребовал судить *еврейских* убийц, приезд Фефера в Минск (или легенда о приезде) послужил бы хорошей отправной точкой обвинения членов ЕАК в минском убийстве.

За что же вероломные и кровожадные еврейские писатели могли мстить своему признанному лидеру и любимцу?

15

Есть от чего прийти в отчаяние.

Кто же мы были на самом деле? — взрослые, пишущие, кого-то поучающие и наставляющие люди, — не видя чужих слез, не слыша стонов и плача, не проникаясь чужой болью? Как мы не прочитали своей судьбы не просто в контексте, а в неотделимости от арестов множества писателей в декабре 1948 года и в январе — марте 1949-го? Как случилось, что о большинстве этих арестов мы и не знали до недавнего времени, когда стали заниматься далеким уже, почти полувековым прошлым? Ведь даже об аресте хорошо мне знакомого Нотэ Лурье, этого Кола Брюньона еврейской литературы, я не подозревал несколько десятилетий и узнал случайно, когда Н. Лурье попросили перевести на еврейский язык мою пьесу «Дамский портной», а короткое время спустя я прочитал о мужественном поведении Нотэ Лурье в лагере, прочитал в повести А. Жигулина «Черные камни».

Как назвать общество, до такой степени разобщенное, лишенное даже не гласности, а жалких крупиц правдивой информации? Почему мы не поставили в прямую связь уничтожение Михоэлса, последовавшие затем многочисленные аресты, аресты хотя бы тех,

кого мы знали, тщательное выпалывание еврейской культуры, не поставили все это в прямую связь с походом против нас самих — критиков-«антипатриотов»?

Слишком многого мы не знали. Но это не оправдание, а горькое признание вины. Это признак тяжелой болезни, умирание гражданственности при переизбытке «гражданственных» лозунгов, постулатов и клятв. Гражданин обязан хотеть знать и быть в этом стремлении неотступным и бесстрашным. Во многом мы жили инерцией тридцатых годов, инерцией равнодушия, общественной разъятости, невмешательства в чужие неблагоприятные, а тем более опасные, «заминированные» судьбы.

Быть может, срабатывала и биологическая самозащита: дойди до моего сознания мысль, что преследование меня и товарищей не чудовищная оговорка, не следствие честолубивых происков нескольких писателей-карьеристов, а одно из звеньев начатой государственной акции *уничтожения*, додумайся я до такого, и едва ли у меня нашлись бы силы для работы над книгой. Я поверил бы небрежно брошенным словам Александра Кривицкого: «Бросьте. Они не хотят и не примут от вас никакого романа!»

Что ж, в уме ему не откажешь: он был прозорлив и дальновиден, а постоянный племенной, этнический страх, постоянная эгоистическая забота о себе, о себе одном, прибавляли ему зоркости.

Но вот Аркадий Первенцев, человек, не отличавшийся ни умом, ни культурой, зачем-то же он на пленуме ССП в декабре 1948 года задержал меня, схватив за рукав, когда я шел к трибуне, и тихо посоветовал мне *помнить о Вале и девочках*. Вот кто жил не предчувствиями, не прозрениями, а практической информацией. Он вращался в кругах, где деловито и вождельно обсуждалась наша ближайшая судьба. Знал об арестах — вчерашних, в том числе и в доме в Лаврушинском переулке, быть может, ждал и завтрашних «очистительных» посадок, но в эту минуту испытывал слабость ко мне, нечто вроде благодарности за нашу с А. Д. Поповым работу над «каркасом» его «Южного узла». Ведь и у Софронова на все случаи жизни, на все упреки был свой Кац, непременный Кац, композитор Кац, закадычный друг Кац, софроновское интернационалистическое и еврейское алиби — Кац!

Но если многое мог узнавать — в том числе и на застольях у Г. М. Попова — Первенцев, то как же обширна была служебная осведомленность Александра Фадеева! Вот кто получал информацию о репрессированных членах Союза писателей, где бы они на территории страны ни проживали. Я это уразумел не сразу. Даже печатая журнальный вариант «Записок баловня судьбы», не понимал универсального характера информированности Фадеева. На нее мне открыл глаза недавно обнаруженный документ, короткая выписка из

постановления секретариата ССП (протокол № 55 параграф 14) от 9 сентября 1950 года, копия которой была послана Иоганну Альтману:

«Считать необходимым вынести на обсуждение Президиума вопрос об исключении из Союза советских писателей АЛЬТМАНА (докладчик Тов. Фадеев А. А.)».

Фадеев ведет заседание секретариата и сам вызывается докладывать на президиуме об изгнании своего давнего друга из Союза писателей. Дело, сколько можно судить по обстоятельствам, перешло уже из плоскости литературной в политическую, уже исключение Альтмана становится как бы необходимостью. И заметьте: Альтман уже не «тов.», в отличие от Фадеева, который «Тов.» с прописной буквы. Канцелярия, всегда чуткая канцелярия знает, что он уже не «тов.». Уже он и без имени-отчества, фамилия его уже из прописных литер — она как некое астральное, чужеродное тело, как имя, выделенное в судебных бумагах, в приговоре.

Сомнений нет — Альтман приговорен к исключению, в противном случае было бы писано по-другому, как у нас принято: «вынести на обсуждение вопрос о пребывании в Союзе...» Фадеев знает, что волею судеб Альтмана необходимо убрать, и убрать поскорее.

А почему необходимо? На исключенном из партии Альтмане нет и не может быть новых грехов. Он давно уже не редактор «Театра», он не напечатал ни одной строки, как и все другие, кому не позволено печататься. Он не ораторствует. Со времен «космополитического» шабаша прошло более полутора лет, около месяца тому назад тот же Фадеев попросил Е. Тарле дать отзыв на мою громоздкую рукопись. Отчего же он и руководимый им Союз так немилосердны именно к Альтману?

Дела литературные, их движение или кладбищенская мертвечина и неподвижность, не трубили в воинственный рог, не требовали крови Альтмана. Что-то вершилось за кулисами, в высоких кабинетах, в следственных «покоях» Лубянки, в планах иного, государственного значения. Так досаждающая верховной власти *мусорная* еврейская литература, досаждающая самим фактом своего существования, убрана почти под метелку, закрыты театры, но что-то недоброе, неведомое Альтману, но уже известное Фадееву, ждет Иоганна Львовича — он и был несколько позднее арестован, единственный из всех театральных критиков-«антипатриотов». Вот пусть и отправляется в новую жизнь, в лагерный ледовый континент, куда Фадеев уже проводил с 1937 года, скорбя и тоскуя (хочется верить, что именно так: скорбя и тоскуя...), столь многих подведомственных ему литераторов (именно проводил, а не спровадил!), — пусть и Альтман уходит, если ему это суждено, без писательского билета и не ставит Фадеева перед непредвиденными осложнениями. Психологически Фадеев выстоит, выдюжит, будет смотреть в упор на того же Альтмана холодными, умными, даже гневливыми глазами. Он — честный, безгрешный человек

— будет смотреть на плохого Альтмана, на обманувшего его Альтмана, он, Фадеев, скажет все, что положено в таком случае сказать члену ЦК, — таков его крест, — скажет и то, чему сам не верит, скажет и выгонит вон из Союза писателей. Это если не требование большого дома или Лубянки, то трезвый вывод из всего, что пришлось там выслушать Фадееву.

В левом нижнем углу документа примечательная приписка синим начальственным карандашом. Два слова, одно над другим:

Ленинград
Трауберг.

Эта зарубка на память расшифровывается без труда: аналогично надо поступить в Ленинграде с Траубергом. Кинорежиссер и сценарист Трауберг — член Союза писателей — среди всех ленинградских «космополитов» почему-то вызвал на себя особенно ожесточенный огонь, площадную ругань и прямые политические обвинения в прислужничестве американскому империализму. В Москве Альтман, в Ленинграде Трауберг должны быть принесены в жертву ненасытному молоху репрессий.

Видимо, я увлекся в «Записках» размышлениями о дуэли двух честолюбий, о столкновении позиций Фадеева и Шепилова, об их недолгой схватке. Быть может, сопротивление Шепилова опубликованию резолюции декабрьского пленума ССП СССР 1948 года, сопротивление, так досаждавшее Фадееву, вместе с тем помогло ему «уврачевать» душевную дискомфортность, возможное раскаяние или колебания, — ведь не мог же он не понимать, что в конкретной политической обстановке он подталкивает прямоиком к тюрьме и к гибели ошельмованных им театральных критиков, обвиняет их в грехах, которые и не снились арестованным еврейским писателям и их следователям, тупо и бездарно вымучивающим обвинительные протоколы.

Старые, давние грехи пока не истерзали всей его души. Еще не пришло время и не вернулись немногие уцелевшие в лагерях писатели. Еще они не мучают его, но не гневом и проклятиями, а униженностью и лакейством; старые сидельцы еще где-то, а новых постигнет та же участь. Что ж — идет битва двух миров, двух идеологий, сталинские законы классовой борьбы непреложны, они всё спишут.

Старого друга Фадеева — Михоэлса уничтожили. Фадеев не знал подробностей и, может быть, инстинктивно страшился узнать их. Но что коса репрессий выкосила пространство всей еврейской советской литературы, что вырублены и лес и подлесок, он не мог не знать. Я не был знаком со всеми еврейскими писателями, но очень многих знал по Харькову и Киеву, по Москве, Одессе и Черновцам, по многолетним

занятиям репертуаром еврейских театров и не упомяну ни одной сколько-нибудь значительной писательской судьбы, не сломленной преследованием и арестом.

Тугим и кровавым узлом, связавшим их, по преступному замыслу палачей, оказался Еврейский антифашистский комитет. Я уже говорил о том, что ЕАК жил как на юру, открытый всем ветрам, лишенный прав и даже упорядоченного, признанного круга обязанностей. Трагической для еврейских литераторов оказалась естественная притягательная сила ЕАК, ощущение его как культурного центра, объединяющего разрозненные литературные силы. Напомню, что именно ЕАК издавал единственную к этому времени, не считая, вероятно, Биробиджана, еврейскую газету «Эйнекайт» («Единение»). Это не затронутое фальшью или диссидентством единение советских патриотов, пишущих по-еврейски, помогло следователям выстроить их в *единую* колонну арестантов.

Вспомним, что именно в январе 1949 года прекратилось издание «Московских новостей», многоязычной газеты, где издавна трудились журналисты-иностранцы, известные профессионалы, такие, как Анна Луиза Стронг или репрессированные в конце тридцатых годов Р. Коэн, П. Бреслин, М. Столлер и многие другие. А. Л. Стронг ушла из «Московских новостей», потрясенная первыми же сфабрикованными сталинско-ежовскими процессами, арестами ее друзей-журналистов, чья честность была для нее несомненна. «...Я не хочу ходить на профсоюзные собрания „Москоу ньюс“, — писала она другу в США, — где „выражается благодарность“ советской власти за очищение коллектива от „вредителей“, а я знаю, что эти самые „вредители“ до недавнего времени считались самыми работающими и преданными людьми и что никто не станет объяснять нам, почему они теперь „вредители“... Американцу невозможно представить себе такую норму жизни, когда отсутствует какая-либо форма защиты гражданских свобод...»

Отечественная война, подвиги советского народа на фронтах снова привели Анну Луизу Стронг в нашу страну. В это свое пребывание она близко стояла и к ЕАК, к его печатному органу, с чем и связано было ее послевоенное выдворение из СССР

Мы привычно думаем, что по делу ЕАК проходили только члены Комитета, его верхушка, те, кто был расстрелян 12 августа 1952 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Но по этому «делу» проходили, так сказать, в городах и весях и загнанные одиночки, и произвольно сколоченные следователями группы и группки еврейских писателей и деятелей культуры, ничем не объединенные между собой, кроме прихоти следствия и уверенности в том, что земля советская бессудна и можно строить любое обвинение, не заботясь об уликах, о приблизительном хотя бы правдоподобии. Любой шаг еврейского писателя мог быть отныне поставлен ему в вину,

истолкован превратно, любой факт вывернут наизнанку. Любое стихотворение, в котором автор употребил слово «звезда» («штерн»), объявлялось воинственно-националистическим. Трясущийся от страха, не ведающий, когда наступит и его черный час, консультант, рецензируя стихи уже схваченного поэта, всячески лакействуя перед следователями, толковал эту самую «звезду» — этот извечный атрибут мировой поэзии — как слегка завуалированную, зашифрованную шестиконечную звезду — «щит Давида».

В истории советской еврейской литературы и культуры годы 1948–1952 были началом реального геноцида, безжалостного снятия целого культурного слоя, а значит, столь же реальным шагом, подготовительным шагом к геноциду в отношении всей нации, как стало физическим полуистреблением крестьянства раскулачивание 1929–1933 годов. Только болезнь и смерть Сталина остановила эту трагедию.

И размах, и решимость, и лихорадочная активность НКВД приходятся именно на те рубежные месяцы 1948–1949 годов, когда с честолюбивой и безответственной подачи Фадеева к пылающей топке репрессий были подброшены новые вязанки сухих дров. Приговор Сталина по поводу строптивости театральной критики был краток: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК Фадеева!» — и нужно ли было ему распространяться подробнее! Определение «антипатриот» позволяло самое широкое и грозное толкование, а упоминание Фадеева как члена ЦК выводило тему из эстетического ряда в большую политику

Аресты еврейских писателей, аресты *массовые*, с угрозой искоренения всей еврейскоязычной советской литературы, и ликвидация всех очагов культуры театральной, убийство самых известных и талантливых писателей в августе 1952-го — все это грозные, беспрецедентные шаги. Но тотчас же, осенью того же 1952 года, понадобились доносы Лидии Тимашук, чтобы дать куда более широкий простор недобрым страстям, перенести их на более понятный язык, приблизить к жизни, к быту народных масс, которых не так уж волновали проблемы театра, драматургии и театральной критики. Развязанная провокационная, преступная кампания против «врачей-отравителей», «убийц в белых халатах», против новоявленных «врагов народа» — всего народа, а не каких-то там суровых и софоновых — должна была привести к массовому взрыву негодования. Довольно речей в домах и клубах художественной интеллигенции, на кафедрах и в актовых залах, пусть образ злокозненного, страшного врача-убийцы всколыхнет народный гнев!

Готовился процесс, надо полагать, закрытый, так как на сей раз в информации и в праве присутствовать в судебном заседании было отказано даже левой, расположенной к нам, ассоциации юристов-демократов. Речь шла уже о репутации и судьбе не сотен писателей и

артистов, но о десятках, если не сотнях тысяч врачей-евреев, трудившихся на просторах родной страны, от Балтики до Тихого океана. Если народ заподозрит этих врачей в преступном умысле, тогда и депортация евреев в какой-либо отдаленный регион покажется разумной, закономерной и даже гуманной: не оставлять же людей без защиты!

Между этими двумя волнами тюремных репрессий пролегла кампания борьбы против критиков-«космополитов». Она развивалась как неотступный газетный речитатив, публицистический комментарий к тому, что деятельно готовилось и вершилось в кабинетах следователей, в камерах и карцерах и что до времени было скрыто от глаз толпы. Казни деятелей ЕАК еще только готовились, аресты врачей стремительно приближались; впадшему в старческие немощи Сталину только убийство врачей, в том числе и его собственных лечащих врачей, могло дать ощущение исторической справедливости (законно ли оставаться жить тем, кто не хочет или не умеет продлить его жизнь?!), но и народ нельзя было оставлять без «духовной пищи». Потребовались жестокие игры — в биологии, в генетике, в языкознании, потребовалась кампания победительных приоритетов решительно во всем и во все исторические эпохи, борьбы с «вечными французами», а значит, и с «низкопоклонством» театральных критиков.

По логике и «катехизису» следователей НКВД — МГБ любых рангов, от высших министерских до начинающего лейтенанта, следователя-стажера, наших прегрешений и вин, выкрикнутых лжецами с трибун и с газетных полос, вполне хватило бы для нового судебного дела. Запугивание, насилие и унижения принесли бы и в этом случае успех следствию, лживой судебной «реальностью» оказалось бы вдруг и такое, о чем не могли и мечтать оклеветавшие нас коллеги-литераторы.

Это я — интернационалист по убеждениям, изрядный слепец, печалюсь и негодую, скорбел о том, что обижают, жестоко критикуют, поносят, арестовывают, а то и казнят *имярек*, того-то и того-то. Но военный сановник Шатилов, расположенный ко мне, не столь уж мудрый и дальновидный, и драматург — трибун и братишка-эстет, и лжедраматург, сноровистый торгаш, и умолкший поэт — певец комсомола, отправившийся в Сибирь просвещать сибиряков по части борьбы с «космополитизмом», — все они были умнее и дальновиднее меня и понимали, что, кроме всего прочего, пришел наш черед. Отныне кровь делается решающим, если не единственным, аргументом в дальнейшем развитии и совершенствовании форм классовой борьбы.

Отчего же не взяли критиков-«космополитов»? Почему пренебрегли нами? Почему не завели дела по доброй половине наших «грехов», уже обнародованных свидетелями обвинения из СП СССР?

Вразумительного, а тем более точного ответа на это нет. Вот и приходится не только о себе, но и обо всех нас, избежавших ареста и

тюрьмы, сказать без всякого преувеличения: *баловни судьбы! Счастливыцы.*

Справедливость этого откроется вполне, если мы приглядимся к судьбе любого из репрессированных на рубеже 1948–1949 годов еврейских писателей. Не членов ЕАК, не персон, не знаменитостей, против которых были воздвигнуты горы столь же страшных, сколь и лживых, вздорных обвинений, а к судьбе рядового литератора, не давшего и отдаленного повода не только для судебного преследования, но и для простого к нему интереса участкового милиционера.

Абрам Яковлевич Каган 1900 года рождения был арестован в городе Черновцы 24 января 1949 года (всего-то за четыре дня до появления в «Правде» статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»), судим по «делу ЕАК и... еврейских писателей г. Киева» по ст. 58-1а, 58-10, 58-11. Особое совещание приговорило его 25 февраля 1952 года к 25 годам исправительно-трудовых лагерей, точнее сказать, к пожизненной лагерной каторге. Три года ушло на следствие, на монотонное верчение следователей вокруг несуществующего дела, несовершенного преступления или хотя бы проступка. Три года кафкианского абсурда, бреда, устрашающей пустоты, надругательства не только над человеком — над здравым смыслом, над самим назначением правосудия...

«Дело» Абрама Кагана — крошечный фрагмент гигантской циркорамы, сотворенной в те годы следователями МГБ. Оно грубо и безосновательно пристегнуто к ЕАК, пытками вколочено в помраченное сознание самого писателя, держится на бессмысленных, но так хорошо уже нам известных самооговорах.

Решающее «признание» (подписание «признательного протокола») добыто быстро, после первых угроз и побоев, после личного участия в истязаниях бывшего заместителя начальника следственной части по особо важным делам МГБ полковника Лихачева, который спустя четыре года будет расстрелян по приговору Верховного суда вместе с Абакумовым и другими.

По «признательному протоколу», подписанному Каганом, он — «сообщник Михоэлса». Он, «по возвращении Михоэлса и Фефера из Америки в 1943 году, был оповещен об их связи с американской разведкой и действовал по их указке». Признание добыто, Каганом занялся другой следователь, подполковник Лебедев. Он не гнушается ни избиениями, ни грязной антисемитской бранью, ни угрозами посадить в тюрьму его «Сарочек» — жену и дочь Кагана (сын Кагана погиб при обороне Севастополя).

Я хорошо знал до войны Абрама Кагана, читал два его исторических, переведенных на русский и украинский языки романа:

биографическое повествование о Шолом-Алейхеме и роман, исследующий знаменитый киевский судебный процесс — дело Бейлиса. Личность живая, активная, он много сил отдавал публицистике, писал о том, как входят в трудовую жизнь страны, в новый быт, в науку и культуру вчерашние жители местечек, «черты оседлости».

Признание подследственного добыто сразу, в феврале 1949 года, но оно настолько нелепо, анекдотично, что потребовалось еще три года для сочинения какого-то подобия персонального дела, как-то приложимого к жизни и личности Кагана. И тогда рядом с фантастическим, смехотворным шпионажем возникает обвинение в буржуазном национализме.

Характерно, что редакция «Эйнекайт» предусмотрительно обратилась к своим корреспондентам с советом и просьбой давать «... общую картину развития и восстановления какого-либо предприятия, научного учреждения и участия в нем граждан-евреев, чтобы показать читателям, что евреи *наравне с гражданами других национальностей* СССР принимают участие в социалистическом строительстве, в построении коммунистического общества». Каган свято исполняет инструкцию редакции «Эйнекайт», не выделяя, не обособляя евреев от других наций в своих очерках, — но мера в руке господней, а для арестанта — в прихоти следователя. Рассказы и очерки Кагана объявляются националистическими, *преувеличивающими* трудовые успехи евреев или, наоборот, с умыслом уничижающими эти успехи, в расчете на разжигание национального недовольства.

По заказу журнала «Україна» Каган пишет очерк о популярной в те годы клинике академика Губергрица и еврейский оригинал очерка отсылает в ЕАК для «Эйнекайт». В ноябре 1948 года академик Губергриц визирует очерк Кагана, в декабре он публикуется в журнале «Україна» на украинском языке.

Но следователь расценивает очерк, его написание и попытку публикации в Москве как... разглашение государственной тайны!

— Вы выдаете тайну, — говорит он. — Хорошо, что к тому времени мы прихлопнули ваш Комитет и ваш очерк не успел проникнуть в американскую прессу.

Ссылка на украинскую публикацию не принимается во внимание.

— За это, если нужно будет, спросим с редактора журнала «Україна», а пока мы привлекли к ответственности вас.

В другом очерке Каган напишет о гордости жителей одного из районов Винницкой области тем, что там проживала мать маршала Малиновского.

— Об этом вы не имели права писать. Это разглашение государственной тайны...

В августе 1942 года, находясь в Уфе в эвакуации, Каган выступает на антифашистском митинге рядом с украинскими писателями Тычиной, Рыльским, Сосюрой и другими. «Речи и стихи на русском,

украинском и еврейском языках, — писал А. Каган впоследствии в жалобе на имя Генерального прокурора СССР, — были проникнуты советским патриотическим духом, публика, собравшаяся в зале Совнаркома Башкирской Советской Социалистической Республики, состояла из русских, украинцев, евреев, татар, башкир и т. д. Митинг был проникнут духом пролетарского интернационализма, дружбы народов».

Слова! Слова! Слова...

Ничего они не значат для следователя МГБ. Он характеризует этот митинг как националистический. Основание? Абрам Каган публично прочитал стихи на еврейском языке. Не удалось его обвинить в попытке создания на базе Кабинета еврейской культуры при Академии наук УССР подпольной типографии «...с целью публикации националистической литературы», зато другого тяжкого обвинения Кагану не отвести: он действительно писал свою прозу и стихи на еврейском языке.

Этот пункт обвинения наиболее разительно и откровенно выражает истинные цели запущенной в ход следственной машины. Следователь — даже тупица, даже и в высоком — для подследственного Кагана во всяком случае — звании подполковника, сам не изобретет такого рода обвинения, как «сопротивление процессу ассимиляции». Нужны известный уровень злобствующей мысли, некая общая «философия» всего следственного процесса, его обвинительная концепция; должно быть получено разрешение или команда добиваться у подследственных (и не только у Кагана) признания в сопротивлении ассимиляции своего народа, то есть в сопротивлении его исчезновению, самоликвидации.

И вновь, и вновь загнанный, уже лишенный воли тюремный сиделец, запуганный словом и делом, уже усвоивший, что он «жидовская морда» и «еврейская блядь», ищет спасения в полупризнаниях, в жалких оговорках, в уверениях, что в своих рассказах и очерках он сочувственно «...отобразил процесс ассимиляции евреев. Я показывал, — утверждал Каган, — картины смешанных браков и примирение родителей молодых, родителей с молодыми и между собой. Таким образом, я освещал это бытовое явление с правильных позиций, в духе интернациональной дружбы. Достаточно это проверить хотя бы по повести „Сваты“ („Мехутоним“), напечатанной в одном из номеров еврейского ежемесячного журнала „Советише литератур“, органа Союза советских писателей Украины...»

Сломленный физически, с потрясенным сознанием, потеряв представление о том, что *там*, за стенами тюрьмы, какой на дворе век, пятидесятилетний Каган подписывает теперь и «признательный протокол», подтверждая, что он «...тормозил процесс ассимиляции евреев в СССР».

Ведь в руках у Лебедева неоспоримое доказательство этого преступного торможения! Подследственный Каган зачем-то упрямо

писал свои произведения по-еврейски. А ведь он грамотный, грамотный, не надо прикидываться: он достаточно грамотный, чтобы писать по-русски! Как-то он даже поправил ошибки и запятые в протоколе: автоматически поправил, выдал себя... И почему-то чаще всего он пишет о евреях, хотя мог бы смотреть и пошире, не мальчик. Подследственный любит свой народ, клянется в интернационализме, а вот видит, замечает, выделяет больше *своих*, не мечтает о том, чтобы они все поскорее растворились в едином великом советском народе.

По душе ли были самому Лебедеву воспетые Каганом смешанные браки? Не поручусь. Действительно ли он был озабочен ассимиляцией евреев или видел в ней зло и опасность для славянского *генофонда*, о котором толкуют сегодня деятели из общества «Память»? Несомненно другое — мечта о несуществовании еврейского языка, шрифтов, книг, спектаклей, говора, смеха, дыхания, — мечта, как-то странно уживающаяся с лозунгами, если не идеалами, дружбы народов.

Я взял судьбу Кагана, а не десятков других «буржуазных националистов», ибо она с лабораторной ясностью и наглядностью демонстрирует суть и дела ЕАК, завершившегося так трагически, и сорвавшегося по счастливому случаю смерти Сталина дела врачей, и всего крестового похода с целью окончательного решения еврейского вопроса в СССР

Если представляли опасность очерки и романы Абрама Кагана, писанные и изданные на еврейском языке, то какой же страшной цитаделью национализма должен был видеться Еврейский антифашистский комитет и его печатный орган «Эйнекайт»!

«Мы прихлопнули ваш Комитет!» — сказал Кагану следователь Лебедев. Прихлопнули! Арестовали все бумаги, документы, письма, архивы, еще не опубликованные статьи и очерки, все, все, что было открытой, честной жизнью и что отныне стало *уликами*. На исходе 1948 года уже можно было составить исчерпывающий список «преступников». Редкий еврейский литератор не писал сюда, не спрашивал совета, не делился радостями и горестями жизни. И на всех на них — на нелитераторах тоже! — лежал тяжкий грех — они писали по-еврейски. Они будто не понимали, что еврейская фраза, поговорка, книга, еврейский спектакль, да и просто — произнесенное слово или спетая песнь, тормозят процесс ассимиляции...

Кто подарил ЕАК мысль о возможности создания в Крыму Еврейской автономной области? Кто отстаивал ее, несмотря на несогласие и упорное сопротивление Михоэлса, и не одного Михоэлса? Едва ли мог пойти на это многоопытный и такой осторожный Лозовский. О Квитко, Бергельсоне, Галкине или Зускине нечего и говорить, — кто знал их, решительно отбросит предположение об их инициативе или активной в этом роли. Маркиш был постоянным противником, оппонентом Фефера, не доверял ему, подозревал в чрезмерной партийной законопослушности, хотя, вероятно, не предполагал в нем «Зорина».

Не имея доступа ко всему архивному делу ЕАК, мы не можем остановиться на какой-то одной, единственной версии. Но весьма возможно, что сама идея Крыма была внушена теми же, кто затем без колебаний расправился с ни в чем не повинными людьми.

Внушена — сначала как заманчивая шальная перспектива, так сказать, теоретическое допущение, этакая счастливая мысль («Дурачье! Чего медлите? Другого такого случая не будет...»), а после, когда обнаружилось сопротивление, — как приказ, как жесткая, категорическая необходимость твердо вести именно эту, провокационную линию. Какие заманчивые перспективы открывал этот замысел будущему следствию...

16

Голубов не знал, чему суждено случиться в городе его юности. Томили предчувствия, пугала срочность командировки, настойчивость лиц, весьма далеких от театра и суетной возни вокруг Сталинских премий. Но нормальному человеку не могло прийти в голову, что они едут к смерти, что в Минске, по воле первых лиц государства, тайком казнят прославленного актера.

Если бы Володю Голубова посвятили в страшный сценарий, пообещав ему жизнь, у него подломились бы ноги, он бежал бы, пусть и без надежды спастись, или запил бы мертвую, переползая через рельсы и вагонные площадки на московских вокзалах.

Но он оказался непосвященным, живой подсадной уткой, и заряд картечи угодил в него тоже. Уничтожение Голубова вошло в сценарий, было predetermined.

Минск, надо думать, рассеял его тревоги. Подобаящая случаю праздничная встреча, друзья, актеры, взволнованные тем, что в зале Соломон Михоэлс, что спектакль смотрит комиссия, затянувшиеся разговоры в опустевшем театре, морозная улица, — до гостиницы недалеко, их провожают, режиссер Головчинер поднимается с ними в номер.

В номере зазвонил телефон, попросили Голубова. Недолгий разговор, и Голубов, прикрыв трубку, сказал, что звонит его однокашник по Институту инженеров железнодорожного транспорта, у кого-то из его близких сегодня свадьба, и друг узнал, что Голубов приехал с Михоэлсом. «Если Соломон Михайлович заглянет хоть на полчаса, это же будет память на всю жизнь. Володя! Упроси его, умоли! По гроб жизни...»

Для того и понадобился Голубов вместо Головащенко, человека, чужого Минску. Убийцы учили все; кажется, они неплохо знали и Михоэлса, его жадный интерес к людям, к быту, знали и то, какой он легкий на подъем, готовый к бессонной ночи. Вспоминая Киев («Борщагивський! Ты пойдешь со мной! Ты меня не бросишь в этом

вертепе!»), я уверен, что Михоэлс и минуты не колебался: свадьба так свадьба! Интересно, какие они теперь — еврейские свадьбы, послевоенные женихи и невесты, новые свадебные гости в разрушенном немцами городе, который жив, строится и играет свадьбы.

И они пошагали на свадьбу, которой не было. Пошли на обманчивые, слышные только воображению Михоэлса звуки *фрейлахса*, свадебного танца, покорявшего самого Кагановича, сталинского вельможу, готового разделить с убийцами любую кровь, только бы позволили делить и власть над людьми.

На рассвете их обнаружили мертвыми, неграбленными задубевшими, с проломленными черепами.

«Утром 13.1 Михоэлса нашли убитым в глухом тупике, куда не могла заехать ни одна машина, — пишет Наталия Михоэлс. — Рядом с ним лежал убитый театровед Голубов-Потапов. Свидетель» (с. 265). Она отвергает версию автомобильной катастрофы, напоминая, что «Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое, неповрежденное тело Михоэлса после „автомобильной катастрофы“, вскоре были арестованы» (с. 252). В эти трагические дни и позднее, работая над книгой, она не может собрать воедино кричащие улики преступления. Все близкие живут в горе и недоумении. «Мы не поняли даже тогда, когда в нашу набитую людьми квартиру *пришла вечером того же дня Юля Каганович, моя близкая подруга и родная племянница Лазаря Кагановича*. Она увела нас в ванную комнату — единственное место, где еще можно было уединиться, — и тихо сказала: „Дядя передал вам привет... и еще велел сказать, чтобы вы никогда никого ни о чем не спрашивали“» (с. 245–246).

«С чего это он вдруг решил о нас позаботиться? — недоумевает Наталия Михоэлс, называя совет Кагановича „предостережением (или распоряжением?)“. — Ведь не пожалел он своего брата — отца Юли — Михаила Моисеевича Кагановича, бывшего наркома не то авиации, не то тяжелой промышленности, — и отправил его в тюрьму на расстрел».

Предупреждение Кагановича однозначно и неоспоримо доказывает факт злонамеренного убийства Михоэлса, уничтожения его той могущественной неподконтрольной силой, которая не простит не только сомнений в официальной версии смерти, но даже и вопросов от потрясенных близких. Случись действительно нечто неумышленное, в предостережении Кагановича не было бы смысла; почему близким не спросить о подробностях гибели, не узнать о последних минутах жизни родного человека?..

Но — *никогда никого ни о чем!* Можно ли выразиться яснее. А отдать на закланье брата — велика ли жертва? Ближайшие соратники Сталина отдавали тюремному поруганию и жен — даже Молотов и Калинин. Подобно библейскому Аврааму, любой из сподвижников Сталина обязан был занести меч над близким, принести жертву в

доказательство истинности и слепоты своей веры. И не хватало ангелов-спасителей, чтобы отвести карающий меч, и не хватило бы в стране овец, чтобы заменить ими обреченных людей.

Откуда возникла версия об автомобильной катастрофе, спрашивает Наталия Михоэлс, «кто первый начал ее распространять?» — и вполне резонно ссылается на книгу дочери Сталина, Светланы Аллилуевой «Только один год», вышедшую спустя два десятилетия после убийства. Вот это свидетельство Аллилуевой: «В одну из тогда уже редких встреч с отцом, у него на даче, я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: „Ну, автомобильная катастрофа“. Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: „В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс“. Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, у которой отец долго работал в Еврейском театре, плача рассказывала, как злодейски был убит вчера Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщили об „автомобильной катастрофе“. Он был убит, — продолжает С. Аллилуева, — и никакой катастрофы не было. „Автомобильная катастрофа“ была официальной версией, *предложенной моим отцом*, когда ему доложили об исполнении... Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещится „сионизм“ и заговоры. Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении»

«Версия» оказалась шаткой, меняющейся: то автокатастрофа, то «наезд» на двух пешеходов, а вскоре умышленно возникает и новая версия, отголосок того, что, по-видимому, фигурировало в обвинениях членов Еврейского антифашистского комитета, расстрелянных 12 августа 1952 года. В ресторане минской гостиницы, где жили Михоэлс и Голубов, как я уже упоминал, якобы видели в день убийства Ицика Фефера, в черных очках он сидел за одним из столиков. Эта детективная подсказка, будущая «косвенная улика» по обвинению ЕАК в организации убийства, попала и в книгу Н. Михоэлс со слов дочери генерала Трофименко. «Почему же все-таки Михоэлса не изолировали в тот вечер от Голубова? Был ли он (Голубов) случайной или предусмотренной жертвой в кровавом плане? Проходят годы, — печалится Н. Вовси-Михоэлс, — а туман не рассеивается».

Александр Тышлер долгую январскую ночь был у гроба Михоэлса, рисовал его, видел его нагим, без повреждений, без кровоподтеков, лишь с проломленным у виска черепом. Так же убит был и Володя Голубов. Жертвы наезда или автокатастрофы выглядят иначе.

Никакой автомобиль при наезде не может нанести таких ранений.

Нам позвонили о несчастье за сутки до газетных сообщений, — мне трудно вспомнить в своей жизни другой такой черный, безысходный день. Умер тот, кому нельзя было умирать, человек, созданный для

долгой жизни, для творчества и счастья многих людей. Из мира ушла необыкновенная и добрая энергия, опустошилось прекрасное и простое, не предвиденное во всем,местилище братской нежности и любви. Мы с Валею плакали, затихали и снова плакали, мир затмился. Мы как будто забыли, что скоро Вале рожать и ей надо избегать мрака.

В гибели Михоэlsa была черная загадка, удар ночного колокола, предвестие огромной беды, пропасть, вдруг открывшаяся нам впереди.

Убийство Михоэlsa породило множество слухов и версий.

Могло ли быть иначе, если это набатно прозвучавшее убийство не было расследовано ни зимой 1948 года, ни позднее, на протяжении четырех десятилетий в нашем так или иначе менявшемся мире. А страна ведь проводила в последний путь не «буржуазного националиста», не «агента Джойнта» Михоэlsa — все это плод позднейшей озлобленной фантазии Рюмина и его подручных, — страна прощалась с великим актером и выдающейся личностью.

Почему же не сработала хотя бы обычная, минимальная, на уровне Минска, следственная служба? Почему не велись поиски мифического автомобиля, разможившего виски Михоэlsa и Голубова, розыски виновного в убийстве шофера? Почему не опросили тех, кто ближе к вечеру и полуночи рокового дня видел Михоэlsa, разговаривал с ним, последним прощался с ним? Почему близких — жену и дочерей — настоящим «советом» Кагановича словно бы отрезали от Минска, не допустили к месту, где было найдено тело мужа и отца, не позволили им хоть на снег сложить горестные цветы прощания? Почему им, хорошо известным в театральном мире страны, не позволено было поехать в Минск, чтобы расспросить людей о двух последних днях жизни дорогого человека? Почему, наконец, не опросили даже доброго знакомого Михоэlsa, генерала Трофименко, командующего Белорусским военным округом, из дома которого, по одной из версий, Михоэls и возвращался, ближе к полуночи, к себе в гостиницу?

Не имея документов — и существуют ли они? — можно, конечно, вообразить переговоры по спецтелефону между Москвой и Минском той ночью: звонок ответственного лица, руководившего операцией, выехавшего с этой миссией в Белоруссию. Так сказать, победный рапорт, быть может, короткий диалог о каких-то подробностях, о точном часе, на который пришлось убийство, и о чем-то другом, почти техническом, о чем нам и не догадаться.

Минск следствия не начинал, не смел. Близкие в Москве не узнали ничего о характере повреждений на теле Михоэlsa и о том, была ли его смерть мгновенной, или он еще какое-то время был жив, но так и не пришел в сознание. Судя по всему, и минские хирурги и патологоанатомы не смели прикасаться к проломленным черепам, — все было окружено тайной, секретностью, а это благодатная почва для слухов.

Упрятав тела в гробы и отправив их в Москву, начальники тамошней службы безопасности, если они были достаточно догадливы, облегченно вздохнули — поезд повез убитых в Москву на Белорусский вокзал. Стояли вьюжные дни, и снег свежим белым покрывом укутал место преступления, заниматься которым было Минску не по чину.

И все же Москва должна была, обязана была, хоть для проформы, снарядить свое бессмысленное, ленивое, запоздалое следствие, уже после похорон, когда тело убитого убрано с глаз долой, и выбор пал на опытного следователя, превосходно знавшего Михоэлса, — Льва Романовича Шейнина. Его зловещая деятельность тридцатых годов была, конечно, памятна руководителям госбезопасности, они вправе были рассчитывать на гибкий ум и сообразительность Шейнина. Как было ему тогда не понять, что вся страна скорбит по Михоэлсу, что в нем не чаяли души кремлевские руководители — о чем свидетельствовал и правительственный некролог! — что он был дорог всем, от первого человека земли советской до так называемого простого советского человека. Как было ему, наконец, не понять, что заклятые враги Михоэлса засели только в одном месте — в Еврейском антифашистском комитете, и только там! Как было не понять умудренному в интригах следователю, что только *евреи*, только сионисты заинтересованы в убийстве Михоэлса; оно могло подхлестнуть националистические чувства и страсти, а они только этого и хотят.

Разыграй Шейнин эту черную, крапленую козырную карту, и он снова на коне, снова свой, нужный или, на худой конец, терпимый человек. Но следственному асу, старшему следователю Прокуратуры СССР по особо важным делам пришло на ум нечто поистине странное, противоестественное: для начала следствия об убийстве в Минске выехать в... Минск. После первых же диалогов на месте и первых встреч с начальниками тамошней госбезопасности он был отозван в Москву и тотчас же изгнан из Прокуратуры.

Мог ли всесильный еще вчера старший следователь Прокуратуры СССР Лев Шейнин предположить, что убийство Михоэлса сработано так грубо и непрофессионально, так неосторожно с юридической точки зрения? Мог ли неглупый, многоопытный следователь не увидеть, что он назначен исследовать преступление, которого нельзя касаться никому, никак и никогда? Мог ли он знать, что убийца, хорошо известный руководству МГБ, не только не схвачен, но отмечен высокой милостью — орденом? Именно об этом дважды в одной из глав своих «Воспоминаний» свидетельствует Никита Хрущев. «И вот произошла расправа с Михоэлсом, — пишет он, — величайшим артистом еврейского театра. Убить его зверски, тайно убить, а потом наградить его убийц и с честью (точнее было бы сказать — „с почестями“). — А. Б.) похоронить жертву — это уму непостижимо!» Через десяток абзацев Н. Хрущев повторяет: «...общественность не знала, как был убит этот

человек. Его убийца, мне Маленков говорил, был награжден орденом»^[21].

Но к этому я вернусь.

Открылся неограниченный простор для слухов, домыслов и легенд.

О многих из них я знал и прежде, сразу же после гибели Михоэлса. Еще больше пришлось мне выслушать и вычитать из писем после публикации моих «Записок» в журнале «Театр». И любой слух, любая, даже самая недостоверная легенда основывается на свидетельствах, полученных якобы из первых рук, и предлагается как самая-самая правдоподобная.

Дочь генерала Трофименко сообщила Наталии Михоэлс, что он и Голубов, задержавшись после спектакля, вышли из театра одни и на пустынной улице роковая машина гонялась за ними, пока не настигла. Но любому из нас, точно знающих, что версия о катастрофе или автомобильном наезде произвольно и наспех выбрана самим Сталиным, нам уже не принять любого варианта этой автомобильной корриды. И нужно совсем не знать реальной театральной жизни той поры, забыть об интересе, какой испытывали к Михоэлсу люди театра, жадном интересе, чтобы допустить такую мысль — Михоэлс и Голубов к ночи *одни* уходят из театра, никто их не провожает до гостиницы, никто не дорожит их обществом и беседой с Михоэлсом. Абсурд!

Существует и промежуточная, «уточняющая» версия: машина загнала Михоэлса и Голубова в тупик, где нет ни калитки, ни ворот, и там уничтожила их.

Есть досужие рассказчики, которым их близкие, минчане, «люди, заслуживающие всяческого доверия», поведали о выстрелах, раздавшихся пополуночи и стоивших жизни Михоэлсу и Голубову. Как бы вы ни уверяли их, что на теле ни того, ни другого не было пулевых ранений, они не откажутся от своей версии, такой достоверной и сущей в их воображении.

Известный архитектор, близко знавший Михоэлса, в подробностях живописует ночное убийство, уверяя, что жертвы были обнаружены утром в «глубоком подъезде» здания бывшей иезуитской коллегии в Минске, что, умирая, Михоэлс и Голубов подползли друг к другу, потянулись руками и переплели пальцы...

Но вот еще одна версия, якобы тоже родившаяся в семействе генерала Трофименко. Писатель Семен Глуховский, мой давний друг, не удовлетворенный моим рассказом об этом убийстве (на страницах журнала «Театр»), предлагает другую легенду, с которой он за десятилетия так сжился, что все другое кажется ему крайне сомнительным.

В тот роковой вечер Михоэлс, оказывается, допоздна засиделся в гостях у генерала Трофименко, и вот как вдова генерала спустя годы

вспоминала случившееся: «Это был лучший друг нашего дома. Мы подружились еще в Ташкенте, муж обожал Соломона Михайловича. И ведь не хотела я его в тот вечер отпускать — он приехал в Минск, и когда еще свидимся? У него в гостинице не было ванной — я вызвалась разогреть ванную, убеждала его не уходить, переночевать у нас. Но какой-то звонок (по телефону) его встревожил, он ушел, а утром — дикая, потрясающая новость...»

Итак — мать и дочь в своих рассказах ни в чем не совпадают.

Вдова Трофименко каким-то образом потеряла Володю Голубова, а ведь он, что ни говори, был в эти часы с Михоэлсом и убит одновременно с ним.

«Тревожные звонки» случаются в жизни, но в них перестаешь верить, когда они слишком ладно, так сказать, к случаю отрежиссированы непрочной памятью и раздаются точно в самый нужный, подходящий момент.

Возникает и чувство протеста, и недоумение в связи с этой версией: как мог командующий военным округом, генерал-полковник, бог и царь, отпустить Михоэлса одного на темные улицы Минска, к полуночи, в тревожный, еще не отстроенный мир, на улицы города, в недавнем прошлом снесенного с лица земли? Как мог он не вызвать для Соломона Михайловича машину, которая всегда к его услугам?

С. Глуховский уверяет, что сам выслушал горестный рассказ вдовы Трофименко, но это не прибавляет рассказу достоверности.

Или такая вот версия, якобы идущая от артистов белорусского Госета З. Браварской и Рахленко, сообщенная ими в 1955 году актрисе М. Карлос: «В шесть утра по коридору гостиницы бегал Рахленко и кричал: „Соломона Михайловича убили!“ Молочница проходила и увидела эту картину... Это был Ров, рядом с гостиницей» (из письма М. Карлос, 1989 г.).

«Глухой тупик», «Ров», «глубокий подъезд», пустынная площадь, переулок, гостиничные задворки и т. д. — подробности необходимы как бы в подтверждение полнейшей достоверности каждого нового рассказа. Я мог бы привести и другие варианты, но не стану этого делать, тем более что и сам не смею настаивать на единственности и неоспоримости своей версии, сколь бы правдоподобной и сводящей все воедино она ни была или казалась.

Единственное, что абсолютно необходимо иметь в виду, — это бесспорность *политического* убийства, не случайного бандитского нападения, а продуманного, хотя и совершенного архаическим, охотнорядским способом.

Судьба Михоэлса была предрешена. Лица, которым была поручена его ликвидация, терпеливо — или в крайнем нетерпении — дожидались подходящих условий, перебирали варианты, обязанные сработать «чисто», не оставляя следов и улики, но и не задумываясь над тем, как

будет преподнесена стране гибель великого актера. Это не их ума дело.

Слишком тесно сопряглись существование ЕАК и само имя, авторитет и популярность его председателя, Соломона Михоэлса. Следя неотступно за деятельностью Комитета, располагая необходимой информацией от «Зорина» — даже если в донесениях он давал самую благожелательную оценку этой деятельности, — наблюдая за тем, как Комитет, по прямой своей, так сказать, уставной обязанности, снабжает журналистов Европы и США информацией о жизни евреев в СССР, руководители МГБ не могли и не хотели мириться с активностью этой немерной, уникальной в своем роде организации и ждали часа, когда им позволят «прихлопнуть», по выражению следователя Лебедева, Комитет. Я еще напому о некоторых винах ЕАК перед Сталиным — от подаренной ему, властелину полумира, нью-йоркской шубы и до выдворения из страны Голды Меир, посла Израиля в СССР

Если идея создания Еврейской автономной области в Крыму была выношена в МГБ и подброшена в ЕАК через своего агента, а именно он был самым горячим и настойчивым сторонником опасной идеи, то в лице Михоэлса у этой идеи появился пусть и растерявшийся в какой-то момент, но неотступный и несговорчивый противник. В декабре 1947 года тем, кто не спускал глаз с Михоэлса, стало известно о посещении им Кагановича, — в этом мозкну не сомневаться. Стало очевидным, что Михоэлс, пусть из нравственных, этических соображений, не подозревая худшего, интуитивно пытается избежать «капкана», отвергает соблазнительный крымский проект, а Каганович — осторожный, коварный — отмалчивается, *не слышит* своего взволнованного посетителя. Как иначе объяснить циничную «глухоту» Кагановича и его точное понимание уже на следующий день после убийства, что самым близким людям нельзя спрашивать о случившемся в Минске — никогда, никого, ни о чем?

Если бы я писал свободную повествовательную прозу, я мог бы набросать такую сцену: трое собеседников — Сталин, Берия и Каганович — в добром расположении духа обсуждают нечто актуальное, но необременительное, и вдруг Берия, улынувшись и не спуская глаз с Кагановича, говорит, что из агентурных донесений ему стало известно о намерении евреев просить у правительства Крым. «Не такие они дураки, Лаврентий... — говорит Сталин. — Не станут они сами лезть в петлю». Но Берия, все еще приласкивая взглядом Кагановича, говорит, что станут, станут, очень уж это соблазнительно. «Того и гляди, — говорит Берия, — придут к Лазарю советоваться. Он единственный в Политбюро рэбе...» Каганович то хмурится, то отшучивается, вспоминая недавний приход Михоэлса и радуясь своей уклончивой немоте. Сталин молчит: неужели повезет и Крым станет

вторым Египтом для этого народца. Чермное море расступилось перед ними, Черное — не расступится...

Но сегодня уже нет нужды прибегать к беллетристическим догадкам: «крымский вопрос», бывший прежде столь замысловатым и «таинственным», во многом обнажился, и есть возможность судить об этой грандиозной провокации МГБ и самого Сталина с большой вероятностью и достоверностью.

Совершив одну формальную ошибку, назвав Еврейский антифашистский комитет «Совинформбюро», — видимо, причиной послужило то, что и в «Совинформбюро» и в ЕАК фигурирует Лозовский, — Н. Хрущев довольно подробно рассказывает обо всей провокации.

«Сталин, безусловно, сам внутренне был подвержен этому позорному недостатку, который носит название антисемитизма.^[22]

А жестокая расправа с заслуженными людьми, которые подняли вопрос о создании еврейского государства на крымских землях? „Это неправильное было предложение, — говорит Н. Хрущев, — но так жестоко расправиться с ними, как расправился Сталин!.. Он мог просто отказать им, разъяснить людям, и этого было бы достаточно. Нет, он физически уничтожил тех, кто активно поддерживал этот документ... Безусловно, такая акция возможна была только в результате внутренней деятельности „бациллы“ антисемитизма, которая жила в мозгу Сталина“»^[23].

«Когда освободили Украину, в этом комитете, — утверждает Н. Хрущев, — составили документ (я не знаю, кто был инициатором, но, безусловно, инициаторы были в этой группе), в котором предлагалось Крым после выселения оттуда крымских татар сделать Еврейской советской республикой в составе Советского Союза. Обратились они с этим предложением к Сталину. Вот тогда и загорелся сыр-бор. Сталин расценил, что это акция американских сионистов, что этот комитет и его глава (Н. Хрущев „главой“ ЕАК упорно полагает Лозовского. — А. Б.) — агенты американского сионизма и что они хотят создать еврейское государство в Крыму, чтобы отторгнуть Крым от Советского Союза и, таким образом, утвердить агентуру американского империализма на Европейском континенте, в Крыму, и оттуда угрожать Советскому Союзу. Как говорится, дан был простор воображению в этом направлении.

Я помню, мне по этому вопросу звонил Молотов, со мной советовался Молотов, видимо, в это дело был втянут главным образом через Жемчужину — его жену.

Наиболее активную роль в этом комитете играли его председатель Лозовский и Михоэлс.

Сталин буквально взбесился. Через какое-то время начались аресты. Был арестован Лозовский, а через какое-то время и Жемчужина.

Был дискредитирован Молотов... Начались гонения на этот комитет, а это уже послужило началом подогревания сильного антисемитизма... Сюда же приплеталась выдумка, что евреи хотели создать свое государство и выделиться из Советского Союза. В результате борьба против этого комитета разрасталась шире, *и ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве.*

Начались расправы... Сталин опять начал практиковать тайные убийства».

И Н. Хрущев вновь обращается к убийству Михоэлса, к уничтожению членов Комитета, к казням: «Сталин казнил и миловал лично сам». Возвращается он и к «крымскому вопросу», к рассуждениям о важности «морской границы», к тому, что Сталиным «была проявлена бдительность, и он пресек поползновение мирового сионизма...».

Хорошо известно, какая масса мелких неточностей содержится в воспоминаниях Н. Хрущева, всецело полагавшегося на память. Но кое-что бесспорно: он дважды пишет о том, что крымский вопрос, в сущности, ни разу не был предметом обсуждения. Вот эти фразы, стоящие почти рядом: «Собственно, этот вопрос по существу никогда не обсуждался, а только высказывались суждения об осторожности и бдительности...» и — «но этот вопрос не обсуждался и решения никакого не было, а вот аресты были».

Вспомним, что в ту пору Н. Хрущев жил в Киеве, командовал Украиной и, следовательно, Молотов звонил ему на Украину. «Документа», который упоминается Хрущевым, он не видел, и очень может быть, что подлинного документа нет и никогда не существовало.

Имя Молотова упоминается в связи с Крымом и в книге Э. Маркиш, причем в контексте, который не оставляет места для сомнений в достоверности:

«В то же, примерно, время — в конце 1947 года — группа ведущих еврейских общественных деятелей во главе с Михоэлсом и Фефером была приглашена для беседы к Молотову и Кагановичу. Маркиш не был в числе приглашенных (этого, разумеется, не мог допустить „комиссар“ ЕАК, Фефер, сосредоточивший в своих руках все дела. — А. Б.) и о совещании узнал на Президиуме Еврейского антифашистского комитета, членом которого оставался. Речь на совещании „в верхах“ шла о будущем Биробиджана. Идея создания „еврейской автономной области“ с треском рухнула, и власти собирались подновить ее. Каганович и Молотов предложили Еврейскому антифашистскому комитету составить письмо на имя Сталина с просьбой передать Крым для образования Еврейской республики. Письмо было составлено, и Маркишу предложили его подписать.

Маркиш отказался в самой резкой и категорической форме. Он мотивировал свой отказ правом татар на Крым и видел в самом предложении *грубую и открытую провокацию*». В те же дни Маркиш узнал, «что тысячи евреев, уцелевших в войне, пишут в Комитет письма

с просьбой помочь уехать в Палестину. И все эти письма немедленно пересылались в Министерство государственной безопасности. Маркиш был уверен, что эта инициатива исходила от Фефера» (с. 172-173).

Даже обостренный нелюбовью взгляд умного Маркиша не проникал достаточно глубоко, — как ему было догадаться, что дело было не в «инициативе» Фефера, а в прямых служебных обязанностях осведомителя!

Не Фефер ли и какая-то часть неразборчивых членов Комитета и подписали письмо или «документ», упоминаемый Н. Хрущевым, если только этот документ реально существует или существовал в прошлом?

Маркиш подписать письмо отказался «в самой резкой и категорической форме». Такова же была позиция Михоэлса: понукаемый Фефером к активности, Михоэлс метался, добился приема у Кагановича, совесть и нравственность не позволяли Соломону Михайловичу посягать на исторические земли татар. И нужно было хоть немного знать таких людей, как Зускин, Квитко, Галкин, Бергельсон и другие, чтобы сама мысль о «захватнических» планах показалась смешной и недостойной. Только получив доступ ко всем томам следственного и судебного дела, мы узнаем, какая фальшивка, кем сфабрикованный «документ» лег в основу тягчайших обвинений.

В действительности масштаб разгаданной Маркишем провокации гораздо шире и трагичнее, чем акция заложника МГБ Ицика Фефера, — ее действующими лицами, вольно или невольно, стали и крупнейшие фигуры сталинской клики — Молотов и Каганович.

Нелепо и предполагать, что вопрос, подобный передаче Крыма под «еврейский дом», мог быть поднят открыто, но втайне от Сталина обсуждаем этими верноподданными членами Политбюро. После войны даже и ничтожные вопросы могли решаться и даже только ставиться лишь с его благословения. Каганович не приблизился бы к «крымскому узлу» и на пушечный выстрел, не будь подсказки Сталина, его кивка или предательского подмигивания. Зная лютый, заматеревший уже антисемитизм Сталина, озаботиться грандиозным еврейским домом в Крыму — в сталинском курортном Крыму, на берегу Черного моря, которое даже и в Сочи будет безнадежно испорчено, отравлено для Сталина мыслью о том, что где-то за горизонтом, не так уж далеко, та же вода плещется у еврейских ухоженных берегов, — отважиться на такое без согласия, санкции, благословения вождя могли только самоубийцы. А они были «жизнелюбы» — и Молотов, и Каганович, они, как никто другой, исключая, может быть, Берию, знали все о Сталине, его повадках, капризах, жестоких играх. *Никогда, ни при каких обстоятельствах* Молотов не решился бы звонить в Киев Хрущеву, советоваться с ним о Крыме, не имея поручения Сталина, — слишком уж не доверяли друг другу соратники Сталина. О Кагановиче и говорить нечего — при малейшей, гипотетической опасности он не заговорил бы по собственному почину о судьбе какого бы то ни было

народа, а о еврейском — и подавно. Его жертвенные Исааки предавались им же закланью, и не было ангелов, чтобы остановить карающий меч, — его кремлевский бог требовал жертв, и кровь проливалась невозбранно.

Да и поприщинские страсти Сталина по поводу «захвата» евреями Крыма и возникающей *страшной опасности* для страны только подтверждают мысль о том, что разыгрывалась поистине пьеса абсурда, дьявольская провокация, а за ней и депортация и откровенный геноцид («...ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве» — Н. Хрущев). Владыка полумира, победитель Гитлера, оказывается, смертельно боялся еврейской угрозы из-за Перекопа, опасался, что все наши доблестные танковые армии, артиллерия и авиация оплошают, не справятся с захватчиками-сионистами!

В комическом нагнетании страстей («Сталин буквально взбесился» — Н. Хрущев) так и проглядывает мерзкий лик политической провокации, дурное старческое актерство, фарс, разыгранный перед лакеями, холуями, которые знают, что играется фарс, и вовремя подают свои реплики.

А многими этажами ниже люди не ведали истины: одни отодвигали от себя, решительно или брезгливо, «документ» с просьбой о Крыме, отказывались ставить подпись, верные своим нравственным принципам, другие, а среди них, несомненно, Фефер, подписывали безоглядно: ведь и МГБ — «за», о чем же и думать, чего еще ждать?!

Но без решительной поддержки Михоэлса — председателя Президиума ЕАК — дело не двигалось, петиция не обретала полной юридической силы, и, повторяю, понукаемый Фефером, Михоэлс метался, уклоняясь от окончательного решения.

Такая «талантливая» бериевская пьеса; такая изощренная сталинская провокация, возвращающая его мысленно к самым удачным судебным акциям тридцатых годов; такой триумф преступной, уголовной, поднятой на государственный уровень затеи; так красиво разыгранная партия лубянских шахматистов — и вдруг какая-то пешка портит все дело, путает карты, тянет и томит.

Судьба Михоэлса была предрешена.

Он, уничтоженный в Минске, может быть объявлен жертвой несчастного случая и оставаться еще некоторое время для страны «великим актером» и патриотом страны социализма. Потом от того, как обернется дело, можно его объявить буржуазным националистом, «агентом „Джойнта“» или, напротив, жертвой своих коллег, устранивших того, кто мешал им завладеть Крымом.

В конце концов, сценарий для убийц, награжденных за уничтожение Михоэлса, писали не Конан Дойл, не Сименон и даже не Агата Кристи.

Убийство Михоэлса не только открывало много заманчивых возможностей, оно и само по себе могло принести тайную радость Сталину. Ведь в лице Соломона Михайловича из глубин ненавистного ему народа вновь возникал сильный лидер, пусть не политический лидер, но слишком уж заметный человек — умный, благородный, чтимый русской интеллигенцией, человек, которому рукоплескала Россия, а следом и Америка. В силу своего интеллекта и таланта Михоэлс был самодостаточной личностью. В самом ее масштабе, в ее дыхании, в шекспировских ее монологах, в захватывающих свадебных танцах на сцене Госета, в добрых и восторженных толках о нем, во всем решительно открывалось неподчинение, автономность его существования, свободный полет мысли, неприятие стандартов времени. Такие личности, подобные Н. Вавилову, Чаянову или Ахматовой, не говоря уже об инакомыслящих политических деятелях, с каждым годом все менее и менее согласовывались с общественными условиями жизни. Их нравственная, интеллектуальная самостоятельность бросала вызов системе, всесильной *цитате*. Провокаторов и доносчиков становилось все больше, и поступки, терпимые вчера, становились сегодня нетерпимыми.

А Михоэлс был еще как бы и воплощением еврейства — местечковой деформацией прекрасного мужского начала, мужской красоты, то надевавшей вдруг маску безобразия, то притягивающей, пленительной, полной таинственной энергии, мужской силы, совершенством несовершенных, кричащих форм, личностью, покоряющей умом, сократовской лепкой лба, мудростью, скепсисом и добротой взгляда «Квазимодо» — рядом с сытым, холемым евреем-вельможей Кагановичем, низкорослый, плечистый, приземистый, он-то как раз и был живым воплощением *высоты*, благородства, воплощением творческой энергии народа, так допекавшего Сталину самим своим существованием. А сколько злобного презрения к любимцу толпы, выдающемуся артисту должен был испытывать Берия, насильник, маниакально выслеживавший на улицах Москвы красивых женщин. А этот *уродец* всеми чтим, глаза прекрасных женщин взволнованно обращены к нему, они загораются рядом с ним светом почтительности, восторга, обожания...

В мире вурдалаков он не мог, не должен был существовать.

Только смерть Михоэлса равнялась уничтожению ЕАК. Ничья другая гибель, ни Лозовского, ни Фефера, ни любого другого из самых талантливых еврейских писателей, не была бы концом ЕАК.

Все решилось в Минске. Так удачно подвернулась эта поездка члена Комитета по Сталинским премиям С. М. Михоэлса, и так кстати прислужился делу не ведающий своей судьбы Володя Голубов, которого угораздило еще до войны окончить в Минске Институт инженеров железнодорожного транспорта.

Когда журнальный вариант этих «Записок» уже был в наборе, я выслушал заслуживающий всяческого доверия рассказ Михаила Зиновьевича Шульмана, который был в 1947–1948 годах студентом театральной школы-студии при Госете и участником массовок в спектаклях театра. Он был среди других потрясенных, горюющих, поджидавших на Белорусском вокзале гроб с телом Михоэлса, и среди тех немногих, кто переносил тяжелый гроб по непредвиденному, внезапно усложнившемуся маршруту.

Вот его рассказ в самом сжатом виде.

Стоял вьюжный январский день, пора еще не отошедших крещенских морозов. Поезд из Минска запаздывал из-за снежных заносов. Толпа на перроне Белорусского вокзала не редела, все подходили и подходили артисты московских театров. Много было молодежи, студентов, готовых принять на плечи гроб.

Они вынесли закрытый гроб из вагона, перенесли его в машину и тронулись в путь, на Малую Бронную. Улица перед театром и театральные помещения были полны людей, — обнажив головы, встретили гроб Москвин, Тарханов, мастера Малого театра, вахтанговцы, известные писатели, московская интеллигенция всех «родов оружия», не только художественная.

Гроб внесли в кабинет Михоэлса и попросили всех выйти. К крышке гроба никто не прикасался. В кабинет проводили профессора Збарского, того, кто бальзамировал тело Ленина.

Збарский сказал, что здесь, в театре, он не сможет сделать все необходимое, тело Михоэлса нужно перевезти к нему в институт.

Крышку водворили на место, позвали студийцев, и они снова погрузили гроб в машину. Подъехав к институту, внесли гроб в одно из помещений, где их уже ждал Збарский. У крыльца и внутри здания, в коридорах, на этот раз их поджидали и молча сопровождали люди, не имевшие отношения ни к Госету, ни к медицине: это бросалось в глаза. Возможно, что эти люди были и в театре, но в густой толпе их трудно было заметить.

Ждали довольно долго. Потом их позвали, они снова подняли на плечи закрытый гроб.

У театра, несмотря на жестокий мороз, толпа выросла.

В этом, случайном для меня, достоверном фактическом рассказе заключена чрезвычайно важная информация.

Из Минска тело увезли, так и не решившись подступить к нему, к проломленной височной, черепной кости. Еще не объявлена казенная версия смерти Михоэлса, потому и связаны руки минских патологоанатомов. Все еще длится ситуация дилетантская, длится необдуманность, опрометчивость, безответственность каждого следующего шага.

Кто-то осведомленный и влиятельный обеспечил присутствие Збарского, долгое его ожидание гроба с телом. Близкие не видели

Михоэлса мертвого, они не могли озаботиться приглашением Збарского.

Если бы у МГБ или Прокуратуры существовало малейшее намерение начать дело об убийстве, то в Москве прежде всего был бы проведен тщательный осмотр трупа, изучен характер повреждения головы, определены, пусть предположительно, орудия убийства. Но следственного осмотра никто не учинял. Торопились убрать тело, а с ним и столь очевидные, характерные улики и «печати» преступления.

Нерасторопным убийцам-мясникам покровительствовали их вельможные заказчики — убийцы высочайшего государственного ранга.

Даже Сталину пришлось посчитаться с популярностью Михоэлса в мире^[24]. Объяснение гибели оказалось слишком торопливым и неосмотрительным, тем самым на долгие месяцы откладывалась другая версия, которую, думаю, мне, хотел бы предъявить миру Берия: уничтожение выдающегося актера его соратниками по Еврейскому антифашистскому комитету.

Что же помешало обер-палачу взять быка за рога, сразу же обрушить удар на «заговорщиков», по его же подсказке вожделевших Крыма и разгневанных несогласием Михоэлса?

Тут я вступаю в область предположений и догадок.

Как объявить миру, что убийцами Михоэлса оказались близкие ему люди, братья по духу, товарищи по искусству? Как заявить, что к убийству причастен Вениамин Зускин, сама нежность, душевность и артистизм? Что шестидесятилетний Лев Квитко, лирик, любимец писателей страны и миллионов детей, обогрел свои руки кровью? Что к убийству причастны старик Бергельсон, пламенный Маркиш, тишайший, добрейший Галкин? Подобное «дельце» можно состряпать только в тюремном бункере, в пыточной, в следственных кабинетах Лубянки, начать, окончить и привести в исполнение приговор, не открываясь миру и человечеству, — как оно и случилось в августе 1952 года, когда были казнены лучшие еврейские писатели страны.

В 1948 году поостереглись с таким чудовищным публичным заявлением. Мы потеряли бы едва ли не всю интеллигенцию мира, и ту, что прониклась в годы войны глубокой симпатией к нам. Никто не поверил бы в заговор писателей-убийц, не говоря уже о том, что непричастность членов ЕАК, алиби каждого из них нельзя было бы опровергнуть в судебном заседании.

Спустя пять лет, когда маразм Сталина зашел далеко, а застаревший антисемитизм обрел завершенные формы, в 1952–1953 годах, отважившись на «дело» так называемых «врачей-отравителей», или «убийц в белых халатах», Сталин натолкнулся на гневное сопротивление мировой общественности, на обструкцию не только в зале заседаний ООН, но и в близкой нам международной корпорации юристов-демократов. Даже и с делом врачей, едва ли не назначенным к слушанию, пришлось отступить; что же сказать о годе 1948-м, о деле,

которое не было продумано в подробностях. Сорвалось с уст: «автокатастрофа» — и менять было поздно. А после, когда взошла черная доносительская звезда Лидии Тимашук, когда в адской рюминской печи уже выпекалось дело врачей-отравителей, еврейских писателей и деятелей культуры предпочли казнить не на миру, а тихо, в подворотне.

Как ни всемогущ был Сталин, он оказывался в какой-то мере рабом обстоятельств, им же порожденных и обращенных к массам лозунгов. Жила и строилась огромная, многонациональная страдающая, кровоточащая страна, никто в партии не смел и не мог покуситься на ленинизм, хотя реальные действия, поступки Сталина были изменой ленинизму. Братство народов и пролетарский интернационализм — две непеременимые ипостаси, две святыни для граждан страны, хранимые пропагандистским аппаратом и законом. Закон сталинских времен назвал антисемитизм преступлением, карающимся так же сурово, как контрреволюция или измена родине. Но в самом Сталине с годами все круче, все раздраженнее оформлялась брезгливо-яростная нелюбовь к еврейской нации, обвинительная, вызывающая к расправе страсть. Этого не переменить никаким частностям — благосклонности к певцу Рейзену, художнику Кацману или его монаршей терпимости к Лазарю Кагановичу. Сущей, решающей для Сталина всегда оставалась область *политики*, политическая борьба, политическая интрига, и тут-то он за жизнь немало натерпелся от противников-евреев, бесивших его начитанностью, ораторским даром, иронией, скептицизмом если не в дерзких речах, то во взглядах.

Горе и ошеломление охватило всех, кто знал этих нравственных и чистых людей: Зускина, большого ребенка Квитко, Бергельсона и других. Хочется верить, что именно ошеломление и надежда на то, что все минет, как дурной сон, продиктовали Борису Полевому малодушную ложь в Нью-Йорке при встрече с Говардом Фастом. Фаст как к спасению от злобных антисоветских клевет бросился к Полевому: «Правду ли говорят, что в Москве арестовали Квитко?» — «Нет! Нет! — закричал Полевой, кажется, закричал на самого себя. — Я с ним встретился на лестнице перед отъездом на аэродром...»

Как он хотел не солгать, как мечтал встретиться с Квитко на лестнице хотя бы после возвращения в СССР! Как *не смог не солгать*, в столь привычном для нас пароксизме защиты своей страны, Родины, Москвы, их чести.

И каким бездонным должно было стать презрение Говарда Фаста, когда он узнал, что Квитко арестован, а впоследствии и расстрелян!

17

Следователем по делу об убийстве в Минске назначили Льва Шейнина, литератора, драматурга, одного из самых расторопных и

преуспевающих подручных Вышинского по политическим процессам второй половины 30-х годов, включая процесс Бухарина. Энергичный, сметливый, болезненно мнительный, опасавшийся почему-то рака прямой кишки, то хладнокровный игрок, то суетливый делец и политикан, он весь в грехах, тайна сих грехов велика и, боюсь, не скоро откроется нам. Правда, случилось так, что именно художественная литература проникла в некоторые пласты его психологии и характера. Умный, проницательный и щедрый талант позволил это сделать Юрию Домбровскому в романе «Факультет ненужных вещей». Не знаю, был ли Домбровский знаком с Шейниным, наблюдал ли его близко, но проникновение в реальный характер оказалось точным, почти безошибочным.

Размышления дочери Михоэлса о причастности Шейнина к расследованию поражают наивностью. «Как могло прийти в голову этому опытному и достаточно искушенному человеку заняться таким опасным делом? — недоумевает она и признается: — Это осталось для нас загадкой» (с. 273). Она сообщает о том, что Шейнин отправился в Минск, а по возвращении оттуда был «уволен с работы и вскоре арестован, осужден на 10 лет, но после смерти Сталина вышел на волю...»

О причастности Л. Шейнина к расследованию дела об убийстве Михоэлса вспоминает в своей книге «Отрешение от страха» (первое издание — Лондон, 1979) Александр Некрич: «Я отправился к начальнику следственной части Прокуратуры СССР по особо важным делам Л. Р. Шейнину. Помимо конкретной цели своего визита — попытаться получить материалы процесса, — мне было еще и любопытно взглянуть на человека, который вместе с Генеральным прокурором СССР Андреем Вышинским готовил пресловутые процессы над Бухариным, Зиновьевым и др. в 30-е годы. Л. Р. Шейнин был также автором популярных детективных историй, некоторые из них с успехом шли в театрах. Позднее Шейнину было поручено „расследование“ обстоятельств гибели знаменитого еврейского артиста и председателя Антифашистского еврейского комитета СССР С. М. Михоэлса. Шейнин лишился своего поста и угодил в тюрьму, из которой ему, впрочем, удалось благополучно выбраться. Одна из версий гласит, что Шейнин плохо понял инструкции начальства и повел серьезное „расследование“, которое было совершенно нежелательным. Поэтому его и упрятали на время в тюрьму... Итак, я посетил Шейнина в его кабинете в Прокуратуре СССР на Пушкинской улице в Москве. Разговор был у нас короткий — разрешения я не получил» (с. 135–136).

Как могло прийти ему в голову? — спрашивает Н. Михоэлс, а между тем ответ ясен. Такая была работа Шейнина, что не ему было решать, «заниматься» или нет делом Михоэлса. Он так долго шел к «вершине» власти, так погряз в несправедности и следственных преступлениях, что не смел отказаться от предложенного ему дела.

В довоенную пору Лев Шейнин, приезжая в Киев на премьеры, один или с братьями Тур, был и осторожен и осмотрителен. Как-то в нем уживались почтительность и послушание, даже при встречах с украинским начальством, с молчаливой гордыней с оттенком высокомерия и какой-то пронзительной приглядкой к людям.

Ему поручили следствие, полагаясь на его опыт, чутье и смекалку, веря, что, подобно Кагановичу, он сам сообразит, чего от него ждут, и даже в должности следователя не станет спрашивать «никогда никого ни о чем...». «Что ему было известно? — задается мучительным вопросом Наталия Михоэлс. — Что ему удалось выяснить в Минске? Об этом он так никому и не рассказал».

Правда, он упорно отмалчивался. Жил с задержанным дыханием, в страхе. Он и после тюрьмы и оправдания, даже в своем кабинете на «Мосфильме», опасался рассказывать, а тем более опасался писать воспоминания. Только однажды на «Мосфильме», в гулком и пустынном коридоре, даря мне сборник своих повестей и рассказов, он сказал, что был отстранен от следствия потому, что «начал разрабатывать не ту версию. — Он сделал паузу, уже пожалев о сказанном. — Не понял, кому было выгодно это убийство!».

Вода больше не колыхнулась над этим омутом: он любил жить, ах как он любил жить! Кажется, всё его жертвы, вместе взятые, так жадно не любили, так не ценили своего земного существования.

Я все еще надеялся, что господь сохранил ему жизнь, наказав написать — пусть тайком — покаянные мемуары о тех, кого не без его помощи обрекли казни или лагерному уничтожению. Но он не написал мемуаров. Может быть, писать их оказалось не вмоготу и страшно...

Очевидно лишь то, что Шейнин принялся за дело как профессионал, и разом рухнула версия о «наезде» или «автомобильной катастрофе». Его изгнали из Прокуратуры, он заметался, попытался определиться в адвокатуру. Но и эта дорога оказалась перекрыта, и можно только поражаться, что он не исчез бесследно в тюрьме и даже получил престижное назначение — главным редактором «Мосфильма».

Как и Александр Некрич, я только однажды побывал в служебном кабинете Шейнина на Пушкинской улице, но пришел к нему не по своей нужде, а по срочной, настоятельной его просьбе. Сверкающая черная машина, поданная к моему дому, металлические ворота Прокуратуры, как бы сами собой отъезжающие в сторону при ее приближении, дежурный в вестибюле, кивнувший так, будто он только тебя и ждал, бесшумный лифт и сам хозяин следственной части, с улыбкой доброго нетерпения встречающий тебя на пороге кабинета, — все взвешено, все продумано, все должно было впечатлять непредвиденным сочетанием служебной четкости и радушия, домашности.

Все последующее не отвлечение от темы «Записок», несомненный интерес представляет и сама фигура Шейнина, и тот эпизод театральной жизни, с которым было связано мое приглашение в

Прокуратуру. Эпизод этот много расскажет о нравах и обычаях культурной жизни той поры.

Скажу не лукавя: сталкиваясь с Львом Шейниным, я был далек от мыслей о другой его, главной жизни, от его закрытого от нас существования рядом с Вышинским, и, как выяснилось, не просто рядом, а «родственно» близко. Мы не дружили, я не был зван в его дом и не приглашал его к себе, на разномастные, пошатывающиеся театральные стулья; мы жили словно в разных плоскостях, но я всегда чувствовал в нем какое-то расположение, тогда не удивлявшее меня, казавшееся естественным. Поэтому и срочное приглашение на Пушкинскую улицу несколько меня не беспокоило: ведь звал он не гражданина Борщаговского, даже не Александра Михайловича, а Сашу.

Мне, как и сотням других людей — писателей, известных режиссеров, знаменитых актеров, журналистов и т. д., и в голову не приходило, что стыдно, недостойно, неприлично поддерживать ровные, почти дружеские отношения с человеком, вынимавшим душу у сотен жертв сталинского произвола. В этом, конечно, было и нравственное падение общества, его соборная вина, его неразборчивость и небрезгливость, и, как я понимаю теперь и ощущаю остро, покаянно, вина каждого из нас. Я наблюдал Шейнина в обществе, на театральных премьерах, видел его в дружеском ряду со славными, нравственно безукоризненными людьми, и в эти минуты невозможно было думать о «другом Шейнине», а этот, этот располагал сдержанной и чуть лукавой улыбкой, понимающим, проницательным взглядом, неторопливостью, спокойным достоинством безо всякой позы. Мысленно возвращаясь в те времена, я с тревогой думаю: а что как я обманывался и просто не умел прочитывать на лицах других скрытой брезгливости, какого-то насилия над собой? Но нет, и эти *другие*, вероятно, видели перед собой человека *удивительной* судьбы, держателя головоломных и всегда чуть-чуть сентиментальных сюжетов, часть из которых он так посредственно использовал в своих рассказах; участника не только Нюрнбергского процесса, но и Тегеранской и Ялтинской встреч в верхах, искусного, но уж никак не хвастливого рассказчика.

И никогда ни слова о палаческих процессах 30-х годов. По формуле Кагановича: никогда — никому — ни о чем. Даже и в те самые тридцатые, когда человек недалёковидный не преминул бы каким-то образом похвалиться. «Торговали» Шейниным, его закрытостью, его соавторы — Тубельский и Рыжей, сиречь братья Тур, — они, полагаю — с его дозволения, могли вскользь обронить одну-две фразы, намекающие на его всеисилие или, по меньшей мере, на такой вес и значение в Прокуратуре страны, что об этом предпочтительнее помолчать. Сам же он — воплощенная мягкость и послушание, почтительный интерес к замечаниям, даже генералов из Киевского особого военного округа, ведавших драматическим театром этого округа. Ни слова наперекор, странное поверхностное согласие с

самыми нелепыми предложениями, а под этим согласием скептическое равнодушие, пропускание, что называется, мимо ушей.

Много позже, вспоминая пережитое, я подумал, что эта готовность — пусть для вида! — к послушанию только вывернутое наизнанку непреклонное, жестокое обыкновение *приводить* к послушанию других, вынужденных подчиняться ему, соглашаться с ним, подписывать его *версии*, как бы чудовищны и нелепы они ни были. Вожденная *литературная* деятельность, открывавшая для него дверь в другую действительность, где можно вообразить себя чистым и незапятнанным, где не разбитые подручными лица, не провалившиеся в смертной тоске глаза, а чистый лист бумаги и перо и угождающие редакторы, типографские машины, хор критических похвал (как превосходно открыл в «Факультете ненужных вещей» эту его ипостась, тщащуюся уйти, убежать, отделиться, Ю. Домбровский), — литература и театр были *другой, особой* епархией, и в ней ему надо беспрекословно слушаться не только иерархов, но и всех чинов.

Он приехал с братьями Тур в Киев на премьеру «Очной ставки», а судьба пьесы сложилась непредвиденно. Уже поставленная в ряде городов, она внезапно была задержана Главреперткомом, — Осаф Литовский, глава театральной цензуры, так досаждавший всю жизнь Михаилу Булгакову, Н. Эрдману и всему живому в театре, к этому времени ощутил в себе «драматургический дар», графоманский зуд и принялся «вдохновенно» диктовать драматургам всякого рода переделки, имея в виду не защиту тайн и секретов, а, так сказать, «дальнейшее улучшение их качества». Что требования эти вовсе не цензурного характера, Литовского не смущало: велено — делай! Валяй!

И авторы «Очной ставки» послушно переписали две картины пьесы; сейчас уже не упомяну, в чем был смысл переделки, но и тогда новые эпизоды показались мне бессмысленными, ничего не меняющими, а спектакль готов, и, несмотря на грозный циркуляр, я, тогда еще беспартийный, вполне мальчишеский и. о. начальника Главреперткома УССР, разрешил не переделывать спектакль, играть старый текст.

После премьеры Шейнин был не на шутку обеспокоен, — именно он, а не братья Тур, достаточно легкомысленные и чувствовавшие себя за грузной спиной соавтора защищенными, — именно Шейнин в тот вечер и на следующий день не раз возвращался к нашему самоуправству, *внутренне* не приемля нарушения порядка, инструкции, циркуляра. В какую-то минуту показалось, что он играет, притворяется, нарочно демонстрирует крайнее законопослушание, — но кто зрители, для кого притворство? Неужели ради соавторов, чтобы *в случае чего* они могли засвидетельствовать обеспокоенность и послушание Шейнина?

Скорее всего, это было проявление робости в той области, где кончалось служебное всецелье Шейнина, и он вступал в мир пусть и достаточно угнетенный, страдающий, но все же живущий и по каким-то своим законам, в мир, где, что ни говори, есть и «гамбургский счет»

оценок, и острословы критики, и опасная разноголосица оценок, и театральные мастера, перед которыми приходится почтительно склоняться...

И после, в Москве, при случайных встречах — всегда любезность, сразу подобревший голос, рука, чуть задержанная в его мягкой руке, автограф на очередной книге. Зачем все это — ведь я ему не нужен, хотя, строго говоря, могу вдруг и понадобиться: я заведу литературной частью известного театра и в добрых отношениях с Алексеем Поповым; я у К. Симонова в «Новом мире» и занимаюсь там, кроме литератур братских республик, театром, искусством.

Понадобился я Шейнину при самых неожиданных обстоятельствах. Театр Ленинского комсомола, которым руководил И. Берсенева, поставил новую пьесу братьев Тур и Шейнина «Губернатор провинции». Литературной частью театра заведовал Константин Симонов, мой «начальник» по «Новому миру»

Пьеса вызвала во мне протест откровенной конъюнктурностью, слащавой демагогией, но более всего униженной человеческой и гражданской ролью, которая назначалась молодому коммунисту, узнику Шпандау, — его отвергал отец, главный герой пьесы, немолодой профессор, вокруг которого так суетились авторы, заставляя нас слушать его старомодные монологи о величии Германии, о ее мессинском назначении в человечестве. Не знаю, вся ли правда была на моей стороне, но тогда я был в этом убежден и написал статью для «Известий», даже не подозревая, как велики и опасны мои покушения.

Как-то в редакцию позвонил Симонов, звонил он из кабинета Берсенева, а это рядом с «Новым миром», через дорогу наискосок. Оказал, что в театре встревожены, узнав о рецензии, набранной в «Известиях», не могу ли я сказать ему о характере моих претензий. Выслушав, он, вероятно, к большому неудовольствию Берсенева и других, кто был в кабинете, поблагодарил меня, сказал, что не разделяет такого взгляда на пьесу, но с уважением относится к моей принципиальной позиции, и попросил считать, что «завлит Театра Ленинского комсомола не звонил» мне.

А спустя день-другой звонок Шейнина ко мне на квартиру, просьба непременно приехать по неотложному делу на машине, которую он уже посылает за мной.

Так я и оказался в кабинете начальника следственной части Прокуратуры СССР по особо важным делам.

И ничего спешного, никакого поначалу дела в каком-то сумеречном, как показалось мне, полутемном и по-домашнему загроможденном кабинете, как будто хозяин его не только трудится здесь, но и живет, коротает ночи.

Кофе? Боржом?

К кофе я тогда еще не приобщился, на дух не переносил, пришлось отхлебнуть холодного боржома.

Неожиданно разговор начался о Вале. Он назвал ее Валентиной Филипповной, но вскоре, как и я, стал говорить — Валя, Валентина, она была тогда еще очень молода. Стал убеждать меня, что ей непременно нужно работать, и лучше всего оформиться на службу в... Прокуратуру СССР. Он готов оформить ее здесь, у себя, тем более она, оказывается, хорошая машинистка, служила секретарем-машинисткой в Комитете по делам искусств УССР...

Валя тогда уже — как и всю будущую жизнь — тяготилась своим житейским «статусом» иждивенки, хотя и трудилась от зари до зари, обшивала и обвязывала и себя и Светлану, кормила семью, держала дом, я бы сказал, в клинической чистоте и — более того — была необходима мне как лучший, неліцеприятный советчик во всех моих литературных опытах и начинаниях. И все же томила, душа рвалась к *своему* делу, к занятиям, которые дали бы выход из домашнего круга, — за тем и поступила на двухгодичные вечерние курсы иностранных языков, помещавшиеся в Лялином переулке.

Но — Прокуратура?.. Стальные отъезжающие в сторону, за высокий каменный забор, ворота? Следственный отдел по особо важным делам?

Тут и думать было не о чем, настолько это несоединимо с Вале. А Лев Романович тихим глуховатым голосом внушал мне, что у них ставки повыше, работа интересная и неустрашающая и отпуск большой.

— Что вы, Лев Романович, — отрезвил я его. — У нее отца арестовали в тридцать седьмом, он пропал, неизвестно где и как.

— Пропал... — зафиксировал он механически, без вопросительной или сочувственной интонации, будто легко, почти неощутимо споткнулся обо что-то и сразу же выровнял шаг. — Это не страшно, ничему не мешает. Пусть это ее не пугает.

Каюсь, в тот миг я не мог вполне оценить ситуацию: не зная всей ужасающей правды о масштабе репрессий тридцать седьмого, не осмысливая в Шейнине активного «созидателя» апокалипсиса тех дней, я не задумался о том, с какой вельможной легкостью он отнесся к крови, к трагедии тридцать седьмого, лучше кого-либо понимая, сколь вопиюще напрасны были его жертвы. *Прощение греха*, индульгенция, походя выданная Вале в этот час, как бы воплотила сталинскую мудрость и милость: *сын за отца* не отвечает.

В эту минуту я уже отверг Прокуратуру, зная, что отвергла бы ее и Валя, и я пустил в ход второй козырь, объявил, что Валя с матерью и Светланой, родившейся в сороковом году, прожили 1941–1943 годы в оккупированном немцами Киеве.

Теперь Шейнин споткнулся основательно. Секунда молчания, нелепая укоризна, просквозившая в его взгляде, — все говорило за то, что в высший *правоохранительный* эшелон власти категорически запрещено брать людей с таким изъяном.

Но он и на этот раз извернулся: чепуха, мол, вздор, все обойдется, он оформит Валью. А я уже понял, что все это неправда, что ему вовсе

не нужен новый работник, что он, умный, прожженный человек, начиная со мной разговор, понимал, что я не благословлю жену на службу. Пришлось сказать, что наши планы другие, Валя нужна дома, через полгода мы ждем прибавления семейства, какая тут служба...

Не за этим же он посылал ко мне машину, звал настойчиво, но и просительно?

— Саша, вы читаете по-немецки? — спросил он, поднявшись с кресла, и потянулся рукой к сейфу.

— С трудом и не очень сложные тексты.

Он взял из сейфа немецкую газету и несколько газетных вырезок и протянул мне.

— Посмотрите: это рецензии на нашего «Губернатора провинции» из газет фашистской ориентации.

Бросив взгляд на один из текстов, я не столько понял, сколько почувствовал, что толком в нем не разберусь, не сосредоточусь, и зачем нужно мне копаться в этом?

— Разве фашистские газеты разрешены в Западной Германии? — спросил я.

— Фашистские — сильно сказано, в них скрытый реваншистский блуд. Наиболее реакционные газеты.

Я пожал плечами, выразил недоумение: мне-то они зачем?

— Я хотел вас по-дружески предупредить: некоторые мысли и отдельные абзацы вашей рецензии буквально совпадают с этими, немецкими.

Движение его руки при словах «вашей рецензии» не оставило сомнений, что известинский оттиск-гранка тоже лежит рядышком в сейфе начальника следственной части Прокуратуры СССР по особо важным делам. Чтобы заполучить оттиск в «Известиях», ему, я думаю, не пришлось прибегать к «ведомственным» рычагам: соавторы Шейнина братья Тур были своими людьми в редакции, постоянными авторами газеты и, может быть, внештатными сотрудниками. Помню их приезд в качестве военных корреспондентов «Известий» в Воронеж в начале зимы 1942 года — экипированные с иголки, почему-то в высоких полковничьих смушковых папах, холеные, улыбчивые. Их война была, кажется, не слишком затруднительная, без переднего края, без длительного пребывания не то что в роте или батальоне, но даже и в полку у линии фронта, — там были журналисты другого склада, те, чей корпус понес столь большие людские потери.

Я вернул ему газетные вырезки.

— Если вы считаете, что мои мысли и абзацы из этих газет, то надо думать, что я уже читал их.

— Вы не могли их читать, не шутите. Вы же умный человек, Саша, понимаете мою тревогу: здесь невольные совпадения позиций — и это еще хуже.

— Не верю! Не могут совпадать моя защита коммуниста, узника Шпандау, его достоинства, и позиция реваншистов. Это нелепо.

Я уже не сомневался, что рецензия в «Известиях» не пойдет: соединенные усилия театра, Берсенева, упросившего Симонова позвонить мне, и *самого* Шейнина закроют ей дорогу к читателю.

— Обычный казус: крайности сходятся, — заметил он. — Во всяком случае, вы едины в конечной цели — дискредитации пьесы.

Начался довольно долгий спор о самой пьесе: Шейнин в конечном счете сводил защиту ее к мысли о том, что мы должны внушить *побежденным* немцам, что к кормилу власти, в «губернаторские» кабинеты, будут допущены не коммунисты, которых народ боится, а люди из элиты, интеллигенты из числа вчерашних *слепцов*, кто не отвергал нацизма. Я упрямо твердил, что это чистая конъюнктурщина, что в этом случае их пьеса «экспортная», пусть и улаживают ею немцев, зачем оскорблять нашего зрителя, прошедшего такую тяжкую кровавую войну, зачем нам поворачиваться спиной к коммунисту, чудом уцелевшему в Шпандау, и «ломать шапку» перед высокомерным профессором и дарить ему губернаторское кресло...

Шейнин уложил газетные вырезки в сейф, запер его и, подвинув поближе ко мне свободный стул, сел, напряженно, но без злости или недовольства разглядывая меня. Спокойно и будто немного опечаленный моим упрямством, он заговорил о том, что все ему, в сущности, известно; в театре ему сказали о звонке Симонова («Вы должны их понять, у них ощущение победы, праздника, и вдруг ваша рецензия, театр рядом с редакцией, они добыли в типографии гранку и затревожились...»), он ценит эту защиту, но Симонов человек благородный, больше вмешиваться не станет, приходится самим защищаться. Рецензию, сказал он, печатать не будут, после такого совпадения с нападками скрытых реваншистов и мы бы с вами не решились ее печатать.

— Тогда к чему все это: мой приезд, этот трудный разговор?! Будет еще одна похороненная рецензия.

Вот когда он уставился на меня поистине следовательским взглядом: жестким, требовательным, испытующим — долго ли я еще буду валять дурака?

Пауза длилась и длилась, за это время улетучилась атмосфера дружеского, доверительного разговора. Ему стоило заметных усилий вернуться хотя бы внешне к прежнему тону.

— Давайте в открытую и по-дружески. И пьеса и спектакль, как никогда, важны для театра и для нас, драматургов. «Губернатор провинции» идет — и хорошо идет, не имея серьезных конкурентов, — на Сталинскую премию. Братья Тур написали много пьес, я тоже не новичок, мы с вами знакомы еще с «Очной ставки», по Киеву, неужели мы не заслужили поощрения? Не мешайте нам, Саша!

Очень неловкая ситуация, самая трудная для меня, и вероятно, не только для меня. Я ответил вполне дружелюбно:

— На рецензии, как я понимаю, вы поставили крест...

— Не я! Не я! — Он защитно поднял пухлую руку.

— Все равно — рецензии не существует; не стану же я посылать ее кому-либо.

Оказалось, что убиенная рецензия несколько его не занимала.

— У меня к вам просьба — большая. Личная. Не выступайте завтра на обсуждении в ВТО...

Он осекся. На моем плохо защищенном лице, вероятно, читалось недоумение: меня не позвали в ВТО! Он не мог такого и предположить, не думал, что братья Тур и театр сумеют договориться с ВТО не приглашать меня на обсуждение спектаклей, выдвинутых на соискание премий.

Что-то было оскорбительное и торгашеское в этой новой ситуации. Я поднялся и сказал сухо, — во всяком случае, хотелось сказать это сухо и даже неприязненно, — сказал с прощальной интонацией:

— Лев Романович! Вы поставили меня в унижительное положение. Мне было неизвестно об обсуждении, кто-то, видимо, постарался, и я, естественно, не пришел бы. Теперь я обязан пойти, просто обязан, иначе мне надо бросить заниматься критикой, — вы должны это понять.

Я механически принялся искать пропуск, забыв, что был доставлен сюда *парадно*, без пропуска.

С ВТО все «обошлось» — обсуждение отменили. Премии спектакль не получил, кто-то другой оказался оборотистее или просто удачливее.

Но в 1949 году на московском собрании писателей *один* из Туров — Тубельский, человек с внешностью типичного театрального героя, этакий испанский гранд, гневно разоблачал «безродного космополита» Борщаговского, который пытался протащить на страницы его родных «Известий» статью о спектакле «Губернатор провинции», списанную со страниц фашистских листов Западной Германии. Но, разумеется, бдительные наборщики и корректоры, труженики редакции разгадали коварный замысел и не дали ему осуществиться. «Большой художник» слова Тубельский подводил под статью Уголовного кодекса жалкого критикана, по-видимому как-то связанного с черными силами империализма, — иначе как бы ему заполучить все эти немецкие газеты, да еще сразу же по их выходе, раньше, чем они попали в сейф Льва Романовича Шейнина.

Вспоминая Льва Шейнина в его кабинете в 1947 году, вынужденность для него как-то унизиться до просьб, до уговоров, вспоминая и февраль 1949 года с прямыми политическими обвинениями, брошенными с трибуны Тубельским, как мне не повторить еще и еще раз: баловень судьбы!

Далеко же я отошел от своего «персонального дела» и трудных наших житейских обстоятельств. Отошел не по прихоти — нужно понять, чем же была борьба против так называемых «безродных космополитов», чистым проявлением антисемитизма или чем-то более многозначным и сложным?

Постепенное накапливание скрытой, даже «подпольной» — в силу конституционного, юридического осуждения антисемитизма — энергии юдофобства несомненно. Вехи его, если говорить о самом приметном, — злодейское убийство Михоэлса, разгром «критиков-антипатриотов», уничтожение ЕАК и, наконец, беспрецедентное дело «врачей-убийц». Здесь все так отчетливо и просто, что и прожженному скептику не возразить.

Но и русский Леонид Малюгин оказался в первом же списке «Правды» не маскировки ради: если судить тех, кто сохранял гражданское достоинство и не соглашался на роль слуг просцениума в бездарном театре Сурова и Софронова, то Леониду Малюгину в таком списке — почетное место. Можно было не трепать честное имя Григория Нерсесовича Бояджиева, армянина, знатока западноевропейского театра, но разве то, что он *отвернулся* от пьес приспособленцев и карьеристов, разве и это барство, это *презрительное* отвержение сами по себе не звали к отлучению!

Группа «критиков-антипатриотов» сформировалась в добрых интернационалистских традициях нашей жизни: евреи, русский, армянин! Почти как в самолете из романа Николая Шпанова «Первый удар», экипаж которого, даже без участия наземных войск, выиграл войну против гитлеровской Германии. Разве что на сей раз боевой «экипаж» критиков вознамерился уничтожить святыни и твердыни советского театрального искусства.

И Давида Заславского могу заподозрить в услужливом, лакейском антисемитизме страха иудейского ради. Но не заподозрю Фадеева, отброшу даже отдаленное подозрение в юдофобстве. Однако же обиженный, не терпящий поражений и неудач, обозленный ролью обороняющегося в конфликте с Дмитрием Шепиловым, он искал защиту у людей нечистоплотных. Нравственность его так претерпела за долгие годы подчинения злу, «высокого» прислужничества злу, что и понимая нависшую реальную опасность — не только над нами, ошельмованными в «Правде», а над обществом, — он предпочел обидчивую самозащиту, каковы бы ни были ее последствия.

Фадеев держал в уме не действительные нужды русской сцены, не час своей слабости на писательском съезде в Киеве, когда ему пришлось опрометчиво покаяться в неисполнении очередного *исторического* постановления ЦК («О репертуаре драматических

театров»), — он держал в уме *политическую* линию Сталина, к этой поре четко определившуюся. В тридцатые годы сотни и сотни писателей отправились на тюремную или лагерную плаху, и Фадеев не мог не знать, что каждый из них был обвинен в терроризме и в шпионаже в пользу одной или нескольких иностранных разведок.

Стандартные смертные обвинения штамповались «тройками» и особым совещанием, а на поверхности *мирной* литературной жизни звучали иные мелодии, сродни маршам Дунаевского: консолидация литературных сил, торги с переторжками вокруг Сталинских премий трех *сортов*, невоздержанная поэтическая лесть, которой *вождь народов* якобы тяготился. Но после войны вошли в обыкновение фронтальные атаки против писателей, композиторов, ученых; одолев Гитлера, Сталин мог величественно оглядеться вокруг и одарить всех нас, от музыкантов до философов, от щедрот своих и своей мудрости.

Разнузданная антикосмополитическая кампания была бы невозможна в стране, не завладей Сталиным навязчивая параноидальная идея спасения народа и его культуры от низкопоклонства перед буржуазным Западом. Жданов, площадно понося в Ленинграде Ахматову и Зощенко, сыграл прилежно на сталинском клавиру. Именно Сталин дал *зеленую улицу* брани, хамству: собрав в Кремле писательскую верхушку Москвы и Ленинграда, он обозвал Зощенко «балаганным писакой»; предложил тем, «кто не хочет перестраиваться, например Зощенко, убраться ко всем чертям» (чем не репетиция будущей высылки из страны Солженицына!); поносил редактора журнала «Ленинград» Б. Лихарева, утверждая, что «у нас некоторые писатели ходят на цыпочках перед иностранцами... Почему такое благоволение и низкопоклонничество перед иностранцами?».

Мог ли идеологический *оркестр* страны в начале 1949 года исполнить другую мелодию при таком сталинском камертоне и взмахах дирижерской палочки, за которыми искалеченные судьбы честных художников, убийство Михоэлса, повальные аресты еврейских писателей?

Безродный космополит — достаточно прозрачное определение, чтобы не сомневаться в том, кому оно адресовано. Срывая все и всяческие маски, газеты стали публиковать фамилии критиков, дотоле часто скрывавшихся под литературными псевдонимами. В стране, приведенной к победе в 1917 году Лениным, фамилия которого была, однако, Ульянов, в стране, где и после войны два первых человека жили, не расставшись с приросшими к ним псевдонимами (Сталин — Джугашвили и Молотов — Скрыбин), — в этой стране зазорными, постыдными, запретными псевдонимами оказались только те, за которыми скрывались фамилии евреев. Никого не вгоняло в краску стыда то, что и привычные фамилии Горького, Фадеева, Гайдара, Погодина и других — псевдонимы, уже навсегда от них неотделимые.

Все это были *индивидуальные казусы*, на все нашлись бы при нужде и оправдания, но за псевдонимом, «маскирующим» еврейскую фамилию, скрывалась *вина* злокозненная и, разумеется, *коллективная*. Это *они* хитрят, лавируют, прячут концы в воду, это *их* социальная и национальная мимикрия. Неважно, что Евгений Шварц остался Шварцем, Василий Гроссман — Гроссманом, как и Маршак, Казакевич, Фраерман, Гурвич, Славин, Альтман, Хацревин, Мацкин и многие-многие другие, — сладостна сама возможность сорвать псевдонимы с десятка «скрывающихся» и поднять крик о том, что все *они* ловчат и обманывают. Для военных журналистов, среди которых было немало евреев, и не все Эренбурги, которому не прикажешь поменять фамилию (можно в приказе, словно бы обмолвкой, поменять русского генерала Жидова на Жадова, с популярным в народе писателем такого не проделаешь), — для журналистов армейских, дивизионных и фронтовых газет смена фамилий стала обязательной. Таков был приказ начальника Главного политического управления А. Щербакова. Армейская печать невольно нарушила некие неписанные пропорции и процентные нормы, — евреи сражались и в окопах, и в танках, и в самолетах, немало их оказалось среди Героев Советского Союза, и все это тоже с «нарушением пропорций», но нарушением, которого предпочитают не видеть идеологи шовинистической «Памяти». Сражающийся солдат и офицер не придавали никакого значения фамилиям — фамилия Эренбург не мешала Илье Григорьевичу быть кумиром фронта, — но чиновник, высокий начальник, втайне холивший в себе нечистые страсти, засуетился, прикрикнул, нашел возможность навязать сотням журналистов «крещение» — грех, за который они же должны были расплачиваться спустя годы.

Комический случай произошел в те дни с моим другом Василием Сухаревичем, журналистом и сатириком, острословом, человеком веселого нрава. Редактор одной из центральных, отнюдь не военных газет, проникнувшись *мудростью* армейского приказа, подписывая в набор статью Василия Михайловича, напомнил ему, что пора, как у приличных людей ведется, выбрать и ему благозвучный псевдоним. Вася взыграл, вскинул руки, взвизгнул — как он умел — от этого «розыгрыша», никак не беря его всерьез: Василий Михайлович Сухаревич — православный, крещеный сын богопослушных жителей Пятигорска. Но редактор не шутил: ухмылки Сухаревича ввели его в гнев: «Идите! Придумайте псевдоним, иначе сниму статью: Сухаревич не пойдет!»

Вася изобразил унылую покорность, побрел к выходу, потом остановился и, сардонически перекосив физиономию, спросил

— А можно — Собакевич? Помещик! Со-ба-ке-вич!

И все же рискну утверждать, что борьбу с «безродными космополитами» не объяснишь исключительно мотивами вульгарного антисемитизма. Мертвой, охранительной мысли, догматизму,

псевдомарксистской схоластике непременно нужны не только другие, «благородные» доспехи и одежды, но и солидная опора под ноги. Юдофобство сановного чиновничества, нечистые его помыслы и страсти были скрытой пружиной многих акций, побудительным их мотивом, но сами акции выступали под строгими масками защиты святынь марксизма, истины и революционных традиций. Не сразу открывался масштаб акции, но, когда наступала ясность, обнаруживалось, что он несоизмерим с побудительным толчком и в орбиту гонений и репрессий попали тысячи и тысячи людей разной национальности, что шарлатанами и карьеристами более всего преследуется независимая *мысль*, а с ней и наука, все нестандартное, новое, талантливое в науке. *Еврею*, если он согласился служить мамоне лжемарксизма, помогать гонителям преследовать гонимых, если он готов на компромисс с совестью или не нуждается в компромиссе по причине растленности натуры, будут предоставлены возможности активной деятельности. Таким оруженосцем реакции, прислужником, а отчасти и вдохновителем шарлатанской деятельности Лысенко был небезызвестный Презент. И вокруг журнала «Литературный критик» в 1940 году было немало критиков-евреев, но едва ли Фадееву пришлось грешить и ссылаться на это обстоятельство — одного перечня, *честного* перечня актива журнала было достаточно, чтобы Сталин благословил его упразднение. Монах Мендель, равно как и Морган, не были евреями, но на слух невежд и охотнорядцев обе фамилии счастливо подходили для начала крестового похода. Ведь по ложному следу кидались они на мертвых уже Татлина или Мейерхольда, ошибочно полагая, что их национальная принадлежность не вызывает сомнений. Мендель и Морган оставались в своих могилах, мировая наука не отрецивдалась от них и не предавала их посмертно, а живым и честным советским ученым всех национальностей пришлось худо. В качестве «дрожджей», бродильного субстрата подбрасывалась «еврейская опасность» — но подбрасывалась трусливо, с оглядкой, за закрытой дверью, памятуя требования братства, и опара всходила, пучилась, разбухала, не помещалась в квашне, вываливалась за все пределы, удушала людей, уже не сообразуясь с пятым пунктом анкеты. Тысячи негодяев использовали ситуацию для сведения личных счетов, захвата кресел и кабинетов.

Выразительную картину этого времени — осени 1948-го — зимы 1949-го — дал Владимир Тендряков в рассказе «Охота»

«Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики „Норд“ стали „Севером“, французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета!..

...Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства? Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?..» («Знамя», 1988, № 9, с. 89).

Многое решил низкий сговор, малодушная готовность полузадушенного, напуганного человека послужить своему разоблачителю, возможному палачу, но и возможному милостивому господину.

Две приметные фигуры драмы 1949 года и ближайших двух-трех лет — Софронов и Суров. О первом я еще буду упоминать вскользь; он слишком известен в последние почти полвека, открыт наблюдению — тут *аннигиляция* личности шла почти открыто, с каждым его новым поступком. О нем писать скучно и даже унижительно: неосмотрительные деяния против партийного устава и дисциплины, какие-то махинации с твердой валютой в «Огоньке», неопрятности при уплате членских взносов, противоправная продажа дачи в Переделкине и т. д. Но Анатолий Суров — фигура колоритная, поистине *распутинская*, «музыкант», в несколько лет сыгравший свою сольную партию, вознесенный на вершины официального признания и исчезнувший, растворившийся без следа.

Сейчас только повторю, что оба Анатолия — Суров и Софронов — солисты клаки 1949 года, развязные арбитры в судилище той поры. Еще бы! — ведь они первые жертвы «безродных космополитов», они — выстоявшие и победившие *страдальцы*, они высшие судьи и непререкаемые эксперты по персоналиям «критиков-антипатриотов». Стоило *самому* Сурову явиться в райком или горком партии на заседание бюро и объявить глуховатым и хриплым от природы голосом, что имярек, конечно, ошибался и заслуживает взыскания, но в общем-то он парень честный, перспективный, *свой*, и сам Суров *присмотрит* за ним, — и человек спасен. Суров, несомненно, мог бы предупредить и исключение человека в первичной парторганизации, но «жертву» нужно было провести через какие-то круги ада, подвести его к краю пропасти, чтобы тем значительнее, неоплатнее оказалось заступничество на бюро райкома или горкома.

В те дни Суров не просто хозяйничал в редакции «Советского искусства». На руках у него были копии — если не оригиналы — наших писем в Центральный Комитет, он использовал их при редактировании пасквилей, посвященных по отдельности каждому из удостоенных правдистского клейма «критик-антипатриот». Анатолий Глебов жалуется в письме к Александру Маркину на то, «что редакция (Вдовиченко) меня мошеннически обманула и, после согласования статьи, уже ночью, в типографии самочинно вставила в... текст несколько фраз, мною не написанных» и ряд «вульгарных грубостей». Глебов забыл о самом броском — названии статьи: «Двурушник

Борщаговский». Это и правда название не Глебова, Суров извлек слово «двурушник» из... моего письма на имя Шепилова. Отвергая обвинения Фадеева, я писал в ЦК, что незачем прятаться за туманные слова; Фадеев — член ЦК, политический деятель, ему в таком случае пристало бы говорить напрямик — о двурушничестве. Суров и ввернул находку в название пасквиля; Вдовиченко тут ни при чем, он уже был заложником в собственном доме. Вчерашний кухонный Робеспьер, воитель против Фадеева, подбивавший и меня на резкую отповедь главе Союза писателей, Вдовиченко с появлением статьи в «Правде» и изгнанием из высокого кабинета Шепилова мгновенно сломался. Он готов был служить верой и правдой и в палачестве, но оказался скоро не нужен.

Тут я не могу не сказать о превосходном человеке из редакции «Советского искусства», о мужественном поступке, о нравственном подвиге, свидетелями которого все мы были. В эти черные дни хлопнула редакционной дверью Галя Андреева, прекрасный редактор, душа редакции, во всяком случае ее театрального отдела. Все в ней было превосходно: добрая, веселая натура, до беспощадности острый ум, бескомпромиссность, прямота, красота и статность, — природа редко бывает так щедра, создавая совершенный образ гордой, независимой и красивой русской женщины.

Она могла тихо уйти из мгновенно омерзевшей ей редакции, сослаться на нездоровье сына-дошкольника, на любые семейные обстоятельства, скрыться, чтобы не марать руки о листы клевет и печатных доносов. Но не такова была Галя Андреева — она бросила вызов, написав в заявлении, что считает недостойным сотрудничать в газете, которая чернит честных людей, публикует грязную ложь о них.

Пусть у нее и были, как мы привыкли говорить, надежные тылы: муж — железнодорожный инженер, трепетно любивший ее и ревновавший не только ко всем театральным критикам мира, без различия возрастов и национальности, ревновавший к газете и, кажется, к самому театру; был маленький сын, комната в доме у Никитских ворот, возможность прожить и не служа, — это нисколько не умаляет значения ее нравственного подвига.

Поступок ее отозвался во многих редакциях Москвы — как новая отметка нравственной высоты, как пример, которому многие другие по разным причинам не смели последовать. Он стоял перед внутренним взором многих людей и, может быть, делал их чуточку лучше. Бунт Гали Андреевой в феврале 1949 года заслуживает быть занесенным в анналы журналистики.

Спустя время Андреева поступила в редакцию журнала «Дружба народов». Уверенность и мастерство в новой, сложной профессии — редактировании прозы — стали подтверждением ее живого ума, образованности, богатства ее художественной натуры. В эти немногие

годы ее связывала дружба с Юрием Домбровским, — Галя сумела и в его жестокую жизнь внести толику света, доброты и несуетности.

Умерла она молодой, вдруг, как умирают хорошие поэты, умерла, кажется, ошибаясь в дозе или в сроке домашнего укола инсулина. Ушли за эти годы и те, кто почитал Галю Андрееву, кто бывал счастлив дружбе с ней и скудным, но таким памятным и веселым — почти студенческим — застольем в доме у Никитских ворот. Ушли любившие ее люди. И мне, пока пощаженному временем, хотелось бы говорить о ней долго и подробно.

Единичность поступка Гали Андреевой нисколько не смущает меня. Такое не «тиражируется», — подвиг внезапен и обжигающе ярок на сером фоне. Просто эта прекрасная беловолосая женщина оказалась впереди других. Она крикнула гневно, не скрывая брезгливости и презрения. Но ведь тогда и вся подлинная русская интеллигенция была с ней, ближе к ней, отвернулась от охотнорядцев, захлопнула перед ними двери, не пошла на сговор, не ударила, так сказать, по рукам.

Варшавский не только писал за Сурова, но и прежде того, по его требованию, выступил с «признанием-раскаяться», которое могло стоить нам жизни. «Группа была, — заявил Варшавский 18 февраля 1949 года, угождая своему спасителю, — и она была объединена вне сферы советской общественности, вдали от взглядов советской общественности» («ЛГ», 1949, 26 февраля).

Что такое эти «вне» и «вдали», как не признание тайного, подпольного характера деятельности «группы»!

Зачем понадобилась Сурову и Софронову такая крайность, прямой политический донос?

В те дни не сложно было выбросить из Союза писателей всех упомянутых в статье «Правды». Александр Фадеев в который-то раз закрыл бы глаза на жестокие неотвратимости жизни, на ее неумолимую «диалектику», прикинув в уме, через сколько лет — или десятилетий! — нам будет позволено приползти обратно. Закрыл бы глаза, или отбыл бы на какой-нибудь международный форум, или запил бы горькую, предоставив Софронову расправляться с «безродными».

Но суровым дело могло представляться проще: заметут этих, к вящей радости «затравленных» драматургов, уберут с глаз подальше и тогда *безродных* одним росчерком пера вычеркнут из списков Союза писателей, а глядишь, и из списка живых... Такой финал казался неотвратимым, единственно возможным, — как могли думать иначе нетерпеливцы, устроители и вдохновители провокаций?

19

Альтмана арестовали в ночь смерти Сталина.

Что это было: «остаточные явления» развернувшейся юдофобской травли, подметание в темных закутах крох «сионистского» мусора,

инерция предыдущих лет, — мне не у кого было об этом спросить. Мы не были близки с Иоганном Львовичем, редактором журнала «Театр», часто расходились в оценках спектаклей и пьес, я не был для него достаточно ортодоксальным, марксистски образованным критиком, мне не доставало и той фразеологии, которой жил и дышал этот старый коммунист, чистый до одержимости.

Я и прежде не бывал у него дома, не мог пойти и весной 1953 года, когда он после недолгого тюремного заключения (мы ведь привыкли к другим срокам, точнее, к бессрочности...) вернулся истерзанный, больной, обреченный, получивший только одну привилегию: умереть дома.

За что его арестовали? Какое выдуманное преступление навязывало ему следствие — коммунисту и солдату Отечественной войны?

Я уже упоминал, что с конца 1940 года чувствовал невольную вину перед ним: его изгнали из журнала за публикацию моей статьи о пьесе Корнейчука «В степях Украины». Переехав в Москву, я порой ловил на себе взгляд Иоганна, не то чтобы обвиняющий или злой, но все же как бы обращенный в прошлое, перебирающий недавние события, вновь и вновь *оценивающий* того, кто своей запальчивостью сломал его редакторскую карьеру

Чувствовал я и другую странную, неслышную Альтману свою вину: для меня исключение из партии не было внутренним крахом, — фаталист по натуре, я отнесся к случившемуся как к жесткому уроку, преподнесенному жизнью, к экзамену, который необходимо выдержать. Через две недели после статьи в «Правде» я знал, что буду делать, как попытаюсь спасти и душу свою, и доброе имя. Партийность я как бы предполагал, не отстранял ее от себя вместе с отнятым партбилетом, — отнять ее у меня нельзя было, пока я оставался принципиальным человеком, не задетым гнилью — националистической и любой другой. Партийность как бы оставалась моим внутренним делом, совестью, мироощущением — в этот мир не было хода инстанциям, полковникам из парткомиссии НКО; исключить себя из числа коммунистов мог только я сам. Даже опасаясь ареста, сжигая дорогие мне письма Ярослава Галана и некоторых других корреспондентов, которым я боялся повредить, то есть видя себя за решеткой, я не отторгал от себя свободной от догматизма и начетничества, а тем более от карьеризма, партийности. Я фактически возглавил Главрепертком Украины, не будучи членом партии, а в партию вступил после того, как резко порвал со служебной карьерой.

Я принял новые условия существования: беду, неизбежность потерь, приготовясь жить другую, новую жизнь, какой бы она ни была. Не знаю, хватило ли бы мне на это чистоты и сил, не будь рядом со мной Вали — ее верящих глаз, любви, решимости разделить мою судьбу, что бы ни выпало на нашу долю.

Повторяю: краха, сбивающего с ног потрясения для меня не случилось.

Но для Альтмана исключение оказалось катастрофой, самой сокрушительной из всех, какие могли произойти. Большевик с 1919 года, в прошлом партийный работник, редактор армейской газеты, он до последнего дыхания ощущал себя коммунистом, ничто другое не могло держать его на земле. Жизнь отнимали у него, а не партийный билет.

Я тешил себя литературными планами, быть может, миражами, но это спасало.

Иронический, острый ум беспартийного Леонида Малюгина только оттачивался в издевке над разгулом софროновско-суровского неандертальства, хотя длившиеся годами нервные стрессы стоили и ему жизни. Малюгин не переставал шутить, иронизировать. Не дожидаясь добрых или недобрых эпиграмматистов, он сам тотчас же пустил в публику свой вариант известных строк: «Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице Малюгин, посинел и весь дрожал...»

Беспартийный Абрам Гурвич, проводив на репетицию любимую жену, погружался в совестливые размышления, в новые журналы и книги, в работу над большими аналитическими статьями, которых никто не ждал, в составление шахматных композиций, стараясь уверить себя — и меня тоже, не без успеха! — что смотреть нужно только внутрь себя, что врачует только работа, привязанность к людям, пусть и незнакомым, но непременно существующим. Виновников нашей беды он казнил полным безразличием к самому их существованию, их для него будто и не было, он не мог позволить своей мысли опуститься до них. Позади, в веках — великая литература, были таланты и вокруг, он умел различать их в толпе и ценить, — этого было достаточно для жизни.

Беспартийный Иосиф Юзовский жил иллюзией о неминуемом и скором наказании виновников аферы, именуемой борьбой с «безродными космополитами». Он тешился надеждой на возмущение польской художественной интеллигенции, а то и «прогрессивной интеллигенции всего мира», — возмущение, которое должно же наконец образумить и Москву. Блестящий талант, рецензент и фельетонист, по силе не уступающий, я думаю, и знаменитому Кугелю, — Юзовский умел написать о спектакле так, что он вживе возникал перед глазами читателя. Он тоже страдал от унижения достоинства, страхами, ожиданиями недоброго, необходимостью сбывать за гроши любимые книги. Стрессы и его загнали в онкологию и в могилу. Он страдал, строил планы, писал, верил в свою звезду, литературный дар и в вынужденном непечатании оставался двигателем его жизни.^[25]

У Альтмана с партийным билетом отняли все — ведь главным в нем был талант *деятеля*, организатора. Изгнанный, отброшенный пинком, он расшибся о темную, глухую стену

Только мы двое — из семерых — были члены партии, только нас исключили, но я, выброшенный с семьей из квартиры на дворовый асфальт, чувствовал себя все-таки не в тупике, а на дороге, куда-то ведущей, и потому виноватым перед ним, брошенным на землю, под каток равнодушия, цинизма, репрессий.

И исключали нас по-разному.

Люди, с которыми я провел в Москве всего два года, даже седой служака, генерал Пашá — начальник театра, искали случай как-то выразить мне сочувствие, обнадежить, разумеется, с глазу на глаз, больше вздохами и жестами, но и они в такую пору в цене. Я знал, что Алексей Дмитриевич Попов ездил в ГЛАВПУР, высказать свое резкое, гневное несогласие с отстранением меня от должности завлита. Я выслушал перед партийным собранием ободряющие слова генерала Шатилова. Я видел слезы в глазах голосующего за мое исключение Ниссона Шифрина, малодушно отведенные глаза артиста Майорова — секретаря парторганизации. Я, наконец, увидел и руки, поднятые *против* моего исключения, руку своего ученика, Гриши Гая, не предавшего меня! При всей предрешенности дела передо мной была сама жизнь, разнообразие ее оттенков, а это держит человека на земле как ничто другое. «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — советует народная мудрость. В XX веке мудрость эта обрела особую, трагическую полноту звучания; почему бы мне, еврею по крови, славянину по жизни, по языку детства и школы, по песням и словам любви, по полутора векам жизни предков, по кругу интересов и страстей, — почему бы мне не проникнуться этой спасительной мудростью, а заодно и другой — унижение паче гордости.

Субъективно исключение меня из партии не вышло за пределы «быта», житейской полуфарсовой бессмыслицы, драматического уродства времени.

Иоганн Альтман прошел через трагедию, но не очищающую, а испепеляющую трагедию. Трагедию без катарсиса.

Его исключали товарищи, знавшие его многие годы, те, с кем он уже десятилетия был на «ты», для кого он был прежде всего партиец, партийный работник, «боец идеологического фронта». Ему и не вменяли в вину ошибочные статьи, — он так редко писал в последние годы, что никому и не упомянуть было его работ. Он просто был отдан человеческой злобе, отдан на растерзание Софронову и присным, их демагогии, их клеветам: ведь это он, он, Иоганн Львович Альтман, зачем-то осенью 1947 года стал служить завлитом в московском Госете, в театре Михоэлса, в «буржуазно-националистическом логове»! Зачем это понадобилось ему?

Альтман мог бы сказать — зачем, но не говорил, ждал, что вмешается тот, кому и надлежало вмешаться. Иоганн сдвигал густые брови над красноватыми, бессонными, утонувшими в черных кругах глазами, тер ладонью сизые, колючие щеки, отводя взгляд от того, кто обязан был помочь, кто был главный в этом собрании, смотрел молодо и бодро, слегка поводя высокой шеей, помаргивая чаще обычного с деловитой озабоченностью.

Спасти его мог старый друг — Фадеев. Он мог сказать о честности и принципиальности Альтмана и о том еще, что в Госет к Михоэлсу Иоганн пошел по его, Фадеева, долгим, неотступным просьбам и настояниям. Еще не провидя скорого своего конца, но сердцем и подсознанием ощутив зыбкость почвы под собой, необъяснимую обреченность дела, которому он отдал всю жизнь, Михоэлс искал поддержки и позвал Альтмана в завлиты, но тот, хотя и нуждался, жил без службы, решительно отказался, хотя бы потому, что не знал еврейского языка. Тогда Михоэлс обратился за помощью к своему другу Саше Фадееву. Альтман упорно держался и против уговоров Фадеева, пока тот не прибегнул к средству, перед которым Иоганн бывал бессилён: «Пойди к ним на год! На один год! Надо помочь Михоэлсу, ему нужен советчик и *комиссар*: прими это, наконец, как партийное поручение!» И Альтман согласился, испытывая неловкость перед нами, коллегами: завлит, не знающий языка!..

Но спустя год с небольшим, после убийства Михоэлса и ареста членов Еврейского антифашистского комитета, приход Альтмана в Госет окрашивался в зловещие тона: вот ведь как, не знает языка, а пошел служить, — значит, в этом была другая, тайная причина! Кто направил его к Михоэлсу? Кто приказал оформиться на службу в Госет?

Крест, на котором распинали Альтмана, еще не врыт в землю, не поднят вертикально, но гвозди впиваются в ладони, а он молчит, ни слова, ни стоны. Он ждет, что Саша Фадеев вот-вот очнется, усомнится, скажет по-простецки: «Вот что, товарищи, насчет завлитства — давайте отставим: Альтман упирался как мог, я его уговорил, дал ему это партийное поручение».

Недостойно самому взывать к Фадееву. Просить о помощи — слабость. Саша вспомнит и сам внесет ясность. И Альтман упорно отводил от него глаза, чтобы не унижить себя и немой мольбой. И еще: можно ли ставить в неловкое положение члена ЦК, торопить его, он сам знает, что, как и когда сказать^[26].

К этой минуте боль уже пронизывала душу Альтмана. Ржавые гвозди загнаны в ступни, я бы сказал, и в сердце тоже, если можно было бы жить с пробитым сердцем. Софронов уже зашелся в обвинительном пафосе, обвинив Альтмана в «семейственности», и где — подумать страшно — на фронте. Он, мол, ухитрился превратить в лавочку, в *семейное предприятие* редакцию армейской газеты...

Обвинение привычное, традиционное: какой еврей — без «лавочки», без корыстной семейственности...

О Софронове я случайно услышал, еще до личного с ним знакомства в Москве, от довоенного своего референта (реперткомовского) по кино — Стасика Вышинского. Поэт-песенник с берегов Дона, с которым Стасик как-то коротал фронтовую ночь, пожаловался на свою судьбу: там, где всем нужно жать на сто процентов, он должен выкладываться на все двести, — погибший в гражданскую отец был противником Советов, мать — немка, перебыла на Дону оккупацию... Ему надо быть только *отличником*.

И *отличник* учинил Альтману публичную казнь, разоблачив его смертный «грех»: оказывается, в редакции армейской газеты *служила* — несла службу — жена Альтмана и, что того страшнее, с редакцией в действующую армию попал добровольцем и сын Альтмана, юноша, которому едва исполнилось 16 лет. Пошел до срока и погиб смертью солдата — это ли не пример смердящей еврейской семейственности, растленных нравов лавочников?!

Любое честное сообщество людей обязано было отринуть, заклеить подобное кощунство. Но собрание *писателей* спокойно внимало «разоблачениям», гвозди входили все глубже. А Иоганну после такого надругательства над памятью погибшего сына все театральные дела, плетения литературных лжей уже казались вздором, мусором, летящим в лицо.

Он ждал, что вмешается Саша! Должно же проснуться в нем рыцарское, он обязан сказать, что как руководитель Союза писателей и член ЦК *направил* Альтмана в Госет, всучил ему эту годовичную «командировку».

Рыцарь не пробудился, победил *политикан*.

Или уже он мудро рассчитал через сколько примерно лет сможет, протянуть вельможную руку Альтману?

Не сумел, не захотел протянуть. Иоганн умер с коротким, хриплым криком: «Убили!» Едва ли перед его взором успели промелькнуть лица виноватых, но если промелькнули, то среди них был и тот, кого он так ласково называл — Саша^[27].

20

Умолк телефон. Даже друзья приходили без звонка. Кого они щадили: себя или нас? Мы с Валею не задумывались над этим, как будто это естественно — приходить к друзьям запросто, без церемоний.

Но режиссер Давид Тункель — непременно звонил. Мне кажется, он делал это намеренно, с вызовом, — звонили из театра, по соседству; шел к людям, с которыми до событий и не было особой близости, но теперь, в беде, пришло непоколебимое решение — не оставить в

одиночестве. Он приходил как брат, мог и помолчать с нами, и поговорить о разном, не трогая большого, жгучего, пока мы сами не заговорим об этом. В его добром спокойствии, в нежной улыбке грубовато вылепленного, губастого лица, в неизменности его приходов для нас открывался свет, ощущение длящейся, а не оборванной жизни. Его вызывал генерал Паша; тучный, одышливый Савва Игнатьевич расхаживал по кабинету, готовясь сделать выволочку неосмотрительному режиссеру, но появлялся Давид Владимирович, невозмутимый, все наперед угадывающий и наперед отвергающий, и генерал терялся, переходил на дружеский тон, советовал держаться осмотрительнее, не «дразнить» людей, *помнить, беречься*. «Адодя» (так его назвала наша годовалая Леночка, и имя это прижилось, закрепилось за ним до самой его смерти) молча выслушивал генерала, клоня на сторону голову и морща лоб, благодарил за советы и, выйдя в приемную, к секретарше Пашей, Прасковье Тимофеевне, от нее же и звонил мне, что освободился от репетиции и мог бы заглянуть... До беды мы были только сослуживцами, с февраля 1949 года стали короткими друзьями, не побоюсь сказать, родными людьми, и первый шаг, и второй, и третий принадлежат Адоде, и только ему — его безошибочное чутье и нравственная чистота, я бы сказал, *Христова* доброта души определили все в наших отношениях.

В известной мере для меня повторилась ситуация осени 1937 года, когда, вопреки нажиму и угрозам, товарищи не позволили исключить меня из комсомола. Партийный механизм в 1949 году работал с неукоснительной механической точностью, ибо только бездушный механизм может произвести карательное действие, нимало не интересуясь основаниями для казни. Не умея вполне осмыслить происшедшее, я инстинктивно был рад, что все свершилось в считанные дни и борьба за сохранение партбилета не растянулась на месяцы писания жалоб, обивание порогов, изматывающие нервную систему объяснения и оправдания. Спустя десять дней никто уже во мне не нуждался, не на что было надеяться, не у кого искать — пришло время работы.

А друзей у нас прибавилось. Из Краснодара приехал Николай Винников, чью пьесу «Степь широкая» поставил Алексей Дмитриевич Попов. Винников находил нас в Москве и Подмосковье, во всех дырах и пристанищах, куда нас бросала безденежная и беспрописочная судьба, не порывал дружеских связей, поддерживал во мне иллюзию стабильности, прочности нашего мира.

Из Харькова приехал Добровольский, привез денег, — у нас их не было, никогда не водилось и сберегательной книжки, а из тех денег, что я должен был получить в «Новом мире» за чтение и рецензирование рукописей и журнальной верстки, ровно половину срезал осмотрительный Александр Кривицкий. Он затребовал из бухгалтерии «Известий» уже оформленную ведомость и изменил мне *норму* оплаты:

вчера я был членом редколлегии и получал по высшей ставке, сегодня мне, «безродному космополиту», и низшая была не по чину. Никто так быстро не отозвался на разоблачение Борщаговского, никто так решительно не встал на защиту интересов государства...

Приходил Иосиф Прут. Знал я его, еще живя в Киеве, но в Москве, по завлитским своим обязанностям помогая ему в работе над пьесой о морях-подводниках, я познакомился с ним ближе, и теперь он неожиданно возник в нашем доме, старался поддержать нас морально забавными байками и анекдотами, а более всего возней с нашими дочерьми, особенно со школьницей Светой, зачарованной его фокусами. С ним тоже возникала атмосфера домашности, ничем не нарушенной жизни.

Тяжкий, несправедливый год не разочаровал нас в людях, — мои враги обозначились с кричащей резкостью, они были сильны, но не всесильны, не в них была мощь и сущность жизни. Своих ожесточенных врагов и фанатичных догматиков я наблюдал без смятения, не допуская мысли о компромиссе. С этим связана была для меня горькая потеря — на какие-то годы — фронтового друга (от декабрьского 1941 года Воронежа и до конца августа 1942-го под Сталинградом) — Евгения Долматовского. Он позвонил мне, воодушевленный какой-то открывшейся спасительной возможностью, он был весь надежда и порыв. «Езжай в Союз, тебя ждет Софронов, — сказал он обрадованно. — Давай быстро в Союз!» Я не колебался и мгновения: «К Софронову не поеду. Бывают случаи, когда мужчине приличнее подохнуть, чем идти на поклон или сговор...» — «Как знаешь! — сухо оборвал меня Женя. — Твое дело: я тебя предупредил». И положил трубку. Бросил трубку на годы. Как-то прислал жену, Наташу Боду, знакомую мне по довоенному Киеву, а после по Юго-Западному и Сталинградскому фронтам — она была фронтовым фотокорреспондентом. Наташа пришла с деньгами, но разговор получился сухой, натянутый, на разрыв. Прошли годы, однажды он решительно вмешался в мою судьбу, вмешался с сознанием былой своей неправоты. Он обратился к председателю КПК ЦК КПСС товарищу Комарову. «Повинная», к которой никто Долматовского не принуждал, о которой я не подозревал, пока не был вызван в Комиссию партийного контроля, делает ему честь. Ведь жизнь Долматовского сложилась превосходно и без меня в «интерьере», ведь он не предал меня в году 1949, а хотел помочь мне, надеялся уладить наши с Софроновым «разногласия», и обиделся на мое упрямство.

Старались нам помочь и те авторы, кто в два года моего завлитства в ЦТКА дебютировали на его сцене: А. Барянов, А. Кузнецов, Ю. Чепурин и другие. Предал только один, и предательство его отозвалось горечью и болью.

В 1948 году в редакцию «Нового мира» прислал из Берлина рукопись нового романа Вадим Собко. Добрые отношения существовали у нас еще в Харькове в 1932—34 гг., затем в Киеве до начала войны.

Война разбросала нас, кое-что я о нем знал, но его проза какого проходила мимо меня. Он и на костылях, потеряв ногу, продолжал армейскую службу в Берлине, много писал и новый роман прислал на мое имя^[28]. Роман оказался откровенно слабым, и я не мог предложить его редакции. Вместе с тем внутри сюжета, как это иной раз случается, «ворочалась», подавала голос пьеса, — откровенная мелодрама, но, может быть, при сильной писательской руке, способная стать и настоящей драмой. Я обо всем этом напрямик, откровенно написал Собко, набросав возможный план пьесы.

Сначала пришло благодарственное письмо, пусть и с осадком горечи, а скоро (и слишком скоро) пьеса на русском языке — «За вторым фронтом». Пьесу театр не принял; режиссеры ЦТКА один за другим возвращали рукопись — молча, защитно подняв руки: мол, увольте. Нанес удар и Главрепертком, запретив посланную туда по просьбе Вадима Собко пьесу.

Шел сезон 1948/49 года. Сыграть пьесу Собко можно было до весны 1949 года или никогда — минет год, о пьесе забудут, не захотят к ней возвращаться. А я, читавший роман, долго обдумывавший этот сюжет, посвятил Алексея Дмитриевича и режиссерскую коллегия в план переделки и попросил генерала Пашу вызвать через ГЛАВПУР в Москву Вадима Собко, за ноябрь и часть декабря 1948 года он справился бы с доработкой. В Берлин ушла телеграмма, а ночью раздался междугородный звонок. Звонил Собко. «Дорогой Шура, я на носилках, — сказал он. — Меня поднесли к телефону... Приехать не смогу: упал и сломал руку. Со сломанной рукой на костылях не двинешься». Я рассказал ему о задуманном плане переделки пьесы, — может быть, в Берлине он продиктует необходимое. Выслушав меня, он вдруг сказал: «Делай все сам, прошу тебя и благословляю... Сделай, я приеду и пройду по тексту... Будь другом».

И в самый разгар фадеевских экзекуций 1948-го я сел за переделку пьесы, а заодно и за ее перевод: русский текст пьесы был скуден, я надеялся — и напрасно! — что в украинском оригинале отыщутся какие-то ускользнувшие, поблекшие при переводе краски. В. Собко принадлежал к той части украинских литераторов, для которых глубинные богатства родного языка были как бы за семью печатями. Русская проза тоже прошла через десятилетия языковой бедности, нивелировки, оскудения, доходившего до немоты, не сразу вернулась к ней полнотворность слова, которую явили нам лучшие из писателей-«деревенщиков» или такие художники, как Ю. Казаков, Ф. Искандер или Ю. Трифонов. Оскудение правды, как правило, приводило к оскудению речи.

В украинской прозе регресс был особенно заметен. Читая украинские романы Вадима Собко, нельзя было поручиться за то, что автор мыслит на родном языке; и словарь, и конструкция фразы, «организация» речи — все было до опасного предела приближено к

русскому письму. Это именно та украинская речь, которая дает повод русскому обывателю утверждать, что он решительно все понимает и не надо его дурачить, нет никакого особенного, отдельного украинского языка. Дайте такому читателю для пробы страницу Юрия Яновского, М. Коцюбинского, не говоря уже о В. Стефанике или О. Кобылянской, дайте ему любую главу из «Маруси Чурай» Лины Костенко или какое-нибудь стихотворение позднего Л. Первомайского, и он признаётся, что не понял прочитанного.

В украинском тексте пьесы Собко я новых богатств и красок не нашел, мой перевод пьесы заключался в посильном обогащении речи, в купюрах там, где пробалтывалось то, что должно стать открытием самого мыслящего зрителя. Но я еще и переделал пьесу, переписал ряд сцен, написал новые, ввел в пьесу и новых персонажей. Все материалы и рукописи до сих пор хранятся у меня. Взгляд на пьесу и Алексея Попова и режиссуры театра изменился после читки нового варианта на труппе. Ее включили в репертуар. В середине января 1949 года текст был снова сдан в Главрепертком и в Управление театров Комитета по делам искусств. Вл. Пименов, начальник Управления театров, через неделю позвонил, предложив мне договор на перевод пьесы. Я от договора отказался, объяснил Пименову, что не заключил договора и с ЦТКА и могу принять единственную плату, ту, что положена переводчику за сыгранные уже спектакли, где бы они ни игрались. Но ни с Управлением, ни со своим театром договоров заключать не хочу.

Поступил бы я так, зная, что прочту о себе в статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»? Надеюсь, что держался бы точно так же.

Репетиции шли вовсю, когда ударил колокол «космополитизма». Но на следующий день после статьи в «Правде» меня пригласил А. Сегеди на Неглинную в Главрепертком и демонстративно поставил — 30 января 1949 года — разрешительный штамп на пьесе в моем переводе, сказав, что делает это не сгоряча и не по ошибке, а сознательно и поддержит меня во всем, что касается судьбы этой работы.

Уже шли генеральные репетиции, просмотры, режиссер спектакля Тункель звал меня, я не шел, ждал приглашения от Собко, приехавшего наконец в Москву и жившего в том же доме, что и я, только в гостиничной части здания. Я занес туда новый текст пьесы и ускользнул домой: есть какая-то неловкость в том, что ты побесчинствовал в чужом тексте, пусть и с благословения автора.

Не прошло и часа, как позвонила Вера.

— Шура! Шура! — почти заклинала она. — Мы с Вадимом плачем, я побежала вперед, он ковыляет по коридору на костылях. Великое тебе спасибо! Целую и передаю трубку

Голос Вадима и правда прерывался от волнения:

— Как ты меня выручил! Я на десятках страниц сделал буквально две-три мелкие поправки. Все отлично, Шура. Я тороплюсь в театр, вечером приходи к нам с Лялей...

— Почему ты меня не зовешь на прогоны?

Он ответил непритворно:

— Я был убежден, что ты не пойдешь. Не хотел ставить тебя в неловкое положение.

— Напрасно. У меня добрые отношения с актерами и режиссерами.

— Извини, я об этом не подумал.

— Вадим, почему исчезло с афиши мое имя?

Собко ответил, не колеблясь:

— Мне звонили в Киев из театра (он из Берлина заехал домой, за Верой), предупредили, что ГЛАВПУР запретит спектакль, если на афише появится твоя фамилия. Ты понимаешь, это — формальность, из-за этого не стоит гробить пьесу...

Я помолчал и, набравшись храбрости, сказал:

— Вот что, Вадим: в моем положении худшее, что может быть, — это дурацкие иллюзии. Я ни о чем не прошу, я хочу знать, как ты решишь наши материальные взаимоотношения, как...

— Ты меня обижаешь! — перебил он меня. — Я-то знаю, что ты сделал для пьесы, от самого ее замысла и до переделок. Я дам все распоряжения в Управление по охране авторских прав, все оформится лучшим образом. Это мой долг.

На следующее утро в Москву приехал Виктор Некрасов и с вокзала к нам — привез три тысячи рублей (разумеется, старых, «дореформенных»). Вечером он пришел снова, сказал, что встретил в УОАПе Вадима Собко.

— Как у тебя определились с ним отношения? — спросил у меня Виктор.

Собко в УОАПе! Сдержал слово; не дождавшись премьеры, поспешил улаживать *наше* дело: если пьеса пойдет по стране, весь гонорар будет начисляться автору («перевод автора!»), выделение какой-то суммы для меня теперь может быть сделано только его письменным поручением. Отныне я завишу от его честности и щедрости! Переводчику положена третья часть гонорара, но можно понизить ее до 25 %. Все теперь в его руках.

Пьеса пошла небывало широко. Из семи премьер-дебютов советских драматургов за два неполных сезона моей работы в ЦТКА две пьесы имели необыкновенный кассовый успех: «На той стороне» А. Барянова и «За вторым фронтом» В. Собко. Пьеса Барянова долго держалась на сцене ЦТКА, «За вторым фронтом» — сошла быстро, Алексей Дмитриевич Попов внутренне вновь отринул пьесу, но более того — автора. По стране пьеса распространялась со скоростью лесного пожара; театры все еще испытывали жестокий репертуарный голод, вызванный массовым запрещением пьес...

А пока передо мной сидел Виктор Некрасов, просто Вика, прищутив глаза, с ехиднейшей улыбкой. Он дождался, когда Валя выйдет из комнаты, чтобы спросить о моих расчетах с Собко. Я поделился с ним надеждами, повторил дружескую патетику Вадима.

— Да-а?! — насмешливо протянул Вика. — Ах, как красиво! Забудь об этом. Я задал Собко тот же вопрос, что и тебе, знаешь, что он мне ответил? «А нá х... он мне теперь нужен! Он больше не завлит, пусть идет подальше...»

Трудно было поверить в такое превращение, но я не стал искать Вадима Собко: лжец правды не скажет, малодушный человек найдет способ уклониться от ответа.

Я позволил себе написать ему письмо и сдать его гостиничному дежурному. «...Видимо, я не дождусь тебя, — дела и хлопоты не оставляют тебе времени. У меня его уйма, но нормальная щепетильность и самолюбие, которого меня не могли лишить события последних месяцев, не позволяют мне еще раз искать встречи с тобой. Хочу в последний раз возвратиться к своей просьбе... Ты говорил о возможных и верных путях. Не знаю, пришло ли тебе что-либо в голову по этому поводу. Но мне кажется, что есть наиболее нормальный путь: твое письмо т. Хесину (ВУОАП) — которое остается бухгалтерской тайной — с просьбой отчислять мне известную часть гонорара... Тут вариантов — множество, а характер моего труда известен тебе лучше, чем кому-либо».

Ответа не последовало. Собко отликовал премьеру и уехал из Москвы, не позвонив, не простившись со мной, подтвердив правоту Некрасова.

После марта месяца, когда, как нам казалось, миновало худшее, когда, по легенде — а мы и жили-то легендами, — «отец народов» и великий наш *заступник* не позволил гнать «безродных космополитов» из Союза писателей, сказав будто бы великодушно: «Они навредили в критике, пусть теперь в критике и исправляют свои ошибки!» — когда миновали пароксизмы страхов, добрые люди стали донимать меня требованием судиться с Собко. Полагал это справедливым и Алексей Дмитриевич, приказав литчасти не принимать от Собко любых новых пьес (а новая пьеса появилась слишком скоро!). Изругал меня отважный Сегеди, обещая официально подтвердить суду, что к исполнению разрешен только мой перевод пьесы. Особенно же негодовал начальник ВУОАПа Хесин, профессионал, хорошо знающий, какая несправедливость вершится среди бела дня. А я хранил черновики, впервые в жизни хранил вещественные доказательства, но не для иска — для самозащиты, если унижаемый многими, кто знал суть дела, Вадим Собко решится перейти в наступление. Какое это было бы эффектное зрелище: статный, увешанный орденами герой войны, инвалид на костылях, талант, в поте лица создающий романы, повести и пьесы, и театральный «жучок», без роду без племени,

пытающийся присосаться, воспользоваться несчастьем собрата, сломавшего руку в Берлине! Кто услышит меня в суде, кто посчитается с тем, что и я прошел фронт, что у меня прострелена грудь? Я на этом суде, как говорится, «не смотрелся бы», если даже братьев писателей не смягчила гибель мальчишки, сына Альтмана, на фронте.

Но главным было убеждение в том, что мне не нужен суд, даже благосклонный, мне душевно повредят атмосфера мелочной борьбы, проволоочки, ожидания, разочарования, возможное давление Союза писателей — он не преминет взять сторону Собко, — но более всего мне могут повредить шальные деньги. Я уже не хотел их, чужих денег, больших денег, куда больших, чем те, что мне одалживали мои товарищи за годы, когда мне не позволено было заработать ни рубля.

Так недруги не раз спасали меня; «обсчитывая», обворовывая, спасали, не позволив мне закопаться в глухомани на учительской работе; спасали, лишив вдруг возможности пользоваться книгами в Ленинке; спасали тупыми клеветами, разжигавшими в людях желание помочь мне, а во мне самом — новую энергию.

Почему же так поступил совсем не скаредный Собко?

В глубине души он считал меня своим другом. Он взволновался и был полон благодарности, прочитав мою редакцию пьесы. Он не знал, куда девать деньги, в домах творчества вокруг него всегда бурлило разлитое море коньяка. Он не был шовинистом, — кажется, напротив, он из тех украинцев, которые и не вполне ощущают национальность и не придают ей значения, — он и в малой степени не был затронут юдофобством. Средний, заводной, в меру греховодник, в меру sentimentalный человек.

Зачем он солгал?

При телефонном нашем разговоре из гостиницы он конечно же учитывал статью в «Правде», держал ее в уме, но она еще не давила на него особой тяжестью. И все было правдой, даже маленькие неправды; он полагал, что мне будет не по себе на генеральной репетиции, хотя бы потому, что неловко будет ему! Как держаться? Сесть со мной в обнимку? Устроиться обособленно? Все не просто. «Начальники» сняли мое имя с афиши; мог ли он протестовать? Если пьесу запретят, какая нам обоим польза? А так все, как говорится, ладом, все устроится, все в наших руках. Эти руки не сделают дурного, уж они позаботятся об изруганном друге! Я допускаю и самое невероятное; встретившись с Некрасовым, в общем-то чужим и чуждым ему человеком, Собко предпочел солгать, укрыться за циничной репликой. Какого черта открываться каждому встречному! Я лучше вас знаю, как помочь Борщаговскому, с этим я и пришел в ВУОАП, и сам Хесин растолковал мне, какое я должен написать заявление. Подите подальше, заботники и говоруны, я буду кормить Борщаговского, а не вы, — вот пришлю из Киева заявление Хесину, и делу конец.

Хесин дал ему лист бумаги, сказал, что нужно написать, две-три строчки распоряжения и подпись.

Но Борщаговский ведь и переделывал пьесу, работа серьезная, большая, нужно обдумать, не обидеть его. Пришлю заявление из Киева, решил совестливый автор.

На это жизни не хватило. Почему?

Сразу дело не сделалось, а горизонт темнел, кампания клеветы набирала силу, и трудно было предположить, что нас не посадят. Не было такой уверенности во мне, откуда ей было взяться у Собко, в Киеве, где слухи множились, удесятелялись, где всякий день начинался с разговоров, что «этих» в Москве уже взяли.

Теперь уже надо было решиться и отказать часть гонорара в пользу... В чью же пользу? Потенциального врага народа? Вот уж что было бы неумно, бросить деньги в прорубь, перечислить их тому, кому они и не попадут, не понадобятся, может быть, никогда не понадобятся! Нет, стоит подождать: утро вечера мудренее...

Идет время, уходит стыдно, бездарно. И возникает такое недоумение, раздражение даже: как же так, почему медлят, почему не поставят точку, не скажут ясно, честные они люди или враги? И кажется, уже известие об аресте — нежеланном, конечно же нежеланном! — внесло бы какую-то ясность, горькое, ужасно горькое, но облегчение. И мысль неутомимо предлагает варианты: а ну как все определится, и если определится к добру, сниму-ка я наличность с книжки и разыщу Шуру в Москве, пусть знает, что я — честный человек!

Какие-то минуты эта мысль тешит, хочется покрасоваться хоть в воображении. Но возвращаются сомнения, обступают, хмурят горизонт: ну, не донкихотство ли это! И где я его найду? Говорят, его нет в Москве, его выселили (какает жалость!), запретили жить, в Москве? Не объявлять же розыск! И потом — так ли уж много он сделал для пьесы, ну подправил перевод, что-то дописал, отредактировал, так ему же за это шла зарплата...

Добрые порывы, шевеления совести, маниловские мечты — все затягивалось илом времени, а ему дышалось легче, свободнее, сердце входило в привычный ритм, дел было много, он давно приноровился всякий год писать по роману, повести и пьесе. В конце концов для народа это важнее, чем сантименты и терзания совести!

И он сделал совсем непостижимое — в толстом литературном журнале напечатал пьесу в моей переделке.

За долгие годы мы только однажды обменялись двумя фразами, столкнувшись случайно у гостиницы «Москва». Шел какой-то пленум или съезд Союза писателей, а у меня уже был опубликован роман «Русский флаг».

— Как живете? — спросил он, от растерянности перейдя на «вы».

— Хорошо живу. Выжил, потому что не все оказались подонками.

Он не закричал, не поднял на меня костыль. Качнул плечами и прошел мимо.

Так человека искажает страх, а политиканство и «идейная» риторика помогают заглушать голос совести.

21

20 апреля 1949 года я расписался в получении грозного *приговора* — постановления военной прокуратуры Московского гарнизона от 18-го числа:

«Пом. Военного прокурора Мосгарнизона майор юстиции Мундер, рассмотрев ходатайство Командования Центрального театра Красной Армии о даче санкции на выселение гр-на Борщаговского Александра Михайловича (в этой квартире он проживает с женой, двумя детьми и матерью, — бесстрастно фиксировал майор Мундер), — 27 января с. г., приказом № 16 по Театру, Борщаговский уволен с работы за нарушение трудовой дисциплины, и при этих обстоятельствах Борщаговский А. М. обязан освободить занимаемую им жилплощадь, о чем был письменно извещен 3-го марта с/года), постановил: 1) санкционировать выселение в административном порядке гр-на Борщаговского А. М., с проживающими с ним лицами, из квартиры № 13, по ул. Дурова, дом 13/1; 2) срок выселения установить 10 мая с. г.; 3) копии постановления направить для исполнения начальнику Театра Красной Армии и для сведения гр-ну Борщаговскому А. М. Пом. Военного прокурора Мосгарнизона майор юстиции А. Мундер». В левом верхнем углу, чтоб не было никаких сомнений в неотвратимости кары, росчерк военного прокурора Мосгарнизона, генерал-майора юстиции И. Красникова: «Утверждаю»

Бедные «проживающие с ним лица»! Они не посягали на величие Софронова, не исстрадались падением искусства МХАТа. Моя мать жила иллюзиями правопорядка, справедливости, которая непременно восторжествует. Светланка оканчивала первый класс, Алену только что отняли от груди. Ни им, ни гр-ну Борщаговскому А. М. некуда было съезжать из двухкомнатной квартиры, меньшей, чем та, которую два года тому назад гр-н Борщаговский А. М. сдал государству в Киеве, о чем получил документ за подписью и круглой печатью.

На бессудном плацу майора Мундера и генерал-майора Красникова документы ничего не значили.

Ничего не значили правда, истина, гражданское достоинство в отношениях личности и общества. Сталинская правоохранительная «школа» твердо стояла на почве сокрытия истины; в приказе об увольнении непозволительно было сказать правду — *правда* могла обидеть пострадавшего! Пригласив меня для объявления приказа с глазу на глаз, генерал Паша сыграл мимическую сцену: с гримасой неодобрения и горестной подчиненности он протянул мне выписку из

постановления Бюро Президиума ЦК за подписью Маленкова (факсимильной) — и я увидел краткое и ничем не мотивированное решение об изгнании меня из редколлегии и штата служащих «Нового мира» и ЦТКА.

Но я и не входил в штат сотрудников журнала, Кривицкому не пришлось готовить обо мне приказ, а бедняга Паша замотался между сочувствием ко мне (частым его партнером по рюмке-другой коньяка в генеральском буфете), суровым служебным долгом («на войне как на войне!») и комическим страхом на донышке души. Дело в том, что названный уже мною Стасик Вышинский прислал мне новогоднюю поздравительную телеграмму 1949 года на театр, не зная моего домашнего адреса. Прислал он ее из Берлина, где служил в группе войск. Но в это же время там проездом находился другой Вышинский, Андрей Януарьевич, о чем мы знали из газет. Стасик подписал только фамилию, и Паша вручил мне телеграмму с подобострастием, воскликнув только: «Ого!» Теперь, изгоняя меня за несуществующее «нарушение трудовой дисциплины», он сказал, что формулировка увольнения в моих интересах, «без политики», и не задевает, мол, меня. Приблизившись ко мне почти вплотную, он хрипло шепнул:

— Напиши Вышинскому, пусть поможет

— Какому Вышинскому? — поразился я.

Объяснений не понадобилось, я все вдруг вспомнил и он понял свою ошибку. Ушла растерянность, а жалость и милосердие — послушные щенки. Скомандуй им «К ноге!» и они замрут.

Лимит милосердия! Это образ Анатолия Аграновского, мыслившего точно и емко. Но смысл, суть образа я постиг на собственной шкуре и судьбе. В те годы я узнал милосердие «безлимитное», полное и безотчетное, и милосердие осмотнительное, знаменитое «*лимитед*» — с ограниченной ответственностью, — и еще диковинное, воображаемое милосердие, когда у человека дух перехватывает от собственной отваги, от умиления самим собой, своей душевной щедростью, за которой на поверку не оказывается ни смелости, ни поступка. Но более всего поддерживало меня сочувствие — пусть в самом малом — людей незнакомых, случайно коснувшихся моих дел и нужд. Я не сразу понял, почему заказанные мною в Ленинке книги так быстро попадают из хранилища на выдачу, почему так предупредительны и безотказны консультанты систематического каталога, почему от меня прячут глаза сотрудницы в критические дни, когда меня вдруг стали лишать книг, «сбросив» без предупреждения то, что уже лежало на моем абонементе, и отказывая в *любой другой* книге: книги — нет, книгу — читают, книга — отправлена по междугородному абонементу, книга в переплетной, в реставрации и т. д. — мало ли найдется отговорок для отказа.

Скудел и лимит милосердия Сергея Савельевича Шатилова.

Добрый генерал обещал поддержку, пророчил благополучие, если «их, стариков, не посадят», и я решился позвонить ему. Куда мне с матерью, родившейся вскоре после убийства Александра II, с девочками, с женой и со всеми бумагами? Жизнь затмилась. Придет день, и молчаливый, непроницаемый подполковник Самохвалов, административный помощник генерала Паші, явится с солдатами и спровадит нас на асфальт небольшого дворика в тылу здания.

— Держись, — спокойно посоветовал Шатилов. — Обжалуй в округ. Мосгарнизон подчиняется округу.

Как светлеет жизнь, когда узнаешь точный адрес, ступеньку в военно-прокурорской иерархии! А что как найдется управа и на майора Мундера, — может быть, он отнесся ко мне формально, поторопился, не учел справки о сдаче квартиры в Киеве?

11 мая пришел ответ из Военной прокуратуры Московского военного округа, подписанный заместителем военного прокурора МВО подполковником юстиции Любовичем. Жалкий раб во мне уже поеживался от неловкости, что столько серьезных занятых людей вынуждены тратить на меня время...

«Ваше заявление, — писал законовед Любович, — о пересмотре постановления Военного прокурора Мосгарнизона об административном выселении вас из квартиры, принадлежащей Центральному театру Красной Армии, нами рассмотрено. Оснований для отмены постановления Военного прокурора Мосгарнизона не нахожу».

Скольким же людям приносим мы неудобства — я и проживающие со мной на этой земле лица! Как издергался исполнитель, *социальный герой* — по амплуа — артист Майоров, секретарь партбюро театра, в ожидании моей квартиры! Как трудно его жене, славной, говорливой Нине, забегая к нам, прятать суетный хозяйский взгляд, говорить с нами о пустяках, уверяя, что все у нас будет в порядке, и не сметь спросить: когда же вы уберетесь отсюда? Она похаживает по своим завтрашним комнатам, а мы, особенно Валя, воплощенная щепетильность, — издерганная, измученная, — мы испытываем неловкость оттого, что мешаем кому-то, — ведь театру скоро на гастроли, надо же людям спокойно устроиться до отъезда труппы.

Конечно, артист Майоров — маркиз Поза картонной, конъюнктурной драматургии тех лет — случайно попадает в нашу квартиру, на его месте мог оказаться любой другой актер или режиссер театра. Тут нет прямой аналогии с заселением квартиры репрессированного сотрудниками НКВД или МГБ тех лет, и все же, все же, какой лукавый драматург жизнь! Надо же случиться, что моих двух комнат нетерпеливо, а с течением дней и раздраженно дожидается именно секретарь партийной организации.

Генерал Шатилов и на этот раз отозвался по телефону:

— Держись! Пожалуйся в Главную военную прокуратуру Вооруженных Сил СССР...

Пожаловался и скоро получил ответ, вселивший в нас новые надежды. Правда, подполковник юстиции Мелентьев, помощник военного прокурора сухопутных войск страны, не снизошел до переписки со мной; мне была прислана копия его письма Любовичу, уже не подполковнику, а полковнику юстиции; что ж, жизнь остановилась только для «безродных», для виноватых; честные люди процветают, радуются, в срок повышаются в звании! «Прошу Вас, — писал Мелентьев 24 мая, — выслать имеющуюся у Вас и военного прокурора Московского гарнизона переписку по вопросу выселения гр. Борщаговского А. М. Выселение его из квартиры впредь до рассмотрения жалобы приостанавливается».

Три недели я прожил в надежде, что стен у меня не отнимут, в неловкости перед вопрошающими и даже обиженными очами Нины Майоровой, — в эти недели я одержимо работал в Ленинке, заставил вернуть на абонемент отнятые у меня книги, начал писать первые главы романа. Но 13 июня мираж рассеялся: пришла бумага за подписью генерал-лейтенанта юстиции, Главного военного прокурора Вооруженных Сил СССР Н. Афанасьева:

«Сдача Вами квартиры в г. Киеве Министерству просвещения УССР не создает права закрепления жилплощади в доме военного ведомства. В связи с этим, оснований к отмене решения военного прокурора Московского гарнизона от 18 апреля с. г. о выселении Вас в административном порядке не имеется, поскольку оно вынесено на законном основании».

Лимит милосердия исчерпался; генерал Шатилов больше не откликался на мои звонки.

Что он мог посоветовать? Пожаловаться Сталину? Таков ведь был обычный ход мыслей: а вдруг Он прочтет, разгневается, заступится — и все разом, как в сказке, переменится. Миллионы тешили себя такой надеждой, уже став жертвами репрессий и несправедливости, миллионы писали, миллионы жили иллюзиями. Жил ими и я, но только ночной, зыбкой, мечтательной порой: утренний свет возвращал меня к трезвости и опасности. «Не рискуй, — говорил мне внутренний голос. — На пути к Сталину сотни дверей, и неведомо, на чей стол попадет твоя телеграмма. Пощаженный, ты никак не уймешься, а ведь, чем решать твои дела и квартирные сложности, не проще ли выгнать тебя из Москвы, выселить, вышвырнуть административно, раз ты не сумел нижайше прислужить верой и правдой столице, Сурову, Софронову, Художественному театру и даже гражданину Тубельскому из удачливого дуэта „Братья Тур“».

О квартирных делах с Константином Симоновым я не заговаривал. Хотя его милосердие и дружеская поддержка были спасительные, «безлимитные», не по-мужски было бы угнетать его всеми нашими

заботами. Симонов в те дни был для меня чем-то неизмеримо более важным: другом, относящимся ко мне так, будто ничего не случилось. Он был чем-то, что незримо связывало меня с писательским Союзом, был обещанием будущего.

Не говорил с ним и о судебных исках издательств «Искусство» и «Художественная литература», обрушившихся на меня в феврале 1949 года с такой мстительностью, будто я среди ночи забрался в издательские кассы и теперь, схваченный за руку, должен отвечать перед законом. Но не издательствам с меня, а именно мне с них полагались деньги; в январе 1949-го «Искусство» выпустило в свет — я успел получить авторские экземпляры — мою монографию «Путь театра», о Киевском драматическом театре им. Франко, но, увы, весь тираж, кроме 10-12 разошедшихся экземпляров, пустили по приказу Ф. Головенченко (Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) под ножи переплетных станков. В «Искусстве» же была принята и моя книга о драматургии И. Тобилевича, вышедшая в 1948 году на украинском языке. Напрасными были бы мои надежды получить деньги с издательств, в конфликте отдельного человека с государством народный суд, не колеблясь, не вдаваясь в подробности, занимал сторону государства, казны. Суд занял бы эту позицию, даже будь я вполне благополучным литератором, не подвергнутому остракизму, а тут перед высоким судом предстал бы... «антипатриот»!

Любопытно и другое: если юрисконсульт издательства «Искусство», требуя с меня 10 февраля 1949 года возвращения аванса по рукописи «М. К. Заньковецкая», обращается ко мне со словами «Уважаемый товарищ!», то спустя всего лишь 12 дней — 22 февраля, директор Гослитиздата А. К. Котов уже не может позволить себе такой вольности, по причине растерянности и немоты, он постарался избежать какого бы то ни было обращения.

Иски не очень заботили меня. Будь они и справедливы, мне нечем было бы расплачиваться: мы обедали за театральным столом, спали на кушетках и кроватях сошедших со сцены спектаклей, трехстворчатое зеркало для Вали принесли из гримерной, и не было у нас ни сбережений, ни ценностей, ни меховых шуб. Жили на месячный заработок, не испытывая ни тревог, ни зависти к денежным людям.

Мелькала и злорадная мысль: выгонит нас на асфальт подполковник Самохвалов, пусть тогда поищет меня по белу свету юрисконсульт издательства «Искусство» Д. Шустик или сам А. К. Котов, поторопившийся верноподданно отречься от меня, сообщив «что в связи с прекращением работы над книгой В. Стефаника, договор издательства с Вами (№ 1962 от 4.X.1948 г.) расторгается...». Ему важно было заявить, что и эта щель забита, законопачена, и мое имя вытравлено из издательских анналов^[29]. Между тем я успел написать и сдать предисловие к сборнику рассказов Василя Стефаника, не получив за труды ни гроша.

Я уже сказал, что пришлось уничтожить некоторые письма, чтобы не повредить, если дойдет до беды, честным и мужественным людям. Самая большая потеря — письма Ярослава Галана. Их было немного — 12 писем, но это были драматические страницы его жизни, стремительно подвигавшейся к трагическому концу. Несколько его ранних, еще до нашего знакомства, писем из Львова — они касались пьес Галана, безуспешной борьбы с Реперткомом Украины за их постановку на украинской сцене и неблагоприятной, по убеждению Галана, роли во всем этом Александра Корнейчука. Но самые важные письма — более поздние, после нашего знакомства в Москве и работы Я. Галана над антиклерикальным памфлетом для «Нового мира».

Случилось это летом 1948 года, когда А. Кривицкий находился в отпуске, и Симонов, придя с какого-то совещания в ЦК, был озабочен срочным подысканием автора для «наступательной», весомой статьи против происков агентуры Ватикана в нашей стране. Я тотчас же вспомнил Галана, его блистательное перо и обширные познания в этой области. Борьба против воинствующего, террористического буржуазного национализма и его альянса с агентурой Ватикана была не просто предметом интереса писателя Галана, она долгие годы наполняла его жизнь содержанием и стала его гражданской страстью. Националисты видели в Галане врага номер один и очень скоро, в 1949 году, решились на его убийство во Львове.

Ярослав Александрович обрадовался звонку, согласился тотчас же приехать в Москву и сделать для нас работу: тревожно и неуютно жилось ему тогда во Львове под враждебными взглядами фанатиков-клерикалов, агентов Шептицкого и в странном, все обострявшемся конфликте с партийными и советскими организациями города. У него отобрали оружие, до того разрешенное ему, к нему стали относиться предубежденно, пьесы одна за другой запрещались. Может быть, последнее и не было направлено специально против Галана; вспомним, что на декабрьском пленуме СП СССР 1948 года по драматургии в президиуме восседали ведущие драматурги страны, и каждый с «черной розой в петлице» — с запрещенной пьесой. Но, живя уединенно во Львове, Галан остро переживал запреты. В его памяти еще живы были цензурные бесчинства — «белые» страницы в «Вікнах» и других прогрессивных изданиях — в Польше времен Пилсудского.

Мы сняли Ярославу номер в «Москве», дали аванс, и он засел за работу. Тосковал по жене, по городу, который из московской дали смотрелся светлее, редко позволял себе прогулки и одержимо писал. К этому памфлету он, в известном смысле, готовился всю жизнь, нужные материалы захватил из Львова. Большая, в несколько листов, работа родилась с необыкновенной быстротой.

На новомирском редакционном столе уже лежал русский перевод текста, когда с юга возвратился деловой хозяин редакции А. Кривицкий. Как случается любовь с первого взгляда, так возникает и

беспричинная неприязнь. Еще не зная друг друга, они друг другу не пришлись. Я заранее опасался такого поворота: за хмурой молчаливостью, за деловитостью Галана скрывалась нежная, искавшая товарищества душа; за умной и часто остроумной словоохотливостью Кривицкого — холодность, безразличие к людям. Оба были умны, оба чувствовали глубоко и тонко. В Галане не было и тени искательства, пусть даже обряженного в шутку, в любые другие одежды, которых достаточно в «гардеробах» литераторов, тем более критиков и публицистов, так зависимых от редакций.

Редактор Симонов сказал Кривицкому (а публицистику вел он), что мы памфлет прочли, надо срочно сдавать его в набор («Как только ты прочтешь...») и ставить в номер.

Кривицкий читал долго.

Галан появлялся и как-то все некстати, потом перестал приходить.

Кончились деньги: нужно платить за гостиницу, кормиться, нужно и об обратном билете подумать.

Кривицкий не торопился. Не требовал от Галана поправок, как бывало, когда хотел потянуть время или угробить материал. Не решался на разговор по существу, хотя вести такие разговоры умел с кем угодно, даже со строптивцем Эренбургом.

Я достал денег для Галана, их хватило ненадолго.

В редакцию он не навещался, глуховатый голос слышался по телефону, как из далекого бункера: в нем горечь и недоумение.

Уже обиделся и Симонов, потребовал, чтобы Кривицкий выписал Галану гонорар, еще 35 % к полученному авансу, — ведь мы приняли памфлет, — он, Симонов, редактор, принял.

Кривицкий не спорил, но и не торопился. Все как-то не складывалось, не хватало чьей-то подписи, не было на месте директора издательства, не было... наличности. Потом Кривицкий объявил, что ждет визы МИДа, а пока ее нет, материал не может считаться принятым и издательство отказывается платить. «Поторопи визу», — сказал Симонов чужим голосом.

Порядок был такой: статья или очерк, затрагивающие другую страну, посылались в МИД, но была тут тонкость: если редакция хотела быстрого ответа, без покушения «хозяйничать» в тексте, материал посылался уже набранный и сверстаный^[30]. Чиновник МИДа понимал, что дело срочное, ждет типография, текст прошел уже через многие ответственные руки. Виза получалась быстро и почти без потерь. Но рукопись, посланная в МИД, могла месяцами кочевать со стола на стол.

Памфлет Галана ушел на согласование в рукописи.

Уже Галан уехал во Львов на одолженные деньги, когда откуда-то вернулся в Москву Симонов и узнал о судьбе памфлета. Мы закрылись втроем в кабинете, — видимо, я понадобился Симонову как немой свидетель разговора.

— Почему ты послал в МИД рукопись; я просил набрать ее?

— Это не-е-е принципиально, — хладнокровно возразил Кривицкий.
— Я послал тот же текст.

— Если он тебе не понравился, почему ты молчал?

— Я не в восторге. Откровенно — не в восторге.

— Ты хитришь, а я тебе правду скажу...

— Ну-у-у...

Странная была картина: Симонов волновался, вышагивал по кабинету, Кривицкий провожал редактора и друга тяжелым, насторожённым взглядом близоруких глаз, полускрытых толстыми стеклами.

— Ты уезжаешь в отпуск, в твоё отсутствие кому-то приходит важная для журнала мысль... Нет, не кому-то, а двум твоим друзьям, мне и ему, — он показал на меня. — Нам приходит в голову мысль, мы находим автора, написан отличный очерк, а ты гроишь его, ссоришь нас с Галаном. Ты не можешь простить нам этого шага, ведь он предпринят в твоё отсутствие... У тебя отвратительный характер! И дело только в этом.

— Если я т-такой п-плохой человек, п-почему ты не гонишь меня к черту?! З-зачем держишь?

Заикание будто прибавило ему основательности и силы; разговор перешел в другую тональность: резкость и прямота опрокинули интеллигентский порыв Симонова.

А памфлет Галана вскоре был напечатан в журнале... «Октябрь».

После Москвы Галан писал мне, была обоюдная потребность объясниться, перечеркнуть недобрую память об унижениях, порожденных иезуитством Кривицкого. Галан жил в атмосфере душевной неустроенности, страдал от того, что власти отняли у него оружие, когда, казалось, в списке тех, кому оно необходимо и может спасти жизнь, он был первым человеком во Львове. Письма-исповеди, обрывки воспоминаний о подполье и партийной работе в буржуазной Польше, горестные недоумения по поводу общественной атмосферы в послевоенном Львове, которую он, сын двух эпох, двух формаций, чувствовал особенно остро, — эти письма я не мог оставить даже и при самой малой опасности обыска.

А она не исключалась. Мать Вали, Любовь Александровна, с оказией дала мне знать из Киева, что мои письма и письма, адресованные мне, взяты под контроль. Она служила на почте, и сотрудники киевского почтамта, спасая меня, предупредили Любовь Александровну об особом ко мне интересе ведомства, которому недолго учинить обыск.

Спасая меня!.. Как я гордился в ту пору, что меня не нужно спасать, и не потому, что я храбр или бесстрашен, — просто мне не пришлось менять в своих письмах ни существа, ни тона. Оболганный, я был все тот же — советский патриот, с претензией на марксистское понимание истории и современной действительности (пишу — «с претензией», так как от желания быть марксистом, от признания себя марксистом до

овладения марксизмом — дистанция огромного размера, ее не преодолели иные академики от политики...), был человеком, для которого и в снах не существовало другой земли и другой страны.

Вспоминаю приход к нам в дом на улицу Дурова, 13/1, человека, шапочно знакомого нам по Киеву. Фамилия его ушла из памяти, но визит оставил во мне острое ощущение опасности. Молодой, рослый, лейб-гвардейских стáтей человек, то ли хорист первого ряда, то ли конферансье или администратор бродячей эстрадной труппы. Ему нравилась Валя, видимо, нравилась еще в Киеве, и своей симпатии и особой мужской мягкой почтительности он не мог скрыть, даже и придя в наш дом печали с неожиданной идеей, — на сокрытие каких-то своих помыслов ему не хватало культуры, а может быть, терпения.

Он предложил мне срочно написать Ворошилову, посулив тотчас же передать письмо в руки маршала; негодовал по поводу случившегося со мной и едва ли не требовал ответного моего негодования. Он ждал, что я напишу не просьбу о «помиловании», а резкое и гневное письмо, и намекал на какие-то обстоятельства собственной службы, которые поставили его близко к Клименту Ефремовичу.

Меня насторожили его нетерпение, натиск, чувство какой-то личной оскорбленности тем, как поступили со мной. Может быть, я грешу на человека, а он в этот час был мне истинным, опечаленным другом? Может быть, приди он не в феврале, а в мае 1949 года, я и написал бы Ворошилову просьбу не выгонять меня на улицу, хотя маршал уже отошел от армейских дел и ведал... культурой в Совмине.

Но было начало февраля, и на все гневные речи гостя я спокойно отвечал, что ничего, собственно говоря, не случилось, все еще образуется, я не так самолюбив, чтобы картина мира помрачнела в моих глазах, и я не считаю, что столь высокие лица должны заниматься моей персоной...

Он ушел рассерженный, твердя, что я не откровенен с ним, а я не решался возразить, что откуда бы вдруг взяться откровенности, и тупо повторял, что быть более откровенным невозможно: искать вину в себе, терпеть, ждать, верить в то, что время и люди все рассудят, — это ли не полная откровенность!

Кто он был, февральский гость? Один из неведомых мне киевских поклонников, тайных друзей, возмущенных наветами? Провокатор, подбивавший меня на рискованную резкость? Искатель, который хотел узнать, на воле я или уже исчез?..

В романе или повести я нашел бы решение этого сюжета. Свидетельства же разума и памяти бессильны.

22

Константин Симонов напоминал о себе, звал, и каждое его движение навстречу мне было открыто. Он понимал, как важно для

меня быть впущенным в дом не с черного хода. С первых же дней он порывался помочь и материально, но, пока у нас были деньги, привезенные Виктором Некрасовым и Владимиром Добровольским, я не брал займы. Мы условились, что я обращаюсь за деньгами, когда придет нужда.

В начале февраля 1949 года я приехал к нему на улицу Горького для разговора — о будущем, о рабочих планах, о выходе из тупика.

Мы сразу же заговорили о том, что я буду писать, — так, будто я уже не первый год пишу прозу и все дело в том, какую избрать тему. Но до той поры я пробовал писать драмы и публиковал театроведческие книги и статьи. Не проведи я два года в редакции «Нового мира», я не решился бы писать прозу. Прозой, *литературой* для меня оставались бы только книги классиков, как это и было летом 1946 года, когда Александр Корнейчук озадачил меня, предложив написать заявление о приеме в Союз писателей. Я знал, как редактируются, как пишутся и переписываются пьесы, но рождение рассказа или повести оставалось для меня таинством. «Новый мир» спустил меня с небес на грешную землю. Здесь мне случилось терпеливо «вытаскивать», помогая автору, наивную, добрую по намерениям, но слабую повесть «Золототысячник», вскоре отмеченную Сталинской премией; здесь я редактировал «Трое в серых шинелях», наблюдая энергичную профессиональную редактуру рукописей прозы опытным А. М. Дроздовым. Особенно же меня поразило то, с какой живостью и сноровкой откликался на требования редактора Павел Шебунин, автор военного романа, печатавшегося тогда у нас. Он писал новые сцены, главы, страницы, и я видел, как это делается, постиг ремесленную подоплеку труда прозаика, понял, что и прозаические «горшки» обжигают не боги, получал, увы, не самые похвальные, но профессиональные уроки. И подумалось, что и я мог бы написать нечто удобочитаемое — не роман, не повесть, а живой очерк.

Но о чем очерк?

Третий год влекла меня одна тема. Я подступался к ней как киносценарист, написал для «Мосфильма» сценарий под утомительным названием «Дороги, пройденные дважды». На обеде у Симонова, когда он знакомил меня с Фадеевым, Александр Александрович спросил, чем я занят, над чем работаю. И я, изменив театральным пристрастиям, забыв о театроведческих планах заговорил вдруг о мосфильмовском сценарии, не о сценарии даже, а о недавней жизни, о двухлетней эпопее эвакуации сначала в Калмыкию, а затем на берега реки Урал украинского колхоза из Синельниковского района на Днепропетровщине. В начале войны колхозники угнали от наступающих гитлеровцев племенной скот колхозное стадо и большой табун, снялись с места и за два года — с зимовкой в Калмыкии — прошли поистине эпический путь по вздыбленной войной земле. Приехав в этот колхоз весной 1946 года, я слушал и записывал, открывшаяся мне завершенная эпопея героического *исхода* крестьянской артели

ошеломила меня. Все увиденное мною самим на военных дорогах от Равы-Русской до Сталинграда колхозные обозы, медлительные телеги, тревожное ночное военной поры, нужда, беды, чужие случайно увиденные драмы, прифронтовые госпитали, разбитые бомбами станции, — все собиралось воедино, обретало в мыслях цельность и высший смысл. Я записывал и записывал, предчувствуя, что все это не умрет во мне.

Я рассказал Фадееву о людях, которые ушли на восток от войны, тронулись на фурах, телегах, повозках; в пути хоронили умерших, погибших от бомбежек, в пути сыграли свадьбу, познали и крайнюю нужду, и бесправие, и доброту, и душевную щедрость встретившихся в дороге случайных людей. Ранней осенью 1941 года в гуртах обнаружился ящур, и люди приняли непредсказуемое по последствиям решение: заразили ящуром весь гурт и стали карантинном, чтобы пройти через болезнь всем гуртом, и снова в дорогу, на восток.

Не знаю, запомнилось ли Фадееву еще что-либо из разговоров того дня, но рассказ о военной одиссее захватил его воображение. Спустя несколько дней на собрании в писательском клубе Фадеев, сославшись на «одного киевского журналиста», с неостывшим жаром пересказал эту историю, упрекая литераторов столицы в лености мысли и неповоротливости. Я порадовался было: значит, занялся не пустяками. По неопытности я не понял, что сюжет уходит от меня, и никто в этом не виноват, только моя откровенность. Горечь пришла позднее.

Подстегнутый упреками Фадеева, за дело, не откладывая его и на час, принялся одаренный литератор Виктор Авдеев, и скоро, пожалуй, слишком скоро мы получили его «Гурты на дорогах».

Жизнь снова показала свой драматургический дар, способность связывать воедино самые далекие друг от друга концы! Ко времени выхода повести «Гурты на дорогах» Сталин высказал критические замечания по роману Фадеева «Молодая гвардия»; посоветовал автору показать в работе, в деле опытных, старых коммунистов так, чтобы героические дела молодогвардейцев не были *самодеятельностью*, а всякий час руководились старшими, и, кроме того, переписать картину эвакуации, показать ее четкой, организованной и спокойной. И в пример правильного изображения эвакуации автору «Молодой гвардии» была поставлена повесть Виктора Авдеева. Теперь и «Гуртам на дорогах» не уйти было от Сталинской премии.

Известно, как ухудшил, утяжелил роман Фадеев, затруднив его восприятие молодым читателем, как оказенил он книгу хотя и дописывал ненужные новые главы с подъемом и страстью послушания. Добровольное рабство, особенно в творчестве, не лучше насильственного, последнее хоть вызывает протест, внутреннее скрытое сопротивление, эзопову речь, добровольное же благостно, почти патетично И не скоро еще самозванные душеприказчики Фадеева,

попечители о чистоте его риз решатся возвратить читателю «Молодую гвардию» в первозданном виде.

Автор «Гуртов на дорогах» не вжился, не вмечтался в жизненный материал, не исстрадался им, он и знал-то этот материал поверхностно. Известная глухота сказала уже в том, что он перенес действие из колхоза в совхоз, не почувствовав, сколь решительно меняет ситуацию такая перестановка. У Авдеева не достало времени на свободное, вариантное обдумывание лиц, характеров и судеб; художник встал как бы впритык к своему полотну, не имея и шага, чтобы отступить, обозреть всю панораму.

А меня все еще обжигала собственная память войны — не солдатская, не окопная, а журналистская, открывшая мне во множестве и картины прифронтовые, их неповторимые дороги. Но повесть Авдеева мешала, мешал уже использованный в ней ключевой для сюжета эпизод с ящурным скотом.

В тот февральский день, советуясь с Симоновым, я начал все-таки с *гуртов*, с того, что только спустя два десятилетия стало для меня романом «Млечный Путь».

Симонов молча кивнул: мол, этот эпизод помню, что у тебя еще за душой?

Я рассказал о другом сюжете, не вполне отчетливом для меня самого, но тревожившем меня необъяснимо с осени 1943 года, когда, оказавшись в Забайкальском военном округе (округ был тогда переформирован в Забайкальский фронт), я в архивах Читы и Иркутска набрел на рапорт казачьего есаула Мартынова генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому.

Есаул Мартынов в неправдоподобно короткий срок проделал путь из Иркутска в Петропавловск-Камчатский, обогнув на оленьих и собачьих упряжках северную часть Охотского моря, Гижигинскую губу, и достиг в начале марта 1855 года Авачинского залива, доставив губернатору Камчатки Завойко приказ о снятии порта и награды — ордена славным защитникам далекого полуострова в военную кампанию минувшего 1854 года. Материалы об обороне Петропавловска-на-Камчатке были крайне скудны, и все же вырисовывалась впечатляющая картина, историческая панорама, захватывающая в свои пределы Петербург и Портсмут, Кальяо и Гавайские острова, камчатские сопки и залы Гатчины, Ялуторовск с ссыльными декабристами, «Аврору» — первый из фрегатов, получивших в русском флоте это имя, судьбы десятков храбрых флотских офицеров.

Едва я коснулся Камчатки времен Крымской войны, Симонов сказал: — Я писал об этом — не помните? Стихотворение «Поручик».

Кажется, это из книги «Стихи 1939 года», знакомой мне, но «Поручик» в памяти не удержался. Симонов снял с полки сборник, я быстро пробежал стихотворение.

Телефонный звонок оборвал наш разговор. По хмурому и чуть растерянному лицу Константина Михайловича понял, что разговор для него и сложный и неприятный. Он внимательно слушал, отвечал, что *дело сложное, что не думал об этом, что едва ли сегодня готов*, и другое в этом же роде, и неожиданно оборвал разговор сухой фразой:

— Я подумаю. Позвоню через полчаса.

Положив трубку, Симонов тяжело посмотрел на меня, будто я как-то причастен к возникшей трудности. Он помолчал, потом признался, что звонили из ЦК по поручению Маленкова: его просят сделать доклад *о борьбе с космополитизмом*. Добавил, что звонил Маслин, и это противно, отвратительно, но не станешь же проверять, звонить в ЦК, узнавать, действительно ли это просьба Маленкова... Не положено.

Разумеется, не положено! Хотя и знаешь цену Маслину, ненавидящему тебя. Не положено, когда извращены нормальные человеческие отношения, когда и писателю, редактору литературного журнала нужно слепо подчиняться чужой, переданной через третье лицо указке. Маслин мог действовать наверняка, не опасаясь проверки, звонка Симонова «наверх», — без «вертушки» это и не просто.

Наступило долгое молчание. Я делал вид, что все еще вчитываюсь в «Поручика», Симонов размышлял, поглядывая в окно. Ему не понадобилось и десяти минут, чтобы принять решение.

— Я сделаю доклад, Шура. Лучше, если сделаю его я, а не кто-нибудь другой... — Уступившая, преломленная мысль уже искала аргументов в пользу «активной позиции», честного ведения бесчестной по самому существу борьбы. — Нужно положить конец хамству, грубости, научиться спорить на другом уровне, цивилизованным языком. У нас были и есть формалисты, апологеты конструктивизма, те, кто раболепствовали перед западной культурой, и говорить нужно о них...

Уже что-то выстраивалось в его голове, обретало черты законного, чистого спора, спора по «гамбургскому счету», по справедливости, уже он был психологически *задействован*, в который-то раз отмечен высоким доверием.

Не знаю, как выглядел я в эту минуту, что он мог прочесть на моем лице — растерянность, испуг, недовольство? Не знаю, но, отведя от меня взгляд, Симонов сказал:

— Сделав доклад, я стану сильнее. Я смогу помогать людям, а это сегодня, может быть, самое важное.

И он позвонил в ЦК.

Больше об этом мы не заговаривали до моего ухода. Вернулись к Камчатке, будто не было зловещей перебивки и впереди не маячил доклад, так угнетавший его впоследствии.

— Не трогайте пока нашей войны, — посоветовал мне Симонов. — Эта книга у вас сейчас не напишется. «Гурты на дорогах» помешают, и

не только они. Вы психологически зажаты, несвободны, будете не правду писать, а доказывать свой патриотизм... Поживите несколько лет в XIX веке, с офицерами и матросами русского парусного флота: славный, стоящий народ, и ничто вам мешать не будет. Отдохнете душой, — усмехнулся он, — тоже ведь полезно, а через несколько лет, если не остынете к гуртам, напишете и это.

О «Поручике» сказал снисходительно, что испытывает к стихотворению нежное, доброе чувство, хотя многое в нем писано по наитию, дофантазировано, этой страницы истории он не изучал. А я думал о том, что, скорее всего, послушаюсь совета Симонова. Материал для *гуртов* собран: записи, наблюдения, выписки из дневника колхозного счетовода Шовкопляса и т. д., все обдумано за полтора-два года работы над сценарием, остается засесть и писать. Не нужна библиотека, книги, карты, только перо и профессиональное умение. Откуда ему взяться в потрясенной душе? Писать — страшно.

А за камчатский сюжет сразу не возьмешься. Пройдет самое малое полгода, думал я, пока законспектирую сотни книг, журналов, сборников, альбомов, публикаций, архивных документов, пока у меня появится стопа толстых тетрадей с выписками и зарисовками и картотека — ключ, расшифровка ко всему этому, уже мне принадлежащему, обжитому миру прошлого. Такая, научная по характеру, работа мне хорошо знакома, ею я и займусь яростно, за день перелопачивая недельные груды своего «зерна». Узнаю все или почти все о предмете и, если меня не хватит на прозу, на художественное повествование, напишу документальную книгу, дам подробный рассказ о подвигах защитников Камчатки, о камчатской победе в те самые дни, когда царизм терпел жестокое поражение в Крыму.

Прощаясь, я сказал Симонову, что, скорее всего, примусь за Камчатку. Пожимая мне руку, он попросил:

— Пожалуйста, не приходите на мой доклад. Если придете я вынужден буду говорить о вас и больше и жестче.

— Не приду, даже если бы вы попросили прийти, — ответил я. — Я не читаю того, что о нас пишут, не стану читать и вашего доклада, я не поклонник фантастики.

23

Я не пришел 18 февраля в Центральный Дом литераторов на собрание драматургов и критиков Москвы, хотя устроители собрания настойчиво требовали меня к ответу, «на ковер». Я не боялся публичности, но в душе человека, выброшенного к этому дню из партии, лишеного заработка, уже свершилась подспудная работа, прибавившая мне сил и упорства. Мне нечего было искать у суровых и софроновых, тогдашних вершителей судеб, никто не мог изменить моего взгляда на нищету их духа и слова, никто не заставил бы меня

говорить о «Московском характере» или «Зеленой улице» иначе, чем я говорил полтора года назад в том же здании ЦДЛ.

Наступившее время знало только одну форму «самокритики» — тупое, самоистязательное признание несуществующей «вины». Унтер-пришибеевские оценки в газетных отчетах выступлений на этом собрании В. Шкловского, И. Юзовского, Л. Малюгина, Г. Бояджиева — лучшее тому доказательство. «Пигмей Юзовский посягал на титана Горького, пытался извратить его творчество в своих клеветнических книжонках» — вот заимствованный из речей разоблачителей образчик «полемики» («ЛГ», 1949, 26 февраля). А речь-то ведь шла о серьезном исследовании Юзовского, переизданном позднее, по окончании погрома и, увы, по смерти автора.

«Неистовые ревнители» собственного благополучия, пламенные трибуны погромного собрания в ЦДЛ не читали и не раскрывали — судя по их речам — пинаемых книг, не имели о них даже реферативного представления, элементарная осведомленность могла бы только помешать нечистому делу. Приведу коснувшийся лично меня пример. «Диверсант от театральной критики, литературный подонок Борщаговский, — изрек на собрании 18 февраля Софронов, — долгое время наносил вред советскому искусству и драматургии. В книжке „Драматические произведения Ивана Франко“ Борщаговский клеветает, что не живая жизнь и благотворная взаимосвязь с передовой русской литературой определили творческие искания прославленного украинского писателя, а якобы прежде всего западные влияния. Борщаговскому наплевать на то, что Иван Франко стоял на более передовых идейных позициях, чем западные драматурги. Захлебываясь от восторга, Борщаговский пытается доказывать, что украинский драматург Тобилевич (тут Софронов, сам того не понимая, заговорил о другой моей книге — „Драматургия И. К. Тобилевича“) является всего лишь подражателем и выучеником Лессинга, Гауптмана, Хольберга и т. д. и т. п. Ему наплевать на то, что не Лессинг, а Белинский был для Тобилевича великим авторитетом в вопросах эстетики. Разбойник пера, подвизавшийся во многих литературных, театральных организациях, был членом редколлегии журнала „Новый мир“, заведовал литературной частью Центрального театра Красной Армии» («Правда», 1949, 27 февраля).

Обе мои книги не переводились с украинского на русский язык, Софронов не мог и краем глаза заглянуть в эти «клеветнические книжонки», а его подручные если и заглянули, то в подстрочные примечания, где среди многих десятков славных имен и книг отечественных, многократных ссылок на статьи Белинского, Добролюбова, Чернышевского, на труды Ленина, Плеханова, Энгельгардта, на пьесы Пушкина, А. Островского, Тургенева, Гоголя есть, разумеется, и ссылки на Ибсена, Лессинга, Гауптмана, а в связи с комедиями Тобилевича попутные размышления о Мольере, которого

Тобилевич читал, и о Людвиге Хольберге («датском Мольере», по выражению Маркса), о существовании которого Иван Тобилевич и не подозревал. Классический лжец не должен смущаться, что в его словах нет и тени правды. Чем безнравственнее ложь, чем меньше даже отдаленных точек соприкосновения с ним — тем лучше! Никто не станет спорить, размышлять, доискиваться правды, а лжец, впервые и не без труда произнеся малознакомые имена Лессинга или Хольберга, пафосно заступаясь за поруганную «беспачпортными бродягами» честь братьев славян Ивана Франко и Ивана Тобилевича, покажется иному простаку эрудитом, а то и интеллигентом. А ты — «пигмей». Ты, оказывается, не трудился, а «подвизался», ты как тать пробрался в редакционную коллегию «Нового мира» и в святой храм искусства — ЦТКА! Ты не защищен ни законом, ни правилами морали. Глубоко убежденные в том, что спор ведется с гражданскими «покойниками», что совсем близок тот день, когда всех нас, а не только сомнительных для генерала Шатилова «стариков», заметут и за нами закроются двери тюремных камер, разоблачители палачествовали почти безрассудно. Все, что они говорили, преследовало единственную цель — не духовное очищение, а прямое подталкивание к репрессиям против «безродных космополитов».

Гонители «безродных космополитов» не ограничились злобным, безграмотным перетолкованием чужих книг. Как ни тужься, из почтительного отношения к Лессингу и даже к совсем малоизвестному Людвигу Хольбергу не состряпать политического дела о преступной антисоветчине. Необходимо было *окончательное решение вопроса*, крайнее усилие, после которого у жертвы, оказавшейся за лагерной проволокой, не будет шансов доспорить. И тогда изобретались опасные «признания» или никогда не писавшиеся письма.

За годы работы в театральной критике мне не привелось ни бывать в Белоруссии, ни переписываться с кем-либо из белорусских драматургов. Но это не помешало Софронову выступить на собрании с чтением фальшивки — письма, якобы «посланного Борщаговским одному белорусскому драматургу». «В вашей пьесе советские люди слишком щедро излагают свои мысли и идеи: драмы не допускают словесного выражения идей... Лучше идти по пути ремесленничества. Только не загружайте головы действующих лиц всякими актуальными проблемами... Вы идеализируете советских людей, это переходит в сентиментальность» («ЛГ», 1949, 26 февраля). Это уже, если принять на веру фальшивку, вредительские советы, растление простодушного белорусского драматурга. Тут уже пахнет жареным.

Как возвышался над изолгавшимися ораторами-литераторами генерал Сергей Шатилов, заместитель начальника ГЛАВПУРа, он сохранил человечность и здравый смысл.

Но если он, приехавший заранее в ЦТКА, чтобы образумить меня, посоветовать не затруднять хода собрания, а в душе желал мне на другом этапе благополучного рассмотрения моего партийного дела, то «коллеги»-писатели мечтали единственно о расправе, о костоломстве, о превращении в «лагерную пыль» всех, кто не преклонил коленей перед их сочинениями.

Чувство стыда охватывает меня, когда я сегодня перечитываю стенограмму своего доклада 1947 года о московских юбилейных премьерах и запись другого доклада — 1948 года — на двухдневной творческой конференции драматургов, критиков и деятелей театра. Сколько же в моих оценках компромиссов, вольных и невольных послаблений, уступок конъюнктуре и стереотипам, уклончивых вздохов там, где впору было заговорить языком сатиры или фельетона; сколько покровительства, но не барственного, не начальственного, — покровительства усыпленной мысли; как я приноровился жить внутри драматургии, упавшей так низко, что воздух жизни ушел из нее и дышать актеру стало нечем.

Как же случилось такое: люди, едва ступившие на труднейший путь драматургии, захотели сразу всего — признания, наград, денег, почестей, неприкосновенности? Как отважились они действовать палачески круто, мстительно, доносительски, перенеся в область литературы нравы охотнорядцев? Как им удалось, пусть на время, одержать победу, очернить множество честных людей и праздновать — истово, запойно, безоглядно, как и случается с калифами на час, с теми, кого и в праздник гложет — не совесть, нет, — а трусливое подозрение, что этот их набегом захваченный мир непрочен и возмездие неотвратимо?

Ни одно прежнее поколение драматургов не вело себя так, даже и в рапповскую пору, не устремлялось так жадно к вожаденной «финишной» черте, за которой слава и благополучие навсегда. Ни надсадного суровского хрипа, ни вытянутых жил, готовности ко лжи и провокации не было у драматургов прошлого. Художники шли своей, достаточно тернистой дорогой; не говорю уже о трагическом, «минированном» пути пьес Булгакова, но и Афиногенов пришел к успеху «Чудака» после многих опытов, а в зените успеха столкнулся с запретами, с неудачами. И Погодин мучительно вглядывался в жизнь, писал свое, то, чего не умел никто другой (только *исписавшийся* Погодин, разрушенный алкоголем, «опрометчиво» не поддержавший Фадеева на пленуме 1948 года, вскорости после статьи «Правды», заматавшись, выступил на собрании 18 февраля 1949 года и предал двух своих друзей — критиков Гурвича и Юзовского, глубоко и увлеченно писавших о его пьесах тридцатых годов). И Леонид Леонов с кровью вырывал — и не всегда живую, уцелевшую — почти всякую свою пьесу из тисков Главреперткома.

Всякое бывало в прошлом советской драматургии: от напористого и поверхностного Киршона, призывавшего с трибуны партийного съезда говорить с «Пильняками» с наганом в руке и вскоре трагически закончившего свою жизнь в застенке, от темпераментного Мдивани, при штате литсотрудников, включая «переводчиков» на русский, как правило, не помянутых нигде, кроме денежных ведомостей УОАПа, до баловня судьбы Александра Корнейчука, чей дар был буквально загублен роковыми для него условиями наибольшего (не абсолютного ли?) благоприятствования. Всякое бывало, но никогда еще не было таких сноровистых молодцев, которым удалось бы выдать себя за поколение драматургов, свои неловкие шаги за поступь самого времени, связать со своими потугами престиж советского театра, двинуть на свою защиту печать, идеологический аппарат страны и в конечном счете государство.

Дело не в особых организаторских талантах этих людей, не в сказочной удаче — все куда серьезнее. После победы над фашистской Германией власть Сталина — давно непререкаемая, самодержавная — вступила в последний, закатный, как показало время, этап. Здравому смыслу в такие периоды нет места. Нет ни времени, ни права на размышление, на споры, даже в специальных областях, в науке или искусстве. Духовно все замерло, несмотря на видимость кипучей деятельности, все замерло в ожидании слова вождя, его кивка или нахмуренной брови. Все — *политика*, все — открыто взгляду гения, а чего не успеет оценить он, доскажут соратники, и каждое их слово тоже обретет силу закона, — они его рупоры, они не могут сказать ничего такого, что бы не выразило и его мысль, не было отсветом его гения. Любое слово Молотова или Жданова годилось для цитирования, вторгалось в нашу жизнь, как истина абсолютная и непререкаемая.

Могли ли ошибаться люди, стоявшие во главе истекавшей кровью, воевавшей и победившей страны? Святотатственный вопрос! И вот уже тираническая, но дилетантская мысль, дурной вкус и воинственное незнание, поднятые на державную высоту, командуют гуманитариями и биологами, физиками и кибернетиками, поэзией и прозой, драматургией и даже музыкой. Жестокий и тупой суд над творчеством сильнейших композиторов века принимается на веру не только людьми, далекими от искусства, но и теми, кто по праву принадлежит к художественной интеллигенции.

Опустошительные «кампании» следуют одна за другой. Карательные акции больше не носят ограниченного, локального характера. Они — пронзительный луч «истины», коему надлежит проникать сквозь любые стены и преграды, высвечивать *явление как таковое*, изничтожать сходственное, близкое или похожее, карать тех, кто не готов шарахнуться и предать свои убеждения. Враги — космополиты, формалисты, вейсманисты-морганисты, носители «вредоносных» теорий в языкознании, в экономической и исторической

науках — фабриковались с легкостью необыкновенной, и тут же приводилась в движение армия журналистов, критиков, толкователей, инквизиторов, легко штамповавшая «врагов» при малейшей в том нужде.

В тупой и однообразной череде этих акций, в их параноической истовости выразилась пора физического заката Сталина. Все должно возникать и родиться по мановению, и нет времени ждать созревания плодов, рождения выдающихся художественных произведений — они должны появиться, их не может не быть в такое благословенное, судьбоносное время. Сгноите жалких людишек, пигмеев, посмевших не восторгаться великим апофеозом, встревожиться судьбой МХАТа, критиковать одобренные пьесы, посмевших внести в патетическую симфонию времени новые, непривычные звуки, этакий «сумбур вместо музыки»!

Времена заката, падения всегда стремятся выглядеть величественными и пуритански-нравственными, на деле же они отмечены моральным распадом, выходом наружу нечистых страстей. Сталин, издавна испытывавший неприязнь к евреям, долго загонявший внутрь свою нелюбовь (до смерти Ленина в руководстве партии любые проявления юдофобства или шовинизма были невозможны, и после единственно возможная для него позиция интернационалиста томила и держала его в известной стесненности), в пору заката дал выход жадной, ненасытной нелюбви.

В разгроме «безродных космополитов», одной из последних акций сталинизма, национальный вопрос сыграл важную, если не определяющую роль, хотя истребительная война и повелась против *мысли* как таковой, против любых проявлений духовной независимости. Вольный дух и иронический ум русского Малюгина, оскорблявшая невежд эрудиция армянина Бояджиева, гордая, дерзкая до ребячества самостоятельность Дайреджиева были так же ненавистны суровым и софроновым, как и острый, скептический ум еврея Юзовского, и равно подлежали истреблению.

Времена заката торопливы и судорожны. Они не только вытолкнули на поверхность Софронова и Сурова, но и подсказали им тактику, формы ведения борьбы, далекие от литературы и духовности вообще, близкие к политической провокации. Когда шел декабрьский пленум 1948 года по драматургии, Суров уже знал, что может рассчитывать на поддержку Фадеева, но едва ли предполагал, что художник Фадеев пойдет так далеко в категоричности лживых оговоров. «Мы будем судить вас не только за то, что вы напечатали, — грозил в своей речи Александр Фадеев, — но и за ваши речи на собраниях и обсуждениях; не только за то, что вы произносили публично, с трибуны, но и за все ваши слова в кулуарах!»

Люди, не знающие меня, не поверят, что я действительно за январь — апрель 1949 года из всех «антикосмополитических» публикаций прочел только редакционную статью «Правды» — сочинение Д. Заславского и А. Фадеева. Почти ничего не читал и Абрам Гурвич. Страсти, доходившие до него через жену, он упрямо отстранял от себя: он хотел работать, мыслить, жить достойно, не опускаться до злобствования, сколь бы оправданным оно ни было. Иначе жил ошеломленный несправедливостью, нервный, не склонный к самокритике Иосиф Юзовский. Всегда на людях, в гуще толков и пересудов, со странной надеждой или убежденностью, что завтра, не далее как завтра, все переменится, раздастся громкий отбой и ему принесут извинения.

Правда, прибавлял он с некоторого времени, если это завтра наступит для него. В первые же месяцы травли он пережил потрясение. Среди ночи в дверь трехкомнатной квартиры в Лаврушинском переулке, где одну из комнат занимала одинокая сестра погибшего на фронте поэта, громко позвонили. Пришли сотрудники НКВД с понятыми. Сердце упало, не было сомнений — это за ним. А в одной из комнат спал Миша, малолетний сын, на кого оставить его среди ночи?..

Арестовали сестру поэта. Но зная, что жилплощадь, «освобождаемую» таким образом, отдают в распоряжение не Моссовета, а органов, Юзовский уже не смог вернуть себе и домашнего покоя. Появится сосед, сотрудник, скорее всего семейный, каково же будет ему тесниться в одной комнате в то время, как «пигмей Юзовский» роскошествует с маленьким сыном в двух комнатах среди дорогих редких книг, которые, увы, не довели его до ума! И как много есть способов для энергичного соседа-новосела, человека с **инициативой**^[31], освободить для себя и две другие комнаты.

Не похвалюсь, что мое равнодушие к публикациям по нашему адресу было столь же благородно, как безразличие Гурвича, что я, как и он, с первого же дня искал причину случившегося в себе. Мною двигало другое: удивление, странное неверие во все, что случилось и длится. Поначалу, до выселения, пока мать жила с нами, мне мешали и ее активность, воспаленная готовность с утра до вечера возражать газетам, оспаривать вымышленные обвинения, оценки, подробности, и я занял непримиримую позицию, пригрозив вообще отказаться от газетной подписки. Друзья, приходившие к нам на улицу Дурова, а после отыскивавшие нас в любой подмосковной дыре, с облегчением приняли наше домашнее обыкновение: в «доме повешенного» не говорить о веревке.

Но главным был рабочий мотив: приняв решение писать, видя только один выход из беды, отказавшись от искушения писать жалобы

и апелляции, я исключил все, что могло мне помешать. У меня так стремительно отняли все, что посчитать себя непричастным текущей жизни было не так уж трудно. Какое-то время меня донимали искушения, но однажды в Ленинке мне попался на глаза номер «Советского искусства», я увидел на четвертой полосе тот самый крупно набранный заголовок «Двурушник Борщаговский» и отдернул уже потянувшуюся к газете руку. После этого отказ от чтения «космополитических» сенсаций стал для меня законом.

Так среди множества публикаций — передо мной в году 1987 лежали 62 важнейшие вырезки из центральных, ленинградских и киевских газет (материалы архива Ионы Савельевича Новича^[32]), — я пропустил обширные отчеты о докладе Симонова и его четырехколонник в «Правде» от февраля 1949 года, статью, представляющую собой сокращенный вариант доклада «Задачи советской драматургии и театральная критика». Все в моей жизни ужесточилось бы, прочитай я доклад Симонова в те дни: я не оставил бы начатой работы, но оказался бы в невольной растерянности, не представляя себе, к кому я подамся с законченной рукописью. С Симоновым я связывал надежду на справедливое к ней отношение, хотя бы на самых первых порах. Его открытое, даже демонстративное общение со мной в 1949–1953 годах было для меня граждански целительно. При встрече, уже после его доклада, он посмотрел на меня как-то озабоченно, быть может приготавясь к объяснению, но на моем лице не увидел ни обиды, ни хмурости и сам вдруг заговорил о собрании, о провокационном выступлении Якова Варшавского и о том, что Ромашов изругал его, Симонова, за то, что он «коснулся Борщаговского перстами легкими как сон»...

Что ж, хорошо, что перстами легкими. Согласившись выступить с докладом, Симонов обязан был исполнить иные неперемные па ритуального идеологического танца. Но нападки Б. Ромашова, взбешенного моим неприятием его пьесы «Великая сила» (старой мелодрамы, наспех и неловко перекрашенной под злобу дня), видимо, принудили Симонова к более решительной самокритике в заключительном слове. Он повинно склонил голову, «указав на собственную серьезную ошибку, как редактора журнала „Новый мир“, выразившуюся во введении в 1946 году в редколлегия журнала Борщаговского и напечатании нескольких его статей, расценивая это как проявление со своей стороны недопустимого либерализма» («ЛГ», 1949, 26 февраля). Время не терпело гордыни ни в ком.

Верная своему январскому запеву, «Правда» напечатала подробнейший отчет о собрании московских драматургов и критиков под примелькавшимся уже заголовком «До конца разоблачить космополитов-антипатриотов».

К. Симонов рассчитывал повести спор цивилизованным образом. Напрасная надежда. Она потерпела полный крах. Я любил и люблю

Симонова, высоко ценю его незаурядную личность и горжусь былой дружбой с ним. Это обязывает говорить откровенно.

Цивилизовать разнузданную кампанию, освященный Сталиным двойной погром — идеологический и национальный — Симонову не удалось. Ничего не изменилось от того, что на час-другой из ораторского лексикона выпали грязные, площадные слова, так естественно звучавшие в устах Софронова. Вина за введение в «культурный» обиход грубой брани ложится не на Софронова или Сурова — у них обнаружили авторитетные наставники, музицировавшие, претендовавшие на интеллигентность и выступавшие публично так же грубо. Вот как говорил и что печатал о Михаиле Зощенко А. А. Жданов за три года до гонения на «космополитов»: «Мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта... как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?... Только подонки литературы могут создавать подобные произведения... Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку...» Вину за низкую брань в адрес Зощенко и Анны Ахматовой мы привычно кладем на А. А. Жданова, забывая, что и тут авторство принадлежит Сталину. Это он, придирчивый цензор журнала «Звезда», всегда следивший ревнивым и подозрительным взглядом за «крамольным» Ленинградом, он, взбешенный непонятым рассказом Зощенко, вызвал на расправу в Москву партийных руководителей Ленинграда, главу писательской организации А. Прокофьева, редактора «Звезды» Виссариона Саянова, секретаря парторганизации Капицу, кое-кого из руководителей СП СССР (А. Фадеева), учинил разнос и в Кремле выкрикнул все бранные слова, которые затем А. А. Жданов раболопно повторил в Ленинграде.

Когда так объясняются первые лица государства, стоит ли удивляться, что Софронов ухитрился в одной фразе обругать «безродного», на кого уже спущены псы реакции, *подонком литературы, бандитом от критики и разбойником пера!*

От «неругливости» доклада Константина Симонова существо дела не облегчилось: напротив, атакам озлобленных мещан и корыстолюбцев была придана видимость историзма и учености. Расширился круг «нечистых», отыскиались их *предтечи*, их корни в тридцатилетней истории советской литературы и культуры. Фадеев мог быть доволен другом, начатой им непристойной, в сущности, борьбе прибавились внешние черты корректности, интеллигентности. А это немаловажно: в глазах интеллигенции страны дело компрометировалось чересчур нецивилизованными приемами и языком суровых, софроновых и первенцевых. Они не выбирали слов, бодро вели дело к крайним, репрессивным мерам, но сомневаюсь, чтобы того же хотел Фадеев! (С него хватало кошмаров 30-х годов, призраков бывших

товарищей и попутчиков, однажды, солнечным переделкинским днем, позвавших его за собой.)

«Таковы они все, — сказал Симонов, поименно перечислив нас, персонажей статьи „Правды“. — Мелкая злоба и самодовольная наглость сквозят в каждом их отзыве о лучших наших советских пьесах. Все эти оголтелые враги социалистического искусства, как точно охарактеризовал их деятельность А. А. Фадеев на последнем пленуме Союза писателей, подшибали ноги передовым драматургам, окружали их атмосферой недоброжелательства, враждебности». Цитирую по отчету «Литературной газеты», допускаю, что Ермилов и его присные внесли от своих щедрот такие обороты, как «самодовольная наглость» (вместо «самодовольство»), «оголтелые враги» (вместо «противники»). Но вчитаемся в авторскую статью К. Симонова, и ничего по существу не поменяется. Делать это тяжело, но необходимо: нужно не только измерить степень губительного компромисса со злом, но и попытаться отыскать его корни.

С Софроновым все ясно? Кто около полувека наблюдает за его карьерой, помнит и знает, что только чудо и выручка влиятельных покровителей не раз помогали Софронову выбраться из тяжких затруднений дурного толка и не только пребывать в литературных «верхах», но и стать лауреатом Сталинских премий и даже... Героем Социалистического Труда. Ушли из жизни, не став Героями, выдающиеся художники, поистине великие труженики Вс. Иванов, Мих. Пришвин, К. Паустовский и другие, а версификаторство Софронова — в поэзии и драме — поднято до державных вершин. Вот цена не служения, а прислужничества.

Чем же обернулась мнимая цивилизованность доклада?

Повторив за «Правдой» наши фамилии, К. Симонов сказал: «Преступная работа этих людей, находящихся вне пределов советского искусства, разоблачена партией и партийной печатью, об этой группе и о ее антипатриотических взглядах много и подробно писалось во всей нашей печати. Тем не менее следует подчеркнуть еще раз, что одна из самых вредоносных сторон деятельности группы критиков-антипатриотов заключается в том, что они были именно группой, что они поддерживали друг друга в своей враждебной советской драматургии деятельности...»

Да, не площадная брань, но нечто поопаснее, «преступная работа...», «вредоносная деятельность»... Сколоченная, организованная группа, объединенная преступной целью и «вредоносной деятельностью», — не готовый ли это материал для следователей по особо важным делам? При этом названы люди, которых Симонов, как, впрочем, и Фадеев, в глубине души не считал ни врагами, ни вредителями, назван был и я, человек, которого Симонов узнал до войны, встречал на войне под Сталинградом, пригласил в редколлегию «Нового мира». Он наблюдал мою открытую московскую

жизнь на протяжении двух лет, понимал, что во мне нет никакого душевного подполья, — каково было бы ему жить, обнаружив вдруг, что члены злокозненной «группы» арестованы (а почему бы и нет?!), изъяты из «обращения» как враги? Как радуюсь я и за него, что этого не случилось! А в 1979 году, больной и на пороге смерти, Симонов запишет: «...я был человеком, с самого начала не разделявшим фадеевского ожесточения против этих критиков» («Знамя», 1988, № 4, с. 73). Вот поразительная подробность, вдруг высвечивающая драму тех дней: самогипноз и самовзвинченность, позволяющие говорить о людях с крайним ожесточением, не испытывая ожесточения в душе.

Мы подошли к сложнейшему узлу: историческому, социальному, психологическому, к трагедии сотен тысяч людей, и не в чрезвычайных обстоятельствах апокалипсиса 1937 года, а в самый обычный день, среди прерванных вдруг дел и забот. Ведь за два дня до статьи «Правды» именно Симонов сообщил мне горькую новость об изгнании меня из редколлегии; сообщил как равному, как товарищу, с непритворной болью, и после, годы и годы, относился ко мне как к попавшему в беду другу. Как же это связать с фантастическими и страшными по существу оценками? Возможно ли такое?

Да, возможно, возможно для любого, возможно тогда, возможно и сегодня в меняющейся, что ни говори, жизни. Возможно, едва ты согласишься сделать нравственность и этику покорными — не покорными даже, а лакействующими — служанками политиканства. В те дни ни одна статья не обходилась без обильных сталинских цитат. «Товарищ Сталин учит, — писал Ф. Головенченко в журнале „Большевик“ № 3 от 15.II.49 года в статье „Высоко держать знамя советского патриотизма в искусстве и литературе“, — нам нужна такая самокритика, которая подымает культурность рабочего класса, развивает его боевой дух, укрепляет его веру в победу, умножает его силы и помогает ему стать подлинным хозяином страны. Но есть и другого рода „самокритика“, ведущая к разрушению партийности, к развенчанию советской власти, к ослаблению нашего строительства, к разложению хозяйственных кадров, к разоружению рабочего класса... Нечего и говорить, что партия не имеет ничего общего с такой „самокритикой“. Нечего и говорить, что партия будет бороться против такой „самокритики“ всеми силами, всеми средствами»

Формула дана, тупая и бессмысленная, но страшная возможностью мгновенно наполниться лихорадочной деятельностью, костоломством и кровью. Вопрос только в том, как высоко положение того, кто объявит ваш взгляд, ваши совестливые размышления, вашу критику действительности (пьесы, спектакля, романа) самокритикой в кавычках, то есть вредной, разрушительной, злонамеренной. Доказательств не потребуется. Если по «кодексу» Вышинского возможен смертный приговор без доказательств, то какие, к дьяволу,

нужны особые доказательства идеологического вредительства «безродных космополитов»! Не жирно ли им будет?

Вы обеспокоены падением искусства МХАТа, встревожены именно потому, что всегда любили и любите этот театр, вы испытываете боль от того, что на прославленную сцену, где звучало слово Л. Толстого, К. Гамсуна, А. Чехова, М. Горького, М. Булгакова, Вс. Иванова и других мастеров, все чаще проникают пьесы безъязыкие, жалкие, конъюнктурные, мусорные, вы только заикнулись о своей тревоге со всей возможной деликатностью, а в ответ комьями грязи летит злобное: «Пигмей!», «Клеветник!», «Антипатриот!», «Беспачпортный бродяга!»

При первом знакомстве с Фадеевым я именно от него, читатель уже знает это, услышал, как печалилась его жена, талантливая, умная Ангелина Степанова, репетируя главную роль в пьесе А. Корнейчука «Мечта». Он, Фадеев, диву давался, прочитав пьесу, но помочь Ангелине не смог. Вот заботы жрецов, посвященных, людей *государственных*, им позволено многое знать, ведать, но, когда раздастся голос с горы, они и не попытаются возражать или спорить, им дано, став во фрунт, принять надлежащие карательные меры. Не опасно ли поучать Корнейчука, что-то ему советовать, если сам Сталин заказывает ему пьесы («Фронт»), читает его творения, откликается на них письмами и даже, даже дарит от щедрот своих две-три функциональные фразы, сразу же, как редкие драгоценности, вставляемые в реплики и монологи («В степях Украины»)! МХАТ и Малый театр — даже для Фадеева — заминированные поля; когда еще придет Сталин, что-то он скажет? Лучше помолчать. А эти, несытые, безвластные критики, серая скотинка, эти людишки без рода и племени позволяют себе рассуждать о спектаклях МХАТа, осуждать пьесы, идущие на его сцене, возвышать голос...

Кто-то скажет: Фадеев предал товарищей во имя высокой цели. Он был близким другом Альтмана, издавна дружил с Гурвичем, был на «ты» с Мацкиным, совсем недавно читал им — Александру Мацкину и Абраму Гурвичу — главы еще не опубликованной «Молодой гвардии». Видимо, как художник он нуждался в их понимании, поддержке или критике. А спустя год они — *враги*, вроде бы давние враги, закоренелые клеветники, злопыхатели, заматеревшая агентура растленной буржуазной культуры. Абсурд, все это никак не вяжется, но сталинская формула «самокритики» свяжет и не такое, а Фадеев возвысится до античного героя; ведь «истины» ради, во имя партийности он пожертвовал не первыми встречными, а вчерашними друзьями.

Трагедии происходят между своими, мудро заметил Аристотель. Конфликт случайно встретившихся людей едва ли достигнет трагической силы, но когда рвутся прочные связи, связи родства, крови, единомыслия, — трагедия неотвратима. Кошунственную игру

политиканов никак не отнесешь к трагедии, здесь много пошлости, неразборчивости, компромиссов, малодушия и нет трагического героя. Есть жертвы и есть их истязатели.

Вторую важную для наших судеб сталинскую цитату Симонов приводит в конце своей статьи: «Товарищ Сталин на Пятнадцатом съезде ВКП(б) говорил: „Всегда у нас что-либо отмирает в жизни. Но то, что отмирает, не хочет умирать просто, а борется за свое существование, отстаивает свое отжившее дело. Всегда у нас рождается что-либо новое в жизни. Но то, что рождается, рождается не просто, а пищит, кричит, отстаивая свое право на существование. Борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, — вот основа нашего развития. Не отмечая и не выявляя открыто и честно, как это подобает большевикам, недочеты и ошибки в нашей работе, мы закрываем себе дорогу вперед. Ну, а мы хотим двигаться вперед“».

В те времена многим подобные рассуждения казались верхом мудрости, философской и политической прозорливости. «Счастье наше, что нами руководит великий гений человечества товарищ Сталин, — изрек на собрании драматургов Аркадий Первенцев, — великий философ и наш друг. Он вовремя указывает, каким образом мы должны расправляться с врагами и двигаться дальше». Литературный «комбинатор» Суров, предоставлявший другим право писать за него пьесы; Первенцев, к драматургии попросту непричастный; Софронов — унылая посредственность, автор пьес, чья жизнь «длится» только в не востребованных томах его собраний сочинений, — вот, оказывается, кому, по Сталину, назначено было «кричать и пищать», «отстаивая свое право на существование». А театральная критика была приговорена к «отмиранию» и, разумеется, не хотела «умирать просто», отстаивая «свое отжившее дело».

Почему я говорю обо всей критике? Газета «Правда» обозначила группу из семи человек. К. Симонов спустя три недели, всякий день обнаруживая в газетах новые имена «антипатриотов», их грязных пособников и «потатчиков», уже назвал эту «группу» только «*ядром*» критиков-антипатриотов. Он и сам не смог бы назвать больше двух-трех «чистых» имен, не затронутых «тлетворным, разлагающим» влиянием. Идеологический мор уже не выбирал жертв, рядом с «безродными» падали и «родовитые», чем-то не угодившие то Б. Ромашову, то Вс. Вишневскому, а то и братьям Тур вкупе со следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР драматургом Шейниным. Кто-то нарушил аптекарскую дозировку похвал и критики и уже взят на мушку; в Москве или Ленинграде, в Киеве или Иркутске, в Минске, в любом городе, где есть театр и газета, он будет обличен и причислен к нечистым. Фадеев и Симонов не могли не заметить, что удар наносится по всей критике, по ее святым правам и обязанностям и

ее профессиональному достоинству, хотя, по видимости, огонь ведется лишь по «безродным».

Это надо помнить потому, что погромы критики — явление закономерное. Математики могли бы, вероятно, вывести формулу, создать временную модель этих погромов: по мере умножения служащей посредственности и ее продукции недостаточно создавать нестерпимые условия для существования высокой и честной литературы — Платонова или Булгакова, Пастернака или Зощенко и т. д., — способной любить свою землю и народ, не лстя его начальству, — нужно непременно взнудать, «образумить» критику. По роду занятий она призвана размышлять самостоятельно, сомневаться, верить произведения искусства жизнью и высокими общечеловеческими идеалами художественности.

Увлечшись поисками «некоторых теоретических корней всей системы оценок критиков-антипатриотов, враждебных советскому искусству», К. Симонов вспомнил книгу Виктора Шкловского «Гамбургский счет», конструктивистские увлечения Корнелия Зелинского и других, кто жил, искал, впадал в эстетическую «ересь», создавал художественные программы и отрекался от них, одним словом — был человеком! При таком широком захвате уничтожающей борьбы против науки и критики, от Всеволодского-Гернгросса до его антипода В. Шкловского, от Бояджиева и Юзовского до перепуганного насмерть рецензента какой-нибудь городской газеты, которого не спас и псевдоним; при таком размахе и разгуле борьбы очень скоро не осталось живого, пощаженного колоса на без того тощих полях театральной критики, а следом и всякой другой — литературной, музыкальной, архитектурной, художественной...

Приведем, вслед за Симоновым, то, что он назвал «воинствующей, буржуазной, реакционной программой» В. Шкловского, — злокозненный абзац из книги 1928 года «Гамбургский счет»: «„Гамбургский счет“ — чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе. По гамбургскому счету Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города. Горький сомнителен (часто не в форме). Хлебников был чемпион»^[33]. Легко представить себе, как докладчик комментирует эти строки, словно забыв, что от их появления прошло два десятилетия, забыв о резких словах Маяковского в адрес Горького, об обязанности литератора спорить, доказывать, убеждать. В этом нет нужды; достаточно напомнить о Серафимовиче как о «писателе-коммунисте» и авторе «Железного потока», а «обидные» для Горького слова обозначить во времени — сразу же по возвращении Алексея Максимовича на родину, — и тогда нетрудно выдать их за злостную

провокацию! В 1949 году, в закатную яростную пору сталинизма, мы не только забыли об атмосфере 20-х годов, о дискуссиях, несогласиях как неперменном элементе развития, но и потеряли чувство юмора. Ведь по такому счету, по таким винам никому из деятелей 20-х годов не уцелеть — Маяковский десятикратно взошел бы на эшафот!

Шкловский — парадоксалист, едва ли кому в здравом уме захочется понимать сказанное им буквально. Разговор ведется внутри литературного цеха, позиция Шкловского выражает и его переоценку значения формальных элементов художественного творчества, и взгляд на Горького — не боготворящий, взгляд современника, отлично понимавшего значение Горького для русской и мировой культуры. Шкловский предельно заостряет мысль и объявляет «чемпионом» Велимира Хлебникова, не хуже Симонова понимая, что большой, массовый читатель не в этом веке полюбит Хлебникова, если полюбит вообще.

Как-то на Сталинградском фронте Долматовский подарил мне свой стихотворный сборник, сделав надпись, показавшуюся мне тогда странной: «Не устроит хлеб никого без томика Хлебникова». «Хлебников был чемпион» — быть может, и преувеличение, едва ли Шкловскому пришло бы в голову ставить его выше Блока или Маяковского; речь идет о поистине вулканической, неиссякаемой и дерзновенной энергии формы и словотворчества. Но насколько же эмоциональность Шкловского продуктивнее, чем та унылая характеристика, которую Симонов в пылу разоблачений дал Хлебникову: «...представитель буржуазного декаданса, дошедшего в его лице до полного распада личности».

И это — Симонов, переводчик Киплинга и грузинской поэзии, Симонов-поэт, человек храбрый, благородный и сострадающий! Какой же должна быть отчаянная, неотпускающая сила сталинских псевдодialeктических прописей, чтобы ему вдруг опуститься до рапповской вульгарной фразеологии. Долго, до конца жизни, прожигали Симонову душу несправедливые слова о мертвом Хлебникове. Мы — живые — возвращались к делам, раны, нанесенные нам, затягивались. Но мертвого «буржуазного декадента» Хлебникова не забыть было и Симонову-труженику, заполнявшему делом всякую минуту своей полубессонной жизни.

Сказано ведь: «Всегда у нас что-либо отмирает в жизни!» И поскольку отмирающее названо и это отмирающее — критика, страданица, ответчица за все неустройства мира, то действовать надо безотлагательно и решительно.

И вот что поразительно: «Уже сейчас, — сказал Симонов, завершая доклад, — можно с полным основанием предвидеть будущие успехи советской драматургии. Эта уверенность опирается на конкретные, уже созданные и поставленные на сцене в последние годы произведения нашей драматургической литературы. Можно назвать и

драматургические сочинения самого последнего времени, такие, например, как „Зеленая улица“ А. Сурова, „Огненная река“ В. Кожевникова, „Карьера Бекетова“ А. Софронова, „Два лагеря“ А. Якобсона, „Головин“ Сергея Михалкова».

Исключим из этого списка пьесу А. Якобсона, уступающую по силе и весомости его драме «Цитадель» и все же вполне профессиональную, и прибавим несколько других, названных тогда же, 18 февраля, чиновниками Комитета по делам искусств, директором Малого театра Л. Шаповаловым и некоторыми драматургами, не страдавшими избыточной скромностью: «Московский характер» А. Софронова, «В одной стране» Н. Вирты, «Во имя грядущего» П. Павленко и М. Чиаурели (перелицовка помпезно-эпохального киносценария), «Степняки» В. Овечкина, «Мастера идут в лаву» В. Игишева, «На Можайской дороге» Н. Погодина, «Чужая тень» К. Симонова...

Мы уже знаем, что «Московский характер» просуществовал чуть больше года, «Карьере Бекетова» повезло еще меньше, ее прогнал «сквозь строй» тот же Ермилов сразу же после публикации в журнале. Почила и «Зеленая улица», и не потому только, что началось разоблачение мошенничества Сурова, — примитивностью, нищетой языка и содержания пьеса унижала достоинство мастеров русской сцены. В. Овечкин пробовал писать пьесы, в них угадывались черты чтимого нами художника, и все же он не был драматургом, как не стали ими в разные времена К. Федин или Сергей Антонов, написавший немало пьес. Но честный художник умеет осмыслить свою работу и отступить, а посредственность винит в неудаче недоброжелательную критику. Канули после премьер (или не дождавшись их) пьесы-суррогаты Н. Вирты, Павленко — Чиаурели, В. Игишева, потерпела крах самоинсценировка В. Кожевникова, этот ранний, еще до Бокарева, опыт «плавки стали» на подмостках театра.

Вредную службу сослужили театру яростные охранители, апологеты посредственности, но как мог стать на эту позицию Константин Симонов и восславить драмы и комедии, которых, я надеюсь, он не читал? Что давало ему право утверждать вслед за Фадеевым, что Юзовский стремился «принизить, очернить, русскую классику, творения Островского или Сухово-Кобылина», при этом «расшаркиваясь перед любой пьеской Дюма-сына, Лябиша, Сомерсета Моэма»? Ведь ничего подобного не случилось, русская классика столь же дорогое достояние Иосифа Юзовского, как и Константина Симонова, Александра Фадеева и даже Немировича-Данченко. Вроде бы холостой выстрел, в патроне пыж, мусор. Но в неистовую пору облав и холостой выстрел может стоять жизни.

К. Симонов искренне хотел цивилизовать борьбу против критиков-«космополитов», упрочить теоретическую базу этой борьбы. Зачем же тогда в худших традициях «приоритетчиков» презрительно именовать пьесы мирового репертуара — мелодрамы Дюма-сына,

классические водевили Лябиша или пьесы Сомерсета Моэма — пьесками?! Так ли уж они уступают «Карьере Бекетова» Софронова или «Головину» Сергея Михалкова?

И уж совсем неловко было обличительно называть скромные должности иных из критиков, будто они самовластно, оттирая других, знающих и талантливых литераторов, стремились захватить «власть» — заведовали отделами критики или искусства в газетах и журналах, работали завлитами и даже! даже! — членами иных редколлегий. Что может быть естественнее того, что люди одаренные и знающие призваны были работать, вместо того чтобы бить баклуши! Симонов назвал и те редкие случаи, когда критик помянул добрым словом статью или книгу своего коллеги (они «поддерживали, хвалили, выдвигали друг друга...»), промолчав о спорах, о яростных несогласиях критиков друг с другом.

К. Симонов справедливо обрушился на «ходячую за последнее время, я бы даже сказал, подозрительно шныряющую, теорию бесконфликтности советской драматургии». Он не мог не знать, что серьезный бой «теории», а главное, практике бесконфликтности (замене конфликта тем, что я назвал в обзорах 1947 и 1948 годов драматургией «мелочных препирательств») давали и дают именно критики — в статьях, рецензиях, обзорах, речах, даже и в пародиях на сцене ВТО.

«Откуда родилась эта теория? — спрашивал себя докладчик. — Она особенно пышно расцвела после войны, когда критики-антипатриоты, а затем и некоторые благодушные либералы... в своих теоретических мудрствованиях заявляли, что после войны, то есть с исчезновением из пьесы внешнего врага — немецкого фашиста с автоматом, с исчезновением ежеминутной возможности смерти любого из героев, — конфликты в советской драматургии кончились.

Базой для этой лживой теории послужило моральное капитулянтство людей, не особенно утруждавших себя на войне, а после войны попытавшихся изобразить на своих физиономиях усталость и в мечтах своих спавших и видевших, что порожденное обстоятельствами борьбы с общим врагом военное сотрудничество с некоторыми капиталистическими странами превратится в эту самую мирную послевоенную идиллию.

Только капитулянты, мечтающие жить в ладу с воинствующей буржуазной идеологией, могут делать вид, что они не понимают, какую остроту приобрели все существующие в действительности конфликты именно сейчас, в послевоенное время...»

Для простой обмолвки, для ораторского пароксизма все слишком обстоятельно и обдуманно. Таково действительное убеждение докладчика, так он думал и в 1949 году, и раньше, в 1946-м, когда, по его словам, «бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и

постановлением ЦК о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (К. Симонов. Глазами человека моего поколения. — «Знамя», 1988, № 3, с. 49).

«...Если же говорить о моих ощущениях сорок шестого года, — вспоминал Симонов в 1979 году, — попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не так, и в большинстве случаев не о том.

Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно *широким кругам интеллигенции* (курсив тут и ниже мой. — А. Б.), во всяком случае, *художественной интеллигенции*, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто,двигающее нас в сторону *либерализации*, что ли, — не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, — послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредвзятым и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин — и не трофейных, что привезены из Германии, а и новых, — в общем, существовала атмосфера некоей идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в сорок шестом году, после неурожая».

Во всем этом, в «некоем легкомыслии», в стремлении «подчеркнуть пietet к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения», Симонов находит если не оправдание, то разумное объяснение «удара по Ахматовой и Зощенко», ибо во многом, связанном с ними, «присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны». Видимо, Сталин «почувствовал в воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее» («Знамя», 1988, № 3, с. 50).

Поразительные рассуждения, выразившие опыт крохотной горстки интеллигентов, некой элиты, чье существование, уровень жизни, круг общения были неведомы стране и интеллигенции страны, а главное, не нашли никакого выражения в творчестве, в книгах, спектаклях и фильмах и, быть может, как-то зафиксированы в донесениях стукачей.

Безмашинное, «безлошадное», нуждающееся племя критиков — и не только театральных — и в 1946-м и в 1949 году жило одной жизнью со страной, не впадая в многочисленные грехи, на которые намекает Симонов. В отличие от Фадеева или Симонова, как-то и не думалось нам тогда еще о «взаимных поездках» и дружбе с иностранными

корреспондентами, а мысль о «послаблениях», о большей простоте и человечности отношений едва ли предосудительна сама по себе.

Но вот прошло три года, позади постановления ЦК о «Звезде» и «Ленинграде», о репертуаре драматических театров, разгромы Шостаковича и Прокофьева и другие устрашающие акции — уже убит Михоэлс, сгустились черные тучи, а беда, оказывается, все та же, беда в «благодушных либералах» и их «теоретических мудрствованиях», впрочем несуществующих. И каким суровым становится голос обличителя, теперь он не скажет, что не «о том», не «о тех» и не «те» слова. Теперь речь идет «о моральном капитулянстве людей, не особенно утруждавших себя на войне», о людях, «мечтающих жить в ладу с воинствующей буржуазной идеологией», — теперь сомнения прочь, политический остракизм, беспочвенный, не имеющий опоры на факты, книги, тексты, заменяет и логику и доказательства.

В номере от 7 апреля 1949 года «Правда» после команды, прекратить *в печати* открытую травлю «безродных космополитов»^[34] выступила с итоговой статьей некоего Ю. Павлова «Космополитизм — идеологическое оружие американской реакции»: В ней ни слова о критиках-«космополитах», о долгой разнузданной травле десятков тысяч людей, только некое философское оправдание самых крайних мер борьбы ввиду особой опасности современного космополитизма. Я вспомнил эту статью потому, что теоретические ее положения созвучны приведенным мною абзацам доклада. Но как далеко нужно уйти от фактов, от действительности, чтобы связать приснопамятную «теорию бесконфликтности» с происками тех, кто «спит и видит» «этакую мирную послевоенную идиллию», точнее, капитулянтов перед «беснующимися поджигателями новой войны»!

В этих абзацах слышится повторяющийся и в прозе Симонова мотив априорного недоверия к любому — особенно интеллигенту! — кто в годы войны трудился в тылу, не разделил кровавой фронтовой работы солдата. Это и подозрительность — без желания вникнуть в судьбу, каждую в отдельности, — не берущая в расчет того, что миллионы голодных «тыловики» трудились до немеющих рук и голодных обмороков, чтобы миллионы их братьев сражались и побеждали с оружием в руках. Здесь обнаруживается простая подмена понятий и самого предмета разговора.

Что такое «внешний враг» и «немецкий фашист с автоматом» для серьезной драмы? Антагонист, разряжающий на сцене обоймы, не даст драме длиться, — боюсь, что пьесы с таким «героем» оказались бы по преимуществу одноактными! Конфликт «Фронта» А. Корнейчука или «Нашествия» Л. Леонова, пьес самого Константина Симонова, всех сколько-нибудь серьезных пьес времен войны вызревает внутри нас, нашей истории, нашего бытия, наших душ. Случавшееся в них появление «внешнего врага» могло обострить ситуацию, помочь ярче выразить суть внутренних процессов, высоту героизма, низость

измены, трусости и предательства. Это справедливо и для одной из лучших военных, а по времени написания — предвоенных пьес К. Симонова «Парень из нашего города».

Неужели он действительно не понимал социальной природы «теории бесконфликтности», полагая, что ее навязывают театру и драматургии бесчестные интеллигенты, «не особенно утруждавшие себя на войне»? Кто же в таком случае предложил ее прозе, отчего по ее страницам невозбранно разгуливали не знающие неудач кавалеры Золотой Звезды? С чьей подачи так изолгался кинематограф, соблазняя нас столами на пленэре, ломившимися от бутафорских яств, когда абрамовским Пряслиным еще жилось ой как голодно и тяжело? Неужели и живописи злокозненные «космополиты» внушили необходимость подслащивать вещество жизни?

Вспомним: не сами ли драматурги — особенно те из них, кого в декабре 1948 года так приласкивал Фадеев, — придумали пресловутый «конфликт хорошего с лучшим»? Именно этой лицемерной формулой защищались они от критиков, искавших конфликтов не декоративных, а жизненных, не симуляции драмы, а ее подлинности? Тогда-то в этих спорах и складывалось, нарастало злобствование в адрес критиков, множились упреки в пессимистическом взгляде на жизнь, в неспособности постичь и принять ее новое оптимистическое качество, понять, что она вся хороша и великолепна, а театру только и остается, что проследить борьбу хороших людей с превосходными. «Откуда взяться плохим людям? — вопрошали драматурги-лакировщики и переходили в наступление: — Вы хотите, чтобы мы *придумывали плохих людей* или нечистые страсти и тем самым бросали тень на социализм, на советскую действительность?»

«В степях Украины» А. Корнейчука, комедия, так потешившая Сталина, — одна из первых попыток осуществить излюбленную лакировщиками схему: «конфликт хорошего с лучшим». Были и другие попытки, но, как правило, они предпринимались в комедийном или полуводевильном жанре — там скольжение по поверхности и «отыгрыши» без главной мелодии более или менее терпимы.

Постановление ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров, ударившее по всему серьезному и социально значимому в драме, по самому стремлению драматургов приблизиться к драматическим мотивам современности, а затем и обличение с одной стороны зощенковского «копания в самых низменных и мелочных сторонах быта», «пакостничества» и «непотребства», с другой — «буржуазного декадентства» Ахматовой, ее, якобы, цинического отношения к народу и Родине, — ошеломили литераторов, задержали их перья, остановили многие замыслы.

Так была дана поистине зеленая улица приспособленцам и конъюнктурщикам, литераторам (и режиссерам, и художникам), готовым весьма скромными художественными средствами (а то и при

полной их нищете!) обслужить нехитрую социальную схему: социализм в стране построен, последний советский человек, как утверждал А. Жданов, выше любого лучшего человека западного мира, плохой человек такая редкость у нас, он столь нетипичен, что и заниматься им кощунственно, остается наблюдать за тем, как разрешают свои частные житейские проблемы превосходные люди с беднягами просто хорошими.

Против таких воззрений и пьес, воплотивших их, и выступали, увы, слишком мягко, половинчато театральные критики.

Но даже вознесенные антикосмополитической кампанией драматурги, рыцари «бесконфликтности», не решались приписать нам «теорию бесконфликтности», — как-то слишком уж неправдоподобно получилось бы, как в дурном сне. А Константин Симонов, теоретизируя, совершил такую непростительную ошибку^[35].

Получалось так, что и «теорию бесконфликтности» изобрели мы, критики, и не по врожденному «эстетству», а трезво и умышленно, к вящей пользе капиталистического мира.

Но обратимся к свидетельству непримиримого борца против «безродных космополитов» и Всеволода Мейерхольда драматурга Б. Ромашова — вот кого не заподозришь в снисходительном к нам отношении! «Мейерхольд, — писал он в статье „О корнях космополитизма и эстетства“ в „Литературной газете“ 2 марта 1949 года, — был паясничавшим лакеем крупной буржуазии., целиком был связан с растленной буржуазной западной культурой и всячески протаскивал ее, пытаясь уничтожить традиции великого русского театра...» После такого приговора Мейерхольду что там для Ромашова писания каких-то людишек без роду и племени! «Они всячески сбивали советскую драматургию с поисков большого мастерства, — утверждал Б. Ромашов, — с пути к овладению богатством нашего русского классического наследства. Борщаговский любил разглагольствовать о том, что „драматурги заговорили недостаточно решительно о новых конфликтах“, что они-де „сбиваются на проторенные дорожки“, что ему дорожке несладко сделанная пьеса, чем „крепко сколоченная“, ...а про пьесы, где действительно ставились новые, подлинно жизненные вопросы, с барским высокомерием цедил сквозь зубы, что они построены на „недоразумениях“» («ЛГ» 1949, 2 марта, № 15).

Все станет на место, если не вырывать отдельные слова из стенограммы моего доклада 1948 года, а цитировать законченные фразы, абзацы. Выяснится, что я упрекал драматургов в недостатке пытливости к новым значительным драматическим конфликтам, сказал, что несладкая и грубоватая на первый взгляд, но живая, полная энергии и кипения страстей пьеса предпочтительнее, чем мертвая, ремесленная, крепко «сколоченная» пьеса («Великая сила» Б. Ромашова), с тревогой говорил о том, что распространение в театре получают пьесы, возникшие не из глубоких жизненных конфликтов, а

из «недоразумений и мелочного препирательства» («Московский характер» и «Зеленая улица»). Выдать мою критику бесконфликтных пьес за провозглашение «теории бесконфликтности» можно было только в чад идеологического погрома.

Записки Константина Симонова о Сталине, уже цитированные мною, проливают неожиданный свет на духовную нищету как преуспевавших в те годы авторов пьес, так и их «гениальных» наставников. Выясняется, кому пришло на ум обвинить именно критиков в скудости драматургии, критиков, утверждавших, дескать, что у нас нет плохих людей. Симонов записал слова Сталина о драматургии, мысли, высказанные им в 1952 году на заседании Комитета по Сталинским премиям (совместно с правительством). «Плохо с драматургией у нас, — сказал Сталин. — Вот говорят, что нравится пьеса Первенцева, потому что там конфликт есть. Берут заграничную жизнь, потому что там есть конфликты. Как будто у нас в жизни нет конфликтов. И получается, что драматурги считают, что им запрещено писать об отрицательных явлениях. Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни. А если у кого-нибудь появляется что-нибудь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают... Вот Софронов высказывал такую теорию, что нельзя писать хороших пьес: конфликтов нет. Как пьесы без конфликтов писать... А без конфликтов не получается глубины, не получается драматургии. Драматургия страдает от этого. Это надо объяснить, чтобы у нас была драматургия. У нас есть злые люди, плохие люди — это надо сказать драматургам. А критики им говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии».

Гениальному творцу теории обострения классовой борьбы с каждым новым успехом социализма, теории, подведенной под уничтожение десятков миллионов людей, хотят внушить чудовищную мысль, что у нас нет ни злых, ни плохих людей! Как же нет, когда у нас своих врагов хоть пруд пруди...

«На протяжении года, двух, трех все буквально по несколько раз могло перевернуться с головы на ноги, с ног на голову», — сетует Симонов, записав долгожданное позволение самого Сталина писать «об отрицательных явлениях». «Достаточно сравнить хотя бы то, что говорилось в статье о критиках-антипатриотах^[36] и в бесчисленных последующих статьях того времени о наших театральных критиках, с тем, что говорил Сталин о них же три года спустя в феврале пятьдесят второго года. Всякий раз он был прав, не мог не быть прав, но чем дальше, тем труднее выстраивалась ложная логика этой правоты».

Литературные импровизации Сталина, часто примитивно-унизительные по уровню мысли, по сумасбродству, все, что выслушивалось и обязано было быть выслушано с благоговением, все, подобное таким откровениям, как то, что и у нас есть «сволочи», и драматургам позволено писать об отрицательных явлениях, не меняло

основополагающей позиции Сталина в вопросе о критиках. В 1952 году он повторил то, что с его благословения было сказано в январе 1949 года в статье «Правды». Беда, оказывается, в том, что критики требуют от драматургов «идеалов» (вероятно, оговорка; требовать *идеалы* не грех!), «критики им (драматургам) говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии». Уже и сбитый с толку Софронов «высказывает такую теорию, что нельзя писать хороших пьес: конфликтов нет».

Все у Сталина последовательно, все повторяется, и тезис 1949 года, о вредоносной роли театральных критиков, жив, поставлен в центр размышлений, разве что в благодушную минуту и без бранных слов.

Постановление ЦК о драматических театрах уничтожило, как мы знаем, почти весь действовавший к 1946 году послевоенный репертуар — непровинившихся драматургов не осталось. Ни у Фадеева, ни у Симонова, ни у Суркова не хватило гражданской отваги и достоинства защитить убиенные чиновниками талантливые, честные пьесы Л. Леонова, Б. Горбатова, А. Крона и других. Все покатилося под гору, в болото софроновско-суровской «драматургии», а те, кто, пусть робко, вполголоса, в нестерпимых условиях жестоко контролируемой печати, позволял себе критиковать плохие пьесы, те, кто требовал если не всей правды жизни, то хоть малой ее толики, — театральные критики — были объявлены отщепенцами.

Сталин и в цитированном рассуждении о драматургии остался верен себе, — изменился Симонов. Это он, к счастью, «перевернулся с головы на ноги» и, оглядевшись, впал в отчаяние, ибо «мозги... лопались от этих по-своему честных стараний совместить несовместимое».

По неотвратимой логике жизни К. Симонов не мог не затронуть проблемы «первородства» нашего искусства, щекотливой темы *приоритетов*, оказавшись одним из запевал кампании, вскоре грянувшей во всю ширь страны, нанесшей огромный вред развитию науки и техники, духовному совершенствованию нашего народа. Спустя несколько дней после публикации в «Правде» выступления К. Симонова темпераментный И. Пырьев даст на совещании киноработников свою исчерпывающую формулу патриотизма для молодого искусства кино: «В своем историческом развитии советское киноискусство не имеет зарубежных отцов и матерей. Мы, русские, советские художники, всегда шли и идем своей собственной, коммунистической дорогой. Других путей у нашего искусства нет!»

Задача К. Симонова сложнее. У литературы, многовековые традиции, связи мировой литературы сложны, она все-таки началась не со времен фильма «Броненосец „Потемкин“». И вот Симонов напомнил читателям, что «вершины классической русской литературы в то же время являются ни с чем не сравнимыми вершинами мировой прозы». Это вот молодеческое «ни с чем не сравнимыми» портит чистоту и

благородство рассуждений докладчика, равно как и его мысль, что ни одна литература мира в XIX и XX веках «не может похвалиться такой плеядой» драматических писателей, которых родила Россия. И далее следуют, совсем в духе близящихся катастроф, уничижительные фразы о «поверхностной французской драматургии прошлого века», об «ограниченном буржуа» Ростане, об «одиноко возвышающейся фигуре Шоу» (как будто О. Уайльд и не писал пьес), о скандинавской драматургии, «в конце концов представленной по-настоящему только одним Ибсеном» (а Людвиг Хольберг, а Стриндберг, а Гамсун, а Бьернстьерн-Бьернсон?..) «А между тем мы в нашем литературоведении до сих пор во весь голос не говорили об этом, не подвергающемся никаким сомнениям приоритете русской классической драматургии».

Слово сказано — странное, рыночное, неподходящее для феномена национальной и мировой литературы. Сказано слово *приоритет*, — теперь уже и простаку ясно, что «низкопоклонники перед буржуазным Западом» отдали этот приоритет, в то время как «западный театр — самый косный, самый архибуржуазный из всех видов буржуазного искусства, — этот театр, который *неизмеримо* ниже нашего, разучился по-настоящему ставить Шекспира и не научился ставить Островского и Горького. Но только низкопоклонники могут на этом основании делать вывод о спорности мирового значения русской драматургии...».

Вот как неожиданно обернулась попытка «цивилизовать» кампанию, начавшуюся с брани, взошедшую на дрожжах юдофобства. Симонов попытался привнести подобие мысли в ругательский гул голосов, поискать истину в современности и в истории.

Окончилось это ужесточением надуманных вин «безродных космополитов».

25

Я задержался на событиях февраля — марта 1949 года, но за ними судьбы людей, совершенствование *проработочных* моделей, за ними жизнь.

Как дать понять читателю, не жившему еще тогда или пребывавшему в младенчестве, кем же были все эти злокозненные «критики-антипатриоты» и зачем сталинизму понадобилась растянувшаяся на годы черносотенная акция.

Надо было обладать особым строем души, тридцатилетней привычкой к подчинению, надо было допустить в себе хоть какую-то толику раба, передоверившего судьбу страны и свою собственную гению, вождю; надо было, наконец, за короткую жизнь соскрести с себя эгоиста, чтобы терпеливо сносить бесчестье, поношения, невозможность спора и не полезть в петлю, не взвыть, и не в домашнем закуте, а на людной площади, не потребовать публичного суда.

Вот уж чего мы не умели — требовать. Требовать — опасно. Требовать — бесполезно. Требовать — нескромно. Требовать — значит противопоставить себя обществу, быть себялюбцем, наглецом, человеком не социалистического мира. Вероятно, значительную роль играл страх, и как ему не быть после палаческих репрессий тридцатых — сороковых годов, после расправ с целыми народами, после того как сталинский «локомотив истории» победно прокатился от западных границ страны до Владивостока и на каждой сажени, на каждом сантиметре летели головы и какие!

И все же я написал *«вероятно, значительную роль играл страх»*, потому что эти записки — моя исповедь, а в моей жизни страх не играл заметной роли, то ли по житейской моей беспечности, то ли по исповеданию веры фаталиста, по странному убеждению — скорее, недуманью всерьез, — что кого-кого, а меня, честного человека, тюрьма и ссылка не коснутся. Увы, с таким же беспечным чувством жили, вероятно, и Саша Белокопытов, и композитор Алеша Арнаут, и Митя Альтшулер, и главный — хотя и очень молодой — музейщик Украины Знойко, и десятки других моих друзей тридцатых годов, не возвратившихся из-за колючей проволоки ГУЛАГа.

Их судьба потрясла, но этот опыт не успел вполне отложиться, как откладывается терзающая болью соль в суставах. Сталину тогда многое помогло: бряцавший оружием фашизм, взбудоражившая мир Испания, грозные военные шаги Гитлера, Польша 1939 года, драматическая финская кампания, а после — перечеркнувшая все другие мысли и заботы великая война за существование нашего советского народа. Верю, что стремительность череды этих событий не дала сложиться в народе протесту, гневу, каким-либо формам бунта, которым неотвратимо пришел бы час. По мере своих военных завоеваний Гитлер пользовался все большей, экстатической популярностью в немецком народе, и все же зажигательные цели и расистские идеалы гитлеризма не могли дать обожанию Гитлера того духовного фундамента, какой дают и в человеческой истории всегда будут давать идеалы равенства, братства и социальной справедливости. Кремлевский впадавший в паранойю всадник тоже до крови вонзал шенкеля в бока оседланного им «коня» истории, гнал и гнал, не опасаясь запалить скакуна, выморить его до смерти голодом и террором. По всенародной и стоязычной легенде, он, прежде всего он, а то и только он, выиграл войну, а преступления тридцатых годов — спасительные «неизбежные» акции; многие ли решались подать голос о своих загубленных близких? Разве что слабый, совсем неслышный голос мольбы. Все отходило в далекое прошлое, четыре года войны оказались огромной исторической эпохой, психологически равной полувеку. Но стоило литературе на исходе 1986-го и в начале 1987-го заговорить языком правды, громко сказать о преступлениях Сталина и сталинщины, и миллионы исстрадавшихся голосов, сотни тысяч

благодарных писем полетели в редакции журналов и газет. Жива память, жива боль.

Но живы и страхи, самообольщение, жива инерция прошлого. Она, многоликая, и стоит на пути перемен, начавшихся весной 1985 года. Не сотни тысяч — миллионы все еще «празднуют» Сталина. Они разные: от слепых упрямцев с портретом Сталина на стеклах автомобилей до сознательных сторонников палочной дисциплины, принуждения, вечной казармы, — их не мало, вчерашних надзирателей и их наследников. Миллионы недовольных тем, что происходит сегодня — со мной, с моей родней и т. д., тоже ищут кумира в прошлом, ищут возможность легальной, ненаказуемой оппозиции. Чту господ бога! — это дело моей совести. Чту Сталина! Разве запрещено? И не допытывайтесь, за что и почему чту, это дело мое, и ничье больше.

Все самое трудное в нашей жизни и сегодня — наследие Сталина. Он слишком далеко увел нас по пути рабства, сформировал психологию добровольно-казарменного, почти восторженного подчинения и так искусно, так метко посеял в душах семена страха, так исказил нормальную психику миллионов, так оскорбил национальное достоинство народов, на словах поощряя национальную гордость, что труднее всего нам дается самообновление, а без него нельзя обновить жизнь.

Операция «безродные космополиты» — идеальная схема действия сталинского карательного механизма, работающего в автоматическом режиме. Нет нужды в статьях и поучениях Сталина! Брошено надменно только несколько слов: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК товарища Фадеева», — и этого достаточно, чтобы понятливые слуги развели вселенский костер. Отныне ничто не будет принято в расчет — ни здравый смысл, ни интересы дела, ни нужды науки и культуры, — ничто не послужит смягчению участи честного; спасется, приползет на брюхе, вымолит пощаду лишь трус. Условия будут жестоки, унижительны, но дадут дышать, значиться, числиться.

Читая десятки отчетов о погромных собраниях 1949 года, гневные строки в адрес тех, чьи выступления возмутили аудиторию, не удовлетворили ее, расценены как «неискренние», я с гордостью думаю о мужестве людей, не сломленных демагогией, запугиванием, стадными страстями толпы. Пожалуй, кроме Я. Варшавского, никто из таких «домашних», таких негероических, распятых между прокурорским президиумом и беснующимся залом, никто не принял выдвинутого против них обвинения. Чтобы сломиться и подписать все, нужны были все-таки бериевские застенки с их особыми «аргументами».

Не ответили докладчику взаимностью выступившие на собрании драматургов В. Шкловский, И. Юзовский, Л. Малюгин, Г. Бояджиев и другие. «Вместо того, чтобы правдиво, без уверток рассказать с трибуны о своей вине перед советским народом, — писала

„Литературная газета“, — о формах и методах деятельности антипатриотической группы, они юлили, извивались ужом, лгали, пытались, представить себя ничем не связанными друг с другом, а цепь сознательно совершенных преступлений изображали как „случайные ошибки“» (1949, 26 февраля).

К. Симонов увлекся ролью теоретика и арбитра, «пестрый флейтист» и сам оказался очарован собственной флейтой. 28 февраля появилась его статья в «Правде» и сразу же в «Литературной газете» № 18 и 19 — более полное изложение основополагающего доклада. Крепнут *вещательные*, государственные интонации его речи:

«Советский народ требует, чтобы наши драматурги показывали главное в нашей стране и в советском человеке».

«Советский зритель не простит автору, если из пьесы уйдет главное...»

«Советский зритель желает видеть на сцене правду о времени и о себе...»

«Не все люди, которые возглавляют сейчас театры, в частности и некоторые московские театры, могут руководить их работой на высоте тех идейных задач, которые ставит партия перед советским искусством».

«Вместе с движением советского народа к высотам коммунизма этот круг интересов расширяется...»

«Не пора ли пересмотреть старые понятия театральности...»

«Театральная критика должна...»

«Мы должны изобразить нашего особенного советского человека во весь его рост...»

Уже нам все по силам, все по плечу: театр, литература, кинематограф. Пророческая флейта не полеживает в футляре; перейдя неширокую улицу из ЦДЛ в Дом кино, докладчик всходит на трибуну пятидневного — с. 24.II по 1.III — актива творческих работников кинематографии.

«Критики-антипатриоты, — утверждает он, — пытаюсь установить о современных фильмах некое „второе мнение“, противоположное общественному, судили произведения по так называемому „гамбургскому счету“, который в кинематографии справедливее называть „голливудским счетом“» («ЛГ», 1949, 5 марта). Бог с ней, с голливудской репризой, а вот метафорическое «второе мнение» — как нечто наказуемое, преступное — заставит усомниться: кем же это сказано? Чем иным может быть оценка критиком произведения искусств, как не «вторым мнением» (и третьим, и десятым!)? И что такое, применительно к драме, к спектаклю, «мнение общественное»? Общественное мнение ведь складывается далеко не сразу, и как раз печать и критика играют первостепенную роль в его становлении. Не молчать же критике, пока неведомыми путями сложится мнение общественное, чтобы затем повторить его, опасаясь, под страхом

наказания, разойтись с этим обязательным мнением? Но все проще: речь идет о мнении руководящем, об официальной оценке фильма или спектакля, о прозвучавшем высоком вердикте, о статье или хотя бы строке в газете «Правда». Критикам, опасаясь, как греха, что их мнение окажется *вторым*, лучше не брать за перо!

И так мыслит Константин Симонов? Какое прекрасное доказательство незащитимости ложных позиций! Оглядевшись на миг в ораторском директивном запале, он не мог не заметить, что за пределами огромного круга ошельмованных критиков — пугающая пустота и безлюдье. Потому так сбивчивы и странны его мысли на этот счет: «Театральная критика должна быть в чистых руках людей, заботящихся о процветании нашей драматургии, о ее росте. Таких людей у нас много, и если в силу той искусственной кастовости, которую стремилась создать группа критиков-антипатриотов, случилось так, что именно в театральной критике сегодня не хватает кадров, то мы безусловно найдем их в нашей литературной критике в целом».

Увы, и в литературной критике шла такая же дикая, бессмысленная порубка, призанять там «кадров» не пришлось.

И еще один важный аспект «цивилизаторского» направления доклада. В размышления о последних пьесах Симонов привнес элемент неких литературных мечтаний, приправленных самокритикой: он не был бы самим собой, если бы любое требование, обращенное к другим, не подкрепил бы со всей истовостью осуждением и самого себя. Он покался, говоря, «что в „Русском вопросе“ Симонов мог бы меньше заниматься *раздвоением личности* херстовских корреспондентов и глубже и острее показать этих корреспондентов в их реальной повседневной антисоветской деятельности». Иными словами: истребить в них всякую человечность и превратить в злодейские полуавтоматы...

Чего бы только ему не хотелось сказать своим удачливым коллегам-драматургам!

«Мне бы не хотелось, чтобы „Московский характер“ Софронова кончался так, как он кончается: вечеринкой, на которой присутствует начальник планового отдела, человек, ярко показанный автором как жулик, а в финале неизвестно зачем вдруг амнистированный».

Странное пожелание; когда конфликт пьесы вымученный, искусственный, построенный по правилам «теории бесконфликтности» на вздорных препирательствах, должен наступить и час столь же беспринципного всепрощения.

«Мне бы хотелось, — продолжает Симонов, — чтобы в „Зеленой улице“ Сурова профессор Дроздов не напоминал бы своими интеллигентскими показаниями профессора Бородина из афиногеновского „Страха“...»

Но как это сделать, если «Зеленую улицу» сначала «набросал» один критик («грязный вариант», как говаривал Суров), а затем доводил до ума другой, весьма рассудочный и памятливым, и в голове его крепко засел афиногеновский профессор Бородин?

«Мне бы хотелось, — говорит Симонов, — чтобы в „Хлебе нашем насущном“ Вирты с бóльшей силой, с бóльшим мастерством были бы написаны некоторые из положительных героев». (В том же духе и послание к «Макару Дубраве» А. Корнейчука: чтобы «остальные герои были бы написаны с таким же мастерством и с такой же силой, как сам Макар».)

Симонову в его теоретических заботах февраля — марта 1949 года не до «отрицательных» героев. Чего о них печься, хватило бы сил на «положительных», написать бы их поярче, как того ждет и «требуется советский народ». Так импровизируется новая «эстетика» — не жизнь в ее полноте, не ее сложнейшее единство, не глубина и противоречивость живых характеров, а казарменно-четкое деление на положительных и отрицательных героев и отеческая забота только о первых из них.

Для Симонова в те дни вопрос решался незатруднительно: ради «будущего советской драматургии мы будем и критиковать друг друга, и творчески спорить, и прямо, честно, бескомпромиссно указывать на промахи своих товарищей по работе».

Нам — можно. Критике — нельзя. Нельзя ни желать лучшего, ни говорить этого вслух, ни даже советовать, не то чтобы «указывать на промахи». Нельзя, ибо критика изначально антипатриотична, проникнута идеями буржуазного космополитизма, — так заблагорассудилось оценить ее Сталину А тут уж какие дискуссии?..

Доклад имел широчайший резонанс и сообщил всему карательному движению большое ускорение. Не осталось надежды, что — пронесет, пошумели, и хватит. Все отряды искусств, все причастные культуре организации и учреждения, все вузы и НИИ лихорадочно принялись за дело.

Под началом Александра Дементьева прошел — и после длился, не утихая, — разгром ленинградских критиков, ибо они, как сказал Дементьев, горячо поддержанный В. Друзиным и Т. Трифионовой, эти «безродные космополиты, эти последыши буржуазных теорий в искусстве, помогают нашим врагам в их попытках подорвать у советских людей благородное чувство патриотизма».

Леониду Траубергу выпала честь стать главным «героем» совещания кинематографистов страны в конце февраля — начале марта 1949 года; темпераментный Марк Донской страха иудейского ради прокричал, что «космополит Трауберг полностью смыкается с фашиствующими реакционными теоретиками Запада»! Можно подивиться сдержанности «Ленинградской правды». Городу, где два года назад Михаил Зощенко был объявлен «подонком» и ненамного

учтивее отнеслись к Анне Ахматовой, печати этого города трудно было удержаться от крайних, матерных слов в адрес какого-нибудь Симона Дрейдена или Ефима Добина. А в Москве кинематографисты распоясались, собрав под знамена почти весь цвет советской режиссуры. Но к жертвенному алтарю они вели во имя веры в «господа бога» не своих сыновей, а критиков, давних своих недругов. Жертвенными агнцами оказались «раболопствующий» перед Западом С. Юткевич, «Смердяков»-Трауберг, «оголтелый буржуазный националист Альтман», В. Волькенштейн, Н. Коварский, Н. Оттен и даже, даже — кто бы поверил — Евгений Габрилович.

Министр кинематографии СССР И. Большаков в статье «Разгромить буржуазный космополитизм в киноискусстве» («Правда», 1949, 3 марта) разрушил этническое однообразие «безродных», добавив православной крови — Владимира Андреевича Сутырина. Чем же не угодил Сутырин И. Большакову, как попал и этот старый коммунист, человек безукоризненной честности, делегат VI партийного съезда и участник ледового похода на мятежный Кронштадт, в «безродные космополиты»?

И. Большакова разгневал доклад Сутырина 17 декабря 1947 года («О состоянии художественного кинематографа»). «Мы решительно расходимся, — утверждал Сутырин, — в оценке ныне, существующего положения, как и в прогнозах на ближайшее будущее, с теми товарищами, которые считают что дела в кинематографии заметно улучшились, что наконец-то миновала пора долголетней кинематографической „засухи“ и киноискусство стоит на пороге своего нового расцвета. Такая оценка нам представляется следствием крайней близорукости». А в другом докладе, на тему «Сценарии 1948 года», Сутырин, по утверждению И. Большакова, «всячески поносил лучшие сценарии, в том числе — „Падение Берлина“, „Суд чести“» («Правда», 1949, 3 марта)

Сегодня, да и много раньше, нетрудно, оглянувшись, убедиться в правоте Сутырина — И. Большаков вел корабль кинематографии в стоячие, мертвые воды. «Падение Берлина» оказалось апогеем бездарного культового кино, фильмом, призванным возвеличить Сталина ценой унижения Жукова и других победителей, а «Суд чести» А. Штейна — конъюнктурной бесчестной однодневкой.

Министр же обещает немедленное и светозарное восхождение на новые высоты киноискусства, а кто-то осмеливается усомниться в этом, не хочет признать, что при Сталине, рядом со Сталиным, осчастливленное его идеями, его дыханием, его поддержкой, его надзором, киноискусство будет непременно и круто забирать вверх. Ату его, космополита! А почему космополита, почему не пессимиста, не Фому неверующего, не просто нищего духом и верой? Нет, космополит — это верняк голова с плеч! Попробуй докажи, что твои заблуждения,

даже если бы ты заблуждался, ничего общего с космополитизмом не имеют. Никто тебя не станет слушать.

У кинематографистов были свои исторические принципы отсчета: до и после «исторического» решения ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь», фильме, как известно, не угодившем Сталину именно своей близостью к обыкновенной, не слишком приукрашенной жизни шахтеров Донбасса. Какие же «наиболее крупные фильмы на современную тему» ждали, по И. Большакову, советского зрителя, давая право министру пригвоздить к позорному столбу космополита Сутырина? Это все то же «Падение Берлина», «Пятый удар», «Кавалер Золотой Звезды», «Далеко от Москвы», «Веселая ярмарка», «Шахтеры», «Великая сила» (Б. Ромашова), «Мистер Томач бежит в Америку» и вновь биографические фильмы — о Жуковском, Райнисе, Мусоргском, Шевченко...

И ни один из этих фильмов (кое-что из «наиболее крупного» и не было поставлено) не стал явлением искусства. Не то чтобы выдающимся, памятным, а просто заметным.

Иному покажется: старо все, старо и быльем поросло! Давно опустил занавес и окончилось представление трагедии.

Да, многие ушли, но жива страсть неправого наказания и духовного погрома. Очередное тому свидетельство — выступление Анатолия Софронова на пленуме СП РСФСР в Рязани в конце не 1949-го, а 1988 года. «Мы, — сказал он, — что-то похожее, в свое время, в конце 40-х годов, так или иначе решали, тоже исходя из тех событий, которые возникали в нашей литературной и театрально-литературной практике в свое время. И волей-неволей приходилось вести такие же суровые бои...» («Огонек», 1988, № 52).

Так разбой и палачество 1949 года романтически переименованы в «суровые бои»!

26

Все вокруг рушилось: приходили прокурорские бумаги, грозившие скорой бездомностью; ВАК известил меня об аннулировании моей кандидатской диссертации, успешно защищенной в Институте литературы имени Т. Г. Шевченко Академии наук УССР; издательства торопились порвать со мной договоры; появлялись друзья, напуганные слухами, с какого-либо очередного сблища. По одной версии я скрыл наличие двух братьев-власовцев; по утверждению Ф. Головенченко я, поступивший в первый класс семилетки в 1921 году, редактировал крупную меньшевистскую газету. На выбор предлагались еще два варианта: украинский буржуазный националист и националист еврейский, тоже, разумеется, буржуазный. О штатной службе, о работе в Москве, нечего было и думать. «У нас пастухи — герои труда, скот пасут, а этот захотел воспитывать наших детей!» — ответил с трибуны

Ф. Головенченко на мою письменную просьбу послать меня в деревенскую школу преподавать литературу или географию^[37].

Отчего он так яростно и слепо преследовал меня?

Скорее всего, из-за чувства собственной неполноценности: в благополучное время он приглашал меня по разным поводам, и встречи эти у него в ЦК рождали во мне недоумение — он зачем-то льстил, хвалил какие-то мои пустые, худшие статьи, а я замыкался и был недостаточно любезен. Я уже упоминал о том, что трижды за 1947 и 1948 годы ЦК, выражая недовольство самого Сталина, выговаривал редакции «Нового мира»: за публикацию рассказа Андрея Платонова «Возвращение» («Семья Ивановых»), за воспоминания шофера Ленина Гиля и обнародование сценария «Мсье Верду». «Мсье Верду» был в особой немилости у Сталина: он и до середины не досмотрел фильм о Верду — убийце своих жен, фильм ненавистного Чаплина, осмеявшего Гитлера, вождя немецкого народа. Осмеял, да еще и название какое позволил себе: «Диктатор»! Не выпад ли это против сильной личности вообще, против того, кто принял на свои плечи всю тяжесть государственной власти, кто и впрямь играет земным шаром, как глобусом?

В одну из встреч с Ф. Головенченко разговор коснулся этих выволочек «Новому миру», и хозяин кабинета проявил вдруг непозволительный либерализм — молча махнул рукой: мол, ладно, пустое, не стоит об этом.

Можно ли было ему забыть об этой слабости, не желать мне исчезновения, лагерной аннигиляции!

Ненависть часто отнимает разум и трезвый расчет. (Если только не предположить, что и Ф. Головенченко был убежден в неизбежности нашего ареста.)

Тогда во главе культпросветучреждений страны (или только России) стоял славный и скромный человек — профессор Колбановский. Он казался мне стариком, был сед, спокоен, непостижимо расположен ко мне, принятому по звонку кого-то из моих друзей. Казалось, он подготовился к встрече, разузнал обо мне.

О событиях в стране отозвался с ворчливым неодобрением и тоже махнул рукой, но не воровато, как Ф. Головенченко, а резко гневно. Предложил мне поехать в Иркутск, в тамошнее культпросветучилище или техникум, обещал через несколько дней все согласовать. Я вернулся домой почти счастливый: не все потеряно, если есть такие люди, как Колбановский, есть Иркутск и возможность трудиться, кормить семью!..

Ф. Головенченко пресек и это *«вредительское поползновение»* втереться, внедриться в святая святых, в культпросветучилище, где готовят клубных работников, организаторов художественной самодеятельности. Пресек и тем спас меня от самого себя, от остаточного моего идеализма: он имел реальную возможность

похоронить меня навсегда в Иркутске, я оказался бы на положении высланного из Москвы, поднадзорного, и не трудно представить себе исход этого назначения. Головенченко нужно было только промолчать...

Система плотно закрывала все двери и «щели», которыми могли бы воспользоваться «безродные», мечтавшие осуществиться в любом рабочем, трудовом качестве.

В семье старых большевиков-дальневосточников Хотимских я познакомился с инженером, руководителем одной из геологических служб на территории Киргизии. Посвященный в подробности наших бед, зная, что я изгнан из партии, он позвал меня во Фрунзе, чтобы я, вникнув в будни геологии, работая в какой-нибудь скромной должности, собрал материал для повести или книги очерков.

Я не сразу, но все же дал согласие.

А мой благодетель вдруг исчез, на письмо не ответил, голоса не подал.

Только спустя многие годы, прочитав во Фрунзе мой роман «Портрет по памяти» («Октябрь», 1984, № 3), он решился написать мне, запоздало исповедаться: «В начале 1949 года в Министерстве геологии СССР было вскрыто мнимое вредительство. И. И. Малышев, которого ненавидел Берия, был снят с должности министра, а мы, все работники геологоразведочного производства, были сугубо зарежимлены и по существу не принадлежали сами себе. Поэтому Ваше письмо попало не ко мне, а в руки „шефа“ из МГБ Цешковского... Я чувствовал себя очень неудобно и очень переживал и в письме к Хотимским намеком упомянул о „невозможности осуществления просьбы А. М.“» (из Фрунзе, 13.05.84 г.).

Обуянные злобой гонители поистине теряли разум: ведь именно там, в глухомани, на горных тропах, так просто было «потерять» человека навсегда, особенно если этот человек — «безродный» и, как на грех, проявил интерес к богатству недр страны!

По милости таких гонителей я и приплыл к всеспасительному острову, к континенту истории и мысли, имя которому — Ленинка.

В Москве, в Ленинке, я стал на ноги. Восемь-девять часов работы всякий день, ровно с 9 часов утра, всегда на одном и том же месте в третьем зале делали жизнь осмысленной. Круг книг расширялся, уже не только война на Камчатке занимала меня, но и история полуострова, его география и природа и вся тихоокеанская ситуация — и в северном полушарии и на юге, на Гавайских островах и в перуанском порту Кальяо, и многое-многое другое: Портсмут, комплекты «Times» середины прошлого века, парусные флоты России, Англии и Франции, каперство, биографии многих людей, их портреты — все казалось важным, необходимым. Записки адмирала Василия Степановича Завойко «О двух кругосветных плаваниях» были присланы из Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде по

заказу Ленинки. Потрудившись до немеющих пальцев, заполнив всякий день десятки страниц общих тетрадей своей рукописной «нонпарелью», я ощущал себя не безнадежным человеком. Что-то я замышлял такое, что может понадобится и другим, если я справлюсь, не надорвусь, допишу.

Библиотекари Ленинки знали, что я человек гонимый, и старались облегчить мою работу, даже занимали мне место в быстро заполнявшемся зале, если я запаздывал на несколько минут. С выдачи я уносил груды книг, от тонких брошюр до тяжелых томов «Живописной России», обкладывался ими и выписывал — и срисовывал — все, что могло, по моим предположениям, помочь мне. Нужные книги, что называется, шли в руки, поисковые удачи казались мне предзнаменованием будущего успеха.

И вдруг хмурым мартовским утром все остановилось. Даже и выселение не могло бы потрясти меня сильнее. Из полутора десятков книг, оставленных накануне на моем номере, не оказалось ни одной. Пусто. Сухой, раздраженный, как мне показалось, ответ женщины на выдаче: «Книги ушли по межбиблиотечным требованиям, им — предпочтение». Я тут же выписал новое. Отказ. Книга на руках. Или — в переплете. В обработке. У консультанта. Я заказал новое, прошлогоднее издание записок Невельского, в библиотеке его десяток экземпляров. И тоже — нет. На руках.

Отчаяние закралось в душу. Отчаяние тем более сильное, что я как бы шагнул уже с паперти внутрь храма, и на это никто не вправе посягнуть. Я не поверил реплике встреченного на Пушкинской площади Александра Кривицкого в ответ на то, что я собираюсь писать книгу, может быть даже роман: «Бросьте! Они не хотят, они не примут от вас никакого романа!» И ему тоже было бы уютнее, исчезни я из Москвы, отправься куда-нибудь под Иркутск или Читу обучать детей географии.

Без многих ученых томов и книг, без старых газет и журналов, без «Морского сборника» нечего было и думать о книге.

Вечером, когда мы с Валею сидели ошеломленные (а ей было горше, чем мне: откуда было взяться в ней вере в успех непривычной для меня литературной работы?), меня вдруг осенило. В буфете Ленинки за два дня до опустошения моего абонемент я, взяв винегрет, чай и два ломтика хлеба, подошел к столику, за которым оказался журналист Саша Гуторович. Знакомство наше было шапочным, но Гуторович умел со всеми держаться так, будто он из лучших твоих друзей и полон расположения; заходя в «Новый мир», он приносил с собой атмосферу странствий, диких встреч и разысканий, поиска документов, связанных с известными людьми, героями, писателями.

Он поразился, увидев меня в Ленинке. Я бодро рассказал ему о своих занятиях, выпустив из виду, что Гуторович кормился главным образом при молодежных изданиях, часто встречался с Суровым, до недавнего времени редактором журнала «Комсомолец-пропагандист».

Вспомнив вдруг Гуторовича, нашу внезапную встречу, я легко представил себе звонок развязного Сурова директору Ленинки, однорукому аскету, человеку, прошедшему в главной библиотеке страны все ступени служебной лестницы, начиная с курьера. Я не смею судить о его личности, даже и вспоминая всю недоброту его ко мне. С Суровым я говорил не раз до февраля 1949 года, знал его демагогическую хватку, авантюрную жилку, норов игрока, склонность к натиску, нахрапу, и мне не трудно было вообразить — только вообразить! — генеральскую выволочку, учиненную Суровым по телефону. «Как?! В то время, когда вся печать, вся страна разоблачила подонков, вы их пригрели, скрываете их, даете крышу тем, кого скоро и след на нашей земле простынет...»

Непременно что-нибудь в этом роде.

Спустя двадцать лет женщина, которая когда-то, пряча глаза, ответила, что, выписанные мной книги «ушли по межбиблиотечным требованиям», отозвала меня в проход между шкафами каталога и рассказала мне, уже сидящему, о том, как в марте 1949 года ее вдруг потребовал к себе директор, приказал «сбросить» мои книги, не выдавать новых и постараться под любым предлогом отобрать у меня читательский билет. Он все рассчитал: служащей Ленинки, еврейке по национальности, небезопасно было сочувствовать «безродному». Однако она, рискуя, ответила, что с книгами поступит по его приказу, а билет пусть отнимает у меня милиционер у выхода из библиотеки: без билета меня ведь и не выпустят наружу, вот пусть он и прикажет милиционеру отнять билет.

Тогда я всего этого не знал. Не подозревал о худшем, хотя и видел, как из алфавитного, «малого» каталога, а следом и из систематического изымали карточки моих театроведческих книг. Их нет там и сегодня. Уже издав несколько книг прозы, я заглянул спустя годы к властному церберу, но он был непреклонен. Заявил, что алфавитный каталог не включает всех хранящихся книг, он рекомендательный, и дело самой библиотеки, что *рекомендовать* и *пропагандировать*. «Но моих книг нет и в систематическом каталоге, — возразил я. — Занимающиеся историей украинского театра и драматургии не найдут этих книг». — «В систематическом они должны быть, вы плохо смотрели...» — увернулся он. Ложь! И сегодня ложь. Попадая в Ленинку, мой дом навсегда, я поднимаюсь в систематический каталог: моих карточек нет! Уже проводили на покой директора, быть может, проводили его и на вечный покой, а учиненное варварство живо. Живо так, будто софроновские клеветы в адрес этих книг все еще сохраняют силу приговора...

Тогда, в мартовский день, решив, что все кончено, я прихватил с собой не отнятый у меня по недосмотру Софронова писательский билет и ворвался в кабинет директора, отмахнувшись от бросившейся следом секретарши. Толкало меня отчаяние, только оно, — я до сих пор

стесняюсь доставать из кармана писательский билет, тем более называть себя писателем. Но тогда, единственный раз в жизни, я потрясал билетом, обвинял директора в нарушении Конституции, в недопустимом преследовании *гражданина и писателя*. Растерявшись, он сказал, что впервые слышит о моих затруднениях и сегодня же во всем разберется...

После обеда *все* мои книги оказались на месте, их даже не потрудились убрать с моего номера. Важно было отвадить меня, откликнуться на телефонные угрозы того, кого взбесила моя будничная работа в библиотеке.

В жизни героя моего романа «Где поселится кузнец», Джона Турчина, случилось нечто сходное: в какой-то день ему бригадному генералу в отставке, закрыли доступ в военный архив США. Ушел на покой полковник Роберт Н. Скотт, место его занял человек чином повыше — бригадный генерал, ненавистник северян и Турчина. Запрет доступа к архивным документам был для Турчина катастрофой, он так и не смог довести до конца своих военно-исторических трудов.

Роман о Турчине и эпизод словесной баталии Турчина с бригадным генералом, писался спустя двадцать лет после того, как я ворвался в кабинет директора Ленинки. Я уже и думать забыл о нем; каково же было мое собственное удивление по выходе романа, когда я обнаружил, что в ненавистнике Турчина, бригадном генерале армии США, я написал своего гонителя! «Бригадный генерал, *однорукий*, в железных очках и черных одеждах, — новый начальник архивов — отстранил Турчина от бумаг... Однорукий встал: мертвое сукно, унылые, аккуратные швы, два ряда пуговиц, скука смертная, все как на покойнике, высушенном и поставленном, как анатомическая модель капитана Драма...» Никогда ни до, ни после этого я не позволял себе использовать литературу для выражения нелюбви к моим недоброжелателям, а этот единственный случай был результатом работы подсознания, — бригадный генерал с берегов Потомака «лишился» руки за компанию с директором Ленинки.

Возвращение книг, прежнего ритма жизни и «рабочего места» в зале, наполненном сотнями читателей, показалось благодатью, будто мне вернули *все* гражданские права и ясное небо над головой. Упорно не читал ничего ни о себе, ни о других критиках-«антипатриотах», не читал из-за полного, единственно сущего для меня равнодушия к этой лжи и прислужничеству. По тому, как заметивший меня на тротуаре у Никитских ворот Юрий Сергеевич Калашников качнулся на неверных ногах к киоску «Союзпечати», воткнулся в него с головой, я заподозрил и его вину передо мной, но о его статье тех дней узнал годы спустя, и за целую жизнь не возникло желания взять в руки тот давний номер журнала «Театр».

Для сотрудников Ленинки я оказался незаменимым консультантом; газеты изрыгали десятки новых имен, со скобками и без оных, людей,

провинившихся «жестоко» или только «потерявших бдительность», оступившихся, «тузов» космополитизма или их «пособников». Как разобраться в этом неостановимом селевом потоке провокаций и лжи: кого изъять из библиотечного обихода, кого придержать «до команды»; кого числить в нагрешивших литераторах, кого в театральных списках, а кого по части музыки или живописи и ваяния? Славные женщины поджидали меня в короткие мои перерывы, выясняя, кто такой Фред Басехес — писатель или художник, в какой «ящик» определить Дайреджиева, Коварского или Александра Мацкина, к литературным ли критикам или к театру, кто автор книги об Улановой — Голубов или Потапов?

Я бывал не только опечален, но и счастлив в эти минуты. Сознывая, что расспросы не к добру, я радовался самой возможности сказать о них уважительные, добрые слова, вспомнить их пусть на людном библиотечном перекрестье, на каталожных «проспектах» Ленинки, заочно встретиться с мудрым и нежным Фредом Басехесом, чей конец будет вскоре таким трагическим и таинственным; с упавшим больше года тому назад с разможенной головой в снег рядом с Михоэлсом Голубовым-Потаповым; с Александром Мацкиным — он давно был для меня и наставником и эталоном чести и нравственности; с Игорем Бэлзой, легендарным еще по киевским временам эрудитом и покорителем женских сердец, — с настоящими, прекрасными людьми, отданными в эти дни *своре*.

Мое довольно основательное знание персоналий деятелей искусства и литературы вносило призрачный элемент ясности в разноголосицу, а добрые аттестации людей, как бы уже выброшенных на обочину жизни, вгоняли веропослушных библиотекарьш в краску и трепет.

А я был так счастлив, что ни нужда, ни мысль о только что учиненной несправедливости не могли умалить полноты моего существования. У нас все еще был дом; отчуждаемый от нас военно-прокурорскими зычными басами, но *дом* еще был, и в нем меня ждала Валя, жила любя, и сострадая, и тревожась, — откуда ей, перечитавшей всю русскую классику, знающей ее так, как мне самому в суете — жизни так и не привелось узнать, откуда ей было набраться уверенности в том, что я напишу прозу, нечто достойное чтения? Не скоро решилась она взять в руки мои листы, исписанные так мелко и густо, что с иной спечатывалось шесть, а то и восемь машинописных страниц; не скоро ее глаза открыли в этом тексте что-то вселяющее надежду.

Социальный опыт Вали был драматичнее и сложнее моего: обыск и арест отца, тюремные и «этапные» хождения в надежде что-то узнать, увидеть; раннее материнство, война, жизнь в оккупации со Светланой, голод, облавы, эшелон, увозивший в концлагерь Киверцы их, киевлян, попытавшихся задержаться в городе, дожидаясь подхода нашей армии;

ночной побег на ходу из теплушки под Бердичевом, долгое пересиживание в погребах Бердичева, пока выдыхалось контрнаступление Манштейна, а после, в январе 1944 года, возвращение в родной разрушенный город, занятое другими жильем и тупое, а то и злобное подозрение людей, захвативших твой дом, твой стол и твою кровать, — мол, вы жили, жили при немцах, дышали, смирялись, не подошли — значит, и не были настоящими советскими патриотами! Как легко, а то и выгодно бывало оскотинившемуся обывателю судить черным, немилосердным судом пострадавших в оккупации людей.

В 1949 году ей минуло 25 лет. Крушение последней своей, уже московской попытки завершить образование, доучиться на двухгодичных курсах иностранных языков в Лялином переулке, — ее отчислили единственно из-за «страшной фамилии» — она приняла стоически, и если всплакнула, то в час, когда я горбился над книгами в Ленинке.

«Страшная фамилия» — придумано не мной. Надвинулась бездомность, впятером нам нигде не приткнуться, пришлось отослать в Киев Светлану и маму. Поселение мамы в небольшой комнате, где уже жили трое — моя сестра, ее муж и маленькая дочь, ускорило горькую развязку в этой семье, которую терзали неурядицы: сестра тяжело болела туберкулезом, весной 1953 года она умерла, ее брак к этому времени практически распался.

Нужны были билеты в Киев, а на календаре июнь, пора отпусков, с билетами трудно. Кто-то из друзей позвонил знакомой в МПС, я отправился к этой женщине за броней. «На чью фамилию писать?» — спросила она. Я мог бы назвать любую фамилию, но пересилил страх, ведь в кассе могут спросить документ. «На Борщаговского...» — «Какая страшная фамилия!» — воскликнула женщина, соболезнуя мне: легко ли жить однофамильцам разоблаченного, поносимого газетами человека! Мысль, что именно этому человеку она оказывает услугу, не могла ей прийти в голову — перо выпало бы из ее рук...

27

9 марта 1949 года Давид Тункель молча положил на мой стол свежий номер «Красной звезды». Прошло больше месяца с памятного партийного собрания в холле правительственной ложи, а труппа Центрального театра Красной Армии, где подвизались один за другим два «именитых космополита» — Бояджиев и Борщаговский, так и не собралась для покаяния и очищения.

Мешала позиция, занятая А. Д. Поповым. Не помогал нажим, звонки высокого начальства: Алексей Дмитриевич упрямо отказывался выступить на собрании труппы с докладом и предупредил, что, если на известных им условиях он выступит перед актерами, а в газете

извратят его речь, вставят мою фамилию, он больше не переступит порога театра.

Февраль тянулся в проволочках, в надежде, что Попов сменит гнев на милость, но в начале марта пришлось коллектив собрать, а 9 марта за подписью полковника В. Пахомова в «Красной звезде» был напечатан отчет о собрании коллектива ЦТКА.

О Пахомове стоит сказать отдельно: вскоре он демобилизуется, займет должность заместителя министра культуры СССР, станет тайно преследовать, исключать из репертуарных списков и запрещать (телефонными звонками в театры страны) мою пьесу «Жена», добиваться ее шельмования на страницах той же «Красной звезды» после премьер в Москве и Ленинграде. Суетность и льстивость Пахомова вызывали в Алексее Дмитриевиче брезгливость и плохо скрываемое пренебрежение. Как-то после какого-то просмотра я даже пожалел Пахомова — он ведал культурой в ГЛАВПУРе, курировал театры, — спросил у Попова: почему он так немилостив? Алексей Дмитриевич посмотрел удивленно: он предполагал во мне больше проницательности. Сказал, что не терпит двоедушия, что Пахомов не так прост, как кажется, что трудности театра часто исходят именно от него, а приторная услужливость продиктована желанием устроить в труппу ЦТКА свою жену-актрису. «Я ее смотрел и слушал, — сказал Алексей Дмитриевич. — Ей нечего делать на сцене». Уверюсь в нашем с А. Д. Поповым добром сотрудничестве, В. Пахомов попытался действовать через меня, прося заступиться, отыскать место для жены, тем более что генерал Паша давно дал согласие.

Плохо же он знал Попова, если надеялся на мое «заступничество» или протекцию начальника театра! В ведомостях зарплаты числилось трое военнослужащих, получавших более высокий оклад, чем Народный артист СССР, художественный руководитель театра А. Д. Попов: генерал Паша, его заместитель подполковник Горлышков и третий — то ли подполковник Самохвалов, которому надлежало выселить меня из квартиры, то ли подполковник, бывший кавалерист, в те годы — дежурный по правительственной ложе, куда за все время однажды заглянул Ворошилов и тут же сбежал в партер. Раздражение охватывало А. Д. Попова, когда, расписываясь в ведомости, получая тяжким трудом заработанные деньги, он видел суммы, назначенные Паше и другим, совсем уж бездельным в театре людям^[38]. Я не раз предлагал Паше разделить платежную ведомость на две, но какой-то параграф или армейское честолюбие мешали ему сделать это.

Положение Попова в театре сложилось особое; в ГЛАВПУРе понимали, что он — крупнейший режиссер советского театра и надо дорожить им, не пытаясь командовать. И подполковник Пахомов, многое извратив в своем отчете, не решился вписать мою фамилию в

изложение речи Попова. Алексей Дмитриевич напомнил о том, что за 37 лет своей режиссерской деятельности поставил 6–7 пьес классического репертуара и около 30 пьес на современные темы. «Я работал над этими советскими пьесами с полным творческим напряжением; могу сказать, что постановка этих пьес — дело моей жизни...» Переходя к последним годам, Попов отметил, что «...идеи советского патриотизма, любовь к своему народу, пронизывающие всю деятельность писателя, артиста, режиссера, помогают ему создавать подлинно волнующие, вдохновенные произведения. Наш коллектив, воодушевленный патриотическими идеями таких пьес, как „Сталинградцы“, „Южный узел“, „Последние рубежи“, „Призвание“, „На той стороне“, „Степь широкая“, создал правдивые спектакли, принесшие многим нашим актерам признание благодарного зрителя».

«Сталинградцы» Ю. Чепурина — плод усилий завлита Бояджиева. Все остальные пьесы отыскивались мною и дорабатывались в театре. И список не полон: В. Пахомов произвольно исключил из перечня названных Поповым пьес стихотворную драму М. Алигер о молодогвардейцах Краснодона (Алигер уже с подачи Н. Грибачева числили по ведомству «безродных» или порочных подражателей Ахматовой) и последнюю премьеру — «За вторым фронтом» В. Собко. Простой перечень названных Алексеем Дмитриевичем новых советских пьес и был товарищеским пожатием моей руки, — актеры знали позицию А. Д. Попова и, естественно, связывали все эти пьесы с моей службой в должности заведующего литературной частью театра.

Давид Тункель и принес газеты, чтобы прокомментировать во многом лживый отчет В. Пахомова, абзацы и фразы, которых никто не произносил («Бояджиев и Борщаговский, в целях дискредитации произведений советских драматургов, умышленно доводили до выпуска спектакли с крупными недостатками в тексте, снижавшими идейное содержание пьесы»!), рассказать о том, как сочувственно слушало собрание Гришу Гая, который вновь публично выступил в мою защиту, о неожиданной речи записного скептика, совсем не расположенного ко мне заведующего музыкальной частью Б. Шермана («В числе подпевал антипатриота оказался и Б. Шерман, пытавшийся преуменьшить значение враждебной деятельности Борщаговского»).

Зачем я вспоминаю эти подробности, беспочвенные обвинения, которые, однако же, могли стоять и мне и «подпевалам» свободы и жизни?

Предметом исследования должен быть не разбой власть предержащих — какие уж тут загадки и психологические сложности! — а душевное оскудение нас самих, добровольное погружение в мир политических спекуляций, самоподчинение жестоким лживым мифам. Само время отнимало у нас способность мыслить самостоятельно, отнимало достоинство, свободу нравственного выбора, здравый смысл, живую совестливую память. Убеждения, внушенные семьей, опыт

жизни, справедливость — все уступало казенной формуле, самым нелепым параграфам обвинения. Вот почему так важно анатомирование событий, так существенны подробности.

Я провел с коллективом театра два года, прожил открыто и дружно, хотя и без застолий и преферанса. Соединенными усилиями Попова и моими удалось преодолеть сопротивление ГЛАВПУРа и добиться разрешения на открытие второй, малой сцены театра (насколько я знаю, мы были зачинателями этого в Москве) — она была жизненно необходима артистам, их тоске по камерности. Появление современных, пусть не первоклассных, пьес позволило проявить себя многим из артистов. Охотно и не по обязанности посещали актеры мои обзоры международного положения, полулекции-полубеседы, к которым я пристрастился еще с военных лет; их слушал и Алексей Попов. И не было в театре человека, который не знал бы, что Ю. Чепурина с «Последними рубежами», А. Барянова, А. Первенцева, А. Кузнецова и Г. Штейна, Н. Винникова, В. Собко, М. Алигер, до того не грешившую пьесами, И. Прута с «Тихим океаном» привел в театр я и делал все возможное, чтобы эти пьесы стали лучше, сильнее, глубже. Иные из этих пьес по первым вариантам отвергались режиссерской коллегией, и только после долгой работы эти пьесы получали (а иные не получали) благословение режиссуры и труппы. Это не сделало их образцовыми или ярко талантливыми — и они канули, ушли. Однако за постановку «Степи широкой» Н. Винникова театр впервые был удостоен премии, а пьеса Барянова «На той стороне» не только прошла на сцене ЦТКА больше тысячи раз, но и обошла сцены множества драматических театров страны.

Но раздался звук зловещего рога, кто-то крикнул: «**Волк!**» — пустил по следу свору газетных псов, окружил нас красными лоскутьями жестоких загонщиков, и люди, хорошо знающие меня, согласились признать меня бешеным волком, будто и увидели даже волчьи клыки, — так легче было жить им самим... Вот поистине сатанинская работа, проделанная в нас и с нами сталинизмом, страхами и эйфорией.

«...Бояджиев и Борщаговский отталкивали от ЦТКА виднейших советских драматургов, стремились посорить их с театром. Презренным антипатриотам были чужды интересы нашего государства, народа, находившие отражение в произведениях передовых советских драматургов. Борщаговский, маскируясь лживыми заявлениями о борьбе за художественное качество репертуара, поносил и охаивал пьесы драматургов А. Первенцева, А. Барянова и других, расхваливая при этом пьесы буржуазных писателей...» Читатель уже знает, как появился на свет божий «Южный узел» Аркадия Первенцева, а с пьесой Анатолия Барянова «На той стороне» я провозился так долго и потрудился над ней столь основательно, что автор в смятении предложил мне соавторство и унялся только после того, как я сказал,

что мне эта честь не нужна, а плата подавно, и если он не уймется, я прекращу работу.

Но рог загонщиков трубил о «жалких потугах ничтожных пигмеев, вознамерившихся противопоставить себя мощному развитию нашей социалистической культуры», об «антипатриотах, которые будут выброшены на свалку истории», об агентах из лагеря империализма, готовых «идти на любые идеологические диверсии ради того, чтобы ослабить, подорвать мощь передового отряда лагеря демократии — Советского Союза». Майоров, нетерпеливо дожидавшийся моей квартиры, покаянно колотил себя в грудь: «Мы повинны в том, что не сумели своевременно разоблачить работавших в нашем театре антипатриотов Бояджиева и Борщаговского, не разглядели за их дутыми „авторитетами“ враждебной советскому искусству деятельности». Казалось, он проговаривает текст роли в привычном амплу социального героя и слушают его не десятки людей, знающих, что он лжет, а взволнованный зрительный зал, доверяющий каждому его слову. Знал ли он сам, что лжет? Скорее всего, не знал. Привычным автоматическим усилием прогнал тень сомнений, если она возникла, и весь отдался новой социальной роли — обличению, гневу, а заодно и самобичеванию, — ничто так не возвышает оратора-палача сталинской школы, как словесная мишура, именуемая самокритикой: до жалости ли мне к врагу, если я беспощаден к самому себе! Речь обретает высоту, видимость благородства, а если исполнитель еще из декламаторов, если он — воплощенное рыцарство духа, тогда он поведет за собой толпу фанатиков.

Но зачем выходили к трибуне славные, честные люди, такие, как Л. Добржанская, П. Константинов, А. Хованский, А. Хохлов, — талантливые артисты, не искавшие политической карьеры? Что понудило Наталию Ужвий чернить меня, того, кому она подарила свой портрет с размашистой надписью на лицевой стороне: «Моему лучшему критику», или шельмовать Абрама Гозенпуда, автора так полюбившейся ей, вышедшей в «Искусстве» монографии «Наталия Ужвий»?

Ищут разгадку в страхе.

Страх может многое исказить в человеке. Но ведь тем, кого я назвал, так просто было уклониться от трибун, не прийти, захворать, эти люди не связаны даже партийной дисциплиной.

Феномен 1949 года — и не только этого года — не в страхе, а если и в страхе, то в давнем, «перебродившем», распавшемся на иные элементы и состояния человеческой души. Великая сила коллективизма выродилась в стадность. Сыновняя любовь к родине обернулась раболепием. Сознание ответственности за общее дело все чаще перерождалось в суетную лакейскую покорность. Личность настолько потеряла отвагу и способность противостоять официозу, *указанию*, что бледная тень нравственности уже не могла сопротивляться не только «высокой политике», но и гаденькой конъюнктуре.

Привычка ко лжи и двоедушию — тоже производное от страха, почти атавистического или таинственно растворившегося в крови. И еще это вечное, зудящее, душу выедающее опасение «выпасть» из ряда, остаться незамеченным, непричастным к соборному делу — размытая, теряющая очертания и в то же время крикливая страсть «антимещанства», «антиобывательщины», страсть, короткими путями ведущая к новому, изощренному мещанству. Как же: меня хотят услышать, меня позвали, меня, именно меня просят выступить! Я нужен, и это важно, ведь хотят, чтобы говорили честные, самые честные и уважаемые люди, чтобы они поднялись над обыденщиной и мелочностью! И я выступлю, никого не оскорбив, озабоченный единственно судьбою искусства, оно мне дороже собственной жизни. В обдуманном, написанном годы спустя письме не худшего человека — Анатолия Глебова заключена классическая схема такого самообмана и нравственной капитуляции. И вот уже артист на трибуне и говорит о том, как «в исканиях, горестях неудач и радостях успеха мы создавали *замечательные* образы советских людей», — и невольная слеза умиления наворачивалась на его глаза. Но он взошел на трибуну не умиляться, а бороться, и его воспаленному взору рисуется некий «условный», пока еще безымянный критик-злоумышленник, буравящий актера недобрый взглядом из зала. «Стоило появиться в зрительном зале критику-космополиту, как этот литературный налетчик одним махом пытался „уничтожить“^[39] творение большого коллектива советских художников. Ему ничто не дорого, для него нет ничего святого в искусстве. За дымовой завесой „ученых“ терминов, вычурным языком, понятным только их собратям по разбойническому литературному вредительству, критик-космополит „громил“ (!) советские пьесы, их исполнителей и постановщиков...» Это уже не пахомовский текст, от В. Пахомова в этих фразах, может быть, два-три энергичных слова, — это говорит артист, и как он нравится себе в этом ораторстве!

На такой взвинченности, в разоблачительной эйфории, под махнешь и смертный приговор собрату по искусству, повинному лишь в том, что он начитаннее тебя и одарен не актерским, а литературным, критическим талантом и чувством ответственности за будущее советского театра, собрату, страдающему от зрелища оскудения, оказывания искусства и сказавшему об этом то, чего нельзя было не сказать — иначе сердце могло бы разорваться.

И земного поклона заслуживают те немногие, кто имели смелость пойти против течения, не поддаться безумию, с достоинством отстаивать свой взгляд.

Вспомним переполненный зал Театра киноактера на улице Воровского, напротив старого ЦДЛ. Сотни писателей голосуют за исключение из СП СССР Бориса Пастернака — в ответ на его полное достоинства и вовсе не вызывающее, а печальное письмо в секретариат

СП. Пусть не все подняли руку за его исключение, многие, пряча глаза, пересидели тягостную минуту «Кто против?» — спросил председательствующий С. С. Смирнов. Ни одна рука не поднялась. «Кто воздержался?» — спросил он и без паузы, автоматически заключил: «Единогласно!» Как превосходно это суровое, подлое единогласие, предопределение чужой судьбы, хотя никто толком не поймет, в чем же вина поэта, автора «Доктора Живаго», удостоенного, вместе с лирикой Бориса Леонидовича, Нобелевской премии!

Но слышались голоса: «Есть воздержавшиеся!»

В последнем ряду партера, близко от меня, поднял руку немолодой человек. «Кто там воздержался?» — раздраженно окликнул Смирнов: ему портили эффект полного единомыслия. Настолько портили, что эпизод этот, так памятный мне, даже не зафиксирован в стенограмме.

Голос человека тверд, но тих, ему не докричатся до президиума, и помог зал, как эстафету передавая, перекачивая на сцену фамилию: Гроссман-Рощин! Гроссман-Рощин! Гроссман-Рощин!

— Так и запишем, — с оттенком пренебрежения сказал Сергей Сергеевич. — Воздержался один Гроссман-Рощин.

Велик ли подвиг воздержаться при таком видимом или кажущемся единодушии сотен твоих, коллег?

Велик и заслуживает долгой памяти.

А ведь это вершилось уже не в сталинские, в хрущевские *либеральные* времена, никто из сидевших в зале не опасался ареста, даже решился он выйти на авансцену и сказать убежденное слово в защиту Пастернака.

Желающих не оказалось. Освободившись от Берии, общество не освободилось внутренне. Оно не свободно вполне и сегодня.

28

Иллюзии Константина Симонова, надо думать, развеялись. Не удалось «цивилизовать» репрессивную, нечистую «идейную борьбу», когда слова «банда» и «бандиты» воспринимались едва ли не как ласковое похлопывание по плечу. Администраторы разбоя торопились, их окрыляла безнаказанность, надежда, что мы, «безродные», *догуливаем* и нам не миновать тюрьмы. Суров — человек дела и крепких организаторских способностей — расчетливо ввел в черную игру новый козырь, поопаснее всего, что говорилось и печаталось в газетах до того февральского дня, когда состоялось писательское собрание. Одно дело желчный критик-одиночка, брюзжащий скептик, бросающий тень на праздничный мир социалистического искусства, — в борьбе с такими очернителями можно обойтись домашними средствами, не допускать их «на пушечный выстрел к святому делу советской печати» (Маленков). Совсем другое — тайная организация, вредительская деятельность банды злоумышленников, выведенных из

себя успехами советского театра, тщетностью своих попыток остановить его подъем.

Пытался выступить все еще до конца не поверивший в наше крушение Юзовский — прекрасный оратор и полемист. Но Суров и Первенцев не давали ему говорить, прерывали его, потешались над ним. Первенцев поднялся от стола президиума, простер руку, так что голова низкорослого Юзовского как бы нырнула под мышку Первенцева, и сказал, что вы, мол, воображаете себя гигантом, а вот вы какой ничтожный пигмей, карлик! Что же, аргумент и в духе времени и вполне во вкусе Первенцева...^[40]

Было у Софронова и Сурова твердое намерение вытащить в ЦДЛ меня, затруднить тем самым задачу ненавистному им, несмотря ни на что, Симонову. На руках у Сурова мое письмо Д. Т. Шепилову, с резкостями в адрес Фадеева, я наверняка заупрямлюсь, и не трудно будет выгнать меня из Союза писателей, лишить единственного «вида на жительство». Мне настойчиво звонил член парткома Иван Иванович Чичеров — покладистый человек, прошедший жизнь, как это водилось в РАППе, в ораторстве, в выработке «платформ», программ, резолюций и поправок к ним. Накануне собрания он звонил мне трижды, все настойчивее требуя меня в писательский клуб, и не мог понять, как это я не приду, не «воспользуюсь трибуной», не выступлю «перед товарищами», не признаю ошибок: своим упрямством я посягал на разумное устройство мира, на порядок жизни, на ее высшую гармонию.

В его простодушных настояниях чудилось мне и что-то вынужденное, будто он в комнате не один, его разговор со мной слушают. Чичерова выбрали для этой роли с умом: мягкий, суетный, нейтральный человек, без палаческих замашек, считавшийся моим другом, как, впрочем, и сотен других людей, еще более далеких от него, чем я. Всеобщий друг...

— Здравствуй, Саша! Завтра собрание, докладывает Костя, тебя ждут. (Почти идилия, небольшое домашнее торжество!) Почему молчишь? Это Ваня Чичеров. Мы тебя ждем.

— Я не приду.

— О тебе разговор, а ты не придешь! Соберутся товарищи, мы наконец спокойно обсудим...

— Меня зовут на расправу, и мне незачем туда ходить.

Можно бы и не звонить больше, но Чичеров позвонил и повел речь о том, что коммунисту негоже так реагировать на партийную критику, партком настаивает на моем участии в собрании.

— Ты звонишь беспартийному: у меня уже отняли партийный билет... Скоро? Да, по-военному. Но никто не посмел оскорблять меня, втихую отняли, а ты зовешь меня на разбой..

Я бросил трубку, но он позвонил еще. Говорил погасший, без так часто посещавшей его энергии глупости.

— Послушай, Чичеров: можешь ты ответить по-человечески? Лично ты, Ваня Чичеров, хочешь видеть меня на этом собрании?

Он молчал, сопел, не зная, что ответить, и я медленно положил трубку на рычаг.

Ни в эти минуты, ни назавтра под вечер, в часы собрания, я не думал об этом сбирище. Этого как бы не существовало для моего сознания, не существовало настолько, что меня никогда не тянуло прочесть доклад Симонова, и однажды, закусив удила, как это со мной случается, я даже обидел Льва Славина, подняв за столом у Николая Атарова в Переделкине истошный крик, что все эти кривотолки (чуть не сорвалось с языка — «клевета») о неприличном докладе Симонова — ложь, наветы, ничего этого не было и не могло быть! Сидевшие за столом Д. Данин и Л. Левин смотрели на меня, как на больного, кажется понимая, что мои вопли — самозащита и самообман, что в лучшем случае я не читал доклада; но как такое могло случиться?! Умолк и Славин: мол, как вам угодно...

Чем это объяснить? Только ли дружеской привязанностью к Константину Михайловичу, которой я и осмысленно и безотчетно дорожил? Малодушием или, напротив, решимостью не допускать до себя этого бреда, «фантомов», не имевших ко мне никакого отношения?

Шли годы, мы встречались с Симоновым, но ни единого раза между нами не зашла речь о злополучном докладе. И в судьи Симонову я не был готов, как не готов был в судьи даже Фадееву, не скоро поняв меру, точнее, бездну его перерождения, трагической опаленности черным, милостивым к нему сталинским огнем. Тогда ведь и Сталин был для меня авторитетом, — мне не кажется нравственным солгать, изобразить себя тайным антисталинским «карбонарием». Солги я сегодня, в унисон со многими, и все эти страницы потеряют смысл, рука потянется к гриму, прихорашивать и подслащивать. Будущий читатель окажется просвещеннее нас, пусть он попечалится и о нас, осудит, поразится нашей слепоте, только бы не заподозрил в косоротой лжи.

Практическим результатом доклада Симонова оказалось взрывное, неконтролируемое расширение списка шельмуемых литераторов, и не только литераторов. Погружаясь в историю, обращая мысль к двадцатым и тридцатым годам, критикуя взгляды конструктивистов и всех тех, кто искал если не образцы, то примеры в искусстве Запада, Симонов предложил печати новые имена, но, увы, не от него зависело, как обойдутся с ними завтра, будут ли держаться рамок «ученой», «джентльменской» критики или обрушатся с бранью. В разгоравшийся, гудевший костер клевет полетели новые поленья и щепы; об академических дискуссиях не могло быть и речи. В непростительные грешники попали и Виктор Шкловский, и Корнелий Зелинский, бывший на даче у Константина Михайловича в ту ночь, когда я узнал о сталинском гневе на «антипатриотов». Сторонясь Софронова, презирая

Сурова, Симонов-докладчик оказался невольным их собратом, только что из *приличного дома*. Уже и Фадеев мог перевести дух: ноша, принятая им на себя, сделалась чуточку легче, друг подставил под нее плечо.

«Пламень» борьбы против «беспачпортных бродяг в человечестве» бушевал по стране, захватывая все новые области жизни, проникая в ученые институты, в поликлиники и больницы, в армию. В Ленинграде начались гонения на брата моего отца, полковника медицинской службы Леопольда Исааковича Борщаговского, и только личное вмешательство адмирала, командующего Балтийским флотом, знавшего честность и отвагу скромного, славного дяди Липы, спасло его. Недруги литературоведа Михаила Пархоменко, занявшего принципиальную позицию против черносотенцев во Львовском университете, послали допытчиков в село, где родился Пархоменко, разнюхать, выведать, не еврейских ли он — хотя бы отчасти! — кровей. В Киеве сменялись ораторы на обличительных сборищах, шельмуя не только меня или Гозенпуда — это было в порядке вещей, — но и Леонида Первомайского, доведя его до попытки самоубийства. Я мог бы вспомнить десятки и десятки судебных только из круга моих друзей и знакомых, но что толку в этом; речь идет о судьбе сотен тысяч людей, отринутых, сделавшихся вдруг презренными или подозрительными; о явлении, уже наносившем ощутимый вред отечественной науке, серьезно затронувшем всю область культуры, проникавшем и в промышленность.

«Космополит», «безродный», «антипатриот» сделались для черносотенцев удобными словами-масками, за ними маячило, кривлялось, улюлюкало короткое слово «жид». Сорвать с себя маску и выкрикнуть первородное, сладостное слово — страшновато; черносотенец труслив, а Уголовный кодекс страны грозит суровой карой за антисемитизм. Так и сейчас у этой публики в ходу новый словарный эрзац — «масон», «масоны», а если и прозвучит слово «сионизм», то чаще с прибавлением — *международный*. Но к какой бы беде той поры я ни прикоснулся — борьбу с «безродными» вела малая и худшая, презренная часть общества: голову поднимали карьеристы, бездари, псевдоученые. Подлинные интеллигенты умели и заступиться и пойти против мутного потока, а если и отступали в сторону, не в силах противостоять разбою, то пытались как-то помочь попавшим в беду.

Какой нежной благодарностью отозвалось мое сердце на два письма, пришедших из Киева, — от академика Александра Ивановича Белецкого, научного руководителя моей диссертации, и от народного артиста СССР, художественного руководителя Театра им. Франко Гната Юры. Оба письма — и Александра Ивановича, адресованное в ЦК ВКП(б), и Гната Юры, без адреса, на мое усмотрение, — славные, «донкихотские», они не могли изменить моей судьбы — уже

перечеркнута диссертация о драматургии Тобилевича, изъяты книги из библиотек, а монография о Театре им. Франко изрезана на бумажную «лапшу». Я не просил их о защите; как мог я обратиться с этим к Гнату Юре, которого всегда считали таким осмотрительным и робким... И вдруг письмо на трех именных бланках, писанное чернилами, и в нем добрые, наивные в сложившейся ситуации слова обо мне: «Перечитывая снова все то, что тов. Борщаговский написал в свое время о Театре им. Ив. Франко, об его спектаклях, актерах, художниках и т. д. (а написал он очень много и обстоятельно: и книгу к XX-летию театра, и „Путь театра“ за XXV лет, и множество отдельных статей и очерков), я пришел к убеждению, что в этих работах тов. Борщаговский А. М. глубоко проявил себя как исследователь, убежденно стоящий на позициях марксистско-ленинской методологии. Борщаговский А. М., как человек, глубоко любящий советский театр, знающий пути его развития, а в особенности пути развития украинского театра, может быть весьма ценным и полезным тружеником на ниве родного театра».

Три дорогих сердцу листочка остались в моем архиве. Кому мне было их отсылать: Ф. Головенченко, приказавшему уничтожить монографию «Путь театра», обрекшему меня на гражданскую смерть; издателям, гоняющимся с судебными исками за «беспачпортным» и уже «беспрописочным», мыкающимся по огромной Москве и, как назло, пригретым на самых опасных, страшных, «режимных» улицах — Кирова и Герцена, по которым ездил сам Берия? Нет, нельзя было расставаться с добрыми и мужественными письмами Гната Юры и академика Белецкого. Я обращался к ним памятью, и мне легче было переносить все тяготы жизни.

Не преувеличиваю ли я, назвав их письма мужественными? Не посмеется ли над этим читатель 90-х годов? Велико ли мужество — сказать о человеке то, что представляется тебе правдой?

Бывают времена, когда такой поступок выражает высокое гражданское мужество, отвагу, ибо совершается не в порыве гнева, не в пылу сражения, но по зрелом размышлении. Такое письмо обдумывается, переписывается, взвешивается, пусть невольно, на весах совести и души. С ним можно повременить, от него можно отказаться, ничто вокруг не шевельнется, не упрекнет тебя, небо над тобой не помрачится. Ты будешь тот же, что и вчера, никто, кроме тебя, не узнает, что ты уже другой, не тот, что-то в себе задушивший отступник, оробевший человек.

Именно мужество необходимо для такого поступка, а значение его для гонимых огромно — прибавляются силы и уверенность в себе, что необходимо, когда из каждой подворотни в тебя тычут пальцем, тебя клеймят и унижают.

Вспоминаю многих, но, щадя читателя, скажу еще только об одном человеке, о непредвиденной встрече весной 1951 года с Анатолием Галактионовичем Петрицким, выдающимся мастером живописи и

знаменитым театральным художником. К тому дню уже вчерне дописана моя книга, судьба ее темна, я с Валею и Аленушкой проживаю в Москве «подпольно» (в наших паспортах старый прописочный штамп «ул. Дурова, дом 13/1», но он мифический, в квартиру въехал обличитель и праведник Майоров), любому милиционеру достаточно позвонить в районное отделение милиции, чтобы уличить нас, а ведь ютимся мы на «режимной» улице Герцена.

И вдруг на Петровке, у Столешникова, среди ясного дня меня окликает высокий голос:

— Борщаговский!

Я замер в предчувствии недоброго, а ко мне через улицу бежал человек. Полы незастегнутого короткого пальто взметнулись, как крылья, большая папка в одной руке, другой он яростно призывал меня, будто опасаясь, что я убегу. Не сразу узнал я Анатолия Петрицкого, чуть поседевшего, как всегда иронического (чтобы не выглядеть чувствительным, сентиментальным!), с мокрой, изжеванной, но не успевшей упасть с губы папиросой.

— Борщаговский! Борщаговский!

Только насмешник Петрицкий мог вложить в ничего не значащее, дважды повторенное слово такое богатство интонаций и чувств. Он похлопывал меня по плечу, смеялся, откинув небольшую, аккуратно облепленную короткими волосами голову, он радовался встрече, радовался мне живому, почти приласкивал меня так, что, допустив некоторое преувеличение, я мог бы сказать, что мы по-братски обнялись. Крик его не заинтересовал прохожих, «страшная фамилия» никого, кроме меня, на торговом перекрестке не встревожила.

Петрицкий провожал меня до дома на улице Герцена, где в ту пору мы скрывались, не ложась спать до часа и до двух ночи, не снимая костюмов, чтобы в случае милицейского обхода сделать вид, что мы в гостях, вот-вот должны уходить домой, а трехлетняя дочь уснула, не выдержала гостевания.

Петрицкий — сильный человек, хорошо знавший, как солена жизнь ошельмованного, художник, полузатравленный и отторгнутый от станковой живописи многолетним улюлюканьем: «Формалист! Формалист!» — не сказал мне ни единого жалкого соболезнающего слова. Он строго допрашивал меня: как живу, где живу, что делаю? Главное, что делаю? Чем заняты голова и руки, чего, можно ждать в будущем, не покаянными *дарами* мне от провинившегося общества — он хорошо знал, как мало расположено общество к покаянию, как оно, не моргнув глазом, снова и снова переложит любую тяжесть на плечи пострадавшего! И он в Москве с новой работой, с эскизами костюмов и декораций к оперному спектаклю Большого театра.

Услышав, что я написал *роман*, он приостановился: не тронулся ли я умом?

— Роман? — переспросил он. — Ро-ман! — Видимо, для него, как некогда и для меня, не только роман, но и проза вообще были чем-то таинственным, связанным с именами если не Достоевского или Толстого, то, на худой конец, Мамина-Сибиряка. Что-то бесстыдное есть в уличном заявлении: «Я написал роман...» Я сам почувствовал неловкость оттого, что не догадался сказать иначе: я написал *книгу*.

Петрицкий заговорил со мной, как с человеком не вполне здоровым, но я уже увлекся, рассказывал ему о своих поисках, о событиях 1854–1855 годов на Камчатке, — похоже, он начал успокаиваться.

Приютили нас тогда друзья — Лев Костин, художник-декоратор Большого театра, и его жена Лена Аркадьева, дочь известного в прошлом театрального деятеля, арестованного и исчезнувшего в годы сталинских репрессий; приютила нас и огромная коммунальная квартира.

Неприметный дом на углу улиц Герцена (№ 9) и Семашко. Тысячи людей день за днем проходят мимо по узкому, метровому тротуару, не замечая совсем неприметного парадного, потерявшегося между двумя обшарпанными магазинами — «Булочной» и «Продуктами». Три каменные ступени к двери и внутри, за ней, еще семь ступеней к входу в квартиру над магазином. А из квартиры, в ее кухонных тылах, черный ход, спасительный черный ход во двор и Средний Кисловский переулок. Если милиция нагрянет с обходом с Герцена, можно успеть уйти в Средний Кисловский.

Милиция появлялась не часто. Ведь с улицы Герцена, то выходя на небольшую каменную «паперть», то — по погоде — укрываясь за дверью, в парадном, день и ночь дежурил «топтун» из другого, более важного ведомства.

Мне часто приходится проезжать и проходить мимо этого дома по пути в писательскую организацию, в ЦДЛ, в редакцию журнала «Театр» — и вот уже сорок, без малого, лет память не блекнет, чувства не утихомириваются, во мне сохраняется и ощущение родного дома, и живая благодарность людям, жившим здесь некогда. В квартире проживало больше двадцати человек, самых разных: добрых и сварливых, беспечных и занудных, счастливых и обделенных счастьем (муж одной из соседок Костиных, славной Раи, капитан МГБ, знал о нас), просвещенных и живущих на ощупь, — и все они хранили нас, именно хранили, терпели и ограждали. Как просто было бы любому выйти из квартиры на лестничную площадку, шепнуть два слова топтуну, который всякий день выстаивал у нас в парадном, прямо напротив Газетного переулка. Худо бы нам пришлось!

Сочувствие людей, их доброта были нам верной крышей.

Я думал, Петрицкий больше не заглянет сюда, а он появился еще раз до отъезда в Киев. Приходил ли он потом — не знаю; нас не найти было в Подмоскovie, в долгих скитаниях и «перебежках».

29

Но вернусь в 1949-й. Подступили сроки выселения, писать больше некому, некого просить об отсрочке. Всегда враждебный любой элитарности: кастовой, бытовой и, увы, духовной, я стремительно приближался к той отметке существования, которая и была общенародной жизнью, где-то на самых нижних ее этажах. Что-то было в моих ощущениях от покорности, рабства или фаталистического малодушия, что-то от формулы: «от тюрьмы и от сумы не отрекайся», — и мы с Валею принимали новое существование почти как должное, с легким сердцем, пока условия жизни не покушались на нашу общность и возможность для меня работать.

После двадцати лет зависимости, подчинения обстоятельствам: службе, расписанию дня, общественным обязанностям — открылся захватывающий простор ненужного обществу человека, отторгнутого, предоставленного самому себе. *Власти* предрежащие сказали, что *меня нет*, нет и не должно быть даже в сельской школе, у классной доски; но *время* не могло так сказать, — время терпеливо, протяженно и бесконечно в этой многовариантности. Раньше ты маялся, негодовал на себя, что мечешься в унылом кругу служебных обязанностей, заказных рецензий, бесплодных обсуждений, «дотягивания» чужих пьес, ты мечтал о свободной литературной работе, радуйся теперь, сказала время, пиши хоть год, хоть два или три, встань на ноги; человек моложе сорока лет должен суметь все начать сначала. Нужно было кормить семью; к счастью, эту возможность мне дала на время дружба. Может быть, нехорошо сказано «на время», К. Симонов, В. Некрасов, В. Добровольский не думали, сумею ли я вернуть долг, и все они упорно пытались не брать у меня денег, когда пришла возможность расплатиться.

Борьба с «космополитизмом», остракизм, постигший талантливых и образованных людей, сразу же родили практику анонимной работы вынужденных литературных поденщиков на работодателей. Среди последних были разные люди: кто, пользуясь чужим трудом, публикуя под своим именем чужие работы, скудно подкармливал литературного «негра», а кто делал это щедро и по справедливости, только ради тех, кто лишился возможности печататься, кормить себя и семью. Не могу в этой связи не вспомнить благородного участия академика А. И. Белецкого в судьбе А. А. Гозенпуда: он помог ему пережить трудное время и выстоять. Александр Иванович придумывал такие работы, за которые академики, как правило, и не берутся, вроде составления хрестоматий, — т. е. труд, в котором не выразится литературный дар,

который и в малой мере не станет невольным, пусть временным, присвоением чужого творчества, — а гонорар за высоко оплаченную академику книгу он отдавал ее действительному автору.

Гораздо чаще возникали другие фигуры: жадный взгляд, нетерпеливое желание извлечь пользу из чужой беды, заполучить по дешевке чужое перо. Примером такого работодателя распутинского размаха был Анатолий Суров, — читатель скоро в этом убедится. Я же хочу рассказать о другом таком «работодателе», о колоритной фигуре *смутного* времени.

Случилось это в начале 1954 года. Мы тогда ютились под Москвой, в дачном Красногорске, сторожили чужой дом и кормили оставленную хозяевами свирепую овчарку. Из далекого Ходорова на Днепре, где прожили лето, мы вернулись в Москву, все еще без жилья, с паспортами, в которых значился и крамольный уже «постоянный» адрес — «ул. Дурова, 13/1», и временный, за взятку добытый штамп на Плющихе, давно потерявший силу. Из деревни я приезжал в Москву в июле, привез написанную там пьесу «Жена», прочел ее режиссеру Давиду Тункелю и драматургу Юлию Чепурину. Читал на Дмитровке, в квартире Жени Ростовой, жены режиссера Бенедикта Норда. Прочел пьесу и Яков Театралов, некогда начинавший свою административную работу в Харькове, в только что созданном там Театре русской драмы, при директоре Радове, при Н. В. Петрове и А. Г. Крамове.

Неожиданно Театралов разыскал меня и передал, что со мной хочет встретиться некто Краснощеков, литератор, автор одноактных пьес, очень почтенный человек. Место встречи, если я соглашусь, кафе «Националь».

Нам накрыли столик в правом от входа углу, за которым изо дня в день сживали после войны Юрий Олеша и Вениамин Рискинд. Краснощеков оказался высоким стареющим господином, твидовая темно-серая тройка сидела на нем так, как мне только в кино приходилось видеть. Весь он — блеск и барский изыск, волосок к волоску на в меру лысеющей голове, взгляд умных глаз тяжел и неотступен, но без суеты или раздражающей самоуверенности. По готовности метрдотеля и официанта *служить* мне было ясно, что этот англазированный господин — частый и важный гость «Националя». Театралов, сколько помню, и слова не произнес — он вставал, уходил звонить по телефону, исчезал, чтобы не мешать нам, а присаживаясь, ухмылялся зависимо и своднически.

Уже вышел мой роман, я раздал долги, но жизнь оставалась бездомной, бесприютной, и темнота впереди не редела; напряжение, державшее меня, пока я одержимо работал, ушло, жить становилось не легче, а сложнее и как-то сомнительнее.

Краснощеков знал обо мне решительно все, что было необходимо, чтобы бить по слабым местам. Сказал, что ему нужна пьеса, а у меня она есть, и едва ли театры захотят сейчас иметь со мной дело. «Именно

в театре, — резонно заметил он, — вам пока еще будет трудно. Театр опротивел вам, я и это знаю, вас предали, у вас нет желания и решимости испытывать судьбу, стучаться с пьесой к завлитам. Я *охотно* куплю пьесу, уплачу за нее большие деньги — сто тысяч рублей. Их не сразу получишь и при успехе пьесы...» Я поразился: «Вы не знаете пьесы!» И все же сердце дрогнуло: сбыть с рук пьесу, получить 100000, — и тут он не обманет, выплатит до последнего рубля и еще тыщонку-другую сунет посреднику.

— Знаю, знаю пьесу, — впервые солгал он. — Я прочел роман, знаю ваш уровень...

— Сколько людей пишут прозу, а пьесы у них не получаются.

— Если я иду на риск, то это — мой риск.

Впоследствии я узнал, что Краснощеков в годы нэпа был владельцем нескольких комиссионных магазинов, в том числе и в Столешниковом переулке, сидел в тюрьме и лагере, после войны снова оказался богатейшим человеком, владельцем дачи в Валентиновке по Ярославской дороге, а «крышей» его сделался какой-то писательский группом. Он оказался «автором» нескольких наверняка купленных одноактовок, но для вступления в Союз писателей нужно было нечто посерьезнев.

— Кроме денег предлагаю вам домик на дачном участке в Валентиновке, там у меня второе строение. Можете жить сколько угодно, привезете семью...

И это не от щедрости душевной! Получив меня в квартиранты, он заполучал постоянного «негра». Театралов, надо думать, рассказал ему, что как завлит я всегда предпочитал две-три недели самому повозиться с чужой пьесой, перекроить ее, вместо того чтобы тратить время на споры и «утоление» задетого авторского самолюбия.

Краснощеков все знал обо мне и брал меня живьем.

Я почувствовал опасность. Опасность не потери пьесы — бог с ней! — потери себя после всего, что пришлось вынести.

— Но как можно, не зная пьесы! — вяло сопротивлялся я. — Вы бы хоть прочли ее.

— Нет нужды, — возразил он, будто говорил с поставщиком товара, чье рыночное реноме вне сомнения. — Мне вашего имени достаточно.

— Но имя уйдет с титульного листа: вы ведь не о соавторстве?

Он на мгновение задумался: соавторство не приходило ему в голову.

— Соавторство меня не устроит, — решил он довольно быстро. — Мне нужна пьеса, так случилось. А вашей честности я доверяю стопроцентно.

Театралов блаженно улыбался. Он готов был обнять нас обоих, поторопить, склонить к *честной* обоюдовыгодной сделке: тогда директор драматического театра в Севастополе, он знал «конъюнктуру» и верил, что мне пока в театрах появляться нечего. Моя

пьеса сегодня еще не более чем товар, которому он нашел щедрого покупателя.

Изменившимися за четверть часа глазами я увидел вдруг похабного купца. За благообразной внешностью, розовыми щеками стареющего в сытости господина, за медлительными повелевающими жестами почудился мне лабазник, жестокий и самоуправный. Сделалось гадко сидеть за этим столом, с кофе, которого я не пью, с икрой, с пирожными «наполеон», с суетливым посредником Театраловым, хотевшим добра всем на свете: мне, торгашу и, разумеется, самому себе.

И я сказал, словно размышляя вслух:

— Все-таки неудобно: пьесу слушали драматург Юлий Чепурин и режиссер Давид Владимирович Тункель. Может кончиться скандалом.

Краснощеков уничтожающе посмотрел на «сваху»; глаза гневно побелели. Все стало ясно: Театралов уверил его, что пьесы никто не знает; я ведь обронил в разговоре, что написал пьесу «в стол».

— Прочел позавчера, и, надеюсь, они ее запомнили.

Краснощеков потерял интерес ко мне. Даже приличия ради не сказал тех слов, которые полагались бы при прощании. Поднялся от стола, на ходу сунул официанту деньги и прошествовал к выходу.

Через несколько лет было раскрыто загородное гнездо разврата в Валентиновке. Его клиентами оказались и многие известные и высокопоставленные лица, в том числе и академик Ф. Александров, секретарь ЦК по идеологии, автор нескольких убогих, компилятивных книг по истории европейской философии. Его изгнали из аппарата ЦК и отправили на университетскую периферию. Бардак для избранных функционировал на даче Краснощекова в Валентиновке, куда он звал меня на даровой постой. Его снова судили, и потом он не возникал на литературном горизонте ни с одноактными, ни с многоактными пьесами. Но мне часто вспоминался его ответ на мое недоумение, как же он приспособится к *чужому* тексту:

— Думаете, я один такой? Думаете, все сами пишут пьесы?

30

Уезжая в Ленинку, я повторял Вале:

— Продержись до трех, что бы ни случилось.

Подполковник Самохвалов, квадратный, молчаливый служака, всегда смотревший как-то мимо меня, не решится приступить к выселению в мое отсутствие, — что ни говори, я часто сиживал в спецбуфете (для именитых зрителей, чтобы им в антракте не толочься в общих буфетах) с генералом Пашой и другими генералами за рюмкой коньяка.

Пишу о выселении, а речь шла о примитивной акции — выдворении на лестничную площадку двух человек с ребенком, с чемоданом и несколькими узлами.

От книг я освободился одним махом, в считанные часы.

Библиотеку собрать за два года я не успел, но книги были; перевезенные из Киева и купленные в Москве. Жизнь упрямо разрушала мои библиофильские замыслы. В оккупированном Киеве пропала моя первая библиотека; взамен сотен собранных мною книг по театру, драматургии, эстетике и философии я в ноябре 1943 года, оказавшись среди голых стен довоенного своего жилья, обнаружил брошенный на паркет роман Достоевского «Идиот» на немецком языке. Но ни думать, ни заботиться о квартире я не мог, впереди долгая еще война, а когда в 1945-м я вернулся в Киев, квартира была занята, в суде «пропадали», «затеривались» документы, подтверждающие мои права, только вмешательство прокурора республики, вскоре сделавшегося известным в качестве главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, помогло мне вернуть квартиру, ту, что я сдал, переезжая в Москву.

Весной 1949 года пришлось продать книги вдруг, без раздумий, без «переживаний». За два года я пригляделся в букинистских лавках к книжным спекулянтам — большинство были люди молодые, оборотистые, всюду поспевавшие. Там, в проезде Художественного театра, я и нашел своего истязателя, мордатого, полуинтеллигентного жлоба, студента третьего курса, будущего медика. Он съездил со мной на Дурова, 13/1. Обойдусь без подробностей, — если бы не его желание хотя бы по корешкам обзреть все книги, дело окончилось бы в пять минут; он куда-то позвонил, ждал вызванного пикапа, мы в четыре руки увязывали книги в пачки, за все добро я получил немногим больше, чем, скажем, стоило полное, прекрасно сохранившееся собрание сочинений А. Н. Островского. Лихой торгаш, в чем-то сродни Краснощекову из Валентиновки, — хотя и не из *хозяев*, а из приказчиков — он с таким отвращением отодвигал от себя большинство книг, что стал казаться мне благодетелем, освобождающим меня от балласта, от постылого груза.

Я оставил себе несколько любимых книг; спасительную для меня в трудные минуты жизни книгу Герцена «Былое и думы» и два уникальных альбома — «Майданек» и «Цветы Освенцима» Зиновия Толкачева.

Еще шла война, когда в Варшаве издали эти альбомы, намеренно малым тиражом — 500 номерных экземпляров каждый, для аукционной продажи. Издание предназначалось главным образом для США, где альбомы продавались по 1000–1500 долларов за экземпляр, средства шли на восстановительные работы в Польше. Автор альбомов — известный украинский художник Зиновий Толкачев, живописец и график, блестящий иллюстратор рассказов Шолом-Алейхема. Рядовой

солдат Толкачев попал в Освенцим и Майданек в первые же минуты их освобождения: не убраны трупы, толпятся у колючих оград люди, тени людей, пробуя костлявой неверящей рукой обесточенную проволоку; тела детей — не тела, скелетики — сложены страшными штабелями; глаза спасенных узников непередаваемы; впервые увидена, впервые постигнута вся мера трагизма и скорби.

Художник будто обезумел, работал дни и ночи; кончились листы рисовальной бумаги, солдаты раздобыли для него в комендатуре лагерей большие блокноты фирмы «И. Г. Фарбениндустри», поставлявшей в гитлеровские концлагеря газ «Циклон» для душегубок, — большинство набросков и рисунков Толкачева сделано на этих фирменных листах. Если существует справедливость, то эта серия Зиновия Толкачева (завершив работу карандашом и углем, он в те же дни сделал немало листов в цвете, повинующемся не случайностям природы, а мудрой руке мастера) займет важное место в художественной обличительной летописи человечества.

Оба альбома с автографами подарены были нам художником, и я не представлял себе, что когда-либо расстанусь с ними. Продать их казалось кощунством и предательством. Предательством вдвойне: в эти дни и Зиновий Толкачев был подвергнут травле.

Кого, каких злодеев от живописи или графики мог задеть этот мягкий, застенчивый и нежный мастер, сторонившийся шума, похвал, рекламной суеты?

На одном из альбомных листов прозревшие «судьи» вдруг увидели изображение талеса — молитвенного шарфа евреев. Верующие старики, случалось, уносили с собой талес в толпу обреченных, в лагеря уничтожения, — он был для них тем же, чем чалма для мусульманина или нательный крест для христианина. К 1949 году молитвенный шарф на рисунке Толкачева уже около пяти лет трепетал на колючей проволоке лагерной ограды, его вздымал и трепал смертный, выжигающий ветер истории. Пять лет восторгов, печатных похвал, и вдруг — травля, улюлюканье, остракизм, обвинение в пропаганде *сионизма*. Кто-то зоркий заметил этот ритуальный — уж не жидомасонский ли? — знак, эту деталь *культа*, заметил, оскорбился, поднял неистовый крик, и жизнь старого, от времен Трипольской трагедии, комсомольца покатила под откос.

Вспомним трагическую судьбу Александра Исбаха: как все похоже! Как уныло и угрожающе в этой, сулящей кровь провокации повторяются приемы инквизиторов, их «аргументы». Исбах рассказал о молодом человеке, отринувшем Иегову и посулы эмиссаров сионизма, написал о пробуждающемся революционном сознании, — но ведь его герой побывал в стенах синагоги, этого оказалось достаточным для обвинения самого Исбаха в сионизме, для лагерных репрессий.

И Толкачева, обличителя фашизма и расизма, распинали только за то, что еврейский полосатый молитвенный шарф на колючей проволоке

лагерной ограды напоминал о народе, обреченном фашистами на полное уничтожение. А может быть, те, кто топтал его с особенным усердием, не прощали Толкачеву и его классическую серию иллюстраций к Шолом-Алейхему?..

Как давно знаком нам этот опасный, распространяющийся со скоростью бубонной чумы бред: поиски тайных знаков, злоумышленных начертаний, враждебных символов! Он захватывает людей, овладевает массами, становится навязчивым, тяжким недугом. В 1937 году всякая печатная страница, даже школьная тетрадь с таблицей умножения на обложке разглядывалась в искаженную лупу подозрительности: нет ли где свастики или какого-то подобия ее, не покушается ли вездесущий враг на духовное здоровье и патриотизм наших детей?

Стихийная эйфория может натворить много бед, искалечить судьбы; но когда поиски символов и знаков, теней и «черточек» становятся целеустремленными, злонамеренными, когда «знаки» и «символы» хитроумно изобретаются и все круто замешивается на дрожжах шовинизма или национализма, ситуация становится взрывоопасной. Сегодня, спустя сорок лет после охоты за духами «космополитизма», вожаки «Памяти» демонстрируют, куда может завести невежество, помноженное на зоологический антисемитизм. В 1949 году я расплачивался за открытую критику бездарных пьес, в этом было хоть какое-то логическое оправдание выпавших на нашу долю злосчастий. Зиновия Толкачева ископытили за то, что на лагерной ограде глаз художника поразила реальная деталь — истеребленный на ветру, изодранный молитвенный шарф.

Год мы держались, не продавали альбомов Толкачева, но настал день, когда, куска хлеба ради, я отнес их в магазин, ютившийся между старым «Националем» и Театром им. Ермоловой. По выражению глаз приемщика и двух подбежавших библиографов я догадался, что этих альбомов — да еще с автографом художника! — тут заждались, что их спрашивают иностранцы, проживающие рядом в «Национале». Я бы отдал и за сто рублей — ведь за все книги, увезенные с верхом на пикапе, я получил только двести, — а мне за Толкачева предложили триста. Я был счастлив. Многие годы мы не решались признать Толкачеву, а когда открылись, получили от великодушного художника бесценные подарки: графические серии на темы Шолом-Алейхема и оттиски некоторых рисунков «Освенцима» и «Майданека». Спустя годы издательство «Советский художник» в Москве переиздало часть концлагерных рисунков в одном довольно скудном альбоме, и я был счастлив написать к нему предисловие.

Константин Симонов настойчиво предлагал деньги; он умел так позаботиться о друге, что казалось, будто не он тебе одалживает, а ты его освобождаешь от чего-то лишнего, облегчаешь его душу. И все это без слов, без объяснений; слова могли бы все разрушить.

В конце мая, работая в Ленинке в две смены, рабски перенося в общие тетради сотни страниц хроники XIX века, документов, парламентских лондонских дебатов, довольно быстро перепечатывавшихся с полос «Times» в «Морском сборнике»; выписки из трудов ученых и путешественников от Крашенинникова до академика Комарова; из работ ботаников, зоологов, ихтиологов, краеведов; из книг по истории китобойного промысла в северной части Тихого океана, истории европейского и американского проникновения на Гавайские острова и в Японию, до появления у ее берегов эскадры Путятина; из описаний гаваней на побережье Тихого океана; из мореходных книг, наставлений, инструкций и т. д. и т. п. — перечисление всего отняло бы десятки страниц, — бережно перенося в свои альбомы и тетради рисунки, схемы, гравюры, портреты и чертежи, окунаясь во влекущий меня мир, — в конце мая я не так понял, как почувствовал, что более ничем не защищен, нечего прикидываться *научным работником*, птицей, клюющей по зернышку, пришло время ставить парус, браться за штурвал и плыть...

Я начал писать главу за главой, возобновляя и разыскания по мере работы, диктовавшей новые вопросы и нужды, новые «окна» в историю и природу. Хотя книгу впоследствии убежденно поддержали академик Е. Тарле, А. Твардовский, Б. Лавренев, окончивший морской кадетский корпус, адмирал Иван Степанович Исаков, исторические романисты, я никогда не терял критической самооценки важной для меня, по житейским обстоятельствам, книги. Я написал ее, не побывав на Камчатке, — взятому под подозрение и нельзя было побывать на камчатском приграничье. Академик Тарле утверждал, что я мог бы защитить «Русский флаг» как диссертацию, опустив «художество» и сделав только немногие поправки. Старожил Камчатки бывалый морской капитан Жежеренко напечатал одобрительную рецензию, но высказал несколько упреков и оказался жестоко неправ, ибо судил о камчатской земле по личному опыту, а вулканическая «молодая» земля полуострова претерпевала изменения и то, что было сто лет назад Бабушкиным мысом с обсервационным пунктом при входе в Авачинский залив, стало в XX веке *кекур*ом, т. е. отдельно стоящим утесом. (Я не был в США и намеренно отказался от туристской поездки туда, когда работал над романом о гражданской войне в США — «Где поселится кузнец». Современная Америка вышибла бы из моего внутреннего зрения старый Чикаго, который до пожара был так мал, меньше Сент-Луиса, а земли, занимавшие меня, я знал до малых подробностей, держал в памяти улицы и перекрестки, салуны и концертные залы, помнил патриархальный, деревенский еще Лонг-Айленд. Я год за годом исследовал все, что могло мне понадобиться, и был вознагражден тем, что рецензент журнала «News Week» выразил серьезное сомнение, действительно ли я не объездил штаты Иллинойс, Кентукки и Алабаму, не исходил Нью-Йорка и Вашингтона, а профессор Бриджесс,

авторитетный исследователь гражданской войны в США, написал, что «Где поселится кузнец» — редкое соединение прозы, «романности» с научным исследованием предмета. Нельзя, я думаю, уехать в прошлое иначе как в воображении и с помощью скрупулезнейшего исследования всех реалий прошлого.)

Я начал писать, и будто в награду за отвагу (или безумие) на пороге возник некто, подаривший надежду на московское жилье: молодой, громогласный студент Московского университета (студент — по его утверждению, так ничем и никогда не подтвержденному), поэт и герой военной Праги — Михаил Вершинин. Вот фигура, в которой как в фокусе выразилось наше время, — его свет и темнота, его судорожные порывы, его барабанная музыка, его бравурный оптимизм и нищета, — время преломлялось то в драматическом, то в фарсовом, то в фантастическом жанре.

Вершинин мог за ночь написать поэму, но жизни ему не хватало на то, чтобы написать хотя бы и тонкую книжку стихов.

А рядом, тоже в центре Москвы, под бравурные марши всходила звезда дельца и авантюриста; без артистизма, без вдохновения, даже без графоманского пота. Авантюризм Сурова тоже выразил эпоху, — неопратно, но основательно, с мрачным, хмельным размахом.

Вершинин часто звонил из автоматов Василию Сталину, но, увы, почти никогда не прозванивался. Он упрятывал кабинетную алфавитную книгу во внутренний карман пиджака так, что подбородком мог упереться в картонный обрез. Дом его был честный, нищий, без обеда, без телефона и без газет.

У Сурова дом нувориша, всего вдосталь, черная правительственная машина. Он не звонил ни Сталину, ни его сыну Василию. Завершив труды над очередной пьесой и выдержав паузу в две-три недели, он пускал слух, что пьесу одобрил Сталин, автору звонил Поскребышев, передал весьма похвальные слова...

Слух распространялся, источник его затеривался, и не было храбрецов проверить такой слух: кто решится!

31

Все показалось правдоподобным.

Вершинин передает мне свою квартиру на улице Кирова, во дворе дома, стоящего рядом со знаменитым чайным магазином. Передает навсегда, сам же поселяется в наших двух комнатах по улице Дурова, 13/1, и бедный Майоров не получит их. Оказывается, Михаила Вершинина приглашают в театр на мою должность, в квартире поселится он, третий по счету завлит.

Мне так хотелось поверить в сказку, что здравый смысл отступил. Поверить было тем легче, что верил и Вершинин, он подумал о такой возможности, вообразил ее себе, и она обрела черты реальности. Все

как бы уже свершилось, его воображение уже проделало необходимую работу, уже он истинно был моим благодетелем, спасителем и до дрожи в голосе сам радовался этому.

Студент Московского университета, участник войны, он пришел в театр со стихотворной пьесой о Чкалове. Звучный стих, без поэтических тонкостей и «излишеств», которые затруднили бы сценическое прочтение (без всяческих там «век вывихнул сустав»!), стих, навеянный гусевской «Славой», и варварские просчеты в самой постройке пьесы. Но Вершинин был удивительным учеником. Он мгновенно переписывал, перемонтировал целые акты, иной раз ему хватало на это одной ночи, не бунтовал против «вертикальной» правки, опустошительных купюр, на все отвечал доброй и неизменно бодрой улыбкой. Не упорствуя, он быстро переписывал *иначе*, почти никогда не умея написать лучше.

Что-то было в нем артистическое, вселявшая доверие уверенность движений, располагающая открытость и, я бы сказал, социальная бодрость. По мере того как опадали мертвые листья строк и строф, конструкция пьесы о Чкалове обнажалась и очевидной становилась ее рассудочность. Мне пришла в голову спасительная, как показалось, мысль: исполнить пьесу «ан фрак», на малой сцене, без декораций, обратив поэтическое слово к небольшому уютному залу.

Я пытался «влюбить» в пьесу кого-нибудь из режиссеров, но безуспешно. Единственный, кто испытывал трепет перед Вершининым, был Паша: испытание, которому его подверг Миша, не выдержал бы никто из доблестных генералов. Попросив разрешения, Миша из кабинета Паши позвонил Василию Иосифовичу, и на этот раз Вершинину повезло, отозвался сам Василий Сталин. Вершинин бодро доложил, объявил, что марш футбольной или хоккейной команды ВВС готов, успел еще сказать: «Будет сделано!» — и со святым трепетом положил трубку.

Теперь он мог брать генерала голыми руками, Паша готов был даже подписать с ним договор, но тут подоспел «космополитизм», все застопорилось. Вершинин решил прийти мне на помощь, в горячечной голове возник план квартирного обмена; откуда мне было знать, что Миша, не имеет в Москве жилья. Квартира на улице Кирова принадлежала его жене Светлане.

Я робко усомнился: как поменяться, если квартира на Дурова, 13/1, отнята у меня бумагами военных прокуроров? Вздор! Чепуха! Миша возликовал, препятствия только подхлестывали его. Он поставит на место прокуроров; обдумав обмен, он предусмотрел и эту трудность, пригласил в ресторан на ужин двух генералов — прокурора и интенданта, а генералов из ГЛАВПУРа кормить незачем, хватит с них того, что он *согласился* пойти в завлиты ЦТКА.

В один из погожих дней детства Миша был выделен из сонма простых смертных. Никита Хрущев посетил Дворец пионеров в Москве и сфотографировался с детьми. Один из них, красавчик с горящими,

ликующими миндалевидными глазами, оказался на коленях у члена Политбюро и секретаря МГК ВКП(б). Показывая мне свято хранимую газету с фотоснимком, Миша говорил, что Никита Сергеевич подхватил его на колени, но может статься, что он сам в порыве, в наитии кинулся в объятия Хрущева.

Жизнь Миши быстро менялась, детские стихи обретали трибунную громкость. Через год он двинулся под барабанный бой во главе отряда пионеров в Комитет по делам кинематографии. Барабаны не замолкали, пока дети шли мимо вахтеров, поднимались по лестнице на второй этаж. Смолкли они только в кабинете Дукельского, старого большевика, в то время — главы советской кинематографии. Операция продумана: рапорт, представление и просьба, обращенная к «дяде Дукельскому», выделить аппаратуру, пленку и оператора-консультанта для съемок фильма об «Артеке». Дукельский извещался, что их уже принял народный комиссар здравоохранения, выделил деньги и путевки, а ЦК комсомола тоже поддержал их.

Мог ли Дукельский не пролить слезы, мог ли он отказать детям!

И они строем под барабаны прошли по Москве в Наркомздрав, уже с «векселями» Дукельского в руках, и только потом, благословленные двумя ведомствами, промаршировали в ЦК ВЛКСМ. Задумать и безукоризненно провести такую операцию мог только отрок с задатками гениальности.

Глубокой осенью 1941 года Москва осталась без поэтов: кто в строю на фронте, кто в армейской печати кто в эвакуации; стихи Вершинина очень пришлись для плакатов, для новых «Окон РОСТА», — их создавали известные художники. Юноша обретал не отягощенную рефлексиями веру в себя, в свою счастливую звезду. В 1942 году он уходит на фронт добровольцем; проследить армейский путь Вершинина мне не под силу: смена фронтов и дивизий, армейских газет и ансамблей песни и пляски, многочисленные представления к наградам, которые, как правило, не поспевали за ним, не находили его в войну и не нашли после войны, — всего этого в памяти не удержать было и Вершинину. Одно могу сказать уверенно: в годы войны он жил бессонно, неутомимо трудился, никому не отказывал в стихах, мог походя сложить — и складывал — поэтический марш дивизии, полка, батальона, песни (а то и гимны!) отдельных воинских частей. И был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Закончил войну в Праге неслыханным, фантастическим и поистине *вершининским* аккордом. Он оказался где-то под Прагой, где только что бойцами их армии была освобождена семья генерала Свободы. К Свободе полетела телеграмма за подписью лейтенанта Вершинина, и была в ней пустяковая неточность, быть может, ошибка военного телеграфа: вместо слова «освободили» — «*освободил*». Эта потерянная буква «и» привела к небывалому возвышению Вершинина. Спаситель Праги маршал Рыбалко и Миша Вершинин были равно награждены

самым высоким орденом Чехословакии. В «Руде право» им посвятили газетную полосу, разделив ее по вертикали строго поровну, — две фотографии, два жизнеописания.

По майским улицам Праги, не чуя под собой ног, вышагивал герой республики; почему бы ему не издать быстро, в две-три недели, как еще не разучились печатать чехи, том своих русских стихов? Издатели, возбужденные жизнеописанием Вершинина в «Руде право», нашлись, — в те дни было молниеносно напечатано несколько русских книг, в их числе и сборник поэзии Константина Симонова.

Издание сборника Вершинина оказалось ошибкой; пражский сборник дошел до Москвы, многих привел в ошеломление, в «Комсомольской правде» появился фельетон, и Вершинина вызвали на Бюро ЦК ВЛКСМ. Его обвинили в авантюризме и по предложению первого секретаря Михайлова исключили из комсомола.

Дети, сущие дети, люди без фантазии!

На Бюро ЦК ВЛКСМ, выслушав приговор, он улыбнулся им прощающей улыбкой, теснее прижал локтем к тощим ребрам комсомольский билет и сказал, что исключить они его никак не могут, так как год назад он механически выбыл из комсомола за неуплату членских взносов...

Он презирал своих судей и с высоты своего простецкого, *демократического* величия не замечал чужих ухмылок и уколов; редакционные отказы не задевали его — дайте время, и к нему покаянно обратятся за новыми стихами.

Не обращались... Он держал в уме праздничные дни, особенно «малые» отраслевые праздники. «Строительная газета» или «Водный транспорт» и другие газеты отраслей, в их предпраздничные дни, порой украшались его стихами. Ранним утром Миша ускользал из дома и возвращался с несколькими экземплярами газеты, а если в киосках ее уже не оказывалось, то с прямоугольничком, вырезанным бритвенным лезвием с газетного стенда.

Это была жизнь подвижника, вся отданная поэзии, одной поэзии, но в протiwоестественной жажде добиться всего вдруг, чудом, одним усилием. Жизнь голодная, в добровольной нищете, странная жизнь человека, который жаждал получить все и не огорчался тем, что не имеет ничего.

Вершинина звали на посольские приемы: чехи — как кавалера высшего ордена республики, посольства других соцстран — за компанию, в порядке обмена опытом, еще не имея сложившихся традиций.

Дробь пионерского барабана никогда не смолкала в нем, и все же, все же он был куда интереснее множества ординарных педантов, мелкотравчатых потребителей жизни. Московский университет был такой же призрачной «реальностью» существования Миши, как и его «комсомол», как угрожающе множившиеся орденские планки на его

грудь. Поначалу я спрашивал: как случилось, что за месяц количество наград удвоилось, не нашли ли его фронтовые ордена? Не нашли, на это необходимо время, успокаивал он меня, но почему он должен ждать, пока раскачается казенная колымага! Он лучше полковых писарей знает, когда и к какой награде его представляли.

Все у него возникало внезапно.

— Малый театр принял мою пьесу! — объявил он как-то ненастным осенним днем. — Вы должны ее прочесть.

— О Чкалове?

— Я написал пьесу по роману Дин Лин «Солнце над рекой Сангань».

Он метнулся к себе в комнату и вернулся с рукописью.

В ту пору его ожидание нового чуда неисповедимыми путями связалось с далеким Китаем. Он сочинил песню «Москва — Пекин». Как-то я застал такую картину: на низкой кровати перед ним сидела как зачарованная наша двухлетняя Аленушка, Миша, отбивая ударами ноги ритм, на свой лад напевал только что законченную песню: «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас!..»

Пьеса повергла меня в тяжкое уныние, и я сказал об этом Мише. Он смотрел на меня недоверчиво, без обиды, взял рукопись и молча ушел к себе. К моему возвращению из Ленинки Вершинин преобразился, снова был счастлив и снова протянул рукопись, сказав, что все переписал. Я отказался читать и с той поры видел только титульные листы рукописи; там было на что посмотреть. Через неделю у Вершинина появился соавтор: китаист, дипломат, бывший советский консул в Шанхае. Умный, осмотрительный человек, он дал инсценировке и свое имя, и это повысило шансы в Малом театре, Царев всерьез подумывал об ее постановке. И тут подвернулось воистину чудо! В Москву приехал Мао Цзэдун, и этот последний его приезд в Советский Союз завершился приемом не в кремлевских трапезных, а в ресторане «Метрополь». Мы с вечера собирали Мишу на торжество, а дождались глубокой ночью.

Казалось, судьба Дин Лин на сцене Малого театра решена.

Первый ночной рассказ Вершинина о приеме, еще не обросший поздними фантастическими дополнениями, был апофеозом буйной фантазии, потрясающего самовнушения Вершинина. Оказывается, он сидел так близко от Сталина, что слышал его. «Кто этот симпатичный молодой человек?» — спросил Сталин, перстом указав на Мишу, и кто-то, *«стоявший за спиной кресла»*, назвал Вершинина и прибавил несколько добрых слов о нем. «Почему же не сделать молодого, умного человека секретарем ЦК комсомола, зачем нам *старик* Михайлов?» — недоумевал Сталин, и все, конечно, были с ним согласны...

Бедный Вершинин — он ведь слышал все это, слышал потому, что хотел услышать, не мог не услышать!

Булгаков остроумно сочинил горький пародийный диалог со Сталиным, Миша в галлюцинации услышал все слова, ликовал, видел

себя во главе ЦК ВЛКСМ — секретарем, не казнящим, а прощающим Михайлова, — и с этим ничего нельзя было поделаться.

В течение дня Вершинин не раз пересказывал при мне ночной мираж, — уважение к нему Сталина, интерес и любовь вождя все росли, прибавлялись похвальные эпитеты, уже Сталин находил его *умным* и *талантливым*.

Миша счастлив, добр ко всем и в пароксизме душевной щедрости сделал шаг, загубивший всю затею с Малым театром.

32

С конца июня 1949 года по сентябрь мы прожили в подмосковном Кучине на даче, которую сняли близкие нам — и по-родственному и по духу — люди: моя родня по матери Вера Осиповна Бокшицкая и ее муж Семен Хасимович Раппопорт — философ, историк и литератор. Их приглашение спасло нас, жили мы дружно, не как присельники, как равные, — другого и быть не могло в том климате братства и открытости, который всегда царил вокруг «Раппопортов» и их многочисленных друзей. Вера почти одновременно с Валей родила дочь, и две Аленки — Аленка-черная и Аленка-белая — проводили дни вместе, под присмотром одной из мам.

В Ленинку я уезжал из Кучина со спокойной душой. Пройдет долгий день, я вернусь, привезу из Москвы две-три страницы, исписанные так густо, что никому, кажется, и не разобрать моего текста. Мысль о зиме тревожила, но это далеко, а пока заботы отошли, я ничего не жду, ни на что не рассчитываю, пространство вокруг меня свободно. В будущем, когда я снова оброс обязанностями, чужими рукописями и множеством посторонних дел, я не раз с тоской вспоминал время, когда был никому не нужен. Никому не нужен! Какое спасительное для пишущего человека состояние. Я плыл со своими героями на изрядно расшатанной «Авроре», хоронил умерших от цинги матросов, озира́л потрясенным взглядом огромную Авачинскую бухту, где могли бы поместиться одновременно все военные флоты мира тех лет. Перед глазами океан, штормы, трудная работа с парусами, забытая Петербургом Камчатка, вулканы, шеломайник, закрывающий лошадь и всадника, реки, вспененные пробивающейся против течения горбушей. Я так пропитался картинami воображаемыми, что память почти не удержала образов тогдашнего Кучина. Все, что было после, в другие лета: Медведково, Лосиноостровск, Пески под Коломной, чужая холодная дача в Красногорске, Ходоров на Днепре, — все памятно до мелочей — прозрачных днепровских стариц, малых плесов, деревенских тропинок, луговин, тынов, стрех, — а Кучино 1949 года заслонили камчатские пейзажи. Я положил себе год на писание книги,

но разве я мог представить себе трудности дела, разве мог вообразить, что в черновой рукописи окажется тысяча двести машинописных страниц!

Как-то в августе, уйдя из библиотеки, я столкнулся с Вершининым у Центрального телеграфа. Он не усовестился, что бросил нас на произвол случая, открыл мне дружеские объятия и сказал, что ждет меня, ждал все это время, и на улицу Кирова — «режимную» улицу — можно переехать хоть сегодня.

Мишу не позвали княжить в ЦК ВЛКСМ, но вершининский гимн советско-китайской дружбы гремел на просторах России и Китая, под его звуки подкатывали к двум великим столицам скорые поезда Москва — Пекин.

Дело подвигалось уже и к началу репетиций над инсценировкой романа Дин Лин, Вершинин зачастил в Малый театр и тут совершил непоправимую ошибку. На титульном листе появилась фамилия третьего соавтора, молодой поэтессы, подруги Чацкого. Вершинин постеснялся сказать мне об этом, я случайно увидел ее фамилию. Откуда? Почему? Когда она успела причаститься?

Вершинин улыбался великодушно: какие пустяки!

Примечательно, что и в этом случае он уступил не корыстному расчету, а слезной просьбе Чацкого. Дин Лин с ее романом уже будто не существовала, была пьеса Вершинина, Малый театр, будущий, несомненно международный успех спектакля «Солнце над рекой Сангань», был он, щедрый обладатель сокровищ, готовый раздать все, а понадобится, то и свое горячее сердце!

Появление третьего, неизвестного театру автора поразило Царева. Пьесу заново прочитали, и она предстала во всей своей психологической скудости. А ведь сыграй ее тогда Малый театр, и никто из уцелевших театральных критиков не посмел бы сказать худого слова!

Отказ Малого театра Вершинин перенес легко. Он жалел Царева, соболезнавал театру, который так близко подошел к небывалому успеху и так пренебрег славой!

Театр уходил от меня: пьесы, спектакли, статьи о них, театральные сенсации — все как бы перестало существовать. Отчуждение диктовалось не мстительным чувством отверженного, а ощущением истощенности этой моей, прошлой уже, жизни. Я так и не стал театральным ученым, мои книги по истории украинского театра все не без *любительщины*.

Сильнее другого к черте отчужденности подвела меня работа над пьесами драматургов-дебютантов ЦТКА. За два года не возникла ни одна пьеса, которая захватила бы меня как откровение и таинство. Мы радовались любому зерну правды, подтвердившимся способностям, успешным премьерам, но тоска по настоящему, непредвиденному, «звездному» и у меня, и у Алексея Попова не проходила. Уже *сходил*,

терял силу близкий Попову Николай Погодин; еще не написал своих лучших пьес Арбузов, он все еще был автором «Тани»; только-только начинал Володин, и далеко еще было до Вампилова.

Вывавшись из сутолоки так похожих друг на друга персонажей пьес на океанские просторы, под тугие паруса фрегата «Авроры», в заросли камчатской *каменной* березы, на артиллерийские батареи Сигнального мыса, я отряхнул театральный прах с ног своих; иначе не выполнить за год непомерный объем работы, которую я по счастливому неведению взвалил на себя.

Отзвуки театральных страстей приходили с людьми: с Давидом Тункелем — он всегда находил, время для нас, словно опасаясь, что все вдруг прервется и мы останемся без его братского присмотра. Находил меня и Алексей Дмитриевич, просил *не исчезать*, звонить, он, кажется, чувствовал неуволнимую ответственность за мою несудьбу.

Алексей Дмитриевич, что бы ни вписал в текст его выступления на сборе труппы ЦТКА полковник Пахомов, был возмущен, до презрительного и брезгливого чувства, издевательствами над театральными критиками. Он знал цену их острой, самостоятельной мысли, моральной неподкупности, уважал их и тогда, когда не был согласен с ними. Как истинный художник, он понимал значение независимой мысли и презирал прислужничество.

Яркий эпизод первых послевоенных лет покажет нам живого Алексея Попова лучше всяких рассуждений.

Как-то перед началом репетиции ему в театре подали бандероль, в ней оказалась книга Вадима Кожевникова с пылкой дарственной надписью. Было это в кабинете генерала Пашё. Попов изменился в лице, нижняя челюсть нервно заходила, он только что не забежал по кабинету. «Какой пошляк, какой нетерпеливый пошляк! — выкрикивал Попов, потрясая книгой. — Он всех на свой аршин меряет... Повременил бы хоть немного!.. — Он бросил книгу на стол генерала. — Отошлите ему в редакцию „Правды“...» Кожевников заведовал тогда отделом литературы и искусства в «Правде», газете непререкаемой, и угнетал Попова недобрый отношением к спектаклям Центрального театра Красной Армии. Но только что постановлением правительства А. Д. Попов введен в состав Комитета по Сталинским премиям, а сборник повестей и рассказов Вадима Кожевникова среди выдвинутых на соискание премии. Сразу же, не переводя дыхания, пишется дарственная на книге и с курьером, в пакете «Правды», доставляется Алексею Дмитриевичу, отныне *нужному человеку*.

По тому, как Попов был оскорблен этим шагом, таким заурядным для наших литературных нравов, можно судить о нем как о человеке.

Все неуютнее жилось ему в ЦТКА. Наши попытки поставить незаурядную пьесу Веры Пановой «Военнопленные» пресекались ГЛАВПУРОм. Не поддержало начальство идеи постановки большого, на два вечера, спектакля по роману Алексея Толстого «Хождение по

мукам» (инсценировала роман М. О. Кнебель). Попов напряженно работал над любой из пьес, искал новизны, но слабая литература мстила ему. Высокой, словно не подчиненной суеде времени, жизнью жили только такие работы, как родившаяся классической «Давным-давно» А. Гладкова, «Учитель танцев», поставленный режиссером Канцелем, и неувядающий шедевр Попова — «Укрощение строптивой». В Попове жил выдающийся педагог и реформатор, а он изо дня в день имел дело с грошовыми подчас актерскими амбициями, с нежеланием или неумением меняться. Они могли быть и очень хорошие, и средние, и слабые актеры, но все они были столичными *мастерами*, ждали похвал, званий, вечное *студийство* было не по ним, а Попов скучал рядом с чужой умственной ленью. Он раздражался, за ним укреплялась репутация нетерпимого, диктатора, которому, мол, и не нужны актеры.

Болело сердце, с каждым годом сильнее. Попов распрощался с театром, все меньше сил отдавал и ГИТИСу. Навсегда памятным остался для меня наш последний разговор. Он его вел полулежа, больной, но с той же энергией, с тем же упрямым поиском истины, что и в молодые годы. От Тункеля он узнал, что я написал пьесу, и захотел прочесть ее.

— Ты меня вторично спасаешь, — сказал он вдруг, посреди беседы о персонажах пьесы. — В 1949 году и теперь вот, в пятьдесят третьем...

Я не понял: о чем он?

— Помнишь, я тогда собрался подавать заявление в партию; генерал Шатилов убедил. Тебя исключили, и я передумал.

— Я восстанавлиюсь, — бодрился я. — Съезд отказал, но я добьюсь.

— Это уже не для меня. — Он помолчал. — Теперь ты еще раз удержал меня от ненужного поступка, удержал, сам того не понимая. Сажу дома, больше лежу... Свободного времени много, захотелось написать пьесу

— Моя пьеса вам не помеха, Алексей Дмитриевич!

— Прочел и понял, что напишу слабее. Хуже напишу, а зачем?

Так я случайно узнал о последнем замысле Алексея Попова, о привидевшейся ему пьесе. Я попытался отшутиться, сказал, что хуже, чем у меня, некуда и т. д. Но Алексей Дмитриевич отвел этот разговор. Он отнюдь не перехваливал пьесу, но увидел в ней некий слепок жизни, *наброски*, только наброски, и спрятанное за текстом поэтическое «зерно» или тайну. Упрекал пьесу в недостаточной контрастности фигур, что особенно опасно для психологической пьесы, без опоры на захватывающий событийный сюжет. Эту мысль он развивал особенно полно и подробно, приводя в доказательство пьесы Чехова и Горького. Говорил о том, что и хорошая пьеса может быть написана в короткое время, но она будет тем лучше, чем дольше вызревала в драматурге; в серьезной пьесе непременно откладываются, сливаясь почти до неразличимости, разные временные пласты — мысли, наблюдений, пласты самого существования

драматического писателя. Это «почти» открывается режиссеру только по прочтении пьесы на всю ее глубину, быть может неведомую и автору.

Я был счастлив его просьбе подарить, оставить ему экземпляры «Жены». «Мы еще вернемся к разговору о твоей пьесе», — сказал он на прощание.

Не довелось.

Быть может, не изгони меня из театра Фадеев, нам с Алексеем Поповым и удалось бы набрести в конце концов на подлинный талант. Но этого нам сделать не дали, слишком велика была партийная забота о драматической шелухе, полове суровых и софроновых, чтобы думать о бессмертном зерне.

Мы привыкли к логову на улице Кирова. Всякий день приходил наш друг, беспокойный, бунтующий, трудившийся за десятерых Борис Яковлев, таскавший с собой портфель, неподъемный от многих рукописей и разбухший от вкладок томов собрания сочинений Ленина. И он был изгой, выброшенный отовсюду, изруганный литературной печатью и функционерами партпроса, — «космополит» Яковлев-Хольцман. «Режимная» улица до поры не изгоняла нас.

Опасность подкралась незаметно. В феврале 1950 года, за месяц до выборов, зачастили агитаторы. По их бумагам в квартире проживали Вершинины — муж и жена. Светлана не возвращалась из Тбилиси, Вершинина им ни разу не удалось застать дома, — в этом было что-то фатальное. И сразу вопрос: а вы кто? «Гости. Хозяин ненадолго ушел по делам».

Агитаторы не менялись, не менялись, увы, и «гости». И взгляды агитаторов ожесточились. «Мы просили передать Вершинину — пусть отметится в агитпункте. Вы передали?» — «Да, конечно, передали, передадим и сегодня...»

По утрам, перед уходом в Ленинку, я просил Мишу заглянуть с паспортом на агитпункт, исполнить формальности.

— К черту этих дураков! — Он вскидывал руки, словно собирался дирижировать, и победно смеялся. — Вчера я был у Геловани, агитаторы на брюхе приползают к нему; почему я должен кланяться им!

— Они то и дело приползают и к вам, но не застают.

— Я никому не дам тронуть вас!..

За неделю до выборов явился участковый в сопровождении двух рядовых милиционеров и, даже не спросив паспортов, приказал в 24 часа исчезнуть с улицы Кирова.

Вершинин появился под утро, возмутился, увидев наши сборы, грозился приструнить милицейское начальство и снова исчез, а мы, баловни судьбы, к вечеру перебрались на «режимную» улицу Герцена.

Прошли еще три десятилетия одержимых трудов, рывков, попыток решить литературную судьбу одним усилием; попыток — и не безуспешных — играть роль матерого ветерана войны, воевавшего рука об руку со всеми крупнейшими военачальниками; попыток издания альманахов и сборников, в редакционной коллегии которых его имя стояло бы рядом с именами генералов армии и маршалов (и это случилось!). Ему не удалось сделать только то, о чем он втайне истово мечтал, что без особых усилий осуществили бесталанные: он не вступил в Союз писателей. Ушла молодость, ушел артистизм, борт поношенного пиджака оттягивало немыслимое количество орденских планок, увы, не обеспеченных орденами, а вожденный Союз так и не приблизился до конца его нелепо оборвавшейся жизни. Он упал в гололед, ударился затылком о заледенелый тротуар и умер.

33

Но он писал, изведal и вдохновение, и полет безумной *мечты* — строки послушно шли под руку, но слишком легко и просто, без поправок. Ему нравилось написанное, — значит, должно покорять и других. Написав десятки тысяч стихотворных строк, он не стал поэтом.

А в ту же пору всходила звезда другого человека, который творческими усилиями себя не утруждал — писать предоставлял другим. А сам деятельно организовывал одно драматургическое «чудо» за другим, был ценим, вошел в литературную элиту.

Пьесы доставались ему дешевле, чем бывшему хозяину магазинов в Столешниковом переулке, торговавшему у меня «Жену» в ресторане «Националь». К 1949 году он числился автором трех пьес; одна из них как будто снискала одобрение Сталина. Первый же свой шаг на сцену, задолго до января 1949 года, он сделал бесчестно.

Он был комсомольским работником из глубинки, журналистом-организатором, грубоватым и прямым, не без выдумки, с превосходным знанием повадок и слабостей партийной и комсомольской бюрократии, функционером, отлично вписавшимся в мир полуправды, иерархически регламентированных ценностей. Плотная, крепкая, плечистая фигура; массивная, совсем не щегольская палка, на которую он опирался при нездоровых ногах; широкая физиономия под русой, небрежной шапкой волос — все это по первому впечатлению располагало к нему. Вот уж кто человек из народа, воистину свой парень...

Я могу ошибиться в подробностях портрета — он слишком быстро разрушался, не за всем можно было уследить.

Речь идет об Анатолии Сурове, лауреате Сталинских премий. «Далеко от Сталинграда», «Обида», «Бесноватый галантерейщик», «Зеленая улица», «Рассвет над Москвой» — кто помнит эти пьесы? Стоит ли возвращаться к ним, занимать ими читателя?

Эти пьесы, некогда захватившие авансцену советского театра, — сами действующие лица социальной драмы. Ничто так не открывает времени умерщвленной нравственности, как авантюрная одиссея знаменитости, лауреата, репертуарного драматурга, не бывшего... драматургом.

Барин из подмосковной Валентиновки Краснощеков, по своему разумению, «честно» покупал пьесу, соблазняя большой денежной суммой. Суров же год за годом использовал чужой труд, умело играя на беде одних, нечистоте других, на «приятельстве». Но главную ставку от делал на безоговорочную поддержку аппарата, начальствующих лиц, системы. А истории устранения соавторов, их дискредитации, морального уничтожения за непокорство создают сюжеты почти детективные.

Первая пьеса — «Далеко от Сталинграда» — пришла к Сурову, тогда ответственному секретарю «Комсомольской правды», нечаянной радостью. Замысел ее, план и черновой набросок привез в 1945 году с Волги журналист, корреспондент «Комсомолки» по Сталинградской области Александр Михайлович Шейнин. Впоследствии, вводя в заблуждение комиссию ЦК ВЛКСМ (1945), а затем и комиссию Союза писателей (1954), Суров скажет, что он «задумал данную пьесу еще в 1938 году, когда работал в Ярославле». Но люди здравые не могли принять подобного «озарения»: ведь в пьесе речь идет о героической работе одного из заводов, эвакуированных в глубокий тыл во время Великой Отечественной войны, и, как справедливо указала комиссия Союза писателей, «идейный пафос и сюжет пьесы „Далеко от Сталинграда“ неотделимы от Великой Отечественной войны».

Поначалу все складывалось разумно и просто. Суров был товарищем Шейнина и его редакционным начальством. А кто в молодости, начиная литературную работу, в восторге и одновременно в неуверенности перед будущим не испытывал искушения разделить с кем-то творческий труд и заботы по устройству своего детища. Тем более пьесы, ей всегда так сиротливо у театрального порога!

Возникло соавторство. Характеризуя летом 1954 года своих соавторов, называя их скромно советчиками, редакторами, наставниками и даже «крестными отцами», Суров так отозвался о Шейнине: «Хороший парень, но люди мы разные по творческому почерку. Он мне нравился юмором, жизнерадостностью. Но лентяй, нетрудоспособен. И в творческом отношении — человек неинтересный, неглубокий». Поразительно: чем усерднее трудился на Сурова иной литератор, особенно из тех, кто пытался оборонить свое законное соавторство, тем настойчивее звучали потом суровские обвинения литературного «негра» в... нетрудоспособности. Так уж не везло Анатолию Сурову, что под руку ему все время шли лодыри.

Итак, соавторство Шейнина и Сурова возникло по обоюдному согласию. Суров — москвич, и не рядовой. Журналист из Сталинграда

отбыл на Волгу, радуясь обретенному единомышленнику, человеку практической складки, знающему современное просторечье, язык работяг и жаргон новых чиновников.

Все этапы этого соавторства: многократные вызовы Шейнина в Москву, гостиничные бдения, долгая работа в Переделкине и многое другое — зафиксированы в письмах и устных показаниях двум комиссиям и самим соавторам, и многих других причастных лиц — сотрудников «Комсомолки» и «Сталинградской правды», Сталинградского драматического театра.

«Эта работа происходила на глазах всего коллектива, — утверждал член редколлегии „Комсомолки“, впоследствии ответственный секретарь „Известий“, М. Семенов. — И в том числе на моих глазах. А. М. Шейнин неоднократно давал мне читать написанные и переделанные сцены пьесы, все связанные с ней материалы принимались в секретариате, перепечатывались в нашем машинописном бюро...» Н. Малеев, в 1946 году корреспондент «Комсомольской правды» по Ставропольскому краю, свидетельствовал: «Я хорошо знаю почти всю историю написания пьесы „Далеко от Сталинграда“. Я в то время работал в центральном аппарате газеты „Комсомольская правда“. Видел, как Шейнин просиживал днями и ночами над рукописью».

Можно привести и много других показаний, которые исчерпывающе подтверждают авторство — или уж по крайней мере соавторство Александра Шейнина. «Ознакомившись со сценическим вариантом пьесы Театра имени М. Ермоловой, — писал режиссер В. Иванов, — я установил, что принципиальной разницы между тем текстом пьесы, который я читал в 1945 году, и тем, который был поставлен московским театром, не существует. Сюжет, основной конфликт, образы обоих вариантов остались без существенных изменений. Знакомясь с дальнейшим творчеством А. Шейнина (пьесы „Дом Сталинграда“, „Большой шаг“, рассказы, очерки), я убедился, что его творческая манера едина, и для меня стало очевидным, что основной труд в создание пьесы „Далеко от Сталинграда“ вложил именно А. Шейнин».

Ох уж эта «творческая манера», отвратительная способность одаренных людей оставлять незримый, словно между строк, след! А почерки Анатолия Сурова менялись до неузнаваемости в зависимости от того, чья рука из числа его ленивых «крестных отцов» трудилась над созданием той или иной страницы.

Была пьеса двух авторов, титульный лист с их фамилиями, был неоспоримый факт: представление Шейнина Театру имени М. Ермоловой, принявшему к постановке пьесу. Был соавтор, сталинградец, который вызывался в Москву, когда нужно было работать над пьесой, в затруднительных случаях даже через секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова. Шейнина можно было позвать на генералку, на

премьеру, а можно было и придержать в Сталинграде, пощадить человека, чтобы он не увидел премьерной афиши без... своего имени.

«Суров категорически отрицает соавторство А. Шейнина по пьесе „Далеко от Сталинграда“, ограничивая участие А. Шейнина чисто дружеской помощью (к помощи „редакторов“, „наставников“, „крестных отцов“ прибавляется, таким образом, еще один вид помощи. — А. Б.), связанной с включением в пьесу образа сумасшедшего Левы», — читаем мы в заключении комиссии Союза писателей. «Когда же встает вопрос о многочисленных свидетельских показаниях, приведенных выше, о частых вызовах в Москву А. Шейнина А. Суrowым для их совместной работы, о том, что первые экземпляры пьесы имеют две авторские фамилии, о том, что, наконец, сам Суров первое время представлял всюду А. Шейнина как своего соавтора, — А. Суров ничего не может ответить на это, кроме крайне невразумительных ссылок на две пьесы, которые они якобы писали врозь, но „на всякий случай“ решили на каждой из них поставить по две фамилии, — словом, нечто совершенно неправдоподобное, что, однако... помогло друзьям Сурова сделать из этого вздора „убедительный“ аргумент для отвода Шейнина».

Как же случилось, что начинающий литератор решился на обман, на авантюру? Только ли в характере искать ответ на это, в цинизме и бесшабашности, в одолевшем его честолюбии?

Дело много сложнее. Ложь Сурова упала на благодатную почву.

В конце 1945-го и январе 1946 года, когда конфликтная комиссия ЦК ВЛКСМ заканчивала свою работу, за три года до начала травли «безродных космополитов», А. Суров с гордостью говорил о том, что он «пользовался советами и творческой помощью таких опытных критиков, как Н. Калитин, И. Крути, И. Юзовский», что «в то же время у него возникли близкие отношения, с Н. Оттенем». По этому поводу в выводах комиссии СП СССР благодушно замечено: «Когда пьеса была в основном написана, Суров, облеченный полным доверием своего соавтора, которого служебный долг приковывал к Сталинграду, в полной мере использовал ту помощь, какую обычно наша литературная общественность оказывает молодому начинающему драматургу». Но названные литераторы не просто «литературная общественность», они — театральные критики, которых спустя три года назовут (всех, кроме Н. Калитина) врагами советского театра и драматургии, которых как группу злоумышленников станет поносить и заместитель редактора «Советского искусства» А. Суров.

В 1946 году Н. Оттен, еще не подозревая близкой беды, на запрос комиссии ЦК ВЛКСМ не дал честного ответа, его письмо — классический пример дипломатической уклончивости: «Что касается „соавторства“ Шейнина по этой пьесе, то я слышал об этом только от самого Сурова, и то — нечто совершенно невнятное, что после повторных моих расспросов было мною понято как союз, рассчитанный

скорее на будущее, чем на настоящее, и роль этого „соавтора“ в пьесе „Далеко от Сталинграда“ должна была каким-то образом проявиться в дальнейшем. Не могу сказать, чтобы такая постановка вопроса была сколько-нибудь логичной и естественной. А положение соавтора готовой пьесы, участие которого в неопределенном будущем, минуя один важнейший этап работы за другим, делает его очень похожим на поручика Киже».

Шейнин, задумавший пьесу, в меру своих сил и дарования потрудившийся над ней, оказался, по мнению другого суровского «крестного отца», поручиком Киже! Чей же труд сделал эту пьесу пьесой? «Труд Сурова, само собой разумеется, — отвечает Оттен, — равно как и труд Театра имени Ермоловой, руководителей Главреперткома и, если угодно, в какой-то малой степени, но в систематическом проявлении, также и мой труд».

Оттен, человек осторожный и умный, видимо, не заметил, как проскользнуло это предательское слово «равно», как писательский авторский труд превратился вдруг в некий бригадный подряд, когда и руководители Главреперткома годятся в соавторы, только бы не назвать соавтора подлинного, точнее говоря, автора первого варианта пьесы. Надо ли удивляться тому, что три года спустя А. Суров, по собственным его словам, «категорически возражал против попыток Софронова приобщить Оттена к космополитам»? Он спасал и еще кое-кого, но исключительно тех, кто мог, кто соглашался вкладывать свой труд в его пьесы. Что касается Оттена, то, отвечая 7 июля 1954 года на вопросы комиссии Союза писателей, Анатолий Суров признал, что ему «больше всех помогал Оттен: помог в „Далеко от Сталинграда“, подсказал мысль о сценарии „Далеко от Сталинграда“, к нему я пришел с первым вариантом „Обиды“; он помогал мне дорабатывать „Зеленую улицу“».

А так как автором первого варианта «Зеленой улицы», первого ее наброска, назван Суrowым еще один литератор (которого я не упомяну, так как даже признание самого Сурова без фактического подтверждения не имеет силы доказательства), то становится совершенно непонятно, каково же в конце концов было участие самого Сурова в этой работе. Выходило ли оно вообще за пределы робкого редактирования?

Но и у «Далеко от Сталинграда» был еще один платный «крестный отец», обманутый потом начинающим сметливым драматургом.

В комиссию ЦК ВЛКСМ включили и завлита Театра имени М. Ермоловой — Георгия Георгиевича Штайна, рассчитывая на его безоглядную поддержку А. Сурова. Прямого участия в работе комиссии он предпочел избежать: очная ставка с Шейниным, случись она, была бы крайне неудобна для него. Г. Штайн ограничился письмом: «Надо сказать, что театр, принимая к постановке пьесу „Далеко от Сталинграда“, был увлечен главным образом ее идеей, характерами

центральных ее героев (Орлов, Осередько, Купавин), правдиво переданными чертами жизни и быта военного времени. Однако ни сюжет, ни композиция, ни язык пьесы, так же как и образы целого ряда персонажей (сумасшедший, Зоя и др.), нас решительно не удовлетворяли». И завлит встречается с авторами. С двумя авторами. «На этом свидании, — пишет Штайн, — т. Суров представил мне в качестве своего соавтора т. Шейнина. Оба они в основном согласились с нашими предложениями и изъявили готовность работать с театром над пьесой». После этого, как утверждает Г. Штайн, ему довелось работать с одним Суровым, «т. Шейнин никакого участия в этой, решающей для судьбы пьесы, работе не принимал». Завлит пытается уверить, что сталинградец, таким образом, не имел отношения к «окончательной редакции пьесы, которая отличается от известной ему в июне...».

У кого первого возникла мысль об отстранении Шейнина? Быть может, она робко, подспудно жила и в Сурове, по мере того как «крестные отцы» придавали страницам пьесы какую-то новизну. Но она вполне могла родиться и в театре, в ту минуту, когда завлит вступил в денежные отношения с Суровым. В своих ответах писательской комиссии А. Суров любезно охарактеризовал Г. Штайна: «Очень благодарен ему за помощь в „Далеко от Сталинграда“. Вступился, когда его хотели приобщить к космополитам. Но лодырь. Материально он мне должен (давал ему займы)».

Только подумать: скромный комсомольский работник, еще без спектакля, не знаменитость, дает завлиту тысячу рублей, ровно 25 % договорной суммы с театром. Дает в 1945 году, но не получает их обратно и в году 1954-м. Плата за труд, как известно, обратно к работодателю не возвращается. А проделал завлит немалую работу: все «новшества» он сам перечисляет в письме в комиссию ЦК ВЛКСМ. И как понять слово «лодырь» применительно к завлиту театра? Оно нерасчетливо сорвалось у А. Сурова, ибо применимо к наемному работнику, к батраку, к платному помощнику, только не к человеку, вовсе не обязанному трудиться на тебя.

Тут никакой загадки: спустя восемь лет Г. Штайн признался уже комиссии Союза писателей в том, что А. Суров предложил ему «стать его соавтором, правда, без объявления на афише, но с отчислением в пользу Г. Штайна любого будущего гонорара в размере 25 процентов». «Следует сказать, что „грехопадение“ Г. Штайна, несмотря на то что он как будущий соавтор немало и плодотворно потрудился на пользу пьесы „Далеко от Сталинграда“, не принесло ему реальных выгод, — отмечает комиссия СП СССР. — Тысяча рублей, полученная Г. Штайном, была единственной в материальных взаимоотношениях договаривающихся сторон. Суров попросту обманул Г. Штайна».

Итак, сначала был Александр Михайлович Шейнин, хорош он или плох. Затем возникли консультанты из числа опытных театральных

критиков, надо думать, бескорыстно пришедших на помощь начинающему автору, молодому ответственному секретарю любимой интеллигенцией «Комсомолки». После понадобился еще труд «крестного отца», доработчика Оттена. И после всех этих усилий началась платная работа завлита, человека, специализировавшегося «на переводах-переделках пьес, сделавшего это источником своего существования, своей профессией. А что же Суров? Что в этой круговерти приходится на его долю? Как видим — диспетчерские функции, в лучшем случае общая редактура, ведь рабский, анонимный труд бывает небрежен.

Таков был первый внушительный шаг „драматургической“ карьеры. И хотя последующие пьесы кроились примерно таким же способом, в году 1949-м Анатолий Суров, наряду с Софроновым, уже сделался столпом советской драматургии, а критика его пьес была признана смертным грехом „безродных космополитов“.

Как же все это сошло с рук А. Сурову, почему за Шейнина не заступились товарищи по редакции?

Заступились. Горячо, энергично заступились, но силы оказались слишком неравными. Из множества застенографированных материалов комиссии приведу только свидетельство М. Семенова: „На партийном бюро, на котором присутствовал и я, А. Суров ничего не мог сказать в оправдание своего бесчестного поступка, кроме маловразумительных слов о „лени“ А. М. Шейнина, о том, что все хлопоты по „проталкиванию“ пьесы вел-де он, Суров. Партийное бюро приняло решение, уличающее А. Сурова в бесчестном поступке, и предупредило, что если он не осознает всей его пагубности, то поставит себя вне рядов партии. Но тут в дело вмешалась секретарь ЦК ВЛКСМ О. Г. Мишакова. Ей удалось провести в Секретариате ЦК ВЛКСМ решение в пользу Сурова, А. М. Шейнин был оттеснен и оплеван“.

Еще бы Ольге Мишаковой, зачинателю кампании клеветы против Косарева и других руководителей комсомола, подтолкнувшей их судьбы к кровавым репрессиям и смерти, еще бы ей не справиться с таким пустяковым, „домашним“ делом! А тут еще ей и А. Сурову неожиданно помог и сам Шейнин. В Сталинграде проходила городская комсомольская конференция, и было решено направить письмо Сталину с благодарностью за его заботы о молодежи и детях Сталинграда. „А. Шейнин посоветовал снять в тексте письма выражение „спасибо за счастливое детство“, — отмечается в материалах комиссии СП СССР, — мотивируя это тем, что при всех заботах партии и лично т. Сталина о Сталинграде детям в почти разрушенном городе живется очень нелегко и елейный тон здесь неуместен“.

И сталинградский соавтор оказался открыт любым ударам: с этого дня он — „человек с чуждой идеологией“, клеветник, „организатор склоки против т. Сурова“. Теперь купить прощение и помилование он может, только „добровольно“ отказавшись от претензий на

соавторство. Материалы, связанные с кампанией против честного журналиста и литератора, поражают цинизмом и низостью, хотя год 1949-й скоро ввел их в обиход. Теперь уже речь зашла не о честности и справедливости, а о самой жизни, и Шейнина заставили принять унижительные условия „капитуляции“.

Незадолго до этого Шейнин привез в Москву новую пьесу — „Семья Пахомовых“, к которой Суров не имел отношения, и Секретариат ЦК ВЛКСМ неожиданно принял поистине фантастическое решение: пусть „Семья Пахомовых“ будет пьесой Шейнина, а „Далеко от Сталинграда“ — Сурова! 9 января 1946 года ЦК ВЛКСМ утвердил именно такое решение своей комиссии, хотя и в загадочной, завуалированной форме. Пункт повестки дня Секретариата № 35: „О неправильном поведении тт. А. Сурова и А. Шейнина“. 1. Сообщение комиссии по проверке соавторства тт. Сурова А. и Шейнина А. в пьесах „Далеко от Сталинграда“ и „Так и есть“ („Семья Пахомовых“. — А. Б.) — принять к сведению. 2. Осудить непартийное поведение тт. Сурова А. и Шейнина А. в решении спора о соавторстве в пьесах».

Так Шейнину подарили его собственную, новую пьесу, но отняли у него другую, им же написанную. Знаменательно, что те именно члены комиссии ЦК ВЛКСМ, кто неблаговидными средствами склонил затравленного А. М. Шейнина к компромиссу, — М. Котов и Б. Пенкин — спустя восемь лет уверяли комиссию Союза писателей, что «вопросами соавторства мы вовсе не занимались, речь шла лишь о моральном облике и неправильном поведении работников комсомола».

Комиссия ЦК ВЛКСМ занималась вопросами соавторства, но, так как соавторства Шейнина нельзя было отрицать, все было переведено в опасную для него плоскость «непартийного поведения», — Мишакова была мастером интриг именно такого рода. Позже, когда А. Суров был освобожден от обязанностей члена редколлегии «Комсомольской правды» и ему уже затруднительно было оставаться в этом коллективе, Мишакова сохранила его в аппарате ЦК ВЛКСМ. Он был назначен редактором журнала «Комсомольский работник».

С этой поры и до мартовского дня 1954 года, когда А. Суров позволил себе политическое хулиганство на избирательном участке по выборам в Верховный Совет СССР, он всегда был защищен железной броней от справедливого партийного суда и даже от суда профессионального, писательского. Он стал дважды лауреатом Сталинской премии, заместителем редактора газеты «Советское искусство», постоянным членом комиссий, бюро, президиумов...

А в ситуациях, когда, казалось, разоблачение неизбежно, его спасали влиятельные силы. Влиятельные настолько, что ни разу недостойные дела А. Сурова не стали предметом гласного обсуждения, не просочились в печать! Противоестественно, но факт: эти мои страницы — а в них только небольшая часть информации — первое

печатное оглашение правды о том унижении, которому подверг советский театр А. Суров.

А ведь больше тридцати лет тому назад, в сентябре 1954 года, комиссия президиума СП СССР, в которую пошли Николай Атаров, Василий Ажаев, Юрий Либединский и другие, вынесла свое суждение «по делу бывшего члена СП СССР А. А. Сурова».

«Отвратительное, крайне вредное явление суровщины, — как убедилась комиссия, — имеет немалое распространение в литературной среде. В одной только Москве живут и действуют десятки „литераторов“, которые, не состоя на учете в Союзе писателей, фабрикуют в своеобразном литературном подполье пьесы и поставляют их на театральный рынок под именами подставных фигур — предпринимателей. Эти „литераторы“ дотягивают и частным порядком редактируют сырые и незрелые произведения, кажущиеся театрам актуальными по своей тематике».

Комиссия предложила секретариату правления СП СССР при докладе дела А. Сурова Президиуму ЦК КПСС обратить особое внимание секретарей ЦК КПСС на то обстоятельство, что попадающие по сути под Уголовный кодекс дела А. Сурова дважды разбирались в авторитетных организациях (в 1946 году в ЦК ВЛКСМ и в 1951 году в Отделе пропаганды ЦК ВКП(б), и оба раза неудовлетворительно. «Комиссия считает, что лица, виновные в этом, должны понести строгое наказание, так как именно они создали обстановку попустительства грязным делам А. Сурова, который более восьми лет безнаказанно занимался авантюризмом и уголовным предпринимательством в литературе; безнаказанность почти открыто действовавшего авантюриста породила в писательской общественности вредные кривотолки о покровительстве, якобы оказываемом А. Сурову со стороны ответственных работников ЦК КПСС».

Неистребимая наша готовность считать правду кривотолками, а кривотолки, демагогию, черный оговор — правдой! Разве не покровительствовала А. Сурову секретарь ЦК ВЛКСМ Мишакова? Разве Кружков и Тарасов, занимавшиеся в 1951 году в Отделе пропаганды ЦК ВКП(б) конфликтом между Я. Варшавским, написавшим сценарий и пьесу «Рассвет над Москвой», и А. Суровым, присвоившим эту, последнюю в своей беспрецедентной карьере пьесу, не покровительствовали А. Сурову? Разве высокие правительственные награды не были покровительством? И, наконец, разве не была высочайшим и бесстыдным покровительством разнузданная кампания травли театральных критиков?

Даже и осенью 1954 года, когда А. Суров был наконец разоблачен, исключен первичной организацией из партии, у него нашлись защитники не только в лице А. Первенцева или А. Софронова. Его и на партколлегии ЦК КПСС пытались спасти и, как мы увидим, спасли.

Время, когда из репертуара изгонялись пьесы серьезных писателей и поощрялось неумолимое запретительство, жаждало скороспелых «авторитетов», оборотистых литературных дельцов. Одну из таких вакансий эпохи и стремился занять, может быть поначалу не осмысливая размаха своих притязаний, надеясь на успех, но не на громкую славу и высокое признание, Анатолий Суров.

Не стану утомлять читателей подробностями «чудесного» появления на свет других пьес, подписанных именем А. Сурова. Вот только беглые, скромные признания самого Сурова комиссии СП СССР: «Пришел к Оттену с первым вариантом „Обиды“. Оттен же помогал дорабатывать „Зеленую улицу“, „Бесноватого галантерейщика“ давал на редактуру Варшавскому»; «Сценарий („Рассвета над Москвой“. — А. Б.) Варшавский сделал быстро»; «Давал на редактуру Варшавскому пьесу „Рассвет над Москвой“...»

Мы уже узнали цену суровским эвфемизмам, понимаем, что означают все эти нескончаемые, перекрестные «редактуры», «доработки», «дописки» и т. д. Но все сходило ему с рук. Обманув завлита Театра имени Ермоловой, он легко справлялся с другими и пять-шесть лет не давал промашки. Слово он держал только в одном: старался помочь в партийных инстанциях работавшим на него людям.

С появлением пьесы «Обида» (1948) я имел случай убедиться в том, какая сноровка и напор скрываются в этом неуклюжем, приволакивающем ноги, мужиковатом с виду «литераторе».

Восторги по поводу «Далеко от Сталинграда» быстро пошли на убыль. Я оказался среди тех, кто критически отзывался о пьесе. «Обида» на сцене Театра имени Ермоловой разочаровала всех, кроме тех, кого уже к этому времени Суров держал «на коротком поводке». Деревенская, псевдоколхозная пьеса буквально разваливалась на сцене. Но близилась вторая премьера этой пьесы под другим названием в театре Завадского, там перекроили ее на свой лад. Суров внезапно позвонил мне, предлагая посмотреть вместе с ним генеральную репетицию в Театре Моссовета, — пьеса, мол, исправлена, улучшена, хорошо бы поговорить сразу после репетиции, помочь театру, поправить, что возможно, и т. д. Суров делал первые после «Далеко от Сталинграда» шаги в театре, собственная хитрость казалась ему безошибочной: критик, оказавшись почти в домашнем кругу, обнаружив, что позвали его одного и ждут его суждений, перейдет перед лицом худсовета, автора и Завадского на «мягкие», «либеральные» регистры. А сплеховав по малодушию, и после не скажет резкостей.

С каждой сценой спектакль театра Завадского удручал все больше, был много хуже ермоловского. Ермоловцы в первые послевоенные годы выгодно отличались от большинства коллективов столицы более

острым чувством современности, простотой и жизненностью тона. В новом исполнении Театром Моссовета все пороки пьесы поперли наружу нестерпимо, трудно было и высидеть весь спектакль; его ждал сокрушительный провал, и актеры, отлично чувствовали это.

А в кабинете Завадского царил добрый наигрыш. Я мрачно пытался отмолчаться, но меня принудили говорить. Пришлось сказать правду и по возможности быстро сбежать.

Попыток налаживания «добросердечных» связей Суров больше не предпринимал, в его лице я приобрел врага, спустя год он получил возможность наносить по критикам-космополитам удары с трибун и в печати в ожидании вождя дня, когда нами займется другое ведомство.

За «Обидой» последовала «Зеленая улица». Суров уже достаточно славен и богат, чтобы оплачивать чужой труд. С января 1949 года он мог выбирать работников из числа ошельмованных людей. И он выбрал с умом. Яков Варшавский «доработал» для него сценический памфлет о Гитлере, написал «Рассвет над Москвой», пьесу, отмеченную Сталинской премией, и сценарий под тем же названием. 1949 год оказался переломным для Варшавского: били других, на него только замахнулись, то так неодолимо оказалось желание благополучной жизни, что он предался в руки Сурова.

Я. Варшавский лукавил, объясняя комиссии Союза писателей мотивы и обстоятельства своего сотрудничества с А. Суровым. «Мы с ним познакомились в 1946 году в редакции „Советского искусства“. Я заведовал отделом театра и драматургии, а он был назначен заместителем редактора. События начинаются с известной статьи в „Правде“ об одной группе критиков. Я после этой статьи был немедленно отстранен от работы. Первичная парторганизация издательства „Советское искусство“ вынесла решение об исключении меня из партии. Я оказался в полной изоляции. Достаточно сказать, что в течение года ни один человек не позвонил мне и не появился — из старых товарищей... Единственным человеком, позвонившим мне в течение всего 1949 года, был Суров. Он сказал мне: „Преданность партии надо доказывать не заявлениями, а творческой работой, и я тебе помогу в этом. Мы вместе напишем сценарий о советском рабочем классе... Я перегружен, но мы с тобой напишем вместе...“ В те дни, — резонно замечает Я. Варшавский, — его соавторство не только мне показалось бы приемлемым».

Во вскользь оброненном предупреждении Сурова: «Я перегружен...» — возникает рабочий контур будущего сотрудничества: Варшавский пишет (вспомним: «Сценарий Варшавский сделал быстро»), Суров осуществляет (или не осуществляет!) общую редактуру.

Но почему именно Яков Варшавский, один из всех нас, подвергнутых шельмованию, оказался в драматической изоляции? Ответ однозначен, но он разрушает сентиментальную версию о

«сироте» 1949 года и осчастливившем его благородном заступнике. Сговор Сурова и Варшавского случился сразу же после статьи в «Правде». Суров деятельно позаботился о сохранении Варшавского в партии. Варшавский же, не будучи вовсе обязанным являться на собрание писателей в феврале 1949 года, по требованию Сурова пришел в Дом литераторов и произнес ту ложь, которая и отвратила от него не только старых товарищей, но и многих честных людей. Именно из уст Якова Варшавского прозвучало лживое обвинение театральных критиков в создании тайной (читай: подпольной!) корпорации, решавшей судьбы пьес, драматургов, спектаклей, распространявшей свою власть на Москву и Ленинград, а тем самым и на всю театральную Россию. Признание Варшавского, «добровольное» публичное признание его, как одного из членов этого тайного ордена критиков, и было, я уверен, первым актом сотрудничества с Суrowым. Так что не пришлось ждать весь 1949 год спасительного звонка Сурова: Варшавский был привлечен «к совместной работе над сценарием и пьесой о советском рабочем классе в марте 1949 года» (по тексту выводов комиссии СП СССР), то есть в самый разгар публичной травли театральных критиков.

Провокационное заявление Варшавского о существовании подпольной корпорации критиков, собиравшихся в «Арагви» и в ресторане ВТО, по случайности не возымело действия. Все обернулось его публичным унижением и надолго сделало исполнителем воли Сурова. Потянулись годы зависимости, услужения, прикрытого видимостью товарищества. Руку Варшавского в памфлете о Гитлере я обнаружил без труда. В отличие от текстов Георгия Штайна, работа Варшавского узнаваема, — мне и вовсе нетрудно было почувствовать его фразу.

В 1943 году, после Сталинграда, когда наш фронтовой театр перебросили в Забайкалье, я встретил там Варшавского, и вскоре мы с ним были направлены командованием фронта в Монголию. В Улан-Баторе мы написали для монгольского театра драму-легенду «Амурсана» и пьесу о монгольской революции, о Сухэ-Баторе — «Степные богатыри». Варшавский работал быстро, незатруднительно, его фраза была энергичной, диалоги хлесткими, мысль не запутывалась в словах.

Все это как нельзя лучше подошло для сатирического памфлета о «бесноватом галантерейщике». И едва ли среди тех, кто знал Сурова, нашелся бы хоть один, поверивший, что так вот внезапно и противоестественно могут случиться «роды» и появится на свет сатирик — существо совсем другой породы.

Героями других числившихся за Суrowым пьес, в том числе и последней — «Рассвет над Москвой», были люди, которых Суров мог наблюдать в жизни, даже понимать, быть может, лучше, глубже Штайна или Варшавского, хотя и не мог выразить своего понимания художественно.

Но Суров играл опасную, в перспективе проигранную игру: поди разберись в пьесе, написанной другим, разъясни эпизод или реплику в споре с режиссером, актером-исполнителем, защити ее от критики.

А Варшавский наблюдал жизнь и то, как она входит в некие берега, как живут и работают те, кого он по малодушию предал. На его писаниях Суров зарабатывал много, а самого с семьей посадил на худой оклад.

В конце концов Варшавский потребовал легализации, объявленного соавторства, хотя бы по мосфильмовскому сценарию. Он вступил на тропу войны, заложив хитрую мину: в «Рассвете над Москвой» действующие лица получили имена и фамилии друзей, знакомых и соседей Варшавского по коммунальной квартире, где проживала его семья.

«Варшавского я знал по редакции „Советского искусства“, — сообщил А. Суров комиссии Союза писателей 7 июля 1954 года, — как способного, хорошего человека. Помогал ему... Восстановил он меня против себя тем, что стал мне не доверять, следить за мной, что ли». Откуда бы взяться доверию после непрерывного обмана, после обещания подписать со студией договор на двоих и бесконечного увиливания от этого под разными предлогами. «И если Варшавский преднамеренно подсунил мне одну-другую фамилию, — утверждал Суров в следующем письме, от 17 июля, — если он запомнил даже фразу, которую он вписывал или произносил, то теперь совершенно ясно, что мне приходилось иметь дело с жуликом и авантюристом». Точные слова наконец произнесены, но как наивно относит их «доверчивый» Суров только к своему соавтору, а строго говоря, к автору и сценария и пьесы, подарившему А. Сурову Сталинскую премию...

Вот как описывает начало «сражения» один из его участников, Я. Варшавский: «В январе 1951 года мы подали заявку в Студию имени Горького. В заявке было сказано, что я являюсь соавтором сценария. Но 10 марта, когда во всех редакциях стало известно, что „Рассвету над Москвой“ (пьесе. — А. Б.) присуждена Сталинская премия, Суров вычеркнул мою фамилию из договора. Узнав об этом от режиссера студии, я снова потребовал от Сурова объяснения... Здесь состоялся последний с ним разговор. Я спрашиваю: „Что это значит?“ Он отвечает: „Получи четверть премии или я тебя сгною на Колыме!“ Причем он запер комнату, положил передо мной лист чистой бумаги и потребовал, чтобы я написал, что никакого отношения к „Рассвету“ не имею... Я дал ему по физиономии за Колыму. Он не выпускал меня из квартиры и уже был в полубредовом состоянии...»

Что тут решало? Скарედность? Не знаю, страдал ли Суров этим недостатком. Опасение, что такое соавторство приоткроет вдруг и причастность Варшавского к написанию пьесы? Не могу ничего

утверждать определенно. Но Варшавский явился к Сурову, и грянул бой.

Варшавский решился на рискованный шаг: написал в ЦК партии об обмане, объявил, что пьесу написал он, что у него на руках черновик, написанный им, там нет и поправок Сурова, расшифровал имена действующих лиц. В ЦК на «очной ставке» Суров был спрошен о черновике и бодро ответил, что, разумеется, черновик у него есть, он его разыщет и представит. Но худо оказалось дело с черновиком Сурова. Он вынужден был наконец заняться литературным трудом — терпеливо, от руки переписывая пьесу. Спешил, ему было не до вариантов, помарок, исправлений, купюр, не до сомнений и поисков, — он представил небрежно переписанную готовую пьесу. Рядом с подлинными черновиками она возопила о подлоге.

Жертвовать Суровым, дважды лауреатом Сталинской премии, начальству из Отдела пропаганды не хотелось. Так много сил потрачено на возвеличение драматурга-самородка, и все побоку — из-за того, что Яков Варшавский решил покаяться.

Сурова защищали. Его поддерживали письмами в ЦК какие-то генералы и сановники, кое-кто из писателей, в том числе А. Софронов и Аркадий Первенцев. Случай с «Рассветом над Москвой» был неоспорим, равно как и с пьесой «Далеко от Сталинграда», — остального не трогали из осторожности. За пределы этого конфликта не выходил и Варшавский, хотя многое свидетельствовало о долгом его сотрудничестве с Суровым. Все было к невыгоде Сурова, но сотрудники Отдела пропаганды Кружков и Тарасов предпочли передать спор на рассмотрение Союза писателей.

Судьба Сурова оказалась вдруг в руках прекрасного писателя, честного и образованного, беспартийного Бориса Лавренева. Его «арбитраж» — отдельная драматическая новелла. Не часто жизнь создает подобные замысловатые сюжеты.

34

Борис Лавренев оказался в числе издательских рецензентов моего романа. Он окончил Морской корпус, был флотским офицером на парусном корабле чувствовал себя как дома, отлично знал историю флота. Более строгого эксперта для военно-исторического романа не придумать. Мы не сблизились прежде, хоть он и был автором поставленной в ЦТКА пьесы «За тех, кто в море». Он показался мне суховатым, не слишком общительным, внезапно переходящим от молчаливой сдержанности к резкости, к взрыву не эмоций, а скрытого властного темперамента.

Что побудило согласиться на рецензирование огромной рукописи его, такого лаконичного в прозе автора рассказов и небольших повестей, знающего настоящую цену слову? Думаю, что двигал им

яростный протест против творимого над нами разбоя, брезгливость русского интеллигента к развязанному антисемитскому шабашу, быть может, сердоболие и даже любопытство: спустя полтора-два года после гражданских казней один из критиков выступил вдруг автором флотского романа.

Рецензию он написал обстоятельную, без скидок и подслащивания, роман поддержал. Пригласил меня домой, не верил, что я не моряк, не плавал, не работал с парусами на учебном судне. В разговоре несколько раз возвращался к этому, будто ждал, что в конце концов я сознаюсь в обмане. Познакомил меня с сыном; жену, Елизавету Михайловну, я встречал прежде в театре. Жили они в знаменитом Доме на набережной просторно и нецеремонно. Шел 1951 год.

После множества рецензий роман заслали в набор, в Ленинград, но набор был сразу же сброшен. «Политика дороже денег!» — с этим бодрым, обращенным ко мне лозунгом Н. В. Лесючевский, возглавлявший издательство «Советский писатель», снова погнал книгу по рецензентскому кругу, но уже не в рукописи, а в сброшюрованном типографском блоке. Попросили снова прочесть и Бориса Андреевича.

Навсегда потрясенный недавним самоубийством единственного сына, Лавренев не был расположен к издательским «играм», не искал мягких слов для трусости, маскирующейся под идеологическую озабоченность. Меня разыскала телефонным звонком Елизавета Михайловна, сказала, что Борис Андреевич нездоров, телефон у них испорчен, он просит меня прийти не откладывая, сегодня же вечером. Я слышал об их несчастье, не догадывался, зачем я нужен Борису Андреевичу, и шел с тяжелым сердцем, заранее угнетенный.

Елизавету Михайловну, открывшую мне дверь, трудно было узнать. Она наклонила голову, молча, движением руки дала понять, что не надо слов, они ничему не помогут, показала на дверь кабинета Бориса Андреевича и тихо попросила:

— С ним тоже не надо об этом...

Лавренев полулежал на тахте, ноги укрыты пледом. Он осунулся, узкое, ироничное лицо интеллигента-книжника потемнело. Неподалеку от тахты у плинтуса валялся вдребезги разбитый телефонный аппарат, круглая коробочка вырвана из стены вместе с проводом.

— Здравствуй. — Он. протянул мне две странички: — Прочти. Возьмешь себе, это копия.

Он стал называть меня коротко — Сашей — еще в первый мой приход. В таком обращении было и расположение, в котором я тогда более всего нуждался, и возрастная дистанция.

Лавренев в резких словах обличал трусость издательства. Негодовал, как могло случиться, что спустя два года после своей рецензии он вынужден читать не вышедшую книгу, а мертвый блок. «Этот роман, — писал Лавренев, — я впервые читал в рукописи два

года тому назад и, по совести говоря, чрезвычайно удивлен, что в течение столь длительного срока маринуется нужная, полезная и интересная работа писателя... Мы слишком мало имеем еще художественных произведений о славном прошлом нашей страны, чтобы можно было так канцелярски-равнодушно относиться к появляющимся трудам на эти темы... Смею надеяться, что судьба книги будет наконец решена положительно без необходимости писать еще одну рецензию через два года».

Я долго вчитывался в эту самую короткую из всех рецензию, понимая, как не идут нашему обоюдному состоянию слова благодарности: ему не до них, а моих чувств они не выразят и в малой мере. Борис Андреевич понял мое смятение и с глухой яростью заговорил о бессилии и разобщенности интеллигенции, о том, что нельзя терпеть в «Советском писателе» Лесючевского, которого он помнит еще по Ленинграду 1937 года, о бесстыдном равнодушии тех, кто мог бы вмешаться и одним окриком унять распоясавшихся хулиганов. Его трясло так, будто все эти три года издевались над ним, унижали его достоинство, ему закрыли все дороги.

— Ты все смотришь на разбитый телефон...

— Я думаю о вашем письме в издательство...

— Если бы оно помогло делу! — перебил он меня. — Пока писал — кипел, а отправил письмо и вдруг подумал, что их не напугаешь, они что хотят, то и творят. Хозяева!

— Мне ваша позиция дорога. К бедам я притерпелся, главное, чтобы люди не отворачивались.

— Телефон разбит, можно бы поменять, но я не позволяю Елизавете Михайловне — не хочу телефона. Боюсь его! — признался он вдруг. — Ты Сурова знаешь?

Я кивнул.

— Читал его пьесу «Рассвет над Москвой»?

Я признался, что не читал, но знаю, что пьесу сочинил Варшавский. И посвятил Бориса Андреевича во многие известные мне подробности. Он выслушал меня скептически.

— Слухи все, слухи! Я беспартийный, но неделю назад меня из ЦК партии попросили разрубить этот узел: прислали пьесу, чтобы я, как председатель секции драматургов Союза писателей, вынес суждение и приговор...

— Борис Андреевич! — взмолился я. — Суров — предприниматель...

— Он развязный хулиган, — простонал Лавренев, — но «Рассвет над Москвой» написал он.

— Суров не написал целиком ни одной пьесы, подписанной его именем.

Я назвал подлинных авторов пьес Сурова. Лавренев слушал внимательно, взгляд его выражал упрямое несогласие.

— Из ЦК меня попросили не вникать в склоку, в подробности, в обоюдную грязь. Прочесть пьесу, вникнуть в художественную ткань и вынести свое квалифицированное суждение. Как мне поверить, что эту пьесу написал какой-то Варшавский? Почему я должен этому верить?

— Варшавский одаренный человек, и существует его подлинный черновик. Он назвал многих персонажей именами своих соседей.

— Жулик! Только жулик способен на такое!.. Нет, следствием пусть занимаются другие, мое дело профессиональное, — убеждал он себя.

— Вы совершите ужасную ошибку, если напишете, что автор пьесы Суров, поддержите его своим авторитетом.

— Я уже написал и отослал письмо в ЦК. У меня есть основания думать так, Саша, я еще не научился читать.

Как трудно было мне, держа в руках странички его гневной гражданской защиты меня, спорить с ним, пенять ему.

— Я ненавижу Сурова! Телефон разбит из-за него, я сам его вырвал и стукнул об пол...

Несколько дней назад Борис Андреевич совместно с МХАТом собирал драматургов столицы для творческого разговора. Сурова не позвали, полагая, что из-за скандального разбирательства ему будет неловко появиться на таком совещании. А во втором часу ночи, допившись до градуса, когда все трын-трава, Суров позвонил Лавреневу. Он вел разговор из шумной компании, «играл на публику», был по-хамски груб, материл его, грозил, что сведет с ним счеты и никому не позволит вычеркивать себя из списка лучших драматургов.

Лавренев бросил трубку. Раздался новый звонок и более изощренная брань, и еще звонок, и еще — телефон трезвонил до тех пор, пока Лавренев не грохнул аппарат об пол.

— Это, конечно, серьезное основание посчитать Сурова автором пьесы, — сказал я. — Раз матерщинник, пьяница, значит, талант.

— Вот письмо, его привез шофер Сурова. Прочтешь? — Борис Андреевич будто чувствовал, что я не захочу читать письмо Сурова. — Ладно. Ты слишком предубежден. Пойми, как я его ненавижу, но это значит, что я вдвойне обязан быть справедливым.

Он объяснил, что письмо это — покаяние и исповедь, крик души человека, который хочет побороть порок и не может, рассказ о детстве, о дремучих нравах, о том, как трудно было ему пробиваться к книге, к свету, потом и к театру, к любимому делу. Сказал, что письмо талантливо, что Сурову он никогда не подаст руки, но не вправе вымещать на нем злость. Уже на высокой теноровой ноте пел великодушный русский интеллигент, всегда виноватый перед человеком из народа, перед тем, кто учился на медные гроши и вышел из темного царства к свету...

Мой праздник был испорчен. Я ушел от Лавренева с копией его письма в издательство и с тоскливым чувством свершившейся несправедливости. Дома я застал Давида Тункеля. Родись этот человек

в начале нашего летосчисления, он милосердием и всепрощением поспорил бы с Христом. Он знал, как недостойно повел себя Варшавский по отношению к нам, но и ему не мог отказать в участии, рукопожати, добром слове. И Тункель рассказал о случайной встрече с Варшавским в этот день.

История такова. Варшавский в очередной раз позвонил в ЦК. С ним впервые разговаривали строго, даже сурово: предупредили, чтобы больше не обращался в ЦК, пусть, если хочет, подает в суд, требует экспертизы черновиков, но пусть и запомнит, что если суд признает его авторство «Рассвета над Москвой», то из партии за обман правительства (Сталинская премия!) исключат не только Сурова, но и его тоже. Угроза высказана недвусмысленная: хочешь уцелеть — кончай ссору, решил идти до конца — пеняй на себя. Пришлось вновь стучаться в дверь Сурова и скреплять новую дружбу водкой.

В подпитии Суров похвастался, как он помучил «старика» ночными звонками, потом взял со стола страничку с письмом, которое собирался отправить Лавреневу. Письмо размашисто-грубое и с ужасной концовкой: мол, куда ты в наставники драматургов прешь, ты единственного сына ни воспитать, ни уберечь не смог...

Варшавский растолковал ему, что такое письмо — конец, война без пощады и неизбежное поражение Сурова. Играть надо умнее. Он сел за машинку и написал то самое письмо-исповедь, которое получил за подписью Сурова Борис Лавренев.

Бедный, страдающий Борис Андреевич оказался прав: пьеса «Рассвет над Москвой» написана той же рукой, что и покаянное письмо!

Только чьей?!

Я ошеломленно смотрел на умолкшего Тункеля. Лавренев уже отослал свое заключение в ЦК, и было бы жестоко поставить его перед нестерпимой необходимостью менять оценку. И поверит ли он рассказу из третьих рук? Лавренев и без того был надломлен домашней трагедией.

Несмотря на всю доказательность оценки аферы А. Сурова авторитетной писательской комиссией, мы бы долго еще чествовали «ведущего драматурга», избирали бы его в президиумы собраний, во всевозможные бюро и комитеты. Возможно, появились бы и новые афиши все с тем же «заслуженным», обеспеченным моральным кредитом именем Сурова. Где благоденствуют лжеученый Лысенко, лжефилософ Александров, лжеполитик Георгий Попов, непременно должен возникнуть и лжедраматург.

Увы, Суров не помог своим благодетелям и поручителям: неуязвимый, пока он попирали мораль, блефовал, обманывал театры, издевался над Комитетом по Сталинским премиям, он рухнул, когда посягнул на идеологический ритуал.

Пришел день выборов в Верховный Совет СССР.

Агитаторы с утра поторапливали избирателей — считалось доблестью закончить голосование раньше других участков. Звонки в дверь сердили Сурова, ему предлагали, как больному, доставить на дом «урну», он приходил в ярость, «добавлял» и все тянул, тянул до мартовских сумерек, гнал агитаторов, кричал, что никто ему не указ. А придя под закрытие на участок, скомкал избирательные бюллетени, швырнул на пол и принялся топтать ногами.

Терпение кончилось, Суров оказался приоткрыт партийному суду.

Его исключили из Союза писателей. Изгнали гласно, открыто, а спустя годы Леонид Соболев келейно, в пику Московской организации, восстановил его на секретариате СП РСФСР. Но это был формальный акт, вроде такого же «восстановления» Соболевым спустя несколько лет клеветника Эльсберга (причастного к репрессиям против Макашина, Штейнберга, Пинского, М. Левидова и Бабеля), исключенного из Союза на заседании президиума Московской организации СП РСФСР под председательством Степана Щипачева.

Сурова попытались исключить из партии. Вопрос решался в партколлегии ЦК. И на этот раз партколлегия проявила редкую заботливость о провинившемся коммунисте. Не стоял ли за этим Сулов, человек, следивший за тем, чтобы люди, однажды облагодетельствованные, попавшие так или иначе в «святцы», поддерживались всей силой аппарата. Сурова третирует гнилая, либеральствующая интеллигенция, те, кто готов взять под защиту Ахматову или Зощенко, а уж одно это — сильнейший аргумент в пользу Сурова.

В присутствии всего синклита шла открытая борьба. От Союза писателей выступали А. Сурков и Н. Атаров. Сурков заявил, что парторганизация СП дойдет до съезда, отстаивая свое решение об исключении Сурова. Но и среди адвокатов Сурова (оказавшихся на заседании с чьего-то личного разрешения, ибо они никого не представляли) были писатели — Первенцев и Софронов. Первый апеллировал к состраданию и милосердию, говоря, что Суров тяжело болен («Посмотрите на него!..» — восклицал этот неукротимо безжалостный человек, тот, кто на трибуне, заткнув рот И. Юзовскому, издевался над ним). Софронов печалился, какие потери понесет репертуар советского театра, если с афиши исчезнут «партийные пьесы» Сурова.

Алексей Сурков с прямоотой и резкостью, необычной для этого партийного «этажа», заявил, что коммунисты Союза писателей не примут в свою организацию разоблаченного псевдописателя.

Как мало старый коммунист Алексей Сурков смыслил в бесчестной игре, которая велась на его глазах, как не понял он, что само появление на заседании частных адвокатствующих лиц предопределяет спасительное решение персонального дела Сурова. А он и правда болен, и ходит трудно, и руки трясутся. Но пьянство тогда

еще не считалось большим грехом, скорее стихийным выражением самобытности.

Партколлегия ЦК нашла выход: товарищи писатели правы, нецелесообразно сохранять Сурова в парторганизации Союза писателей, мы строго накажем товарища Сурова и поставим его на учет в другом месте...

Был ли он рожден человеком из разнузданного пивного павильона? Нет! Он пришел в Москву из глубинки; двигаясь по ступеням общественной лестницы, он трудился и служил, служил и трудился как организатор и редактор, чем-то даже выделяясь среди других. Но вот честная, рабочая дорога ушла из-под ног, под них легла удобная «дорога цветов», его осенила забота Ольги Мишаковой, открылись соблазны, пришла безнаказанность, возможность процветать ценою унижения других, духовного их истребления, выиграла социальная и национальная спесь, и начался распад личности. Водка дала этому процессу, который мог длиться гораздо дольше, особое, разрушительное ускорение.

35

В апреле 1986 года Лидия Федоровна Рудная, вдова писателя Владимира Рудного, разбирая его бумаги, обнаружила часть архива адмирала И. С. Исакова и прислала мне копию его письма жене:

«Олька! Я не так часто пристаю к тебе, чтобы прочла книгу. Между нами стена сикспенсовых романов. Но иногда ты слушаешь и не особенно раскаиваешься, как было с Севунцем, например. Сейчас прошу прочесть Борщаговского „Русский флаг“. Тем более, что мне о нем придется писать.

...В нашу эпоху вслух читать романы в 700 страниц — дело немыслимое. Поэтому надо читать по очереди. И я уверен, что щекотать в горле будет там, где у меня щекотало. Хороший роман (хоть есть недочеты). Честный, искренний, не роговский и не гайдовский. Маловато еще таких.

Успеешь, не успеешь, бери в дорогу, т. к. я буду делать наброски рецензии. Пока мои отметки не смотри, и извиняюсь, что заляпал».

Письмо это от 21 августа 1953 года. К сожалению, печатной рецензии Ивана Степановича я не обнаружил, не состоялась и его долгожданная внутрииздательская рецензия, которой меня с 1950 года пугал Лесючевский. Я волновался: как отнесется к рукописи один из талантливейших офицеров русского флота, ученый, историк и к тому же одаренный прозаик? Тяжкая, долгая болезнь, результат фронтового ранения, перегруженность делами, видимо, не позволили адмиралу принять участие в рецензентском марафоне «Советского писателя». Тем дороже для меня немногие строки письма, в них ничего вынужденного, ничего на публику. Особенно дороги были для меня в

годы изнурительной борьбы за книгу два слова из письма: честный, искренний.

Повторюсь: я пишу о «Русском флаге» не потому, что когда-либо — а тем более теперь — преувеличивал художественные достоинства романа. Моя всегдашняя позиция достаточно критическая, с известной долей самоуничтожения^[41]. Профессиональные занятия критикой приучили меня видеть многое в жестоком, обнажающем свете. И вспоминаю я всегда не роман, а камчатскую эпопею середины XIX века, громаду далеких событий, восстановленных и записанных мною, и все мои бои с Леонидом Соболевым постараюсь перевести именно в этот план: история и два подхода к ней, два взгляда.

О книге я *вынужден* писать, ибо она стала тогда моей судьбой и действующим лицом «антикосмополитической» кампании. В движении рукописи по начальственным кабинетам, в трехлетней схватке вокруг нее выразились не просто состояние умов и падение нравственности, но и сменившее маску преследование «безродных космополитов». «Александр Борщаговский, — писал в марте 1953 года правдистский журналист Л. Кудреватых в рецензии для „Советского писателя“, — изобличенный нашей советской общественностью и партийной печатью в антипатриотических и космополитических взглядах, видимо, боялся рассматривать общество России, отдаленное от нас на целый век, во всей гамме противоречий, полагая, что если он будет приводить теневые стороны русского общества, то его могут обвинить в прежних ошибках. Вот поэтому-то Борщаговский и писал *неискренно*...» Еще определеннее высказался Кудреватых на обсуждении в Союзе писателей: роман слишком *патриотичен*, а потому не верю автору.

Положение «безродного» оказывалось безвыходным: выражение патриотических чувств встречалось косоротой насмешливой улыбкой, презрительным фырканьем, а любой эпизод, обращенный в прошлое с социальной критикой, оценивался как очернительство. Арбитрами часто выступали люди малообразованные, не знающие истории, но одно лишь напоминание о том, что автор был изобличен в смертных грехах, делало их критику угрожающе опасной. И уже вскользь брошенные тем же Кудреватых слова о том, «что отдельные главы и эпизоды описаны Борщаговским очень талантливо, с большим художественным мастерством», не меняли приговора.

Тактика борьбы против «критиков-антипатриотов» менялась, стратегия оставалась неизменной, такой, как ее выразил на Секретариате ЦК ВКП(б) Маленков — *не допускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати*.

Редкостной и в этом смысле оказалась судьба «мечтателя с Красной Пресни» Абрама Гурвича, изгонявшего по мере сил из сердца не только гнев, но и обиду, раздражение; он вчитывался и вдумывался в текущую прозу, в выходившие романы Ажаева, Гранина, Кочетова, прозу Соболева или Нины Емельяновой, его систематизирующий ум

выстраивал разрозненное, случайное в систему, часто его размышления оказывались куда более значительными, чем та литература, из которой они рождались.

Пока он наедине со своими мыслями похаживал по двум тесным комнатенкам квартиры на Красной Пресне, дожидаясь возвращения любимой из театра, пока склонялся отдыха ради над шахматной доской, создавая композиции, которым тогда тоже был запрещен «вход» в печать, пока не совался в святые пределы литературы, он мог жить в бедности и покое. Но стоило ему выступить с первой же статьей о новой прозе, как ударили «большие калибры»: редактор Л. Ф. Ильичев отозвался на первую же попытку, на еще не оконченную публикацией статью Гурвича, двумя разгромными подвалами.

И только подумать, за что! За повторение известной мысли революционно-демократической критики о женщине в русском обществе, об ее особой роли и достоинствах, рожденных независимостью (при всей зависимости женщины в браке, в быту) от бюрократической иерархии, от служебных пут. Этого оказалось достаточно, чтобы возобновить смертную брань в адрес Гурвича, оживить *политические* обвинения в его адрес. От этого удара он так и не смог оправиться до конца жизни, ушел униженный, забытый неблагодарной писательской средой. Но не писать он не мог, и лучшее, что было им написано, но не самое острое, мне удалось включить в единственный вышедший после смерти Гурвича сборник его литературно-критических статей.

На истории этого издания стоит остановиться, это любопытная страница наших литературных нравов.

Готовилось издание избранных работ А. Гурвича. Как председатель комиссии по его литературному наследию, подготовкой и «проталкиванием» занимался я. Сборник был обещан Гурвичу еще при жизни, но клеймо «безродного космополита» незримо мешало изданию. Тянулись годы проволоочек, шла перекройка самого сборника, иные статьи казались излишне резкими, недопустимыми, имея в виду не уровень литературы, а место авторов в литературной иерархии. Человек глубокого аналитического ума (Константин Паустовский писал о «железной точности» его логических выводов), Гурвич отличался независимостью суждений, не умел угождать и приноравливать критику к литературным «рангам».

А мы в послевоенные годы решительно стали отвыкать от критики нелицеприятной. Менялись судьбы и «ранги» критикуемых, иные из них стали как бы уже живыми классиками социалистического реализма, а значит — неприкосновенными. Сборник Гурвича редел, истончался. Очень многое, на взгляд редакции литературоведения издательства «Художественная литература», оказывалось решительно не ко времени: критика прозы Юрия Олеши, суровый разбор военных рассказов Леонида Соболева; размышления о «Поднятой целине»,

любви Давыдова к Лушке, с умозаклечениями, не совпавшими с завершенной редакцией второй книги романа; нетрадиционный взгляд на роман Даниила Гранина «Искатели»; наконец, блистательный и беспощадный памфлет «Мультипликационный эпос», посвященный киномуану Вс. Вишневского. Статьи о Вс. Вишневском и Юрии Олеше публиковались в «Красной нови», три другие работы, в том числе и «Прокрустово ложе» — о М. Шолохове, оставались в рукописи, журналы не решались печатать их.

Я попытался воззвать к совести и благородству самих писателей и начал с Юрия Олеша. В 1959 году в переделкинском Доме творчества, в день, когда Юрий Карлович показался мне благодушно настроенным, я обратился к нему за завтраком:

— Помните, Юрий Карлович, статью о вас покойного Гурвича?

— Еще бы! — Олеша рассмеялся как-то театрално, по-мефистофельски, — Еще бы! Самая несправедливая, самая злая статья обо мне.

Я смущенно умолк.

— А в чем, собственно, дело? — спросил Олеша. — Вы что — решили испортить мне рабочий день?

Я рассказал ему о злоключениях сборника, и Олеша воскликнул:

— Печатайте! Непременно печатайте статью обо мне! Я не сказал главного: это самое талантливое из всего, что обо мне было написано.

Он еще несколько дней напоминал мне, что печатать надо непременно, и в эти минуты его глаза оживлялись молодым блеском.

Редакция не вняла его голосу: подумаешь, рыцарь! Причуда! Блажь! Эксцентризм Олеша! — должно ли серьезному, глубокомысленному литературоведению считаться с настроениями благородных авторов. Если Олеша не умеет защищаться, то мы его защитим...

Вс. Вишневского, немилосердного нашего судьи, предрекавшего в клубе на Лубянке незамедлительное разоблачение «критиков-антипатриотов» как активно действующих агентов ЦРУ, уже не было в живых. В этом же издательстве готовилось или уже шло собрание его сочинений, время ли публиковать критический шедевр «Мультипликационный эпос»?

Ну, а с Леонидом Соболевым никто и не решался заговорить, чтобы он помог появлению в печати критики на самого себя.

Поняв, что сборник испаряется, я решился на крайность: послал «Прокрустово ложе» — четыре авторских листа — Михаилу Шолохovu в Вешенскую и в сопроводительном письме выразил надежду, что публикация «Прокрустова ложа» и сегодня поможет борьбе с ханжами.

Все было достаточно сложно: после опубликования разрозненных глав второй книги «Поднятой целины» некоторые критики принялись не только судить и пересуживать любовь Давыдова к Лушке, но и, «прогнозируя» будущее, энергично, до беззастенчивости, *разводить*

Давыдова и Лушку, искать достойную Давыдова «замену». Даже здравомыслящий А. Тарасенков находил этой «недостойной» любви Давыдова только то сомнительное оправдание, что долгую зиму Давыдов провел в мужском посту, а «весна властно давила на смертную плоть безупречного, справившегося со всеми хозяйственно-политическими кампаниями председателя гремяченского колхоза»!

Беспощадно высмеял Гурвич новоявленных пуритан и ханжей, всех, кто предлагал Давыдову «перевлюбиться в девушку из второй бригады» Мысль Гурвича, что «тень на большую и красивую душу Давыдова» бросила не Лушка и не его к Лушке любовь, а «не кто иной, как сама благочестивая критика», была доказана неотразимо. Не пытаясь предугадать будущего героев «Поднятой целины», критик утверждал, «что когда мы имеем дело с художественным произведением, то не учить, не диктовать, не навязывать писателям свои соображения и коррективы должны мы, а наоборот, обращать к ним пытливые взоры, спрашивать у них, что же в самом деле происходит в жизни».

Все так, так, все справедливо, но Давыдов-то с Лушкой расстался, он будто послушался советов ханжей: во второй книге возникла рядом с ним Варюха-горюха. «Критик-космополит» и после смерти шагал не в ногу, пытался сбивать с толку добрых людей. Редакция критики и литературоведения и слышать не хотела о публикации «Прокрустова ложа».

Я послал рукопись Шолохову в конце ноября 1965 года. Долго не приходил ответ, надежды таяли. А в конце января 1966 года пришло короткое, писанное от руки письмо:

«Дорогой Александр Михайлович!

Прошу прощения за промедление с ответом, но так сложились обстоятельства. Статью покойного Гурвича о „Поднятой целине“ безусловно надо печатать. Она еще сослужит свою службу, но чтобы она заставила ханжей мыслить иначе, — жестоко сомневаюсь!..

Желаю Вам всего доброго!

М. Шолохов.

24.1.66».

Как и для Юрия Олеши, высокие интересы литературы оказались для Шолохова решающими.

Несмотря на это письмо, до выхода сборника в 1973 году прошло еще долгих семь лет, — грешнику 1949 года, уже и отошедшему с миром, все еще приходилось нелегко.

Я послал книгу многим, ждал — напрасно ждал, — что о ней напишут, откликнутся, заметят ее, — даже урезанная, она того стоила.

Откликнулся только один писатель: из Вешенской пришла телеграмма: «Получил тчк Спасибо — Шолохов».

Не стал больше, после преподанного урока, искушать судьбу Гурвич. Молчал Альтман. Спустя годы сделал первые, как после изнурительной болезни, шаги Юзовский: не скоро вышли его первые очерки, не театральные, а путевые, но рожден он был писать о театре. Я не знал никого, кто мог бы подобно ему увидеть актера в образе, увидеть и написать так, что создавался «эффект присутствия» на спектакле, ощущение его движущейся целостности.

Леонид Малюгин, беспартийный, в какой-то мере независимый, как и «западник» Бояджиев, — Малюгин, кормившийся «Старыми друзьями», трудился, готовил себя к новым пьесам, жил с умным презрением к нашим гонителям.

Озирал «артиллерийские позиции» («не подпускать на пушечный выстрел!») идеологического фронта все тот же Леонид Федорович Ильичев, всегда лидер, всегда среди главных и непреклонных идеологов. Он мог быть доволен: «безродные» не прорвались, Гурвичу дали по рукам, до пушек не дошло, хватило пулеметного огня, чтобы им не поднять головы из своих ям.

И вдруг прецедент: роман. Рукопись. Нечто уже существующее, отделившееся от автора, требующее оценки.

Для Первенцева или Бубеннова вопрос решался просто: не пущать! Не то что не издавать, об этом говорить нечего, — не принимать рукописи и не читать ее. Борщаговский — критик, в критике навредил, пусть и исправляет ошибки в критике.

Изворотливый Лесючевский с глазу на глаз, понизив голос, доверительно объяснял мне, что положение у него «пиковое», похуже моего. К нему ходят, стучат кулаком по столу, пугают, а он держится, держится и не предает меня. Он знал, как переменчивы судьбы, и тянул, тянул, сколько мог, выжидая, оттягивая издание.

К лету 1950 года я вчерне закончил роман, и его перепечатала Лидия Витольдовна Фисенко, жена архитектора, профессора и тогда академика архитектуры, пока Хрущев не упразднил самой Академии архитектуры.

Перепечатка в долг книги огромного объема и с «бисерной» рукописи — акт милосердия! Когда я называю себя баловнем судьбы, я более всего помню о добрых людях, открывших навстречу мне и моей семье щедрость своей души. Валя, опытная машинистка, не могла сделать этой работы, — трудно представить себе волнение, которое охватывало ее, когда она прикасалась к тексту, с которым связалась вдруг наша судьба; дрожали руки, и заходило сердце. Лидия Витольдовна, наш добрый ангел, человек высокой культуры, еще и укрепляла во мне надежду, что я не напрасно тружусь: перепечатывая главу за главой, она была и судьей и рецензентом — не мольеровской кухаркой, а добрым, но не прощающим промахов глазом. Мы дружны с этим домом около сорока лет, Фисенки — близкие нам люди^[42].

Первыми после Вали читателями романа были Борис Яковлев и Константин Симонов. Третий экземпляр оставался у меня, и вскоре по совету Константина Михайловича я передал рукопись А. Ю. Кривицкому. 11 июня 1950 года в Бабушкин, на Медведковскую № 19 пришла телеграмма: «Поздравляю большой удачей несмотря на несколько легко устранимых забавных страниц украинизмы варварскую вычитку».

Телеграмма из Москвы, хотелось думать, что от Симонова, но почему без подписи? Он не скрывал, не прятал стыдливо наших отношений в критические месяцы, зачем же анонимность спустя год?

Назавтра приехал в Бабушкин Борис, отправитель телеграммы, с рукописью романа. Пометы его красовались на каждой странице. Он не поленился нумеровать пометы, их количество перевалило за тысячу, и само количество помет с номерами так удручило меня, что рукопись показалась постылой и никчемной. Если такое обнаружил глаз друга, чего ждать от недругов!

Через несколько дней Симонов телеграммой позвал меня в Переделкино, на дачу, туда, где январской ночью 1949 года он рассказал мне о гневе Сталина. Попросил приехать утром. Волнение гнало меня с рассвета, и к девяти часам я был у знакомых ворот дачи.

Тишина и безлюдье, двери настежь, распахнуты окна. Дом спал, спал беззвучно, странно открытый и незащищенный. Я бродил по участку, посидел в беседке на островке посреди крохотного пруда, вырытого, кажется, еще прежним владельцем Федором Гладковым. Нетерпение снова и снова подгоняло меня к дому. Симонов обычно начинал работу со стенографисткой Музой Николаевной рано, как бы ни затянулись ночные посиделки.

Вдруг с террасы сошел сонный Борис Горбатов: босой, тучный, в трусах, сползающих с живота, с очками в руках. Он узнал меня и оживился: оказывается, Симонов вчера сказал ему о романе. Мы устроились на скамейке, подальше от дома. Горбатова что-то томило, он искал уединения. Может быть, именно такой собеседник, как я, человек, насильственно выключенный из литературной жизни, гонимый, презирающий тех же литературных нуворишей, что скрытно преследовали и Горбатова, оказался ему по душе. Порасспросив о романе, он вспомнил мою статью о пьесе «Закон зимовки» и неожиданно сказал:

— Лучшее, что я написал, — пьесы. Если что-нибудь останется после меня, то только пьесы, вы их не все знаете. В сущности, я — драматург, но поздно понял это...

— Не поздно, — ободрил я его. — Вы еще все успеете.

Он надел очки, взгляделся в меня: так ли я думаю, как сказал?

В ответ невесело, как-то коротко, оборванно махнул рукой.

Мне тогда не понять было, что он почти сломленный, загнанный в угол человек.

Его каким-то образом известили о недоброжелательстве к нему Сталина. Сталин прервал показ какого-то документального фильма об одной из союзных республик, и будто бы именно из-за не понравившегося текста Бориса Горбатова. А ведь Горбатов взялся за эту ремесленную работу как несложную и верную, — многие бесцветные, лакировочные фильмы этой серии приносили лавры, Сталинскую премию. И вдруг опасный поворот: фильма, которого не досмотрел Сталин, не существует, а существуют ли его авторы?

Сталин недоволен им, кто-то настраивает его, но кто?

Думаю, Горбатов догадывался, но лучше бы ему не знать и не догадываться. Его ненавидел Берия. Жена Горбатова, Тата Окуневская, «приглянулась» палачу, но держалась она независимо и дерзко, не представляя себе, что и ее могут бросить в лагерь. Красавица, недотрога, хранит, видите ли, верность своему толстоброхому мужу! Уже не одна чужая жена, и помоложе Окуневской, и при мужьях с именем, погостила на загородной даче «любви» Берии; и если у них хватало ума покорствоваться, ничто им не угрожало. А эта, горбатовская, смеется, что ли, над ним? Не смеются ли они вместе с мужем? Горбатов физически ощущал сгущавшуюся вокруг него атмосферу недоброжелательства и подозрений.

О судьбе Окуневской и посягательствах Берии я узнал спустя несколько лет. О характерном эпизоде рассказал мне в 1955 году, в пору постановки моей пьесы «Жена», Иосиф Михайлович Туманов (Туманишвили), тогда художественный руководитель Московского театра им. Пушкина.

Как-то в конце сороковых годов, находясь в Ленинграде, он с утра наведалься к Окуневской в гостиницу «Европейская». Они о чем-то смешном беседовали, когда раздался необычный, протяжный телефонный звонок. Тата взяла трубку и изменилась в лице, а Туманов смеялся, басил на низких тонах. «Нет! Нет! — твердо отвечала в трубку Окуневская. — Не могу. Нет. У меня в номере никого, уверяю вас — я одна. Это радио. Нет. Я уйду, меня ждут на съемке...» Она бросила трубку и закричала: «Уходите немедленно! Все объясню потом: звонил Берия! Уходите из гостиницы, через пять минут здесь будут его люди!»

Туманов скрылся, но, перейдя улицу, от здания филармонии следил за подъездом «Европейской». Через три минуты на большой скорости затормозил у входа автомобиль, из него, как в детективном фильме, выпрыгнули двое сотрудников НКВД. Их рвение можно понять, они выслеживали не любовников киноактрисы, а... боролись с «врагами народа».

Окуневская, в номер которой они постучались, скоро и оказалась в лагере, в числе врагов.

Каюсь, еще в 1949 году мне довелось услышать неправдоподобную тогда для меня историю о похотливости Берии.

Внутри Лефортова — дворца, служб и казарм, построек XVIII века, — проживала семья Хотимских, которых я уже упоминал: старики, Александр Васильевич и Мария Борисовна, и две их дочери — Галя, инженер-химик, и Люся — театровед, специалист по польскому театру. Еще живя в Киеве, я опубликовал в журнале «Театр» статью москвички Хотимской о драматургии Фредро, к постановке Киевским русским театром комедии Фредро «Дамы и гусары». В Москве знакомство продолжилось, а когда моя семья сделалась бездомной, Хотимские старались всячески облегчить нам жизнь. Не раз мы втроем оставались на ночевку в огромной, дворцовой комнате, шкафами разгороженной на три помещения. Потолки были так высоки, что их хватило бы на несколько поставленных один на другой шкафов.

Сейчас никого из этой семьи нет в живых. Я похоронил одного за другим родителей, старых большевиков, деятелей революции на Дальнем Востоке, похоронил Галю и ее мужа Анатолия, бывшего летчика. Но первой ушла из жизни самая молодая, прекрасная, даровитая Люся. Ее жених, талантливый пианист, юношей был репрессирован, отсидел 10 назначенных лет в лагере, в 1947 году оказался на полусвободе, не в Москве, а в Калинин, — он все еще не имел права пересечь стокилометровую черту. Люся ездила в Калинин, но и это счастье длилось недолго, скоро Сталин повелел отправить бывших лагерников обратно в Сибирь, там требовались рабочие руки. Ряды их с года 1937-го так поредели, что им, едва ли не всем, хватило обширного Красноярского края. Они были возвращены в подневольное состояние и «трудоустроены» — многие, в том числе и жених Люси, в шахтах, выжить в которых было еще труднее, чем на лесоповале. Именно в эту пору Нина Павловна Гордон, секретарь и стенографистка Симонова (одна Муза Николаевна не могла управиться с объемом его работ, да и мало подходила для «внешних» сношений), простилась с нами и отправилась за мужем, кинооператором Гордоном, в Красноярск; какое это было редкое по нашим временам *декабристское* счастье!

Люся показывала мне письма любимого: он внутренне сложился в заключении, не упал нравственно, ухитрился изучить языки, мысленно *играл* на фортепьяно, начал писать музыку. Вместе с женой художника Ротова Люся готовилась к поездке в Красноярский край. В разгар приготовлений пришло известие о смерти жениха; в отчаянии он бросился в ствол шахты.

Через две недели мы хоронили Люсю. Она страдала астмой и умерла совсем как Галя Андреева, после самоубийства инсулина. Галя Андреева была молодой матерью, полной энергии и упрямого желания жить и воевать с неправдой; Люся ушла загадочно, и административные власти настаивали на вскрытии, не давая разрешения на похороны. Родители, сколько могли, сопротивлялись: им не нужно было знать больше того, что они знали...

Однажды Мария Борисовна, грузная, седая, чернобровая старуха с добрым сердцем и редким пониманием людей, рассказала мне о преступлении Бериин, которому и она, прошедшая через все испытания 1905–1907 годов и гражданской войны на Дальнем Востоке, не находила разумного объяснения; мозг отталкивал эту реальность.

В 1948 году к ней без звонка прибежала дочь близких друзей, студентка третьего курса мединститута. Ее трудно было узнать. Что-то с ней случилось, она пропала на три дня, потом вернулась, долго отмачивалась, сказала родителям, что была по ошибке арестована и отпущена с извинениями.

Правда была в другом. Она заметила, что близко к тротуару улицы Герцена, по которой она возвращалась домой, почти в шаг с ней движется зашторенная черная машина. Она не встревожилась до той минуты, когда машина обогнала ее, на тротуар сошел старший офицер войск НКВД и приказал ей сесть в машину, — задняя дверца как бы сама собой распахнулась.

Ее везли тихими, заснеженными подмосковными лесами, доставили на стоящую особняком дачу. Там ее поручили «хозяйке» — немолодой женщине, по виду и по речи интеллигентной, полной доброжелательства и сочувствия. «Хозяйка» дачи объяснила, что к вечеру приедет Берия и возьмет ее, и этому не надо сопротивляться; строптивость здесь никого к добру не приводила. Отсюда могут увезти в тюрьму и в лагерь, а если, вернувшись домой, она откроется родителям и они попробуют искать правду, пострадает вся семья. О ней и о семье известно все, сюда привозят после того, как осведомятся обо всех житейских обстоятельствах.

Не знали бериевские опричники одного: у девушки был жених, скоро они должны были играть свадьбу.

Насильник добился своего, а за сопротивление отомстил, гася сигареты о ягодицы своей жертвы.

Черная машина доставила ее к той же бровке тротуара, откуда она была взята трое суток назад.

К Марии Борисовне она пришла с тем, с чем не могла обратиться ни к одному человеку на свете, — лучшей исповедницы и советчицы не знал и я во всю жизнь. После трагедии девушка больше всего мучилась мыслью: что сказать любимому? Она уже поняла, что рассказать правду близким — значит убить их, убить в прямом смысле слова. Значит, скрыть? Солгать? Забыть о том, что случилось? Жить с этим, но никогда не обмолвиться о несчастье?

Думаю, что многие — и я не исключение — посоветовали бы ей поступить именно так.

Мария Борисовна решила мудрее: скажи, что в темноте тебя изнасиловали хамы, грубо и беспощадно, ты не увидела ни одного лица. Любящий не отшатнется: проверишь его чувство и меру сострадания.

Так, задолго до доклада Хрущева, с коротким поименным списком наиболее знаменитых жертв похотливости Бериин, я слышал и об этих преступлениях палача. Сколько же их было — не знаменитых, безымянных, канувших, поглощенных лагерями, если выборочный список женщин с именем или известных по именам их мужей, если и этот список насчитывал более двадцати жертв!

Вот какой мрак подступал к Горбатову, терзая и страхом и неопределенностью. К тому же он был на распутье: лучшие его пьесы — «Одна ночь» (кажется, так называлась правдивая, сильная психологическая драма о людях, оказавшихся в одном жилище в ночь, когда город переходит из рук в руки, приходят немцы, но на короткое время, не сумев удержаться) и «Закон зимовки» — запрещены, проза не пишется, а что написано, тем он недоволен, попытка вырваться в «парадные» сценаристы окончилась фиаско.

Я почувствовал нелепые укоры совести. Я пообвык, притерпелся, живу почти счастливо, жду, когда проснется Симонов, но ночное волнение миновало, я надеюсь на одобрение рукописи. Я — нищий, бесквартирный, изгнанный из партии, но весь в живой, крепнущей надежде, а Горбатов нездоров, я вижу, как он характерным жестом поглаживает грудь, задерживая ладонь там, где особенно больно. Он именитый писатель, почти патриарх советской литературы, привыкший к похвалам со времен «Нашего поколения», но как-то погасший, потерявшийся, ведущий горький пересмотр всего, что написал в прошлые десятилетия. Я — счастливый отец, в несуществующем моем доме любовь, а у него ГУЛАГ уже отнял такую трудную и любимую Тату.

И я снова хвалю его пьесы, уверяю, что к ним еще вернутся, хвалю и его обыкновенную Арктику, хотя помню ее общим очерком, хвалю и вызываю его ироническую, невеселую улыбку.

К моему облегчению, к нам выходит Константин Михайлович. Он действительно верит в благополучное будущее романа. Мы еще вернемся, говорит он, к подробному разговору, у меня немало предложений, но книга уже написалась, она существует, ее избыточно много, но она есть, есть, есть...

36

Не скажу, чего было больше в спокойствии, с каким встретил меня Александр Фадеев: привычного самообладания, равнодушия или сановного убеждения, что все движется согласно непреложным законам партийных кар и справедливости. Разве что я поспешил с рукописью, тороплю принятые сроки «амнистии». Он знал о романе от Константина Михайловича, но Симонов, на его взгляд, не мог быть

объективен и недостаточно сведущ в истории. И Фадеев решил пропустить рукопись через авторитетного историка.

— Я романа не прочту, — сказал он, как бы защищаясь вытянутой рукой от рукописи. — Если бы и пообещал, то обманул бы. Вот... — Он коснулся пальцами другой, тоже изрядной рукописи. — Я старика Пришвина год обманываю. Не успеваю.

Не знаю, была ли это «Кашеева цепь», вышедшая только в 1960 году, роман-сказка «Осударева дорога» (1957) или «Корабельная роща».

К счастью, я не знал, что рукопись с письмом Фадеева уже отправлена академику Тарле, автору «Крымской войны». В фундаментальном исследовании Евгения Тарле есть отдельная глава о действиях европейских флотов против России на Белом море в камчатских водах и поражении морского десанта на самой Камчатке. В этой главе ряд досадных фактических ошибок очевидных несовпадений с моей книгой.

Камчатский эпизод слишком незначителен в сравнении с битвой у Севастополя и Балаклавы, со сражениями, приковавшими внимание Европы и Северной Америки, камчатские материалы надо было кропотливо искать в сборниках и забытых публикациях, вычитывать в воспоминаниях де Ливрона, мичмана Фесуна, в брошюре жены Завойко, изданной уже после смерти адмирала. А к услугам историков всегда была как будто никем не оспоренная статья адмирала А. П. Арбузова, напечатанная в «Русской старине» за 1870 год в томе I (с. 365–379). Автор — участник обороны Петропавловска-на-Камчатке, офицер, в ходе боя отстраненный Завойко от командования отрядом, — приводит в своих мемуарах ряд верных цифр и сведений, но многое извращает, пытаюсь опорочить Завойко, изобразить его тираном, появляющимся на палубе «Авроры» и на батарее Сигнальной горы в сопровождении палача с вынутой из футляра плетью. Декабрист Волконский писал И. И. Пущину: «столько порицаемый служебными тунеядцами Завойко делал чудеса распорядительности, твердости духа». Таков взгляд и историков на Завойко, всех советских историков, и всех моряков-рецензентов моей книги — Б. Рубцова, Б. Лавренева, Н. Мильграма.

Но «Русская старина» — авторитетное издание — всегда под рукой у историков, и многие небылицы А. П. Арбузова кочевали из издания в издание. Попали они и в «Крымскую войну» Е. Тарле, и надо же случиться, чтобы первым рецензентом романа оказался именно он, Евгений Викторович! Задетый тем, что Фадеев в сопроводительном письме просил его оценить роман «лишь с чисто исторической точки зрения», Тарле взял для прочтения месячный срок, но уже через неделю вернул в Союз писателей рукопись с рецензией, не оставившей сомнения (по его постраничным пометам, поправкам, замечаниям) в том, что роман прочитан со всей тщательностью. Отношу это не за счет особых достоинств книги; о камчатском деле и у него, крупнейшего из

историков Крымской войны, не могло быть ни исчерпывающих, ни достаточно подробных сведений. И вдруг в беллетристической рукописи он эти сведения получил. «Общее впечатление от романа Борщаговского у меня — вполне благоприятное, — писал он. — Хотя я рассматривал работу лишь с точки зрения исторической, но художественная сторона показалась мне на хорошем уровне^[43]. Есть сцены удачные, есть неудачные, есть и превосходные (напр., конец III тома, когда покидают Петропавловск). Читается вся работа с большим интересом. Сколько-нибудь серьезных отклонений от фактов, установленных историей, я не заметил». Далее следовали замечания «о желательных фактических поправках», и тут академик не давал мне спуска: всякое лыко в строку, любая неточность замечена, ни одно историческое упрощение, касалось ли оно Николая I или Пальмерстона, адмирала Прайса или Наполеона III, не оставлено без иронического комментария. Удивительная по краткости, деловитости, фактической полноте рецензия и следом краткое, без «патетических» слов, резюме: «Серьезная, литературно и живо написанная работа, правдивая во всем существенном, удачно популяризирующая исторические факты и историческую обстановку борьбы на Камчатке.

28 августа 1950 года. Е. Тарле».

Евгений Викторович запиской, приложенной к рецензии, пригласил меня к себе и, прощаясь, подарил мне оттиск (из журналов «Морской сборник» № 10, 11, 12 за 1946 год) своей работы «Роль русского военноморского флота во внешней политике России при Петре I».

Какой горький, грустный осадок оставила во мне эта встреча! Я нашел не уверенного в себе, остроумного, иронического человека, не ту *духовную силу*, что угадывалась в его классических трудах, таких талантливых, что именно Александр Фадеев решил принять Тарле в Союз писателей, минуя все формальности. Все достойнейшее было при нем, прорывалось наружу: острота ума, сарказм, широта взглядов, но истязали его тревоги, обиды на оскорбительные статьи псевдомарксистов, неучей, принявших тогда лягать его работы, в том числе и «Крымскую войну». Расчет их был беспроегрышный: Сталин ненавидел Энгельса, а Тарле обильно цитировал его — мудро и исторично обойтись без работ Ф. Энгельса о Восточной войне.

И 75-летний академик, по уму и памяти вовсе не старик, то и дело возвращался к чинимой над ним несправедливости, не жалуясь, а как-то суетно и часто уверяя, что Сталин ценит и чтит его, в обиду не даст, защитит, скоро журнал «Большевик» напечатает его ответ хулителям, он звонил Поскребышеву, и тот был любезен, очень любезен и предупредителен.

Печаль проникла в сердце от этой суетности, от ощущения тотальной незащищенности, — моя открытость злу и разбою вдруг как бы сливалась с беззащитностью личности, стоящей на такой недостижимой для меня общественной вершине (Тарле ведь трижды

награждали Сталинскими премиями!). Уже нельзя было и представить себе кого-либо, кто закрыт от демагогии.

Не знаю, как Сталин, но Фадеев читал Тарле. Прочитав его рецензию, он попросил своих заместителей дать отзыв о романе. К середине октября я снова был у Фадеева с тремя отзывами: К. Симонова, А. Твардовского и А. Суркова. Фадеев прочитал их при мне. Вернее, по двум скользнул взглядом, в одну, короткую, вчитывался внимательно.

Взяв в руки отзыв Алексея Суркова, спросил неверяще: «Неужели прочитал? Наверно, только полистал...» Пришлось сказать, что я ездил к Суркову во Внуково, что беседа длилась четыре часа и мы пролистали всю рукопись, потому листали, что на многих страницах были пометы и замечания Алексея Александровича^[44].

Отзыва Симонова читать не стал, уже между ними был разговор о книге.

Фадеева интересовал только отзыв Александра Твардовского. Неважно, знал ли он, что мы с Александром Твардовским незнакомы, он знал нечто более существенное: правдивость прямоу литературных оценок А. Твардовского. «На мой взгляд, — заключал короткую рецензию А. Твардовский, — это безусловно полезная, ценная, добросовестная литературная работа. Образы передовых русских людей Завойко, Изыльметьева и других даны, по-моему, очень хорошо. Картины быта жителей Петропавловска, картины исторической его обороны, образы простых русских людей — патриотов, защитников города — все это, на мой взгляд, представляет безусловный интерес для читателя. Возможно, что не все в равной мере удалось автору. Мне, например, больше нравится собственно историческая и военная сторона романа. А менее нравятся любовно-бытовые и семейные сцены. Но это уже вопрос редакторской оценки. Мне кажется, что роман можно и нужно издать отдельной книгой».

Александр Трифонович телеграммой пригласил меня в редакцию, — деятельная натура, он захотел помочь мне, предчувствуя, как долго еще может длиться печатанье книги. Я наблюдал Твардовского со стороны на фронте, в недолгое его пребывание в редакции газеты «Красная Армия» (Юго-Западный фронт). Он оставил редакцию из-за конфликта с редактором фронтовой газеты Львом Троскуновым, из-за их яростной несовместимости. Штатский с головы до пят — как, впрочем, и Твардовский, — Троскунов самозабвенно предавался фронтовой позе — спал без подушки, головой на пачке газет, часто похаживал в каске, умный, опытный редактор приобрел вкус к командному, безапелляционному тону, радуясь, что известные поэты не просто пишут по его требованию стихи, но пишут немедля, к назначенному часу и в готовый номер.

Твардовский противился послушному быстрописанию по приказу, полагая, что и газетному стиху на войне тоже нужно созреть, — лучше через несколько дней напечатать строки, которые заденут солдатское

сердце, чем «выдать» незамедлительно нечто унылое в рифму. Троскунов приказывал, Твардовский не подчинялся. Стихотворение тут же незатруднительно сочинялось другим поэтом, и редактор торжествовал: видишь, можно! Можно! Надо только захотеть, не святые горшки лепят!.. Взаимная неприязнь, а скоро и вражда зашли так далеко, что при одной мысли о редакторе всякая поэтическая строка, кроме злой эпиграммы, умирала в Твардовском.

Когда после ранения я вернулся из тбилисского госпиталя в Воронеж, Твардовского в редакции уже не было. Его откомандировали в Москву, в распоряжение ГЛАВПУРа. Рассказывали, что Троскунов вызвал напоследок Твардовского, поднялся со стула и генеральским тоном сказал, протягивая поэту бумагу:

— Отправляйтесь в политуправление к Галаджеву! Я вас откомандировал, мне не нужны барчуки!

По приезде Твардовского в столицу, после такого конфликта, его пригласила в ЦК ВЛКСМ Мишакова. Не знаю содержания их разговора, но сразу же после встречи Александр Трифонович сказал друзьям не без ошеломления: «Братцы! По-моему, эта баба считает меня заядлым антисемитом!»

Был у Твардовского недоуменный миг, а то и миг разочарования, когда я признался, что не бывал на Камчатке; меня, исключенного из партии, никто не пустил бы на полуостров в погранзону, переменить мою жизнь может только книга, только она может дать мне пропуск на Камчатку. Я горячо заговорил о Сибири и Забайкалье, об Иркутске и Бурятии, о Байкале и Селенге, о Туве, и чувствовал, как рассеивается недоверие и мой Иркутск, мой Ялуторовск, Акатуй или Петровский Завод вновь пробуждают в нем тот интерес, который вызвали картины Сибири в романе.

Выскажу одно предположение; оно может вызвать усмешку биографов Твардовского, но сказать это надо. В долгом разговоре я почувствовал, что чтение рукописи и связанные с ней размышления стали резким, быть может, последним толчком к поездке Твардовского на восток страны, — в разговоре он досадовал, что не был за Уралом, говорил, что русский писатель не имеет права прожить век «на пяточке», как ни огромен этот пяточок, что в нем давно сложилось намерение увидеть Сибирь и Дальний Восток, нужно решиться и махнуть.

Очень скоро он решился и — махнул!

Отзыв о «Русском флаге» не был актом сострадания. Я убедился в этом, услышав от Твардовского, что он напечатал бы роман в «Новом мире», заставив меня каторжно потрудиться и сократить рукопись, — напечатал бы, если бы это не носило вызывающего характера. Ведь недавно я был членом редколлегии «Нового мира»! И в доказательство своей решимости он протянул руку к телефону: «Я позвоню

Кожевникову, порекомендую роман ему. „Знамя“ ведь и военный журнал. Вы не против?»

Я был против. Напомнил о Гурвиче, которому не дали допечатать его статью, сказал, что боюсь публикации с продолжением, могут прихлопнуть роман по первым же главам, а я хочу увидеть всю книгу, и только ее.

Он легко согласился. Видимо, звонок к Вадиму Кожевникову был не так уж по душе ему. Стал расспрашивать меня о жизни, и ему пришла мысль помочь мне заработком в редакции: «Новый мир» собирался печатать повесть Гончара «Микита Братусь», Твардовский понадеялся, что уговорит автора поручить мне перевод, позвонил в Киев, но Гончар ответил, что перевод уже делается, переводчик в больнице и там заканчивает работу.

К рецензиям академика Тарле и трех своих заместителей, секретарей Союза писателей СССР, Фадеев приложил и свое короткое сопроводительное письмо в «Советский писатель», предлагая издательству «решить судьбу рукописи».

Был октябрь 1950 года.

Казалось, судьба книги решена, обычно требовались всего две рецензии, если обе положительные, а тут их четыре, и каких авторов! Передавая рукопись и рецензии любезному Петру Чагину, я, баловень судьбы, верил, что дорога роману открыта.

37

А крестный путь только начинался.

Функционеры, чьи карьеры и образ мыслей корнями уходили в благодетельный для них 1937 год, делали все, чтобы придать гонениям на «безродных космополитов» видимость государственной нормы, исторической «справедливости» и естественного климата жизни страны.

Университеты, вузы, научно-исследовательские институты, лаборатории, а то и города выталкивали, «выдавливали» из себя преследуемых. Принуждение к уходу, отъезду, к бегству бывало прямым административным и экономическим, осуществлялось путем систематической травли и унижения. Еврейские писатели, жившие в России, Белоруссии и на Украине, оказались в тюрьмах и лагерях.

Абрам Акимович Гозенпуд, человек редкого таланта и обширнейших познаний, только что, в 1948 году, приглашенный в Малый театр заведовать литературной частью, был тотчас же изгнан оттуда. Он возвратился в Киев и вскоре под угрозы и улюлюканье бежал в Ленинград.

В Бухаре очнулся, придя в себя, литературовед Яков Гордон, автор серьезных исследований о судьбах творчества Гейне в России, изданных в Японии и ФРГ, автор многих книг о связях мировой и русской литературы с историей и культурой Средней Азии.

В Душанбе оказался после нескольких лет блужданий молодой театральный критик Милявский, а его друг и соавтор Лев Жаданов, тоже живший в Харькове, был арестован в 1950 году и провел в лагере несколько лет.

Перебирая в памяти только своих друзей и добрых знакомых, я мог бы назвать десятки честных людей, выброшенных вдруг на обочину жизни, ошельмованных, вынужденных *мигрировать* в поисках мест, где их труд будет признан или терпим.

Я не историк, говорю о времени без цифр и статистических материалов, касающихся травли десятков, если не сотен тысяч людей. Говорю о времени, когда Аркадий Первенцев, родившийся в далеком 1905 году, в 1949-м, сорока четырех лет от роду, спустя пять лет после Победы, подал наконец заявление в партию, заявив, что теперь партия, взявшая курс на изгнаний «безродных», «подходит ему, и нечего больше ждать и колебаться». И новообращенный член партии Аркадий Первенцев принялся активно выполнять обязанности коммуниста, как он их понимал: защищать в партколлегии ЦК ВКП(б) авантюриста Сурова, запугивать Лесючевского тяжкими карами, если он посмеет напечатать книгу Борщаговского.

Год за годом до весны 1953-го гонители «безродных космополитов» опускали перед нами шлагбаум, демагогически провозглашая: «навредил» в критике, в ней же ищи искупления! Последним в марте 1953 года, после смерти Сталина, сей категорический императив повторил в докладе набравший тогда силу в ССП СССР Виталий Озеров, требуя исключения из Союза семидесяти пяти критиков, почти сплошь евреев. О десяти из них он говорил персонально, в том числе и обо мне. Он бросил в зал одну-единственную саркастическую фразу: «Бывший критик Александр Борщаговский романами, видите ли, занялся!» А ведь моя книга к этому времени имела более 20 внутрииздательских рецензий, была набрана и рассыпана и теперь набиралась вторично. Но нет, нельзя! Ты критик, права заниматься критикой мы тебя лишили и теперь прогоним вон за «...творческую пассивность».

Озеров — послушный исполнитель. Сам он не придумает ни милости, ни покаяния. Какие же страхи владели им в тот мартовский день? Почему и Алексей Сурков дрогнул уже после смерти Сталина и освятил позорное собрание критиков своим председательством, зная, какой там будет поставлен вопрос? Чего так испугались в Союзе писателей на исходе марта 1953 года? Вспомним, что в марте 1953 года еще в силе «либерал» Берия, готовилась реабилитация «убийц в белых халатах», страна жила слухами, никто не мог сказать, принесет ли

смерть «отца народов» облегчение «безродным», или теперь только и наступит отмщение за все, в том числе и за утрату «великого Вождя»? Верно, и его извели, уже давно у нас никто не умирал натуральной смертью, всякая имперского ранга смерть — превосходный повод для многих других насильственных смертей...

К марту 1953-го я вернусь, а пока я несу рукопись и рецензии Петру Чагину, еще не зная его популярной в писательских кругах клички: *Обещагин!* Я полон иллюзий, почти жалею Александра Бека, который, встретив меня в коридоре «Советского писателя», улыбается, спрашивает, что это такое *тяжелое* я несу, не гонорар ли за роман?

«Нет, — отвечаю. — Это рукопись, но все хорошо, все будет в порядке.» Он все так же, с улыбкой, но уже грустной и сардонической, говорит, что желает мне успехов, но все-таки, все-таки если я хочу *выжить*, то, вернувшись домой, я должен, не откладывая, приняться за новую книгу, писать ее и, пока будут тиранить старую рукопись, занять новой работой голову и сердце, — только это может гарантировать «экономическое выживание...»

Станный человек! — думаю я, на миг теряя приязнь к нему Какая новая книга? Какой дом, нет у меня дома. Мы скитаемся по городу Бабушкину, только что перетащили на горбу узлы с Медведковской, № 19, из комнаты без внутренней двери, с обоями, которые то и дело поднимает ветер, в комнату на той же Медведковской, № 24. У меня нет ничего, кроме семьи и этой вот рукописи, которой предрекают незатруднительное будущее.

И Чагин — такой славный, сочувствующий, такой основательный, спокойный, грузноватый, живописный Чагин, друг Есенина, старый, опытный издатель, обласкивает меня надеждами, — все будет хорошо.

А Лесючевский ведет себя так, будто ничей глаз еще и не касался страниц моей книги. Можно ли уважать даровые отзывы, за которые не плачено издательских денег?

Книгу читает заведующий редакцией русской прозы Кузьма Горбунов, с этого времени он последовательный ее защитник. Член правления «Советского писателя» Юрий Либединский дает развернутый, в половину авторского листа, разбор рукописи и заключает его утверждением, что «роман безусловно нужно принять к печати». «Весь роман в целом — подлинно художественное произведение, ярко отображающее великий патриотизм русского народа, — пишет второй издательский рецензент, историк, бывший дипломат, неведомый мне и по сей день В. Броун. — Он является ценным с исторической и художественной стороны произведением. Его следует напечатать».

Итак, издательство получило еще две рецензии, выбрав авторов, чьим отзывам обычно вполне доверяло.

Но как неуютно Лесючевскому: с одной стороны, одобрительные отзывы, с другой — гневный натиск писателей-«патриотов», не готовых

простить «безродного космополита», что бы он там ни насочинял, и требующих от издательства такой же непреклонности. Выход есть: гнать роман через рецензентский строй, найдется же кто-нибудь, если не со шпицрутеном в руке, не с арапником, то хотя бы с розгой!.. Хорошо бы рукопись осудил кто-нибудь из бывших флотских офицеров. История историей, ее академик Тарле, конечно, знает, а как обстоит дело с парусной «Авророй», с англо-французскими фрегатами? Так ли ставились и убирались паруса сто лет тому назад, как это изображает автор?

Лавренев успокоил издательство: все верно, все описано так точно, что автор, видимо, сам служил на флоте. Лавренев успокаивал, а Лесючевский тревожился: неужели нет выхода и надо подписывать в набор?

И выход нашелся; не шедевр же сочинил бывший критик, Тарле, кстати, писал о сценах *удачных* и неудачных, и никто из хваливших роман не находил его безупречным. Вот и нужен строгий и требовательный рецензент; пусть он даже признается в недостаточной исторической осведомленности, но защитит высокие и святые позиции художественности.

Таким требованиям ответила Вера Васильевна Смирнова, человек тонкого вкуса, критик с высокой репутацией, всегда в стороне от нечистых страстей и групповых пристрастий.

Вера Смирнова! Вера Смирнова, боль моя и недоумение... В тридцатые годы я знал ее сестру, соруководителя новаторского театра «Шахтерка Донбасса»; знал и имел возможность помогать ей и ее мужу. В Москве познакомился с В. В. Смирновой и проникся почтительным чувством к этой благородной женщине, к ее несуетности, прекрасной русской речи, ее интеллигентности. Но как, оказывается, трудно сохранить все эти добродетели, когда жизнь, тяжкая, драматическая по личным обстоятельствам, прибила тебя, как челн к отмелому берегу, к одному издательству и ты, зависимый, с годами хорошо узнаешь свое начальство, угадываешь даже немые его просьбы!

Все пришлось по руке Вере Смирновой, чтобы унижить книгу. Ладно бы книга очевидно проигрывала в сравнении с образцовыми историческими романами, но роман, оказывается, не выдержит сравнения ни с «известным романом П. Павленко» (?), ни с *мифическими* книгами Т. Семушкина о... Камчатке (вероятно, все-таки о Чукотке!), В. Тренева о Невельском, ни с книгами Н. Задорнова, причем не только с сильным романом «Амур-батюшка», но даже и с вялой, растянутой книгой «К Тихому океану». «Книга Задорнова — исторический роман! — утверждала Смирнова. — Книга же Борщаговского находится где-то между исследованием, фактографическим изложением исторических событий — и художественным историческим повествованием».

Оказывается, не соблюдать жестко и неукоснительно неведомо кем начертанные нормы жанра — тяжкий грех. И хотя Вера Смирнова призналась, что ни в коей мере не может считать себя «настолько осведомленной в истории, чтобы судить об исторической правде событий, описанных в книге Борщаговского», уже в следующих абзацах она предъявляет книге претензии именно такого характера. Книга ей не по душе, и тут ничего не возразишь, но повсюду чудится ей тот грех, какого единственно и наверняка не найти во всем романе, — грех книжности. Смирнову гнетет собственная ее начитанность, перегрузка книжностью, — ей, скажем, чудится Марлинский, которого я тогда еще не читал ни страницы. «Книга Борщаговского написана гладко, с толком, со знанием материала, добросовестно изученного, но без того полета воображения, которое помогает писателю видеть прошедшее как настоящее и воспроизводить перед читателем давние времена так живо, что он чувствует себя в состоянии судить об исторических событиях так, словно он сам был их участником».

Что я мог возразить на такие суждения, возможно, весьма искренние, на желание взглянуть на рукопись построже, потрезвее. И впрямь: почему не построже, почему не стремиться к идеалу, к вершинам, почему бы не потратить еще годы и годы на восхождение к этим вершинам, зачем создавать атмосферу, некоего благоприятствования так провинившемуся перед советской культурой литератору?! Сколько бы я сам, немного научившись ремеслу, предъявил сегодня претензий «Русскому флагу»! — но на одном я стоял бы твердо: может быть, потому мне и удались какие-то главы романов «Где поселится кузнец», «Сечень», «Портрет по памяти» или книги об Александре Полежаеве, что, при всех смертных грехах, я с самого начала был органически способен «видеть прошлое, как настоящее», создавать и для читателя этот «эффект присутствия».

Писателю Н. Задорнову В. Смирнова верила во всем и без колебаний. Мне не верила ни в чем и не находила никаких извиняющих обстоятельств, кроме *цели* романа, «ясной и благородной», по ее словам.

Так Николай Васильевич Лесючевский дождался нужной ему рецензии, практически от издательского сотрудника, рецензии, в его глазах перечеркнувшей все семь предыдущих.

Он и сам прочел рукопись, истомился в поисках безопасной позиции, которая и книге закрыла бы близкую дорогу, и не была бы вызовом рецензентам — секретарям Союза писателей. На этот случай годилась маска дружеской заботы о качестве романа. «Эстетическая критика» В. Смирновой в переложении Лесючевского обернулась жестким идейным счетом. Да, в романе «много художественных недостатков: длиннот, аморфных кусков, много лишнего, много недостаточно выпукло написанных сцен», — утверждал Лесючевский, все приговаривая, что наша беседа *предварительная* и он выскажет

только часть своих замечаний Вот эта часть, предложенная мне в виде документа:

«1. Идеализация старой русской армии и флота. Не показаны жестокости, насилия, самоуправство офицеров, классовый „разрез“ этой части общества.

2. Мало России. Нужно непременно показать Крым, потери и неудачи русских войск под Севастополем, общую картину войны.

3. Как могут камчадалы — „объект жестокой колонизации“ — с оружием в руках защищать русскую землю от посягательств англо-французов?»

Такова была программа («часть» программы!) разрушения романа. Его пришлось бы выстраивать заново по прихоти изворотливого догматика, для которого реальность — ничто, существенны только бесплодные «концепции». И. Гончаров, проделавший кругосветное путешествие на «Палладе», написал о *горстке* русских, совершивших подвиг на Камчатке, а мне вменялось в обязанность походя изобразить истекающий кровью Севастополь, слухи о котором достигали Камчатки только год спустя!

Теряли цену правдивости, достоверности отысканного, исследованного, писать, оказывается, следовало не так и не о том и героями избрать не тех, кого выбрал я, — в центре повествования поставить не героев обороны Камчатки, а Невельского, превосходнейшего человека, выдающегося географа и первооткрывателя, однако не причастного к военным событиям на полуострове. Спустя время потребует поставить Невельского в центр повествования и Леонид Соболев — самый яростный и самый опрометчивый гонитель романа.

Я не принял советов Лесючевского. Я ответил большой запиской на имя директора Чагина, доказав ссылками на факты, исследовательские работы, свидетельства современников несостоятельность претензий. Но командовал издательством не Чагин, а неусыпный, неугомонный, подмигивающий, подергивающийся, как от чесотки, трусливый, всегда опасавшийся разоблачений черных дел 1937 года Лесючевский. Его искусство лавирования и двоедушия было доведено до совершенства. Он подолгу не принимал меня, заставлял день-деньской просиживать в приемной, а приняв, чуть ли не у меня же искал защиты от «демагогов», осаждающих его требованиями не издавать мой роман. Неизменно припугивал меня, что вот-вот из Риги, от Николая Задорнова, придут письма Завойко к его тестю Врангелю (подумать только: к Врангелю!), изобличающие Завойко как крепостника и мракобеса. Он только что в обморок не падал от страхов перед таким разоблачением, и мне приходилось читать ему по памяти действительные письма Завойко к брату на Украину, письма, составившие два книжных тома 1848 года издания, в которых Василий Степанович Завойко с гневом и презрением говорит о рабстве

на севере Америки, о подлости работорговли, о несчастных судах, битком набитых африканцами.

Лесючевский поднимался из-за стола, провожал меня к двери, дружески прихватывал за руки и, клоня к плечу тяжелую, многогрешную голову, вкрадчиво просил меня еще и еще раз внимательно просмотреть рукопись и поправить ее так, чтобы советский читатель знал, что хотя многие мои офицеры действительно были патриоты, но их патриотизм был не «народный» и не «демократический», а какой-то еще другой, особенный... «Поищите, поищите, Александр Михайлович, — просил он меня. — На это времени не жалейте. Демократический, народный патриотизм оставьте нам, советским людям, а там было что-то другое, никак не сформулирую, но что-то другое...»

Я мысленно перебирал главу за главой и не находил какого-то другого, неполноценного, не возвышающегося до нас, советских людей, патриотизма. А ведь стоило появиться на подмостках Александру Максутову, с его аристократизмом и высокомерием, и ученый перст Веры Смирновой пригвождал меня: Марлинский!

Выхода из тупика не было.

10 января 1951 года секретариат Союза писателей заслушал вопрос «О книге Борщаговского „Русский флаг“» и постановил: «принять к сведению сообщение издательства „Советский писатель“ т.(Чагина) о том, что редсовет, согласно поручению секретариата, рассмотрел книгу Борщаговского „Русский флаг“ и согласиться с решением издательства „Советский писатель“ о включении ее в план редакционной работы 1951 года».

К 30 апреля 1951 года роман был отредактирован А. Семеновым, перепечатан и подписан в набор. Книгу добротнo оформил известный график Сергей Михайлович Пожарский, рукопись ушла от меня.

Велико мое смущение перед читателями: с той поры прошло почти четыре десятилетия. Мой первый роман — книга начинающего, писанная «взахлеб», с вынужденной поспешностью, с яростным нетерпением. То, как прочли ее Тарле и Исаков, Симонов и Твардовский и многие другие, укрепило во мне веру в полезность книги. Всяческую ее «хромоту» я понимал и видел сам, но это уже было живое, мыслящее существо — не красавец, не богатырь, не мудрец, а славный и честный, прихрамывающий человек. Не убивать же его за хромоту!

А «заговор космополитов» не уходил в легенду, пусть в лживую, черную, но легенду. Неутомимый борец против «безродных космополитов» В. Пахомов, уже со страниц не ведомственной «Красной звезды», а в «Культуре и жизни», рассказывал советскому читателю о том, как возродилась деятельная жизнь ЦТКА после «исторических постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства» и изгнания вредоносных завлитов Бояджиева и Борщаговского. Жизнь во лжи продолжалась, ложь — ох, как не коротки ее ноги! — размашисто

шагала по стране, продолжая коверкать судьбы. И когда из Ленинграда пришли пакеты с версткой романа, с возжеланным запахом типографии, я убедился, как непрочны позиции правды.

Но лето 1951 года, от середины мая и по сентябрь — пора поистине счастливая, ничем не омраченная: книга в наборе, со мной подписан договор, чего еще желать от жизни!

38

По улице Герцена Берия проезжал из своего постылого особняка с постылой семьей у Садового кольца и возвращался восвояси. По ней — в подъездах и подворотнях — похаживали «топтуны». «Наших», сменных, то скучавших на открытом каменном крылечке, то хоронившихся в полумраке за дверью, жильцы дома знали хорошо, заговаривали с ними, впрочем, не знакомясь и не спрашивая имени у них. Как-то они проглядели день нашего появления в доме, к нам привыкли, посчитав законными жильцами, и мы все реже стали пользоваться черным ходом с Кисловского переулка. «Топтуны» видели молодую женщину с ребенком, меня, прыгающего через ступеньку, что-то еще и насвистывающего, и не приходило в голову, что мы — нелегальные. Не просто беспрописочные, а по особому режиму этих улиц^[45] — нелегальные. Наученные улицей Кирова, мы за полночь бодрствовали, не решаясь ложиться, укладывали Алену, а сами засиживались в огромной комнате — бывшей *зале* — у хозяев, славных полуночников Левы и Лены Костиных. Лева пел с гитарой в руках, слушать его никогда не надоедало. Нас хранила доброта и других жильцов, но тревога не уходила. Неурочный звонок в дверь будил страх, мы старались держаться у черного хода, чтобы при нужде выскользнуть во двор. Квартирное подполье изнуряло. Надо было добыть прописку.

Временную удалось получить на Плющихе. Помогла добрая женщина, портниха по профессии, исполнявшая обязанности паспортистки в домоуправлении. Прописали нас за взятку в квартиру, где мы и не побывали. Больше всего нашу совестливую благодетельницу пугало, не подумаю ли я, что деньги присваивает она. Я вынужден был пойти с ней к начальнику паспортного стола, чтобы убедиться, как она сунет деньги под его пресс-папье. Волновалась она, я проваливался сквозь землю, начальник и глазом не повел, будто не заметил быстрого и откровенного движения ее рук.

«Он не заметил денег!» — забеспокоился я, когда мы вышли в коридор. Ей пришлось вернуться в кабинет с каким-то пустяковым вопросом, и она вышла успокоенная: деньги со стола уже исчезли...

При первом же разговоре о романе Симонов посоветовал дать экземпляр Александру Кривицкому: «У него точный редакторский глаз». Я заколебался; Александр Юрьевич непременно уклонится, он не верит в мою затею и сказал мне откровенно при встрече на Пушкинской площади, что ник то не захочет моей книги, какой бы она ни была. К этому времени «Новый мир» редактировал Твардовский, а Симонов «Литературную газету», с ним в газету перешел и Кривицкий.

— Я его попрошу, он прочтет быстро, — возразил Константин Михайлович. — Неважно, как и что он думал прежде: роман написан, а он редактор божьей милостью.

Так рукопись попала к Кривицкому.

Я звонил ему в назначенные дни. Все напрасно, все ему недосуг, всякий раз находились веские причины.

Миновали июль, август, сентябрь... Экземпляр, читанный Тарле, отослали Суркову. Тот, что прочитал Симонов, с его пометками, был у меня в работе, весь исчеркан. И когда срочно понадобилась рукопись для Твардовского, Симонов вспомнил о давнем обещании Кривицкого прочитать рукопись быстро. Я объяснил, что вот уже три месяца не могу достучаться до него.

— Заберите у него роман, — мрачно сказал Симонов. — Если можно, сегодня заберите. Он — плохой человек.

Это было второе на моей памяти, после ссоры из-за очерка Ярослава Галана, нравственное осуждение Кривицкого Симоновым. Однако он не рвал с ним. Держали и старые, военной поры, святы для Симонова связи, когда он, накоротке заявляясь с фронта, встречал в редакции «Красной звезды» умного, нестандартного журналиста; держали и деловые качества Кривицкого, правда, при опустошенной душе.

Я потребовал рукопись, и мы встретились на Пушкинской площади, на том же самом месте, где в мае 1949 года он вылил на меня ушат ледяной воды.

Помнил ли он об этом?

Скорее всего, помнил. Ум у него был острый, памятливым, и если спустя годы он заговорил о себе как о лучшем друге Платонова, то не по недостатку памяти, — смерть Симонова открыла простор чванливым легендам, при жизни Константина Михайловича он не решился бы опубликовать и десятой доли небылиц.

Возвращая рукопись, посетовал — с сожалением! — что не успел дочитать, но прочел достаточно много; строго говоря, в общем и целом, по совести, это — серьезно, роман, скажем, в том же ряду, ну, так сказать, того же примерно уровня, что и... «Севастопольская страда».

Какая бессмысленная ложь! Я не мог ни благодарить, ни серьезно отнестись к этому. «Севастопольская страда», что ни говори, книга, писанная мастером, талантливым и многоопытным художником. Я это достаточно хорошо понимал, чтобы не поверить в то, чему и сам Кривицкий не верил.

Я перелистал рукопись, прежде чем отнести ее в Союз писателей для Твардовского. В ней не было ни единой пометки или вопросительного знака, хотя Симонов просил его именно о строгом редакторском чтении.

Почему же он не говорил со мной с той прямоотой и циничной беспощадностью, которая даже красила его, сообщала его облику некую завершенность?

Я открыл это для себя спустя недолгое время, когда Симонов внезапно и с оттенком брезгливости попросил меня вернуть Кривицкому страницу моего декабрьского, 1948 года, письма Д. Т. Шепилову, *страницу, написанную рукой Александра Юрьевича*. Прошло два года, а он, оказывается, все еще не обрел покоя, помнил об этом листке, исписанном им, мне в поучение, как надо писать в ЦК. Именно на этой странице были самые резкие в адрес Фадеева слова, и Кривицкий в страхе ждал, что я приползу куда-нибудь покаянно, скажу, что письмо писал не я, а он, Кривицкий, но, к сожалению, у меня сохранилась только первая из написанных им страниц, вот она...

Меня потрясла просьба вернуть страницу, которая после перепечатки тут же была скомкана и выброшена в корзину. Потряс образ мыслей человека, допускающего в другом, в коллеге, такое вот соединение малодушия, коварства и подлости. «Страница сразу полетела в корзину; я думать забыл о ней!» — объяснил я Симонову. «Так я и думал, — сказал он. — И Саше говорил, а он никак не успокоится».

Мы — молодые москвичи, с января 1947 года, но мысль о возвращении в Киев не возникала и промельком. Вот где со мною непременно случилось бы самое худшее, то, чего ждал и что предрекал нам неумолимый трибун Всеволод Вишневский, выступая на Лубянке. А Москва приютила, повернулась к нам десятками добрых лиц, сочувственных глаз.

Но велико было и напряжение московской жизни, оно не отпускало до благословенного лета 1951 года, когда рукопись ушла в набор.

Мы в Песках, но на отшибе, за околлицей дачного поселка художников, в избе-землянке бабки Арины, у дороги, спускавшейся к парому через Москву-реку. Изба возвышается над землей метра на полтора и на столько же уходит в грунт; в войну солдаты сработали ее бабке за два мешка картошки. Изба в нашем распоряжении, Арина на ночь куда-то исчезает и появляется сладкоречивая, блаженная, вместе с птицами, с ее любимцами воробьями, — она их ласково поминает десятки раз в день, называет «ирибейчиками». У Арины клочок земли, никем не меренный, не положенный на землеустроительные карты, — сколько позволили ее немощи, столько и вскопала ранней весной под огород. До реки близко, всякий утренний туман непременно тронет

наше счастливое жилье, и всё с нами: птицы, речные суденышки, байдарки, гудки пароходов, а через реку — диковинная церковка князей Черкасских, по преданию выстроенная на крупный карточный выигрыш и потому украшенная немыслимой для господнего дома символикой — четырьмя карточными мастями, да так крупно, рельефно, в камне, в керамике и в цвете. У церкви горестный княжеский погост, большинство могил детских и отроческих. Видно, черкесский, хотя и обрусевший, род так и не привык к чужой земле, и туберкулез брал свое тяжкое мыто. За церковью, подалее от воды, господский парк за глухим забором и дворец, построенный по проекту великого Казакова. В 1951 году дворец еще принадлежал известному поэту и переводчику Сергею Васильевичу Шервинскому, он унаследовал эту громадину от отца, знаменитого хирурга, за которым дом был закреплен распоряжением Ленина.

Летом 1951 года у Шервинского гостила Анна Ахматова. В Песках тогда еще не было высокой пассажирской платформы, и, провожая гостью, Сергей Васильевич переправился через реку со стулом в руках. Встав на стул, грузная уже в ту пору, грустная Анна Андреевна поднялась на высокую ступеньку вагона.

В Песках у художников, на снятых просторных дачах, поселились наши друзья: Раппопорты, Фрида Вигдорова с дочерьми и ее муж Александр Раскин, — друзья и надоумили нас летовать в Песках. Мы были — одна семья, не завидовали чужим верандам и бревенчатым стенам, чаще они, попав из леса в наше приволье, завидовали простору и близкой реке. В Песках стояла и стоит по сей день — добра ей, ныне, присно и во веки веков! — дача архитектора Фисенко, моей благодетельницы Лидии Витольдовны и их сына Алеши. Поселок в густом смешанном лесу, он тянется на многие версты через Конев Бор и дальше в сторону Коломны, до распахнутых лугов, где Москва-река готовится пасть в полноводную Оку.

Щедрое лето всем поделилось с нами, даже шаровая молния влетела в дверь «палаццо» бабы Арины, повертелась над столом, разглядывая странное жилище и всех нас, и бесшумно улетела в окно.

Мать Вали привезла из Киева Светлану и пожила с нами. Еще не кончились *трудовые* деньги, аванс за книгу. В городе на Неве наборщики и корректоры трудились над страницами «Русского флага», и я гнал от себя мысль о том, сумеем ли мы поселиться в Москве, или придется искать пристанище в подмосковном дачном кольце. Мы привыкли к цыганской жизни. В феврале 1951 года пришлось срочно освобождать комнату в доме по Медведковской, № 24. Нам ее сдала семейная чета, пребывавшая на службе в Австрии, но смертельно заболел муж, его привезли домой, а нас, как и в феврале 1950 года, в канун мартовских выборов, спасла улица Герцена, дом Костиных. Что-то мне подсказывало, что осенью 1951 года улица Герцена уже не сможет нам помочь, — больше нельзя было расставаться со Светланой,

поселяться же вчетвером на «режимной», оформлять Свету в школу, не имея прописки, было бы слишком...

Но не надо печалиться! Вот-вот придет верстка из Ленинграда, мы ее мигом вычитаем, вернем в типографию и будем ждать книгу, а с книгой, выпущенной на волю, к читателю, уже ничего не страшно.

Так думал я в августе 1951 года, ожидая присылки из Ленинграда верстки романа. Скоро верстка пришла, но зачем-то было прислано и несколько типографских «блоков» — т. е. сброшюрованных, в бумажной обложке экземпляров книги. Лесючевский уже знал, что набор он велит рассыпать, а будущим внутрииздательским рецензентам удобнее посылать книжный «блок».

В начале февраля 1952 года, через полгода после лесковской благодати и летних иллюзий, я вынужден был написать редактору, великому утешителю Алексею Михайловичу Семенову:

«Дорогой Алексей Михайлович! Вчера в пятый раз *не* состоялась наша встреча с тов. Лесючевским. Последовало много извинений, но стоят-то они недорого.

Он „твердо“ обещал встретиться в следующие вторник — среду, и встретиться вчетвером: он, Вы, Кузьма Яковлевич^[46] и я, т. к. я в упор поставил перед ним вопрос о том, собирается ли он издавать книгу.

Мне его тактика ясна: тяни-тяни, уходи от точных ответов, от конкретной работы, от фиксированных замечаний, авось редсовет или что-либо другое вывезет. Я давно понял, что для моей книги — в сущности ясной и чистой — самым тяжким врагом окажется не тот, кто скажет „нет!“, а тот, кто изловчится ни „да“ ни „нет“ не сказать. Похороны ведь бывают и по третьему разряду, болезненно-длительными, а смерти — мучительными.

Против „тактики“ Вашего главреда у меня нет защиты. А ведь нужно жить. Жить негде и скоро будет не на что. Нужно браться за новую работу, иначе впереди — катастрофа. А как возьмешься, если главное-то повисло на подтяжках, а вместе с ним висишь и ты сам, выслушивая неискренние извинения. Я неуклонно подвигаюсь к *безвыходности более страшной*, чем в 1949 г., хотя за эти годы сделал все, чтобы люди посмотрели на меня иначе.

Я понимаю всю Вашу служебную и, быть может, личную связанность. Но прошу Вас об одном: поскольку меня может спасти только ясность (*любая*), сделать все, чтобы свидание 12-13 февраля действительно состоялось, и состоялось как деловое, рабочее. Поскольку он сам предложил собраться нам вчетвером, все как будто становится проще, но очень боюсь, что и на этот раз он уклонится от встречи или извинится, что *не успел* известить Вас.

Прошу Вас также прочесть копию письма, посланного мною Кузьме Яковлевичу, чтобы яснее была и моя позиция: я готов улучшить книгу, но только улучшать, а не губить».

Бумаги Семенову отвезла Валя. Редактор вернул мою записку, написав на обороте, что все будет «куда как проще, чем то было в упоминавшемся Вами 1949 году», что с Лесючевским он уже говорил и «впечатление, скажу очень коротко, у меня осталось от разговора такое, что вопрос не имеет какой-либо остроты, все значительно, видимо, будет проще. Думаю, что не ошибаюсь».

Честный человек, он и в других предполагал по крайней мере порядочность, не думал, что Николай Васильевич Лесючевский без труда снова защитится магической формулой: «Политика дороже денег»!

Только спустя годы я задумался над тем, по чьей нужде, по какой иезуитской логике осуществляется перебазирование литературных парткадров из Ленинграда в Москву. Кому понадобились в столице столпы догматизма, фанатики начетничества — Кочетов, Дымшиц или Друзин? Почему бразды правления в «Советском писателе» перешли в руки Лесючевского, никакого не литератора, если не брать в расчет его рецензии — доносы на писателей Ленинграда в 1937 году, — человека, в сущности, бежавшего с берегов Невы?

39

Догматизм, поощряемый безнаказанностью, за долгие годы выработал изощренную репрессивную систему. В феврале 1949 года Ф. Головенченко достаточно было позвонить в издательство «Искусство», чтобы моя монография «Путь театра» всем тиражом легла под машинные ножи. В феврале 1952 года, чтобы уничтожить мою рукопись, понадобился иной исполнитель, с набором лицемерных слов, ужимок, с убийственной уклончивостью и подозрительным румянцем малодушия.

Можно было в немногих абзацах досказать горькую историю моей рукописи, но тогда из этих записок исчезнет одна из самых колоритных фигур, литератор, которого так точно и с такой убийственной силой нарисовал Владимир Тендряков в рассказе «На блаженном острове коммунизма»^[47].

Человек этот — Леонид Соболев, порой предстающий в ореоле полусвятости, в ранге полуклассика.

В полную силу он развернется позднее, в середине декабря 1958 года на учредительном съезде Союза писателей РСФСР. В далеком 1952, он еще «на подхвате», только еще-готов к услугам; власть имущим, в том числе и Лесючевскому, готов доказывать с высоких трибун и в кулуарах, что вот он, *беспартийный* Соболев, благонамереннее любого писателя-коммуниста, ближе, чем они, партии, ее ЦК и, разумеется, его Генеральному секретарю, кто бы он ни был. Его клятвы в верности сделались привычны, зал ждал их на каждом совещании и в любом правительственном застолье.

«Беспартийность» оставалась его основным капиталом и излюбленным, беспроектным амплуа на балаганной сцене жизни. И хотя ему казалось, что участвует он в величественной пьесе, играл он лишь трагикомический фарс. Литераторов коммунистов — легион, среди них свои командармы и генералы, а среди *беспартийных* он — первый, ибо всем остальным, от Ахматовой и Пастернака до Леонова, Вс. Иванова или Паустовского, не могло и в голову прийти выставить на крикливый аукцион свою беспартийность.

Соболев начал романом «Капитальный ремонт», ироническим и злым, не оконченным в 30-е годы, но имевшим заметную судьбу. Все попытки дописать роман спустя годы бесплодия серьезного успеха не имели, и две поздние книги — сборник «Морская душа» и повесть «Зеленый луч» — не поднялись выше расхожей беллетристики. Они не выстраданы, в них не опыт собственной жизни, не мастерство художника-психолога, а романтизированные версии чужих, услышанных от третьих лиц историй военной поры. Не эти книги поддерживали общественный вес Соболева, напротив, его активная «светская» жизнь выносила на суетную поверхность названия этих книг.

Осенью 1951 года перед Лесючевским лежала верстка романа, подписанная редактором и заведующим редакцией прозы. Оставалось и ему начертать: «на сверку» или «в печать» (верстка была чистая, можно бы обойтись и без сверки) и отослать в Ленинград. Но Лесючевский твердо знал, что лучше не издавать книгу, нельзя создавать *прецедент*. Общество очищается от «безродных», ругань в печати поутихла, но никто не объявлял амнистии, никто вслух не сказал, что мы прощены, а выход романа ставит под сомнение справедливость святой борьбы с космополитизмом. Еще не амнистированы Зощенко и Ахматова, разгромленные до «космополитов»; Александр Хазин перебивается в Ленинграде с хлеба на воду; высунувшемуся было Гурвичу дали по рукам; молчат ошельмованные в статье «Правды» критики, — почему должен быть прощен один из них? Фадеев сбросил ему, Лесючевскому, на руки рукопись Борщаговского, но и он не тревожится, не торопит «Советский писатель». Не будем и мы торопиться: политика дороже денег. Но когда пропущена удобная минута и поздно душить жертву в ночной, темной подворотне, можно приподнять ее высоко, на всеобщее обозрение, придать предмету государственное значение.

Не знаю, кто приказал Лесючевскому не спешить с изданием, но знаю непреложно, что сам он не мог расхрабриться и приказать типографии рассыпать набор. Около семисот наборных страниц недолго пролежали в металле на типографских стеллажах в Ленинграде, Лесючевский запретил матрицирование книги,

рассчитывая на многолетнюю изнуряющую перепеределку. Все начиналось с «нуля». Вторичные рецензии В. Смирновой, Б. Лавренева. Новые рецензенты: Г. Шторм, М. Марич, А. Коптяева, — и все пишут не то, совсем не то, что нужно Лесючевскому. Уже и Смирнова приходит к заключению, что «в настоящем виде книга вполне может быть издана»; и Георгий Шторм не без иронии замечает, что «можно сколько угодно улучшать хорошую книгу, но нельзя до бесконечности задерживать ее выход в свет»; и Антонина Коптяева, в которой Лесючевский искал единомышленника, разочаровала его, написав: «Закрываешь роман с чувством признательности к автору за его труд. Роман надо печатать...»; а Мария Марич, поддерживая книгу, напомнила издательству замечательные слова декабриста Никиты Муравьева: «Муза истории дремлет у нас в России. А между тем ничто так не возбуждает духа патриотизма, как именно эта важнейшая часть словесности...» Все не то, не то, нужны другие рецензии. Благодушные интеллигенты никак не хотят понять, в какое героическое время они живут, не слышат подспудных казематных его шорохов и стонов, не чувствуют его яростного подтекста.

Шел год 1952-й, год новых заговоров, едва не приведших в начале 1953 года к процессу над «убийцами в белых халатах», а либеральные рецензенты все перебирают и перебирают в изнеженных руках эстетические «четки» — образ, характер, пейзаж, стиль, слог...

Лесючевский, отстранив от этих забот Горбунова и даже нового директора «Советского писателя» Корнева, искал и находил нужных людей и заказывал им рецензии, а на 21 марта 1952 года назначено было обсуждение книги на совместном заседании редсовета «Советского писателя» и секции прозы Союза писателей СССР. Вот она — государственная озабоченность!.. Открытый разговор! Поднятое забрало, честное столкновение мнений: это ли не забота о книге, наконец, о судьбе ее автора? Сам Лесючевский во вступительном слове не станет вдаваться в подробности, он мастер концепций, виртуоз уклончивости, — он только выразит законное беспокойство: издательством получена рецензия кандидата исторических наук, капитана I ранга Н. Мильграма, она настораживает. (Каких только грехов не нашел в рукописи суетный до одышливости Мильграм: «апологетику „Свода законов Российской империи“», идеализацию «камчатских тойонов»; намеренное преуменьшение «губительных последствий того хищничества, которое творилось иностранными промышленниками не только на суше, но и на море»; «отсутствие отображения тяжелого, мужественного матросского труда, сочетавшегося с высокой боевой готовностью», «клеветы» на капитана Изыльметьева. (Господи, на любимого моего героя!) Самое трогательное из заботливых замечаний Мильграма — упрек, что мною «не показан тот невысокий уровень, на котором находилось военное и военно-морское искусство Англии и Франции»!)

Можно бы посмеяться, но было не до смеха: наконец-то в руках Лесючевского отрицательная рецензия *специалиста*, кандидата наук, капитана I ранга! О ней я услышал только на заседании 21 марта, но не Мильграм был главным козырем Лесючевского. На заседании ждали слова три оратора. Их рецензии, «горячие», подписанные 20-м и 21-м марта, были сданы издательству уже после обсуждения. Эти три оратора: Л. Соболев, Л. Кудреватых, П. Скосырев. Был и четвертый — В. Перцов, он из предосторожности рецензии не писал, но, может быть, и не читал романа и потому говорил слишком общо, повторяя чужие упреки из прошлогодних рецензий.

Не подозревая беды, я пришел на обсуждение с Валею. Люди собирались на улице Воровского, в вестибюле конференц-зала ССП, что-то увело меня в сторону, а возвратившись к Вале, я увидел испуганные глаза, шею в красных пятнах волнения. Не подозревая, кто она, рядом остановились Соболев и Лесючевский. Соболев, взглянув на часы, сказал, что сходит в буфет, пропустит еще рюмку за удачу, на что Лесючевский, затревожась, сказал:

— Не перебори: ты у меня сегодня главный оратор. Без тебя его не свалить...

Умеющая угадать и молчащего человека, Валя, при такой откровенности, почувствовала надвигающуюся беду, и я упросил ее оставить меня одного, дать мне внутреннюю *свободу*. В портфеле у меня компактная картотека, домашние «шифры» к семи толстенным общим тетрадам с пронумерованными страницами, — я был готов к спору. Я слишком мало знал, чтобы полагаться на память.

Обсуждение повел Василий Ажаев, романа не читавший; слово взяла Антонина Коптяева. Я впервые увидел ее, почему-то не ждал добра от жены Панферова — как часто мы бываем предвзяты и несправедливы! — и сжался в предчувствии первого удара. А Коптяева хвалила книгу щедро и простодушно, хвалила как увлеченный *читатель*, — она куда-то спешила, была в вечернем платье, говорила с неподдельной заинтересованностью, и я было пожалел, что отпустил Валю.

Лесючевский сразу подал знак Соболеву; такое начало надо было нейтрализовать.

Едва за Коптяевой закрылась дверь, Соболев начал с соболезнований ей. Незнание истории делает человека слепым, сказал он, а с слепого какой спрос? Если бы и он не знал истории, может, его и подкупила бы книга Борщаговского, но обремененному знаниями этого романа не принять... И, посочувствовав Антонине Коптяевой, он повел без малого часовую речь — прочел вслух свою, еще и с комментариями, 20-страничную рецензию (она была сдана издательству — № 2941 — только 24 марта), хотя в развернувшейся затем полемике утверждал, что его выступление — импровизация, а потому возможны ошибки, неточности и оговорки...

Пока Леонид Соболев громил роман, метро и потом автобус увозили Валю на окраину Москвы, за Ростокинский трамвайный круг, в городок Моссовета, где мы нашли приют и убежище с осени 1951 года до мая 1953-го. Двухэтажные дома барачного типа, поставленные временно для строителей ВДНХ, держались уже два десятилетия в сырой низинке, рядом с рельсами Ярославской железной дороги. Это была не просто окраина, а последний, с самого края стоящий дом столицы, за ним — заболоченный пустырек и шоссе, на котором скапливались, простаивая часами, многие сотни машин, — путепровод над железнодорожными колеями тогда еще не был построен.

Судьба вновь непредвиденно пришла на помощь своим баловням.

Спас нас человек, которому по всей прошлой жизни мы не были близки, и ничем он не был нам обязан, и ничем не связан, кроме своего благородного сердца, возмущенного тем, что творили с нами, и полного решимости помочь не сочувственными словами — и они тогда, конечно, были в высокой цене, — а решительным и, может быть, небезопасным для него поступком, на который не знаю кто еще мог бы пойти. Сибирский писатель Борис Александрович Костюковский увез в Иркутск жену, сына и дочь, проживавших какое-то время в небольшой квартирке на втором этаже этого окраинного дома, чтобы поселить там нас. То ли им опостылела жизнь врозь — Шура с детьми томила на московских задворках, Борис жил в Иркутске и в Чите, сделавшись скоро руководителем забайкальской писательской организации; то ли мысль о возвращении семьи в Сибирь возникла единственно из желания помочь мне, — не знаю. Но душевная широта и щедрость Бориса таковы, что он мог бы поступить так и к своей невыгоде; растрачивание всех своих сил и чистого, я бы сказал, лирического дарования на устройство множества чужих дел, чужих рукописей всегда мешало ему в полной мере реализовать свой талант — неизменной оставалась его готовность броситься на защиту другого.

В диковинном мы поселились доме, забытом богом, людьми и советской властью! Скоро я обнаружил, что во всем доме только в двух из 16 квартир живут люди, уходящие на работу, на службу, к регулярному исполнению обязанностей. Впервые в жизни оказавшись неработающим, не получающим зарплаты, я чувствовал себя прескверно и старался пореже выходить из дому. Кто я? Писателем я не был и не мог назваться этим именем. Литератор? Критик? О таких профессиях наши соседи не слыхивали. Зачем же я все дома и дома, будто скрываюсь от кого-то на задворках Москвы?

Жители этого барачного дома пребывали в постоянной деятельности; почти все защищены от закона справками о военной или трудовой инвалидности, о «вялой шизофрении», о принадлежности к добровольным обществам, о надомном ремесле, которое, впрочем, не кормило, — тем энергичнее шла жизнь торговая, перепродажа всего на свете, от привезенных кем-то в мешках семечек до теплых

грубошерстных платков, скупленных в Москве для деревенских жителей, до глубоких остроносых калош, за которыми приезжали из Средней Азии.

В городке Моссовета мы прожили больше полутора лет. Это было самое трудное время; «охота за ведьмами» набирала силу. Лидия Тимашук, эта Вера Чибиряк 1952 года, чью грудь украсил орден Ленина, подталкивала к эшафоту целое сословие неугодных ей врачей-евреев.

Не помню случая, чтобы мы при девочках заводили разговор на эти темы. Их просвещал двор, что-то втолковывал им, что-то разузнавал у них. Мы были потрясены, услышав однажды, как четырехлетняя Аленка уверяла соседских детей, что «у нас дома евреи только мама и Света, а мы с папой русские и за мир...». Какой инстинкт подсказал фантастическую самозащиту, совсем не детскую уловку: назвать евреями маму и сестру, двух чистокровных славянок? Быть может, в ее генах так отпечатался страшный и скорбный опыт Вали времен оккупации Киева? Тогда Валя с полуторагодовой Светланой на руках долго шла по Львовской улице с колонной евреев, уговаривая соседку отдать ей на время, пока та обживется на новом месте, маленького сына, чтобы не рисковать мальчиком в пути. Валю прогнал немецкий солдат за 100–150 метров от места, откуда уже не было возврата ни для кого. Кто мог предположить, что людей с вещами, с детьми и немощными стариками ведут не к железнодорожной станции, как было обещано, а к гигантскому смертному рву в Бабьем Яре?!

Здесь, в городке Моссовета, мы оплакали Сталина, разделив со страной ее слепоту, а значит, и вину; здесь мы узнали об аресте Альтмана. Прошел слух и об аресте Гурвича, и страшно было позвонить на Красную Пресню — не ждут ли у его телефона звонков от «сообщников»?

Здесь я получил телеграмму о смерти моей сестры Эси, отсюда уехал в Киев хоронить ее.

Но прежде нужно было еще прожить долгий год, год, который и баловню судьбы прожить нелегко.

40

Постараюсь в этой главе повести разговор о подготовленном Лесючевским судилище 21 марта 1951 года так, чтобы не моя книга оказалась на авансцене, а собственно история, подлинные события и исторические личности. Ибо спор шел об истории, а мои противники готовы были предать ее, отстаивать извращенное, выморочное ее толкование, пойти на обман и фальсификацию, только бы не позволить «безродному» поднять голову, опубликовать роман, так откровенно и, увы, в лоб названный — «Русский флаг».

С первых же слов Соболева мне открылось, что его полужнание хуже откровенного незнания. Апломб, с которым он изрекал свои претензии и приводимые им цитаты, обнажили нищету его исторических познаний.

Что говорить о какой-то ничтожной книге «безродного» — оказалось, ему не по душе и Камчатка, а Петропавловск-на-Камчатке — особенно. Соболев объявил почтенному собранию, что этот порт «был детищем Муравьева», который, дескать, «порешил, как Петр Великий: „Здесь будет город заложен!“», а порт этот, на его взгляд, «был менее удобен, чем даже Аян, никогда не имел и не будет иметь (особенно с появлением авиации!) никакого значения...»

Когда на административном горизонте Дальнего Востока появился Николай Николаевич Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, дальновидный сановник, окончивший жизнь в эмиграции, Петропавловский порт, имя которому дала экспедиция Беринга существовал уже более века. Авачинский залив оставался лучшей в мире огромной, закрытой естественной гаванью. Споры и распри середины и второй половины XIX века давно ушли в прошлое, труды ученых вынесли справедливую оценку событиям и людям; имени Аян не найти даже и в Географическом энциклопедическом словаре издания 1986 года; попытка захвата Камчатки и Петропавловска японцами в 1904–1905 гг. и весь ход истории подтвердили несостоятельность тех, кто находил Камчатку бросовой, ненужной России землей. Не смешно ли, не безнадежно ли возрождать ветхозаветные споры об Аяне, когда и время, и наука давно все расставили по местам? Оказывается, не смешно! Годится и такая жалкая, невежественная импровизация, если с высоты своего литературного и военно-морского *величия* катишь глыбу лжи на бесправного человека.

Поскольку Соболев убежден, что Камчатку можно было без сожаления отдать английскому адмиралу Прайсу, как презренное «детище Муравьева», то о каком *героизме* защитников Камчатки может идти речь? О капитане «Авроры» Изыльметьеве, этом капитане Тушине русского парусного флота, могила которого и ныне в Таллинне окружена вниманием моряков Балтийского флота, на взгляд Соболева, и говорить не стоило; губернатор Камчатки Завойко — всего лишь «интриган, карьерист и выжига», а матрос Семен Удалой (Удалов), как показалось Соболеву, — лубочная выдумка, хотя поразительный его подвиг засвидетельствован не только русскими матросами, вернувшимися из плена, но и французскими и английскими офицерами-мемуаристами, участниками экспедиции на Камчатку.

Глаза, налитые нелюбовью и злобой, на мигом покрасневшем от азарта лице не хотели видеть самых скромных, пусть микроскопических достоинств книги, но, так как она была точной хроникой подлинных событий, Соболеву пришлось пренебречь ими, реальной историей, освистать ее и предложить кустарную,

малограмотную версию сюжета. В качестве главного героя романа об обороне Петропавловска мне предлагался Невельской, выдающийся мореплаватель, однако не бывший тогда на Камчатке, узнавший о событиях в Авачинском заливе почти полгода спустя!

Можно ли предлагать что-либо более вздорное и непрофессиональное, даже при репутации старого морского волка, при белом крахмальном воротничке, при галстук-бабочке и кокетливо выглядывающем из кармана на груди платочке?!

Дикое, лицемерное предлагалось мне, а точнее — полное разрушение.

Ио как быть с реальными камчатскими событиями?

Леонид Соболев не затруднился и тут: все, что он мог сказать, было вычитано из статьи адмирала Арбузова, оклеветавшей защитников Петропавловска. Стоит ли трудиться, заниматься разысканиями, сопоставлением мемуаров, если ему по руке этот ком грязи.

Амбициозность делает человека неосторожным. Ощущение своего изначального генетического превосходства в споре с «безродным», доходящее до комизма самомнение соблазняют и подталкивают к глупости. Так подлинные слова Нессельроде: «социальные грешки» — объявляются моей выдумкой из-за «глухоты» к слову; так осмеивается слово «янк» — единственное число от «янки», — столь употребительное и в разговорной речи и в печатных источниках XIX века; так с апломбом, но вопреки истине заявляется, что чин *«кондуктор»* введен на флоте *значительно* позже Крымской войны». Соболев грудью встал на защиту адмирала Арбузова, и могло ли быть иначе, если одному Арбузову он и обязан всеми сведениями о Петропавловской обороне. «Детали, приводимые автором, — утверждал Соболев, — указывают, что многое в этом Арбузове выдуманно (хотя бы странная и глупая беседа с попом Ионой — стр. 242 — о заклепанных орудиях, совершенно неправдоподобная...»). Увы, Соболев и Арбузова читал невнимательно, — ведь вот она, эта воистину «странная и глупая беседа» с Ионой, в изложении самого Арбузова: «Едва держась на ногах, пошел я в каюту и, встретив фрегатского священника иеромонаха отца Иону, сказал ему: „отец, может быть, скоро я умру, но завещаю вам, что наша обязанность расклепать орудия и поправить дело!“».

На лжи и на печатном доносе Арбузова строился донос Соболева на меня.

Я успокоился. Передо мной разрушитель книги, ее непримиримый враг. Сильный — по обстоятельствам — враг, быть может, он надолго отбросит книгу. Но дело уже не во мне, не в авторском самолюбии; есть история, полюбившиеся мне люди прошлого, факты и события, которые я должен во что бы то ни стало защитить. Трудно защищать собственную строку, свое письмо, но как прибавляется сил и твердости, когда говоришь о ком-то третьем, кто ушел из жизни и уже не может себя защитить.

По мере того как Соболев рассуждал, я раскладывал перед собой карточки, делал закладки в тетрадях, молча, не откликаясь и на игривые риторические фигуры, мастером которых считал себя Соболев, не отвечая на вопросы, прямо ко мне обращенные.

В глазах собравшихся книга рушилась. Ее уже как бы и не было, развенчанной автором «Капитального ремонта», главным «мореплавателем» советской литературы после смерти Новикова-Прибоя и громовержца Всеволода Вишневского. Есть, правда, Борис Лавренев, его слово о рукописи, но ему ли тягаться с непременно присутствующим и всезасадающим Соболевым! Отвергнуты события, реалии истории, осмеяны подробности, от корабельной оснастки до обезболивающих лекарств при хирургических операциях; всезнающий Соболев разоблачил безграмотного автора, попытку «безродного» извратить славную военно-морскую историю Дальнего Востока...

Ободренный Соболевым, на критических басах заговорил и Леонид Кудреватых: «Роман неприемлем из-за серьезных пороков, как идейного, так и художественного порядка»; читая его, «невольнo испытываешь ощущение неискренности автора»; «Александр Борщаговский, избалованный нашей советской общественностью и партийной печатью в антипатриотических и космополитических взглядах... боялся, что его могут обвинить в прежних ошибках... писал неискренно, поэтому-то приукрашивал историю, а приукрасив историю, исказил правду жизни».

Александр Твардовский утверждал, что ему «больше нравится собственно историческая и военная сторона романа», а Кудреватых, не утруждая себя ни единым доказательством, уверяет, что «автор совершенно не владеет мастерством описания батальных сцен. Все события... описаны удивительно бледно, скороговоркой...». По ходу размышлений Кудреватых уличил меня в том, что, вопреки целевой установке на подслащивание русской истории, нутро космополита нет-нет да и прорвется, обнаружит себя: ну что за странное, асимметричное лицо придал автор молодому русскому офицеру Пастухову!

Я видел, как растерялся Василий Ажаев. Фронтальная атака на роман оказалась для него неожиданностью. А уже нетерпеливо ерзал следующий оратор, Перцов, его вид не внушал благодушных надежд.

И Ажаев выскользнул из зала, нашел Алексея Суркова, читавшего роман, и привел его с собой на обсуждение.

Говорил Виктор Перцов. Что толкнуло его в камчатские пределы, трудно сказать. Я слушал его, все отчетливее понимая, что книги он не прочитал, хорошо если перелистал страницы «блока». Начал он резко, но появление Суркова как-то сшибло его с тона: он конечно же прочитал рецензию Суркова и побаивался его полемического дара. Смешавшись, Перцов сказал в заключение, что третья книга романа написана сильно, даже превосходно (верно, запомнилось по отзыву

Тарле!), и задача автора теперь в том, чтобы довести первую и вторую книги до уровня третьей.

В дискуссию вмешался Сурков, будто он только и ждал этой промашки Перцова. «Я читал роман, и читал давно, — сказал Сурков. — Так давно, что вполне можно было нам иметь готовую книгу; но и не так давно, чтобы забыть ее. Это честная, нужная книга, хотя по выходе она даст пищу и для критики, и нечего этого бояться. Все попытки, так сказать, „доведения книги до идеала усилиями общественности“ — вздор, лицемерие, если не злой умысел. Вы говорите — „дотянуть“ первые две части до уровня третьей. Но если эту книгу нужно „дотягивать“, тогда, товарищ Перцов, нужно бы переписать 60–70 процентов всей выходящей сегодня прозы. И не только прозы: неплохо бы „дотянуть“ вашего Маяковского! Не кажется ли вам, что вы зовете автора в ловушку: а что как он послушается вас и „дотянет“ первую или вторую части так, что спустя годы вы дружески посоветуете ему тянуть третью часть до первой или второй?! На эту игру может уйти жизнь, а она у всех одна...»

Выступил Горбунов, ввязался не в спор с Соболевым, а в неожиданную и резкую свару, утверждая, что оценка Соболевым книги продиктована его упрощенным, негативистским подходом к старому русскому флоту, что «так губительно сказалось уже и на романе „Капитальный ремонт“...».

— «Капитальный ремонт» не трожь! — закричал, багровея, Соболев.

— А почему — не трожь! У тебя на старом флоте не найти ни одного честного русского офицера, вот тебе и не по сердцу моряки «Авроры», герои обороны Камчатки. Книгу читали историки, читали бывшие моряки, все судят по-другому, одному тебе, после «Капитального ремонта», все не по нраву...

— «Капитальный ремонт» не трожь! — вновь потребовал Соболев, но не так громко, с трусоватой хрипотцой в голосе. — Я дело говорю.

Дошел и мой черед. Все для меня сошлось на Соболеве, не было задачи важнее, чем опровержение, пункт за пунктом, его речи, чем нравственная победа над ним. Я бы не сдержался, даже понимая, что сдержаться разумно, что ради книги нужно уклониться от спора, ублажить Соболева, поблагодарить за какие-то подсказки, — не могло же в часовой речи профессионала быть все околесицей. Мы не знакомы, но странно — уже и враги, закоренелые; даже обращаясь ко мне, он не смотрит на меня, на дух не переносит. Как случается, что кто-то, еще не видя тебя, не открыв твоей рукописи, злобно, до одышки не любит тебя и «вспахивает» рукопись с единственной целью — угробить, не допустить ее дыхания, — а ты изболевшейся кожей, ломотой в затылке, изменившимся сердцебиением ощущаешь безжалостную к тебе силу?

Я не стал возражать Перцову и Кудреватых. Видел перед собой одного Соболева, потного от усилий, от выпитого коньяка, то и дело промокавшего лоб белым джентльменским платочком, слышал его

голос, небрежно-снисходительный едва ли не сочувственный к неучу. Все надо было изменить в сидящем напротив меня самодовольном человеке позу победителя, гаерские подмигивания, актерские, пошлые взгляды, подаренные вдруг мне, — прости, мол, парень, жаль тебя, но истина прежде всего.

Я предупредил, что хочу ответить по всем пунктам. Мы можем разойтись с обсуждения с разным отношением к книге, это в порядке вещей, но относительно исторических фактов и личностей у собравшихся должна сложиться хотя бы первоначальная ясность. Кто-то из мудрецов заметил, что ничего нет хуже *активного невежества*, — сегодня мы были тому свидетелями, и я думаю, что откровенное признание Антонины Коптяевой в незнании многих исторических фактов честнее и благороднее той *иллюзии знания*, которую пытался внушить нам Леонид Сергеевич Соболев.

Соболеву кажется непозволительной вольностью навязывание Нессельроде «современных» оборотов речи, не мог он, дескать, сказать «социальные грешки». Я привел подлинный текст Нессельроде.

Соболев утверждает, что убийство шести негров-матросов на американском бриге «Анна» и издевательское оправдательное решение ньюпортского суда — дурная выдумка автора. Но вот страница 52-я «Морского сборника» № 3 за 1860 год, там вся эта история изложена самими американцами в подробностях. Соболев не верит, что английский пароход «Вираго» шел в разведку через Авачинский залив под американским флагом, мол, гордые британцы не опустили бы до этого! Увы, вот свидетельства очевидцев, воспоминания французов и самих англичан. Их у меня более десяти, но, может быть, хватит и трех. Соболев иронизирует над описанием цинги на «Авроре» при переходе от перуанских берегов на Камчатку, утверждает, что при таком количестве недужных некого было бы ставить к парусам. Но вот подлинные записки мичмана Фесуна, судовой журнал «Авроры», акт петропавловской врачебной комиссии, книга Андрея де Ливрона, «Морской сборник» № 12 за 1854 год и № 11 за 1874 год, — как быть с ними, неужели все документы врут и только Соболев знает правду?

Еще три-четыре факта, и Соболев подал голос — игриво, примирительно, даже жеманно, голос стареющей, утомленной жизнью кокотки.

— Стоит ли так обстоятельно, товарищ Борщаговский? Все подробности, частности, мелочи...

— Стоит, стоит, Леонид Сергеевич! Покончим с тем, что вы называете мелочами, перейдем и к главному.

Соболев утверждает, что неграмотно говорить и писать «янк», употреблять это слово в единственном числе. Это у него от забывчивости или незнания. Русский XIX век долго, до 70-х годов, и говорил и писал именно так — «янк». И это хорошо, свободно, отвечает нормам русского языка. Вот примеры.

Соболев негодует: мол, как смеет корабельный врач «Авроры» Вильчковский сетовать по поводу того, что приходится делать тяжелые ампутации без обезболивания; сомнительно, говорит Соболев, чтобы в 1854 году вообще существовал наркоз. Вот справка из медицинских энциклопедий: эфир применяется с 1846 года, хлороформ с 1847-го. «Пирогов, — прочел я выписку из медицинского тома, — применил эфирный наркоз на театре военных действий, в условиях военно-полевой хирургии при осаде аула Салты». Значит, в 1848 году, за шесть лет до Крымской войны, эфир применялся русскими на фронте.

Соболев уверяет, уже без всяких сомнений, что «чин „кондуктор“ введен на флоте значительно позже Крымской войны». Какое прискорбное для морского писателя невежество! Вот справка из «Военного энциклопедического лексикона», изданного в С.-Петербурге в 1855 году (том VII): «Кондуктор — унтер-офицерский чин в корпусе флотских штурманов, в корпусе корабельных инженеров и в корпусе инженеров морской строительной части».

Соболев считает, что в 1830 году гардемарин еще не было, что и они появились на флоте значительно позже. Но вот указ императора Александра I об учреждении в кадетском (морском) корпусе *дополнительной* (после обычного курса) гардемаринской роты. Забыл ли об этом Соболев или никогда не знал?

Соболев находит маловероятной предложенную автором романа мотивировку самоубийства адмирала Прайса. Но именно так объясняют причину самоубийства участники военной экспедиции на Камчатку и все современники событий. Вот отрывки из записок французского офицера, опубликованных в III томе «Живописной русской библиотеки» за 1858 год; из мемуаров Дю-Айли («Морской сборник», 1860, № 1, с. 6), из «Таймс»...

Я не оставляю без ответа ни одного пункта обвинений и почти физически ощущаю меняющуюся атмосферу. Из неловкости собравшиеся отводят от Соболева взгляды, еще недавно полные почтительного внимания.

В глазах Лесючевского недоумение: как же так, братец, что же ты так небрежен!

— Вы годами готовились, товарищ Борщаговский, — прерывает меня Соболев, предлагая мировую. — С бумагами пришли, с картотекой. А я импровизирую, полагаюсь на память, ну, случаются неточности.

Он лгал. В руках он держал двадцатистраничную машинописную рецензию, помеченную 20 марта, т. е. вчерашним числом, и сдана она была издательству без поправок, со всем вздором и хламом.

— Я слишком мало знаю, чтобы ошибаться, товарищ Соболев. Вы почти убедили собрание в исторической несостоятельности книги, моя обязанность — доказать вашу несостоятельность.

В сущности, передо мной был крохотный, чтоб не сказать — ничтожный человек, еще не тот знаменитый Соболев, которого блистательная беспартийность и бескультурье властей предержащих вывели в бюрократические вожакИ лИторганизации РСФСР, передо мной был прислужник Лесючевского, пообещавший ему «свалить» меня вместе с рукописью.

И я перешел к характеристикам Завойко и Изыльметьева, к оценке их личности современниками и исторической наукой; к вопросу о том, может ли Невельской стать в центре романа о Петропавловской обороне, если роман не фантастический; к характеристике адмирала А. П. Арбузова, который изображен фанфароном и хвастуном не потому, что мне понадобился «такой тип для контраста безупречно святым фигурам защитников Петропавловска» (Л. Соболев), а потому, что таким именно и был реальный Арбузов. Несколько цитат из мемуаров Арбузова — в них живьем вставал глупый, обидчивый бурбон — совсем вывели из равновесия Соболева, не осталось ни одной защищенной позиции.

Он поднялся и через стол потянулся руками ко мне:

— Давайте мировую! Я почему так все обострил: меня вывела из себя Антонина Дмитриевна. Уж так она расхвалила книгу, будто мы на юбилее, а не на профессиональном обсуждении... Я вам ничего не навязываю, что окажется полезным — берите, а нет — не надо.

Пришлось пожать его руку, но как я пожалел об этом, получив копию того, что он блудливо назвал на обсуждении «импровизацией». Вся она продиктована неприязнью, презрением, какой-то беспричинной, болезненной ненавистью, все, на его вкус, дурно, пошло, вздорно, сочиненно, неграмотно, плоско, мертво... Весь его текст — шедевр предвзятости, блестящее подтверждение мысли Талейрана. «Дайте мне человека, который во всю свою жизнь написал хоть одну строку, и я вам докажу, что он заслуживает смерти».

В распоряжении Леонида Соболева оказалось около семисот книжных страниц — трудно ли доказать, что я заслуживаю четвертования!

41

Обсуждение не развязало рук Лесючевскому. Нельзя было ни сбросить рукопись в мусорную корзину, ни объявить ее черновиком, наброском, отодвинуть на годы. Лесючевский — человек осведомленный, непременный посетитель Отделов культуры и пропаганды ЦК, извертевшийся в писательской толпе между ортодоксами-интернационалистами, догматиками и антисемитами, все разнюхивавший, разведывавший и метавшийся, подталкиваемый вечным страхом, избрал единственно безопасную для себя тактику проволочек: «Политика дороже денег!» Как он усердствовал,

заговаривая меня до полуобморочного состояния, искусно модулируя голосом — голосом непонятого друга моей книги, да и меня самого, голосом мужественного моего заступника от негодующих *влиятельных писателей*. Как втолковывал он мне, что мы, более всех мы с ним заинтересованы в *непогрешимости* книги, в выверенности каждой подробности и слова. Мысль его становилась то яростно-обвинительной, непримиримой к николаевской России — «тюрьме народов», то умильно-патриотической, воспаряющей к небесам. И я должен был чувствовать себя то клеветником-очернителем, то слащавым тенором, воспевающим недостойных офицеров недостойного российского флота, хитрецом, пристраивающимся к патриотизму, от которого меня официально отлучила «Правда». Побывав не только в «космополитах», но и в разное время в «националистах» всевозможного толка — националистах русских, украинских и еврейских, — я давно заподозрил, как ничтожна цена этой демагогии, но еще не постиг, что даже для черносотенца, до трепета подженок ненавидящего «жидов», даже для него шовинистическая демагогия не есть выражение *идейности*, а только звериная, корыстная *борьба за власть*, за кусок послаще, за место поодходнее и поприметнее.

Но тогда я временами терялся, опускался до соболезнаваний Лесючевскому, который-де хочет мне добра, но не так, как беспечные по части теории Горбунов или Корнев, а трезво, взыскательно, — не в этом ли высшее расположение к рукописи? Он загонял меня в угол, загибая пальцы, подсчитывая, сколько хороших и сколько дурных русских людей в книге, и задавал мне неразрешимый вопрос: таково ли было их соотношение в середине XIX века и могу ли я подтвердить это документально? Книга в моих собственных глазах давно превратилась бы в кучу мусора, если бы не серьезная, отнюдь не панегирическая ее оценка людьми, чей авторитет был для меня достаточно велик: Тарле, Твардовского, Лавренева, Броуна, Шторма, Марич и некоторых других.

Лесючевский нащупал мою слабину: при первом же (после 21 марта) разговоре с глазу на глаз он полубрезгливо, с оттенком сокрушенности предал Леонида Соболева, мол, мы искали его исторической апробации, а получился конфуз («хотя скажу: прислушайтесь и к Соболеву, будьте мудры, не побрезгуйте ни одним дельным замечанием, от кого бы оно ни исходило, ведь делаем мы одно, общее дело...»); Кудреватых тоже «перебрал», упрекая вас в избытке патриотизма, такая постановка вопроса нетактична («хотя скажу: партийная критика в ваш адрес была серьезная, не следует никому давать основание думать, что вы *шарахнулись*, кинулись в другую крайность, мы и с Кудреватых делаем одно, общее дело...»).

Хотелось выть.

Вымирали, на глазах «ссыхались», улетучивались герои книги, меня понуждали стыдиться их, отрекаться от них как от личностей недостойных, хотя реально и существовавших, а если я упрямился,

заняв круговую оборону из фактов, моих героев, всех до единого, принимались унижать как неуклюжие создания неодаренного литератора. Если бы и жизнь, и судьба моя, и существование семьи не сошлись на этой рукописи, я бы навсегда расстался с ней. Осталась бы мечта, память о Ленинке, благодарность тем, кто помогал мне неуниженно прожить три с половиной года, и вечное сожаление о давних жителях моей Родины, к кому я прикоснулся взглядом, мыслью и пером, но пером недостаточно сильным, чтобы дать им достойную жизнь.

Лесючевский искал новых палачей; двух десятков рецензий оказалось недостаточно. Подпольные гонители романа, изветчики, наушники и рецензенты не годились; кто всерьез заинтересуется мнением Сурова или Первенцева, Бубеннова или Софронова об историческом романе? Что могут они извлечь из глубин своего незнания? В лучшем случае это будут повторения общих мест рецензии Кудреватых, святое недоверие чистых русских патриотов к притворному, лицемерному «патриотизму» литератора, изобличенного партийной печатью в антипатриотизме.

Пока постыдные гонения не осуждены вслух и бескомпромиссно, парадный вход (как и черный, кухонный) открыт для лжи и оговора. Все еще радуясь поддержке многих людей, я жил иллюзиями, я как бы вычленил мысленно свою судьбу из мутного потока, придал своей судьбе статус единственности, неподсудности общему суду. Оказывается, можно не быть эгоистом и думать о себе так — и не возвышаясь над общей судьбой, и держась, по какому-то неведомому праву, чуть в стороне.

«Советский писатель» нашел еще двух рецензентов. Первым был Георгий Шторм — автор исторических романов, педант, опытный архивист, человек независимой мысли. Он подошел к делу как ученый: прочел кроме рукописи стенограмму обсуждения 21 марта 1952 года и большинство рецензий. Шесть страниц его отзыва не утешили Лесючевского. «Роман А. Борщаговского, — писал он, — произведение значительное, вне всякого сомнения — патриотическое и, несмотря на свой историзм, почти злободневное. По многим своим качествам оно стоит выше целого ряда книг этого жанра, вышедших за последние несколько лет... Обсуждение романа накануне его выхода — дело „опасное“, так как любой рецензент всегда что-нибудь найдет. Вот тогда-то и происходит то, что произошло в данном случае: рассыпают набор». Общий вывод Г. Шорма полностью совпал с гневной филиппикой Лавренева: «Можно сколько угодно улучшать хорошую книгу, но нельзя до бесконечности задерживать ее выход в свет».

Набор рассыпан. Книга в «блоке» мертва. Лесючевскому нечего тревожиться, практически все начинается с нуля, с набора, который, как выяснилось, еще ничего не значит.

И вдруг — тревога. Лесючевскому нашли никому в литературных кругах не ведомого судью — Б. К. Рубцова, заместителя главного редактора журнала «Вопросы истории». Кто-то порекомендовал его как знатока Дальнего Востока, в прошлом военного моряка, воспитанника кадетского морского корпуса и человека, по слухам, непримиримого к «беспачпортным бродягам в человечестве».

Горбунов вызвал меня телеграммой из Бабушкина и напугал озабоченным, мрачным видом. «Вот она, рецензия Рубцова!» — он протянул мне четыре машинописные странички. Протянул и, не выдержав игры, рассмеялся.

Отзыв был какой-то глубоко личный, как бывает, когда долго ждешь чего-то, перестаешь ждать и вдруг оно нечаянно приходит само. Б. К. Рубцов назвал книгу «тщательной по точности хроникой исторических событий» и в конце рецензии обратился ко мне с предложением посетить его дом, так как он нездоров и хотел бы познакомиться, передать мне уникальные камчатские материалы.

Счастливый, — ну, не баловань ли судьбы! — я помчался к Борису Константиновичу. Наш затянувшийся разговор сердил его озабоченную соблюдением режима жену. Камчатка была любовью Рубцова, подвигом его военной молодости, обжигающей память. Долгие годы он сам намеревался писать о Камчатке 1920–1922 годов, но, как часто случается, что-то мешало, дело откладывалось, то забывалось на годы, то возвращалось, допекая. Теперь он не молод и сил осталось не так уж много, приходила мысль передать материалы в чьи-нибудь руки, но в чьи?

Узнав, что я задумал повествование о Камчатке 1904–1906 годов, о разгроме десанта офицера императорского японского флота Сейчу Гундзи, об уездном начальнике Командорских островов учено-естественнике Гребницком, Борис Константинович обрадовался: вот кому он передаст камчатский архив времен гражданской войны, и, закончив «Камчатское руно» (так, предположительно, должна была называться книга о Камчатке времен русско-японской войны), я займусь третьим звеном почти вековой саги о Камчатке. Он выкладывал папку за папкой, в них старые бумаги, рапорты, боевые донесения, стершиеся карандашные строки, выцветшие чернильные, две бумаги с едва различимыми рыжеватыми строчками, писанными, за неимением другого средства, собственной кровью командира отряда, корабельные документы, частные письма, фотографии.

Откуда все это у Бориса Константиновича Рубцова, немолодого ученого, редактора, москвича?

Вскоре после освобождения Владивостока в 1920 году из бухты Золотой Рог вышел на Камчатку военный корабль с отрядом бойцов на борту. Начальником штаба отряда был молодой офицер, воспитанник морского корпуса Борис Рубцов. Отряд командировался на Камчатку, к побережью Охотского моря и в Гижигинскую губу, для подавления

бесчинствовавших там банд вчерашних соратников Пепеляева и Бочкарева. Военная кампания на Камчатке оказалась долгой, небывало трудной по природным условиям и отсутствию снабжения и связи, потребовала исключительного мужества и самоотверженности.

Разделив со всеми тяжести походов, сражений, нужду и голод, Рубцов по страсти прирожденного историка, пробудившейся в нем еще в морском корпусе, собирал документы, свидетельства так затянувшейся на Дальнем Востоке гражданской войны.

К возвращению во Владивосток бумаг набралось на плотно набитый мешок, и случилось так, что Борису Константиновичу самому пришлось спасать от огня свои сокровища. От огня, но не от пожара: во дворе здания, где разместилось командование, жгли архивы — кипы папок и вороха бумаг. Шаг горький, опрометчивый, но объяснимый по тому смутному и беспечному времени; отгремели бои, враг разбит, сброшен в море — пусть с огнем и дымом уйдут и эти свидетельства его земного существования. Исторический, непреходящий смысл этих бумажек мало кому приходил тогда в голову. Среди тех, кто стоял неподалеку от полыхавших бумаг, был и главком, тридцатидвухлетний Василий Константинович Блюхер. Рубцов бросился к нему, выпросил для себя камчатский непромокаемый мешок и унес его.

Теперь эти сбереженные бумаги, систематизированные, пронумерованные, лежали передо мной — Рубцов выкладывал папку за папкой, отмахиваясь от предостережений жены. Открыв во мне собеседника, знающего Камчатку и западное побережье Охотского моря, тамошние поселки и бухты, Борис Константинович разворачивал передо мной, месяц за месяцем, эпизоды давней борьбы и сказал, что я могу теперь же унести с собой все документы...

Но как это сделать! При первом появлении в доме взять в охапку десятки папок, все самое дорогое, все прожитое некогда хозяином дома! Его порыв был прекрасен, но нравственное чувство и даже чувство меры потребовали не торопиться, отложить все хотя бы до второй или третьей встречи, когда импульсивное движение сменится спокойным, трезвым решением Рубцова. И жена, безрадостная, кажется, задетая внезапной щедростью мужа, сдерживала меня своим присутствием. И бездомность связывала: завтра Шурочке Костюковской надо будет вернуться с детьми в Москву, в городок Моссовета, и мы снова на улице, — куда мне с драгоценным архивом, если в нашем скитальчестве не нашлось места для двух уникальных альбомов Зиновия Толкачева!

Я поблагодарил, сказал, что непременно воспользуюсь приглашением и приду еще, его живой рассказ важнее бумаг, — когда я узнаю подробнее обо всем, я смогу и документы прочесть с толком...

Но встретиться нам больше не привелось: Борис Константинович Рубцов умер.

Снова наступили черные месяцы проволочек, лицемерия и лжи Лесючевского, недопуска меня в кабинет; разве что выглянет из двери кабинета и скажет уклончиво: вопрос решается, не торопите меня, новостей нет, о наборе говорить рано и т. д. и т. п.

Был особенно запомнившийся день — день отчаяния, когда все показалось бессмысленным. Я отсидел в приемной с полудня, до 18 часов оставалось 15–20 минут, и думалось, они будут отданы мне. Но в приемную вошла молодая прекрасная женщина, женщина на сносях, — даже заметный живот придавал ей еще больше грубоватой прелести и необоримой жизненной силы. Кивнув секретарше, она проплыла в кабинет Лесючевского.

Уже я был не нужен этой жизни. Была молодая женщина, ее право царственно прошествовать в начальственный кабинет, свободно и независимо двигаться по грешной земле, не тревожась судьбами людей второго сорта. А в чреве ее — новая жизнь, и будущие и бесспорные права нового поколения, их привилегии, — в этой жизни не найти и крохотного местечка для нас с Валею и наших детей... («Бросьте! — предрекал мудрый Кривицкий. — Кому нужен ваш роман: они не хотят от вас никакого романа».) Странно, противоестественно, несправедливо, но эти два существования — их уже было два! — изначально святые и прекрасные, сделались вдруг для меня метафорой моего собственного несуществования. И бетонированная плоская кровля здания за открытым окном приемной Лесючевского, кровля-двор, где на веревках сушилось белье, играли дети, откуда время от времени, несмотря на металлические сетчатые ограждения, бросались вниз самоубийцы, — кровля эта показалась и мне *дающей вечное успокоение*. На миг, но этот миг запомнился, как первая, яростная атака слепого отчаяния на уставшее сердце.

Я тогда не знал, что молодая женщина — Катя Старикова, человек доброй и справедливой души.

Июнь, июль, август, сентябрь... Месяцы тупого ожидания неведомо чего. Как все непохоже на прошлое лето в Песках, лето иллюзий... Новых рецензий не будет, в двадцати шести попытках испробованы все комбинации, директор издательства объявил, что не оплатит ни одного нового счета. На ознакомление с моими поправками и купюрами у Лесючевского фатально не хватало времени: совсем как у Фадеева — «обманываю Пришвина, а вам и не пообещаю». Он готов делиться со мной издательскими заботами, перечислять загрузившие его стол рукописи именитых, плакаться по поводу *трудных* романов («Вы думаете, что только с вашей книгой так; у меня, что ни день ЧП, и всегда виноват я, один я. С директора не спросят и Горбунову не сделают выволочку, все Лесючевский и Лесючевский!..»), сетовать, что и секретариат ССП сбрасывает на него конфликтные и даже безнадежные рукописи, а он — отдувайся.

Тертый калач, он знал, что делал. Может, он однажды и печатался, наскреб полдесятка статей на брошюру, но люди моего поколения не упомянут его подписи под серьезными статьями. Отчего он член Союза, вернее, от кого? — за какие труды и вдохновенные страницы? И не просто коллега по творческому Союзу, а поставленный над другими, вершитель их судеб? Оставаться в Ленинграде ему, видимо, нельзя было: там слишком хорошо знали о других его опусах, предназначенных не для печати, а для следственных томов.

И вот Москва, осень 1952 года: мы в неведении, но Лесючевский конечно же знал, что расстреляны Лозовский и весь Еврейский антифашистский комитет — расстреляны не зимой 1949 года, а только что, 12 августа 1952-го. Тренированной шкурой литературного осведомителя он ощущал нагнетание политической атмосферы, грозное «уплотнение» еврейского вопроса. Как не ко времени был я и моя Камчатка! Ведь вот отошлешь вторично в набор, а жизнь разыграет, взорвется ненавистью, и кончатся недомолвки. Москва поговаривает о списках на поголовное выселение, спорят лишь о том, как обойдутся с басом Рейзенем, любимцем Сталина, и с чемпионом мира по шахматам Михаилом Ботвинником. Слухи доходят и до меня, только я этому не верю, как коммунист (теперь, правда, беспартийный большевик, уравнивший с Леонидом Соболевым!), как «карась-идеалист», не верю потому, что не хочу верить, а Лесючевский верит, верит и знает, верит и уже подыскивал оправдательные мотивы для высылки евреев, точнее, не евреев, а лиц еврейской национальности. Он только передернет плечами, уложит набок тяжелую хитрую головушку и пустится в марксистские рассуждения о том, что и правда пора создать настоящую крупную еврейскую автономную область, не какой-нибудь там ничтожный Биробиджан, собрать воедино три-четыре миллиона человек, дать этому талантливому, ну, не талантливому — способному народу проявить себя, так сказать, *соборно*, во всю богатырскую силу, не теряясь в инородной массе русских, украинцев, грузин или казахов. Умны ведь, умны, — не умнее других, спохватывается он, — ничего не скажешь... Как оживляются тухлые мозги посевдомарксистов, как они взбадриваются, подыскивая новую вывеску древнему, из средневековья пришедшему понятию — гетто!

Не ко времени, ох не ко времени моя Камчатка, рукопись — снова рукопись, дерзко названная — «Русский флаг». Впрочем, почему дерзко? Те, кто приказал Лесючевскому рассыпать набор, полагают, что это название *издевательское*, в нем и вызов и холуйство одновременно, холодный иудейский расчет и ползание на брюхе, подлая ухмылка лицемера и плевок в лицо им, истинным, единственным патриотам. И как им думать иначе, если моя принадлежность России, моя в ней растворенность, единственность ее для меня, не вызывает в них доверия, бесит их как нечто противоестественное. Как им, не выкарабкавшимся из темнот средневековья, духовным уродам, понять

человека XX века, живущего на *своей земле*, на нашей общей земле уже после Герцена, после Чехова, после Ленина и Горького? Как им, напрасно подозреваемым в принадлежности к русской интеллигенции — мол, пишет с грехом пополам книги, значит, интеллигент, — подняться до истинной человечности и высокого национального чувства без коросты шовинизма?

Если он снова отошлет книгу в набор, а время переломится, приблизится к «социалистическому гетто», не будет ему прощения. Нет, своей волей и властью он роман в набор не сдаст. Его должны заставить сделать это, принудить еще одним постановлением Союза писателей. Он до предела доведет конфликт с директором, с Горбуновым, пусть жалуются на него Фадееву, — Фадеев начинал разгром в январе 1949 года, ему и карты в руки.

Так и случилось: 30 сентября 1952 года секретариат СП СССР слушал «Заявление А. Борщаговского по вопросу об издании его романа „Русский флаг“».

Лесючевский ухитрился остаться в стороне: он умел стушеваться, выразить вдруг плутоватым лицом грустную, отрешенную озабоченность, подтолкнуть вперед простодушного М. Корнева. И вельможный гнев Фадеева по поводу 60 тысяч рублей, потраченных на рецензирование, ударил по директору. Секретариат постановил: «Принять к сведению заявление М. М. Корнева о том, что книга А. Борщаговского в октябре 1952 года будет сдана в производство».

Пилат и на сей раз умыл руки, он извернулся, отболел, отбюллетенил...

Знай он, как круто взойдет, вспучится в ближайшие месяцы «еврейский вопрос» на дрожжах антисемитизма, он отыскал бы возможность потянуть с рукописью еще полгода-год, попестовать ее в озабоченных руках, в надежде никогда не увидеть ее изданной.

42

Впереди растерянность и дни отчаяния.

Впереди смерть Сталина, оплаканная большинством и вызвавшая ликование страдальцев и прозорливцев.

Впереди несостоявшийся процесс над «врачами-отравителями» и, как я уже упоминал, разбойная попытка изгнания из Союза писателей семидесяти пяти критиков; надо же было в благородную память об «отце родном» довершить начатое в январе 1949 года.

Впереди новый разрыв Сталина со своей челядью и его затворничество на московской даче.

Но я доскажу прежде о Леониде Соболеве.

Неприятие им моей рукописи — небольшой грех, частный случай, косвенное свидетельство его мобилизационной готовности. Вина его перед нашей культурой неизмерима.

Именитый литератор, оратор, как никто умевший польстить начальству — публично, когда человек чести посовестится расточать прельстительные улыбки, — он с возникновением российского Союза писателей получил державное поприще. Создание СП РСФСР — закономерный в движении литературы шаг; малочисленная комиссия по областным литературам в *большом* Союзе не могла серьезно влиять на литературную жизнь огромной Российской Федерации.

Сколь резко ни судил бы я год 1949-й, надо признать, что подавляющее большинство русской интеллигенции тогда с презрением отвернулось от антисемитских акций. Не та картина сегодня: мутный поток захватил многих, а среди них и тех, кого господь не обделил талантом, разумом и тщеславием. У них свои пророки и апостолы, они ведут за собой и часть молодежи, нетерпеливцев и честолюбцев, которым не сложно внушить, кто стоит на их пути к славе и благополучию. Но давно известно: страсти эти — сосуд без дна; сколько ни изливай туда гнева, желчи, проклятий, лжи, елеса, лести, как ни приготавливай сатанинский коктейль шовинизма, как ни истребляй в культуре «масонский» элемент, не исключая и полукровок, — спустя десятилетие-другое возникнут новые таланты и новые честолюбцы, они вновь потребуют себе места и бумаги, и как тогда умиловить их, на кого записать вину?

Нынешние воители-«антимасоны» уже одержали по крайней мере одну победу заставили благородных людей разной крови думать, пусть промельком, невзначай, тут же устыдясь этой мысли, и все же *думать* о том, кто по национальности критик, позволивший себе не одобрить книгу известного русского писателя; а кто есть Владимир Савельев, автор стихотворения «Еврейский вопрос», — русский или еврей; кто по крови драматург, выпустивший на сценические подмостки Льва Троцкого без зажатого в зубах кинжала и капающей с него крови? Мы опустились до того, что *думаем* об этом, говорим об этом, принимаем это в расчет, решая, выйти ли на трибуну, сказать ли правду или промолчать, предоставив такую возможность благородному славянину: ему, мол, это проще и с руки. Когда подобная унижительная мысль возникнет во мне — едва ударит предостерегающий колокол, — я тут же, непременно нерасчетливо, может быть и глупо, выйду на трибуну, чтобы не было пути к отступлению, чтобы снять сердечную боль...

Благословляю свою юность — она двигалась бурной, временами темной рекой, в сумерки нам бывало не увидеть, что бурый цвет струй не от донного торфяного подстила, а от крови; громкие наши лозунги заглушали стоны и крики, — все было в нашей устремленной, полуголодной и конечно же виноватой юности, но одного греха мы не знали: мы не начинали знакомства, дела, дружбы или борьбы с выяснения запаха племенной крови.

Это не прекраснотушное заблуждение памяти: четверть века революции не могли изгнать из бытия все заблуждения и

предрассудки, а темноту — из закоулков быта. И «жид», и «кацап», и «гой», и «хохол», и полупрезрительное, через губу, «кацо» не испарились бесследно и не скоро замрут на устах тупых и невежественных людей. Я это понимаю, но, понимая, говорю: нашу юность едва ли не до самой войны не сотрясала эта гниlostная, самоубийственная лихорадка. Когда ненавистным делается святое понятие *гражданин мира*, а понятие национального абсолютизируется, так называемые «масоны», имевшие неосторожность родиться не в доме немецкого бюргера, чистокровного англосакса, славянина и проч., становятся ответчиками за все грехи человечества.

Леонид Соболев — случайный недруг моей рукописи, недруг по вдохновению, по злобной неусыпности души; Л. Соболев — случайная знаменитость, случайный руководитель, я бы даже сказал, случайный гость русского Олимпа, старавшийся, чтобы черты интеллигентности не слишком обнаруживались, чтобы вперед выходила «простецкая», ругливая натура, морская душа, этакий *братишка*, — Л. Соболев был вместе с тем типичнейшим выразителем времен застоя, косности, глашатаем и коммивояжером той поры.

Он возвысился в тридцатые годы и в годы войны и после победы прочно принадлежал к литературной элите, к этому *ордену* без устава, но с ясно очерченными границами. Все складывалось для него более чем благополучно, но не было власти, ответственного портфеля, и жадные руки хватали что подвернется, всякую ношу комиссий, редколлегий, советов и проч. и проч. Всегда на виду, но не чтимый писательской толпой и братством писателей-фронтовиков, отлично понимавших, что в новой прозе Л. Соболева нет фронтового опыта, что это расхожая беллетристика. Всегда на виду, управляемый оратор, сговорчивый рецензент Лесючевского, этакий «комильфо», тяжеловатый, с упитанным лбом тугодума, но всегда расцветающий улыбкой, готовый к интриге, отступничеству, сговору, но почему-то никак не нужный Фадееву в высшем литературном эшелоне. Словно брезгуя готовностью Леонида Сергеевича служить верой и правдой, Фадеев находил себе соратников и заместителей постарше и помоложе, не замечая подмигиваний Соболева и его прельстительного оскала. Но Соболев нетерпеливо ждал своего часа.

Час его — звездный час! — пробил с созданием Союза писателей РСФСР, организации, стучавшейся в дверь *истории*, но с первого дня угодившей в недобрые руки. Достаточно назвать даже и немногие имена поэтов и прозаиков страны — в данном случае я говорю о литературе русской, — от А. Яшина, Н. Рубцова или А. Жигулина до таких прозаиков, как В. Астафьев, В. Распутин, Е. Носов, Ф. Абрамов, В. Белов, — чтобы оценить, как богаты самородными талантами города и веси России. Действенная, повседневная, без ажиотажа поддержка подлинных талантов, бережное их воспитание — вот что, в сущности, и должно было стать высокой целью российской писательской

организации. Но не то было на уме у Леонида Соболева; слишком мирской, расчетливый и корыстный это был ум, чтобы возвыситься до художественного идеала, до понимания истинных нужд талантливых людей России.

Поразительно, но именно в начале 50-х годов Александр Фадеев почувствовал опасность превращения писательского Союза в некую массовую, ремесленную организацию, где понятие таланта, творческой личности станет второстепенным или малозначащим; именно тогда он в кругу друзей, а на подпитии — и шире, твердил о необходимости *резкого* уменьшения числа писателей, создания в стране сравнительно немногочисленного объединения талантливых и профессиональных авторов. Организационным мечтаниям Фадеева не суждено было сбыться; впадая в крайности, поддерживая (пусть и с плохо скрытой брезгливостью) третьесортную драматургию, не протестуя против унижения и растаптывания таких художников, как Анна Ахматова и Михаил Зощенко, он сам поощрял, вопреки своим мечтаниям, невежество и дилетантизм, становился заложником софроновых.

Но и в дурном сне не могло ему привидеться, к какой неизбывной серости приведет — уже после самоубийства Фадеева — писательскую организацию страны «великий маг» ордена ремесленников, ленивец Леонид Соболев.

Медленно росли республиканские союзы писателей, от эстонского островного архипелага и до плоскогорий Памира единицами прибавлялись к семье писателей новые таланты, как тому и надлежит быть. Сравнительно медленно увеличивалась тогда и писательская организация Украины, где, что ни говори, вольготно жилось литературным функционерам-ремесленникам, а под жестоким боем оставалась упорно подозреваемая в национализме Лина Костенко, поэт, равного которому на Украине не было со времен Леси Украинки...

А Леонид Соболев открыл на необозримых просторах России массовое рукоположение в писатели, еще более пагубное, чем приснопамятный рапповский «призыв ударников в литературу». Призыв начала 30-х годов ударников в литературу хотя бы не завершился приемом их в творческий писательский Союз — он еще не существовал. Случилось много разочарований, но не много было рухнувших судеб.

Леонид Соболев смотрел *вперед*, его лукавому практическому взгляду виделись грядущие пленумы и съезды писателей, он умножал и складывал, делил и вычитал, прикидывал балансы голосов, жаждал влияния и власти. Дело усложнилось тем, что Московская писательская организация, созданная еще весной 1955 года, за три с половиной года до учредительного съезда СП РСФСР, оказалась ненадежной для имперских замыслов Леонида Соболева, да и не слишком к нему почтительной; самая крупная в стране, она оказалась непригодной для прислужничества, сговора, интриг. Московские писатели, в большинстве не принявшие только что состоявшейся первой расправы

с «Новым миром», оказались в резком конфликте с косными силами литературы, с «первыми учениками» периода «культа личности», и вскоре законопослушный, подобострастно глядевший в глаза начальству Леонид Соболев поддержал карательные меры против МО СП РСФСР^[48].

«Великий маг» ремесленничества ликовал, глядя на то, как множатся и разбухают писательские организации краев и областей — высокая требовательность, профессионализм, талант — все было забыто, отброшено. Добрый пастырь готов был принять любого начинающего, особенно из числа краевого или областного начальства, ответственных работников издательств и газет. В те годы утвердился и обрел всесоюзный размах торный путь абитуриентов в литературу, прочно легли под ноги нетерпеливцев ступени вверх — через службу, самоиздание и «радение» о ближнем, но не о всяком ближнем, а о том, кто понадобится. Издательское дело — в столице и провинции — впало в коррупцию, непредставимую в пред- и послевоенную пору, — это сделалось неизбежным с появлением тысяч профессиональных писателей, взывающих к Союзу о хлебе насущном, об одежде и крове, но при таком уровне их книг, который не мог и ни в какой другой стране мира и вселенной не смог бы прокормить их.

Меньше всего задумывался Соболев о судьбе этих людей, о тупике, в который он их заводит, о неизбежных зависти и озлоблении, о тысячах и тысячах слабых, ненужных книг, этой странной горечи и ошеломлении самого времени. Среди писателей Швеции, Норвегии, Чехословакии или Польши, Венгрии или Англии не так уж много поэтов или прозаиков, кто может обойтись книжным литературным заработком. Большинство служит — они преподаватели, клерки, медики, инженеры, ученые и т. д. Большинство призванных в литературу Соболевым тоже служит, но, сделавшись без труда членами СП, они служат в редакциях, в журналах, в отделениях СП — впритык к материальному источнику своего существования, так сказать к «котлу», хотя и скудному сплошь и рядом, только что не дающему пасть.

Так на законном основании полулитература срачивалась с тем, что можно назвать литературной администрацией; так мы стали издавать сами себя и друг друга, на началах взаимной амнистии к уровню труда, дружеского снисхождения и попустительства. Так мы приучили себя называть поэтами посредственных версификаторов. И если бы возможна была парадоксальная *премия* за образцовую *серость*, за крайнюю, пограничную уже литературную серость, я бы назвал эту премию именем Леонида Соболева, так велик его практический вклад в расшатывание здоровых понятий о художественности литературы.

Как-то за несколько лет до смерти Фадеева Сергей Преображенский вдруг объявил ему, что подает заявление в Союз. Сказал он это как-то легко, почти игриво, видимо, в расчете на то, что

при посторонних Фадеев не станет возражать. Фадеев ответил не сразу — ведь Преображенский писал главным образом о нем, о Фадееве, — выдержал паузу и сказал серьезно: «Твое личное дело, Сережа. Только прежде уйди из аппарата Союза...» Времена изменились: теперь, чтобы наверняка и побыстрее оказаться в Союзе писателей, нужно *прийти* в его аппарат, в аппарат издательства или литературного журнала, обрести известную издательскую силу и деловые связи.

В годы 1956–1962 Московская писательская организация навлекла на себя гнев начальства, вызвала озлобление группы сановных литераторов с Леонидом Соболевым во главе, ощутивших вдруг непривычную им незащищенность перед коллективом писателей даже при самом легком дуновении демократических ветров. С альманахом «Литературная Москва» было по кончено быстро (1956), по выходе первых двух томов. Казалось бы, редакция альманаха — общественная, на добровольных началах — в составе М. Алигер, А. Бека, В. Каверина, Э. Казакевича, А. Котова (директора изд-ва «Художественная литература»), К. Паустовского, В. Рудного и В. Тендрякова обеспечивала не только высокую требовательность к художественному уровню публикуемых произведений, но и полную меру гражданской ответственности. А коллектив авторов, выступивших в двух номерах «Литературной Москвы», может поразить любого, кто знаком с недавним прошлым нашей литературы: А. Фадеев, А. Сурков, В. Каверин, Н. Погодин, С. Маршак, И. Катаев, С. Кирсанов, Н. Заболоцкий, Н. Чуковский, Н. Тихонов, А. Яшин, И. Эренбург, Е. Дорош, Ю. Олеша, А. Крон, М. Цветаева, К. Федин, Л. Мартынов, В. Инбер, М. Луконин, С. Антонов, Т. Твардовский, Вас. Гроссман, П. Замойский, А. Ахматова, Н. Асеев, К. Симонов, Н. Хикмет, В. Шкловский, С. Михалков, В. Розов... Академия! Парнас! Цвет советской литературы, ее мастера, — а ведь я не назвал и половины авторов первых двух томов альманаха, вышедшего тиражом 100 000 экземпляров (первый том) и 75 000 (второй). Для третьего, готового тома не нашлось ни бумаги, ни наборщиков, ни издателя: альманах был запрещен

Какую же опасность для советской литературы могли представлять названные мною и не названные авторы? Зачем «прихлопнули» прекрасное начинание московских писателей? Принято считать, что прямым поводом к закрытию альманаха были опубликованные во втором томе рассказ А. Яшина «Рычаги» и «Заметки писателя» А. Крона. Это справедливо, если говорить о капле, переполнившей чашу, о последнем толчке к недоброму действию, — очень просто было выписать абзацы из этих двух публикаций и, положив их на стол партийного начальства, вызвать его гнев. Скажем, такой абзац. «Культ порождает иерархию служителей культа, — божеству нужны святители и угодники. Культ несовместим с критикой, самая здоровая критика

легко превращается в ересь и кощунство». Или: «Там, где вкус одного человека становится непререкаемым, неизбежны нивелировка и грубое вмешательство в творческий процесс, вредная опека, травмирующая талант, но вполне устраивающая ремесленников... Там, где истиной бесконтрольно владеет один человек, художникам отводится скромная роль иллюстраторов и одописцев» (А. Крон).

Мысли вполне в духе XX съезда партии. Но дух этот улетучивался неудержимо, взмывший было вверх антикультовый «воздушный шар» падал, пусть не камнем, а с обманными виражами, по мере сбрасывания «балласта», но падал неотвратно. «Новый мир» отнят у Твардовского, «Литературная Москва» — у москвичей. От живой антикультовой идеи осталась мертвая и мертвящая расхожая фраза: «Партия уже все сказала!» Партия сказала, свершился акт справедливости — развенчание культа личности Сталина, открылась возможность реабилитации — чаще посмертной — миллионов репрессированных. Но как быстро косное окружение Хрущева, пользуясь его человеческими слабостями, недостатком культуры, непоследовательностью, принялось хоронить демократические идеи и дух XX съезда, видя главную для себя опасность в пробуждающейся гласности. Ильичевы, Трапезниковы, Поликарповы и многие другие, причастные руководству культурой и наукой, вновь и вновь пропалывали неоглядное поле, охотно оставляя сорняки и расправляясь со всеми ростками нового. С 1961 года Леонид Федорович Ильичев заступит на высокую «вахту», станет секретарем ЦК по идеологии, вторым после Суслова руководителем духовной жизни страны. Не будучи сколько-нибудь известным или продуктивным ученым («работы по диал. и ист. материализму» — стыдливо сказано в однотомном энциклопедическом словаре), он сделается академиком АН СССР, организатором и режиссером памятных карательных акций, в том числе и разгрома художников и скульпторов в Манеже. А после двух встреч Н. С. Хрущева с деятелями литературы и искусства (режиссура Л. Ф. Ильичева) была распущена партийная организация Московского отделения СП РСФСР.

Год 1937-й истребил многих деятелей, действительно бывших идеологами и учеными, понадобились новые академики, «светочи мысли», и они объявились: «философ» Александров, автор компилятивных ученических работ по истории западноевропейской философии, безвестный историк С. Трапезников, прилагавший нечеловеческие усилия, чтобы сменить звание членкора на полного академика, но так и не сломившего сопротивление академического синклита, Л. Ильичев и иже с ним.

43

Запрещение «Литературной Москвы» было сигналом, знаком насильственно оборванной весны и возвращения на круги своя.

Партия все сказала! Незачем толковать о том, что уже получило оценку и обсуждено, к чему не может быть возврата, — в самой категоричности, крикливости, стиснутости подобных постулатов и был возврат к старому. Некоторые иллюзорные оттенки гласности или либеральные попущения самого Хрущева — вроде публикации «Теркина на том свете» или «Одного дня Ивана Денисовича» — уживались с ужесточением цензурных порядков. И хотя запрет «Литературной Москвы» не сопровождался массовой газетной травлей, нельзя сказать, что альманах был тихо задушен в подворотне. Шли партийные собрания, состоялось и общее собрание коммунистов писателей столицы, на котором требовали покаяния, по крайней мере от Э. Казакевича, общественного главного редактора «Литературной Москвы». Примечательно, что спустя почти пять лет, уже «при Ильичеве», точно так же была задушена и другая инициатива писателей Москвы (К. Паустовского, Н. Панченко, Н. Оттена и Арк. Штейнберга) — издание сборника «Тарусские страницы» (Калуга, 1961). На тарусских страницах уже не отыскать резкостей и свободомыслия «Заметок писателя» Александра Крона — другое время подступило к берегам Оки и Москвы-реки, — что же на этот раз вызвало гнев начальства?

То же, что и в «Литературной Москве»: настораживала *самодеятельность и самостоятельность* литераторов, готовность литераторов трудиться без платы, энтузиазм редколлегии, сложившейся не в начальственных кабинетах, а по свободному согласию писателей; пугала неказенность, неординарность инициативы; непризнание и нелюбовь вызывала известная, пусть микроскопическая, неподчиненность самих редколлегий. В этом чиновник видел попытку свободного, вне норм, дыхания, обмана, «подкопа», зерно крамолы, которое — только попусти! — даст бог знает какие всходы. И в «дружеских» встречах с правительством, в печально известном приеме на даче, предметом которого в большой степени и был запрещенный альманах «Литературная Москва», беспартийный Леонид Соболев вновь отличился пламенным послушанием, наветами на коллег и снова был поставлен в пример писателям-коммунистам. Его импровизационный доносительский дар был идеально приспособлен, пригнан именно к таким грубым, бесцеремонным, неравноправным «диалогам», к атмосфере демагогического пустословия, зажима и попания гордости людей.

Исчез альманах. Московская писательская организация погрязла в «грехах». Печаталась многотиражная газета «Московский литератор», и там случались непорядки; острые пародии «не на тех», статьи, ставящие под сомнение систему представления к правительственным наградам писателей, критические заметки о лицах, критике не подлежащих, и т. д. Тревожило, что московскую многотиражку выписали некоторые литераторы Ленинграда, Киева, Тбилиси, —

ведомственные издания приобретало непредусмотренный общественный вес.

В тяжкую вину было поставлено москвичам и исключение из Союза писателей литературоведа Эльсберга. Руководителем Московской писательской организации был тогда Степан Щипачев, коммунист со времен гражданской войны. Человек мягкий, расположенный к людям, он был для нас не администратором, а товарищем, искренне заинтересованным судьбой московских писателей. Он был человеком дела, но дела не напоказ, без броской афиши: в трудный для Ксении Некрасовой час он не рассуждал о милосердии, а вместе со своей женой, Еленой Викторовной, привел Некрасову в свой дом и надолго поселил у себя.

И надо же было случиться такому, что именно на правление Степана Щипачева пришлось дело Эльсберга. В те дни остро встал вопрос о вине некоторых лиц и оценке этой вины Союзом писателей. Не о мести шла речь, а о нравственной, общественной мере наказания. Немногие уцелевшие, возвратившиеся из лагерей писатели своим появлением среди нас, сломленными судьбами молча напоминали о грехах тех, из-за кого они претерпели. Но был в организации человек, наказания которого не молча, а громко и гневно требовали близкие и товарищи их жертв. И тихий, такой негневливый Степан Щипачев по многому размышлению принял решение рассмотреть дело Эльсберга на заседании президиума МО СП РСФСР.

Клеветы Эльсберга были вызывающие и связаны не только с репрессиями 1937 года, но и с более поздними временами, и послевоенными тоже. Создали комиссию, военная прокуратура предоставила ей архивные следственные и судебные дела Левидова, Бабея, Макашина, Пинского и Штейнберга, бумаги и протоколы, неопровержимо доказавшие аморальный характер действий Эльсберга.

Займись тогда палачами и доносчиками прокуратура, правоохранительные органы, Эльсбергу не миновать уголовного наказания. Но ринуться в этот океан преступлений у общества не было ни сил, ни решимости, — это совершенно очевидно по тому, как писателям Москвы мешали осудить хотя бы одного из клеветников — Эльсберга. Для нас же было принципиально важно показать, как едины писатели в осуждении провокационных доносов.

Следователи НКВД и МГБ ставили Эльсберга в наименее уязвимую позицию: его допросы, как правило, не открывались, а завершались следственные материалы. Ему якобы оставалось только подтвердить то, что следствию стало известно без него. (Правда, в деле Штейнберга Эльсберг, на свою беду, оказался единственным провокатором.) Защищаясь, Эльсберг и упирал на то, что он *«был вынужден подтвердить очевидное»*. Бывшие друзья и коллеги Эльсберга после очных ставок с ним использовали малейшую возможность передать близким на волю тревожное: «Берегитесь Эльсберга! Эльсберг —

провокатор!» А он продолжал искать дружеской близости с семьями, изображал добрую опеку над ними, пытался подтолкнуть их к «честным признаниям», выудить «дополнительные сведения»... Открылась картина долгого нравственного падения. Эльсберг обратился в писательскую организацию Москвы с объяснительным письмом, оправдывая свои поступки «*благими намерениями*», желанием предупредить «роковые ошибки», удержать людей от «*сползания в антисоветчину*». Он оправдывал себя и временем, когда, мол, все и всеми понималось иначе, чем и сам он понимает сегодня. (В действительности все куда проще: на рубеже 20-х и 30-х годов Эльсберг, возглавлявший какое-то издательство в Ленинграде, был судим по уголовной статье и, вероятнее всего, купил смягчение своей участи обязательством *служить*.)

С момента, когда был назначен день заседания президиума, писательская организация испытала яростный нажим извне; наказание Эльсберга едва ли было бы возможным, если бы не спокойная твердость Щипачева. Ему звонили, его урезонивали и припугивали. Гневался Дмитрий Алексеевич Поликарпов, многолетний «опекун» советской литературы — и в должности своеобразного «комиссара» в СП СССР, и особенно в своем кабинете заведующего Отделом культуры ЦК ВКП(б), — Поликарпов, в штыки встретивший «Спутников» В. Пановой, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, роман Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба», «Смерть в Риме» Кёппена и многое-многое другое. Гнев Поликарпова вызывало намерение выпустить роман Кёппена отдельным изданием: разоблачение нацистского генерала Юдоjana, центральный женский образ книги — все показалось ему (после журнальной публикации) вредным и недопустимым. «Только через мой труп!» — воскликнул он, положив конец спорам. И надо же, чтобы «Смерть в Риме» поступила в продажу спустя несколько дней после сообщения «Правды» о похоронах Поликарпова!

Тон начальственных звонков становился все строже. Сначала: «Москвичи занялись не своим делом...», «Что еще вы там затеяли? Кончайте любительщину!» Потом с угрозой: «Вы что же, учредите у себя судейскую коллегию? Смотрите — заявления посыплются к вам десятками, найдутся еще плакальщики...» Предпринимались «фланговые обходы», звонки членам президиума, апелляции к гуманности и даже к интеллигентности, к чувству справедливости («Исключение из Союза — это ведь гражданская казнь...»), попытки добиться отсрочки заседания.

Нужен ли был Эльсберг своим покровителям? Едва ли! Быть может, они и презирали его, но действовали так, чтобы неповадно было москвичам, чтобы пресечь разгул демократии, стремление к независимости, вернуть всех в стойла (и к кормушкам тоже!) полного повиновения и телефонопослушания. А ведь наш суд чести не лишал Эльсберга гражданских прав, службы в ИМЛИ и возможности

печататься; организация отвергла его за презренную клеветническую деятельность, это было самовоспитание организации, еще не умершая в нас наивная вера в обновление курса жизни.

Отвергнутый президиумом и общим собранием писателей Москвы, клеветник все же сохранил писательский билет. Руку помощи ему протянул конечно же небрезгливый Леонид Соболев: секретариат СП РСФСР на одном из текущих заседаний, а то и в порядке *опроса*, келейно, не проинформировав москвичей, отменил исключение. Беспартийный Соболев охотно прислужил Д. А. Поликарпову, полагая, что тем самым унижает Московскую организацию. Но гражданский суд состоялся, приговора не отменить было ни трусливым, действовавшим скрытно покровителям, ни времени.

Над организацией нависла опасность. Сочтены были дни правления Степана Щипачева и — что совсем невероятно для спокойного, не экстремального времени — дни существования партийной организации Московского отделения Союза писателей...

Эльсберг сохранен, партийная организация распущена! Неужели распущена из-за изгнания матерого клеветника? Неужели из-за тщеславия Леонида Соболева, так неуютно чувствовавшего себя в писательской организации, всегда настороженно относившейся к его актерству и фанфаронству?

Нет, поводов было много. В затылок гнилостно дышало меняющееся время. Наступали чиновники, не прощавшие малейшего непокорства, а Московская писательская организация раздражала и настораживала: «Литературную Москву» прикрыли, но покаяния не последовало, услышаны были только гневные обвинительные речи штатных ораторов со стороны. В организации проходили творческие обсуждения, москвичи настаивали на публикации романа А. Бека «Онисимов» («Новое назначение»), поддержали на обсуждении первую книгу «Ракового корпуса» А. Солженицына и добивались напечатания тех глав мемуаров Елизаветы Драбкиной о последних месяцах жизни Ленина, что увидели свет только в 1987 году. Москвичи дружно встали на защиту романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», требовали широкой публикации прозы А. Платонова, а самого Платонова «недопустимо вознесли» на вечере в ЦДЛ, в докладе Юрия Карякина и во множестве выступлений, — вечер памяти Андрея Платонова стал предметом обсуждения на бюро райкома партии, а докладчик, Ю. Карякин, был исключен из партии и восстановлен позднее в парткомиссии ЦК, — десятки известных писателей-коммунистов Москвы встали на его защиту в письме, посланном в ЦК.

Дело Эльсберга прибавило черной, осудительной краски к характеристике москвичей. В ноябре 1962 года Д. А. Поликарпов вызвался провести беседу с членами парткома МО СП, в уверенности, что очная встреча, как это обычно бывало, приведет к покорству, к согласию по всем пунктам его критики. Обрушился он более всего на

Вас. Гроссмана, не только за роман («Жизнь и судьба»), к тому времени по его подсказке арестованный МГБ, но и за святой, хрестоматийный рассказ «Тиргартен». Обрушился на живописцев и кинематографистов, *искажающих* образы советских людей, «прекрасных наших женщин», в то время как, к примеру, «на недавнем совещании рязанских доярок в зале и в президиуме сидели женщины одна другой краше, что называется, кровь с молоком и соболиные брови...».

А мы вознамерились спорить! Стали задавать вопросы, высказали неверие в то, что автор таких книг, как «Степан Кольчугин» и «Народ бессмертен», знаменитых сталинградских очерков, автор романа «За правое дело» мог написать антисоветский, подлежащий аресту роман. Предвзятая критика «Тиргартена» Поликарповым укрепляла нас в убеждении, что изъятый роман также прочитан предвзято, и мы настаивали на своем праве прочитать роман, не принимая на веру чужих оценок.

Наше не предвиденное Поликарповым непокорство было не то чтобы не по нутру ему — он его презрительно, царственно отвергал, не опускаясь до спора, ибо спор сам по себе означал хотя бы минутное допущение иной точки зрения.

Он резко поднялся, сказал, что не намерен обсуждать что бы то ни было, сегодня у него пошаливает сердце. «А мне еще пожить хочется», — сказал он, пообещав, что придет в скором времени для продолжения разговора. Удивленные и даже по-человечески виноватые, что довели Поликарпова до сердечной боли, мы ждали второй встречи, а он, посланный Л. Ильичевым к нам на последнюю разведку, знал, что встреча будет совсем другая, и не на улице Воровского, а на Ленинских горах, во Дворце приемов — встреча с Хрущевым и некоторыми другими членами Политбюро, с секретарем ЦК Л. Ильичевым, в тот год набравшим силу. До этой встречи оставалось недели две, уже подходила к концу ее режиссура, Поликарпову не угрожал спор со «смердами», каковыми он воспринимал нас. На встрече в парткоме он выполнил поручение Ильичева и потребность собственной гневливой души: убедился в том, что мы неисправимы и нет надежды образумить нас.

Вот когда окончательно оформилась идея роспуска партийной организации — крайней меры, редчайшей в истории партии, связанной в прошлом с фракционным падением целой организации. Судьба парторганизации была предрешена, хотя самого решения пришлось ждать более двух месяцев — оно оформилось после второй встречи в Кремле, в Свердловском зале.

Но я не упомянул о главной в глазах начальства вине Московского отделения Союза писателей. Писатели избирали свои руководящие органы — правление, президиум правления, руководителей творческих бюро единственно достойным писательской организации способом: к предположительному списку кандидатов писательское собрание,

общее собрание равных (а не собрание выборщиков, утвердившееся с середины 60-х годов), добавляло и другие имена и список выносился на тайное голосование. Во главе организации, ее руководящих органов оказывались независимые, честные писатели, коммунисты и беспартийные (К. Федин, С. Щипачев, С. С. Смирнов, Я. Смеляков, М. Луконин, Е. Долматовский, С. Злобин, С. Наровчатов и др.).

Избранными считались те, кто получил относительное большинство голосов, отпадали кандидаты, замыкавшие после голосования список. Неизбранными чаще оказывались литераторы, уронившие себя откровенным карьеристским прислужничеством, те, кто особенно усердствовал в преследовании честных, подвергнутых несправедливой критике коллег, кто бесчестно боролся против «Нового мира» и его редактора Твардовского, кто, оставаясь сталинистом по убеждениям, и в новых условиях возрождал типично рапповскую критику. Эти люди продолжали редактировать журналы, секретарствовать в СП СССР, невозбранно издаваться, их по-прежнему одаривали орденами, лауреатством, депутатством и т. д., но москвичи не хотели видеть их в своем руководстве. В наших выборах конца 50-х и начала 60-х годов выразились здравый смысл и политическое здоровье Московской организации.

А отвергнутые были реальной силой. За ними не только власть в журналах (кроме «Нового мира»), в издательствах, но и безоглядная поддержка партийной бюрократии. «Чего ты путаешься с ними? Зачем к ним пошел? — с брезгливой гримасой спросил А. Софронов у М. Луконина, избранного в руководство МО СП. — Они — нищие; деньги у нас...»

В этих словах — весь А. Софронов, лишенный кочетовского фанатизма, готовый к сговору, к вилияниям, к компромиссу и уступке^[49].

Н. Грибачеву Ленинская премия была присуждена за более чем скромное участие в коллективном сборнике о поездке Н. Хрущева в США — «Лицом к лицу с Америкой». Повод, что ни говори, анекдотический и для истинного художника унижительный, но в этой случайности выражена железная закономерность времени. Н. Грибачев был обречен на Ленинскую премию, он двигался к ней твердой поступью, с тем именно наклоном туловища, которого ждало и требовало начальство; обделить его высшей премией страны — значило нарушить что-то в самом устройстве мира, передать некий не сформулированный словами идеал. В щедрых наградах неодаренных литераторов должна была парадоксальным образом выразиться прочность, стабильность самого времени. Казалось, не дай им к сроку — а то и до срока! — награды, не сделай их Героями Социалистического Труда, и что-то в общественном устройстве сломается. Не оттого ли уходили из жизни не удостоенными высокими наград лучшие художники страны, а сноровистые потомки рапповских вожakov купались в сиянии орденов и звезд?

Так сохранялось глубоко запрятанное, ловко маскируемое явление все того же *попутничества* в литературе, а «черной печатью», знаком этого нового попутнического проклятия оказывался талант, его новизна и независимость. Вс. Кочетов осмысливал в глубине души как попутчика Веру Панову с ее «Спутниками», со всем тем, что, по его искреннему разумению, было слабостью, недостатком партийности, «абстрактным гуманизмом».

У немилых москвичам «корифеев» были деньги и власть и способность находить единомышленников в других искусствах, всех тех «реалистов на подножном корму», кто ополчался на поиск, на любую попытку нового, неординарного мышления и любые новые формы реализма. К тому времени догматики и интриганы получали мощную опору: во главе идеологии, как я уже сказал, стал Л. Ф. Ильичев.

Он — режиссер с фантазией и размахом, одна за другой прошли подготовленные им акции: разгром художественной выставки в Манеже, а следом две «дружеские» встречи руководителей партии и правительства с писателями и деятелями искусства. Обе встречи строились по похожему сценарию, с той разницей, что первая, на Ленинских горах, продолжала публичный скандал, начавшийся в Манеже, вторая сосредоточилась на разгроме литературы и литераторов. Во Дворце приемов роль взрывного устройства сыграло подготовленное к случаю письмо отсутствовавшего Вучетича: совесть или чувство неловкости, видимо, помешали Вучетичу явиться в собрание, пред сотни нелюбезных очей, — испытание нелегкое, лучше сказать больным. Скульптор гневался на то, что «Литературная газета» поддерживает, мол, модернистов, печатает статьи в их защиту, а его письму в защиту социалистического реализма места на страницах «Литературки» не нашлось!

Судьба редактора «Литературной газеты» Косолапова, моего соседа по длинному банкетному столу, была решена гневной репликой Хрущева: «Гнать надо таких редакторов!» Для второй, мартовской встречи — она как бы продолжала первую, но уже без угощений, — было тоже испрошено гневное письмо, на сей раз у Ванды Василевской (то ли не приехавшей из Киева, то ли отсиживавшейся в гостинице, от стыда подальше). Известная писательница, дочь польского сенатора, фигура достаточно драматическая, В. Василевская, чья нравственность казалась мне безупречной, гневалась в коротком письме на Андрея Вознесенского, цитируя его мысли из интервью какой-то варшавской газете, находя эти мысли недостаточно патриотичными и опасно либеральными.

По прочтении этого доноса Андрей Вознесенский был «выдернут» из Свердловского зала на трибуну, и началось ильичевское действо, в котором Хрущев мог показаться премьером только на поверхностный взгляд. Из первых рядов, от лиц никому, кроме Семичастного, не

ведомых, полетела в Вознесенского ругань посолонее той, которую обрушил А. Жданов на Михаила Зощенко; из президиума раздавались гневные окрики Хрущева. Вознесенский поворачивался лицом к нему, теряя микрофоны, делаясь для зала сиротливо-беззащитным. Следом к трибуне был вызван художник Голицын, «очкарик», как его окликнул Хрущев, заметив, что Голицын не аплодирует вместе со всем залом, и пошло-поехало...

Не все поняли, что у мартовского спектакля в Свердловском зале была своя сверхзадача; рассчитаться с Московской писательской организацией. Председательствующий Ильичев, «импровизируя», выпустил на трибуну В. А. Смирнова, поднявшегося вдруг с места и от лица писательских масс ставшего поносить МО СП РСФСР, наш партком и недавний пленум, посвященный молодым прозаикам и поэтам. Он громко выкрикивал из зала, а после и с трибуны фамилии Мальцева и Борщаговского, и только минутным затмением ума и памяти Хрущева я могу объяснить, что не был вызван на «ковер» я, так разгневавший в 1940 году Хрущева. Могло быть и иное: в голову не пришло, что Смирнов говорит о человеке, досадившем ему в Киеве критикой пьесы Корнейчука! С чего бы этому человеку оказаться в Кремле в собрании избранных?

Призвали к ответу секретаря парткома Елизара Мальцева, и, понимая всю безнадежность и бессмысленность серьезного спора с распоясавшейся реакцией, с организованной кликой Семичастного, он отлично сыграл этакого Швейка, простака, отвечающего невпопад, так что Никита Сергеевич только руками замахал — иди, мол, какой с тебя спрос!

Судьба партийной организации Московского отделения СП РСФСР была решена: Дмитрию Поликарпову уже не с кем было встречаться, некому оказалось читать лекцию об «антисоветчике» Василии Гроссмане и прочих врагах социалистического реализма.

До самого своего конца Д. Поликарпов не мог простить мне моего недоверия и скептических вопросов на упомянутом заседании парткома, этой последней попытке начальственного давления на «нестандартный» партийный комитет.

Издательство «Графиск форлаг» (Копенгаген) выпустило в переводе на датский язык мою повесть «Тревожные облака» и пригласило меня в Данию на *премьеру* книги.

Возглавлявший тогда СП СССР Алексей Сурков уверил меня, что никаких препятствий к этой поездке не будет, Союз писателей заинтересован в ней, повесть антифашистская, для Дании, страны, испытавшей гнет фашистской оккупации, книга имеет особый смысл. Кроме того, я член правления Общества СССР — Швеция, председатель его литературной комиссии. Документы посланы на оформление, тревожиться мне нечего, можно уехать на две-три недели в Кузьминское на Оке, поработать.

Но едва мои документы попали в ЦК и запрос о поездке попал к Поликарпову, в деле случился крутой поворот

Телефонистка села Кузьминское на Оке срочно разыскала меня — Валя ждала немедленного звонка. Я затревожился: воскресный день, значит, дома что-то случилось.

И правда, случилось: пришел пакет, на конверте почтовые штемпеля Праги, внутри — бумаги из НТС, всякого рода информация о делах «Посева» и «Граней», все на тонкой папиросной бумаге, обращение — хотя и безымянное — с советами, как пересылать литературные материалы, рукописи, запрещенные в СССР, для публикации их, анонимной или авторской, за рубежом.

Все эти материалы — из Копенгагена, куда я как раз и собирался, и адрес для отправки рукописей из Москвы тоже Дания, Копенгаген.

Такие письма присылались в Москву тем, чьи произведения запрещались или подвергались уничтожающей критике. Их, в частности, получили А. Яшин (после разгрома «Рычагов» и «Вологодской свадьбы») и мой сосед В. Дудинцев — автор «Не хлебом единым». Сложилось уже и обыкновение: не задерживать дома этих «подарков», сдавать их оргсекретарю МО СП РСФСР В. Н. Ильину, — за ними тотчас же являлся по вызову спецкурьер.

Но зачем бы НТС присылало свои инструкции мне? Каких рукописей могли ждать от меня деятели «Посева» или редакторы «Граней»? Травля меня времен борьбы с «буржуазным космополитизмом» отошла в прошлое, и едва ли вообще НТСовцы сочувственно относились к жертвам идеологического террора, развязанного антисемитами. Нет я не был нужен «Посеву» и «Граням» Ничего они от меня не ждали, скоро я сумел в этом убедиться.

Валя спросила, что делать с бумагами, привезти ли их в деревню, хочу ли я прочесть все это?

Решение пришло мгновенно: тотчас же, без промедления отнести бумаги и конверт В. Ильину, не откладывая на понедельник, перейти двор и сдать «дары» НТС в дверь квартиры Ильина, напомнив, что бумаги пришли утром, а я в деревне.

Спустя неделю Сурков вызвал меня в Москву и встретил осуждающе-строго: «Что же вы подводите Союз?! Дмитрий Алексеевич изругал меня: оказывается, вы получили из Копенгагена антисоветские материалы и *держите их на груди жаль с ними расстаться*, — это не я говорю, так сказал Поликарпов. Он отказал вам в поездке...»

Я не сразу раскусил механизм провокации. Но надо было защищаться, рассказать, как все обстояло на деле, объяснить, что я по телефону велел жене, не теряя и минуты, сдать пакет Ильину. Сурков позвонил Ильину, через пять минут тот явился, и не с пустыми руками, а с распиской, письменным подтверждением сдачи НТСовского пакета спецкурьеру, вызванному в понедельник утром.

Сурков потянулся было к «вертушке», но подавил желание объясниться с Поликарповым при нас. Тем бодрее он заявил, что, поскольку все это ошибка, недоразумение, он добьется у Поликарпова разрешения на поездку.

В эти минуты я прозрел, понял с ясностью необыкновенной, что об ошибке не может быть и речи. Меня делают жертвой полицейской провокации, но не НТСовской, а внутренней. И все это дело рук самого Поликарпова, ведь к нему сходятся экземпляры таких бумаг, пакетов, все, что в тревоге сдают литераторы, удостоенные вниманием «Посева».

Я напрямик и сказал об этом Суркову. Сказал, что не верю Поликарпову: если ему сообщают о такого рода почтовых получениях московских (и не московских) писателей, то эта аккуратная, исполнительская контора так же неукоснительно должна извещать его о *сдаче*, о возвращении подобных бумаг писателями. Он должен знать, что пакет, полученный в воскресенье, в тот же день был сдан генералу Ильину. Он и знает это, но предпочитает *лгать*, говоря, что я храню подозрительные бумаги «на груди».

Через два дня я снова у Алексея Суркова; он прячет от меня глаза, ему стыдно собственного бессилия, теперь он понимает, что мои подозрения оправдались, но он не смеет сказать об этом вслух. Он мнетя, жметя, уверяет меня, что растолковал Поликарпову все, что тот хорошо ко мне относится, я должен этому поверить... но вместе с тем сказал: «Посуди, Алексей, мне таких писем не шлют и тебе не пришлют, а ему прислали...»

— Он сам и прислал! — не выдержал я. — Неужели не ясно?

— Этого не докажешь. Бумаги из Копенгагена, а ты туда и приглашен. — Он перешел на «ты», подслащивая неудачу. — Все так нескладно случилось. Дмитрий Алексеевич сказал: зачем же мы человека под удар поставим...

Так провокация оборачивалась еще и заботой обо мне, «хорошем человеке», который неосмотрительно претя за чем-то в самое логово НТС!

Очень скоро, по смерти Поликарпова, я съездил в Копенгаген в составе небольшой делегации, приуроченной к двадцатилетию изгнания гитлеровцев из Копенгагена и Дании. Я выступал с лекциями у русистов столичного университета, в газетах печаталась информация о нашей поездке, печатались и рецензии на опубликованную повесть, но, как и следовало ожидать, никто из «Посева» или редакции «Граней» не поинтересовался мною. Хитроумная провокация не имела к ним никакого отношения; она помогла мне окончательно сформировать свинцовый образ столь хвалимого иными старыми, одолжавшимися у него писателями — образ Дмитрия Алексеевича Поликарпова.

Я далек от мысли считать его творцом некой самостоятельной политики в области литературы, рядом не только с Сусловым, но и с

Ильичевым он — исполнитель, но исполнитель столь инициативный и энергичный, что иные важные ситуации если не создавались, то подсказывались, провоцировались им. Это — особая порода партийных честолюбцев.

Есть его прямая вина и в трагедии Пастернака. От него и через него шла вся негативная, взбесившая Хрущева информация после присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Он и явился к Борису Леонидовичу в Переделкино с «высоким» ультиматумом — требованием публично отказаться от премии. Поликарпов на короткое время, на час, может быть два, покинул дачу Пастернака и переждал в Доме творчества, в «преферансной» гостиной на втором этаже. Сидел мрачный, в пальто, накинутом на плечи, ждал назначенной минуты, чтобы вернуться и услышать решение Пастернака.

Посланец был выбран безошибочно: никто не смог бы так давить взглядом, так устрашать, сделать столь мрачным само будущее, жизнь поэта — самым своим появлением.

И пока в двухстах метрах от Дома творчества разыгрывалась драма души Пастернака, трагически одинокого перед силами шантажа и устрашения, в Доме творчества предприимчивые литераторы донимали Поликарпова просьбами об изданиях, квартирах, юбилеях, а он смотрел словно бы сквозь них, мимо, мимо, стараясь угадать, чем же встретит его измученная, изнемогшая жертва *государственного* натиска.

Когда сложился тандем Дмитрий Поликарпов — Леонид Ильичев, литературе и искусству впору было содрогнуться. Даже выделенный лично Хрущевым Александр Твардовский, которому позволено было напечатать и себя («Теркин на том свете») и других, чьи повести и рассказы вызывали разлитие желчи у Поликарповых, — даже Твардовский был смят, выдворен из «Нового мира» при активном участии литераторов-догматиков, бережно пронесших через десятилетия духовные святцы рапповщины.

Надзирателям да воздастся!

Мы были позваны в зал заседаний МГК, уселись за небольшие развернутые ромбом столы, и секретарь городского комитета Демичев объявил волю бюро МГК: партийную организацию МО СП РСФСР распустить, коммунистов поставить на учет на предприятия Москвы. «Пусть трудятся, работают! И не в газетах, не в заводских многотиражках, пусть не ищут уютных мест: в цехах, в цехах, у станков!» Надо было дать понять зарвавшимся писателям-коммунистам, что вина их серьезна, искупить ее можно только на китайский манер — физическим трудом, только в гуще народа.

Поразительное это было действие, попытка административно сформировать судьбы сотен взрослых людей, спасти их нравственность «приобщением к труду народа». У стоявшего за небольшой кафедрой докладывавшего Виктора Сытина пошла кровь носом; зажимая ноздри намочившим кровью платком, он пытался объяснить, что писатели в

подавляющем большинстве стары для цехов и станков, что почти все они с этого начинали свою жизнь еще в тридцатые годы, что они, за малым исключением, участники войны, а многие достигли пенсионного возраста.

Но секретарь МГК соображал не быстро; ему приказано говорить с нами покруче, и он не попустит, не даст поблажек! А когда смысл настойчиво повторяемых Сытиным слов дошел до него, он изрек, обращаясь к аппаратным работникам и членам бюро МГК: «Проверьте по спискам. Старики пусть себе оформляются по месту жительства, а кто помоложе — в цеха, в цеха!» Трудно ему было расстаться с маниакальной идеей.

И во все эти годы — пробудившихся надежд, горестных разочарований, возобновившихся гонений, в пору, когда награды и почести как из рога изобилия повалили на прислужников всех рангов, когда талант упал в цене настолько, насколько стало цениться усердие, когда литературу выстроили по четко разграниченным ярусам власти, влияния, издаваемости и обеспеченности, — фатоватая и тяжелая фигура Леонида Соболева возникала повсюду, и всегда поближе к начальству, чтобы по взгляду понять, угадать, какое слово, какая клятва, какая политическая хлестаковщина сегодня окажется в цене.

Когда подвыпивший во время «дружеского» дачного приема писателей Никита Хрущев грубо оскорбил Маргариту Алигер (она была членом редколлегии «Литературной Москвы»), а писательская братия трусовато смолчала и только Мариэтта Шагинян демонстративно ушла из-за стола и отсиживалась в автобусе, — в тон Хрущеву изощрялся один Леонид Соболев, работал *рыжим у ковра*, усердствовал вдохновенно, в очередной раз заслужив государеву похвалу.

44

В январе 1953 года мы, рядовые армии обманутых сограждан великой страны, не знали, что 12 августа 1952 года уничтожили писателей, поэтов и актеров — деятелей Еврейского антифашистского комитета. Слухи ходили мрачные, поговаривали о поголовных списках евреев, подлежащих высылке в районы Севера и Дальнего Востока. На исходе года 1952-го прошли аресты «убийц в белых халатах», и не рядовых, а врачевавших верхушку советского руководства и самого Сталина. Образ «врачей-отравителей» предлагался обывателю в расчете разбудить гнев масс, сделать их способными к действенной и решительной «самозащите». Атмосфера накалялась: в автобусах, троллейбусах, в метро, на улицах Москвы и во дворах.

Оптимист по натуре, веривший в добрые, а не злые приметы, в решительное большинство добрых, а не злых людей, я был потрясен сообщением ТАСС от 13 января 1953 года о раскрытии

террористической группы в стране: «...большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией „Джойнт“, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву „об истреблении руководящих кадров СССР“ из США от организации „Джойнт“, через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Виноградов В. И., Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время».

Прошло ровно пять лет — день в день — со времени убийства Михоэлса (13. I. 1948 г.) Он был похоронен с великим почетом, оплакан истово, лучшие люди русского и всего советского искусства скорбно склонили головы перед его прахом. В Доме актера прошел вечер его памяти, имя Михоэлса повторялось стократно, почтительно и с любовью. И вдруг — «известный еврейский буржуазный националист»!

Можно ли было обойтись без этой грязной, невежественной выдумки, изобличающей нищету духа палачей?

Можно было. Но преступному следствию, озабоченному отработкой ложной, фантастической версии, показалось заманчивым, чтобы «директивы „Джойнта“» врачу Вовси передавал его брат, знаменитый артист Михоэлс-Вовси. Михоэлс мертв, а мертвый свидетель в неправоправном суде так удобен! Чем размашистее ложь, тем больше она должна впечатлять! — уж если отважились сказать страшную правду о всеобщем любимце, значит, и впрямь дело нешуточное. И еще: надо же было как-то наказать мертвого Михоэлса за нелепое положение, в какое попал сам Берия, поспешив предложить вздорную версию гибели артиста «Автомобильная катастрофа»! Версия и часа не могла продержаться перед лицом здравого смысла, все кричало: «Убийство! Убийство!» — а обнаглевшие от безнаказанности убийцы мстили Михоэлсу за свой бездарный промах.

Мир не поверил сообщению ТАСС от 13 января 1953 года; не поверили и те за рубежом, кто традиционно числился в друзьях нашей страны. Преступлению «убийц в белых халатах» не поверила даже международная организация юристов-демократов, последовала просьба, а затем и настоятельное требование о допуске их на предстоящий процесс.

Готовился ли этот процесс с повторением старых, испытанных в трибуналах 30-х годов средств — пыток, провокаций, запугивания

уничтожением всех близких и т. д., или организаторы его намеревались обойтись закрытым «слушанием», — этого мы не знаем.

Суд над врачами-«террористами» замаячил где-то впереди, называли даже и время — первую декаду или середину марта 1953 года, и обструкции Вышинскому на сессии ООН достигли такого накала, что главе советской делегации впору было убираться из Нью-Йорка.

В редакции «Правды» лихорадочно готовилось письмо, которое должны были подписать евреи, чьи имена и заслуги были известны стране и миру. Цель письма заклеить банду отщепенцев, «врачей-убийц», и от имени всех остальных евреев гневно отмежеваться от «подонков и преступников», выразить верность социализму и великому вождю народов. В «Правде», среди прочих, письмом занимался Я Хавенсон, заведующий одним из отделов редакции, а мне по случайности пришлось в самый разгар событий стать их свидетелем.

Поздним вечером к нам в городок Моссовета позвонил генерал-лейтенант Драгунский, командовавший в ту пору Закавказским военным округом. Его срочно вызвало начальство, с предписанием прямо с аэродрома явиться в «Правду» к Хавенсону. Драгунский прилетел в Москву, примчался в редакцию и вскоре, по его рассказу, отправился за подписью к Эренбургу. (По другой версии, к Эренбургу под Истру повезли академика Минца с той же миссией.) Позиция Ильи Григорьевича разгневала Драгунского: он возвратился в «Правду» с исчерканным текстом письма и уехал в гостиницу «Советская», куда и позвал нескольких друзей, в том числе и нас с Валей.

К приезду Драгунского в «Правду» под письмом уже стояли некоторые подписи. Имен я не назову, опасаясь ошибок моей памяти или оговорок генерала. Драгунский сердился на Долматовского, тот решительно отказался подписать письмо, утверждая, что он русский поэт и хочет таковым остаться в сознании своих читателей, что он — *частица советского народа*, а не полномочный представитель еврейской нации. Драгунский искренне не понимал, как можно пренебречь подписанием спасительного письма, гордого заявления о преданности граждан еврейской национальности советской власти, революции и тем «руководящим кадрам СССР», извести, истребить, отравить которые вознамерились презренные Вовси, Коганы и Фельдманы!

О том, что письмо это — смертный приговор несчастным, ни в чем не повинным врачам, приговор еще до начала судебного процесса, что подписавшие его предадут чужие жизни, никто из сторонников этой акции не думал, ибо не позволял себе подвергнуть малейшему сомнению официальное сообщение ТАСС: оно обнародовано, следовательно — справедливо.

Прозорливый Эренбург, хорошо усвоивший за жизнь, как коротка дорога от *милости к немилости*, не отверг письмо с порога, а принялся редактировать текст, вычеркивать одни фразы, менять другие,

смягчать третьи. К концу редакции на узнать было письма, оно теряло смысл.

Однако недавно в книге воспоминаний Саввы Головановского о друзьях и современниках я обнаружил другую версию отказа Эренбурга от подписания правдистского письма. Версия услышана Головановским от самого Ильи Григорьевича, она исключает какую бы то ни было редактуру Эренбургом текста письма. Привез письмо под Истру на дачу Эренбурга академик Минц, и под письмом якобы уже стояли подписи Кагановича, Мехлиса и Ванникова. Академик не был допущен в кабинет Эренбурга, «а подали ему вино и печенье в „предбанник“, где стоял столик и были стулья» (из письма С. Головановского от 17. II. 89 г.).

Эренбург отказался подписать письмо, и Минца увезли.

Приходится принимать во внимание и этот вариант, как ни сомнительно, чтобы сверхосторожный академик Минц отправился под Истру, отлично понимая, что ему там будет оказан оскорбительный прием. И еще более сомнительно, чтобы член Политбюро, соратник Сталина Каганович так, за здорово живешь, подписал с десятками других людей письмо в «Правду». Разве что по «совету» самого Сталина, но ведь скоро выяснилось, что письмо это Сталину вовсе и не по душе, уже он не склонен был делить евреев на плохих и хороших, выяснив, что все они плохи!

Хочу обратить внимание еще на весьма правдоподобный и точный рассказ об этом событии — рассказ одного из строптивых его участников.

Долматовский был приглашен в «Правду» к Хавенсону для подписания письма, но не подписал его, действительно сказав, что он русский поэт, русский писатель, такова его суть, он исповедует позицию свободной ассимиляции и полного вхождения личности в жизнь и культуру любой другой нации...

По его рассказу, когда он на своей «Победе» отъехал от редакции «Правды», за ним тронулась и все время висела «на хвосте» другая машина, она и остановилась у дома в Лаврушинском переулке, словно припугивая его.

На возможность «больших неприятностей» (ареста) ему намекнул и догнавший его в коридоре «Правды» редакционный работник Минц, однофамилец законопослушного академика. Более того, вскоре этот Минц, помогавший Хавенсону, специально приехал к Долматовскому домой, все с тем же требованием подписи. Не оттого ли, что в «Правде» активно занимался письмом некто Минц, однофамилец академика, родилась легенда о поездке академика Минца под Истру, не правдистский ли Минц ел печенье в «предбаннике»?

По словам Долматовского, письмо кое-кем успешно подписывалось, и в конце февраля лица, подписавшие его, были собраны в «голубом» зале «Правды» для торжественной церемонии коллективного одобрения письма, с произнесением речей. Письмо и отчет о митинге

были уже набраны, стояли в полосе «Правды», но началась агония Сталина, и все рухнуло.

Еще Долматовский вспоминает, как его поступок — неподписание письма — по-дружески поддержали Борис Рюриков (его кабинет был неподалеку от кабинета Хавенсона), а вскоре и встретившийся Долматовскому Д. Т. Шепилов.

Разночтение версий только в том, какова была истинная причина отмены публикации письма: помешали ли этому агония и смерть Сталина или нежелание его пойти и на такую «уступку»? Почему Сталин не позволил печати прибегнуть к испытанному средству «идейной борьбы»? Можно только строить предположения, и одно из них, на мой взгляд наиболее вероятное, заключается в том, что больному, сатаневшему мозгу Сталина уже не нужны были и преданные, законопослушные евреи, не хотелось выслушивать слова их покорности и любви. Они были ему так же противны, как и лисья шуба, привезенная в подарок из Нью-Йорка. Уже он выше соображений тактики — старый, раздражительный, гневливый человек с размягченной лобной долей мозга; не провидя столь близкого своего конца, он жил с крайним, «пограничным» упрямством и ожесточением. Ему не нужны евреи — ни в Москве, ни в других больших городах, никто из них, кроме десятка-другого мировых знаменитостей. Если он бросил в застенки своих лечащих врачей, предал их анафеме и гибели, — что ему до всего оставшегося кагала, до народа, так досадившего ему за жизнь красноречием, мыслями, программами его бывших противников, упрямых, ироничных, но, слава богу, уже загнанных им в могилу спорщиков!

45

В Ленинграде будто бы снова набирался роман, но я уже знал, как просто превращаются сверстанные листы в «блоки» («Политика дороже денег!»), словно бы существующие и все же не существующие подобия книги.

Один такой «блок», утаенный мною, какое-то время тешил глаз, скорее — ладонь и пальцы. Реальность была лишь в прикосновении к бумажной глухой обложке и ровному книжному обреза страниц. Пальцы тешились, а мысль кричала, что за десятком таких «блоков» (сколько их было оттиснуто для издательства и начальства?) уже нет металла, нет свинцовых, сложенных в прямоугольники и связанных страниц. Уже это — призрак книги, бестелесная тень...

Новые замыслы тревожили, но сотни страниц романа веригами висели на мне, психологически я не был готов воспользоваться мудрым советом Александра Бека: что бы ни происходило с уже написанной книгой — писать новую и тем спастись от гибели.

В марте 1953 года я расстался с единственным «блоком». В Киеве тяжело болела сестра, Генриетта Михайловна, для нас, близких и знакомых, Эся, Эсенька, как нарекла ее бабушка. В голодные тридцатые годы в Перми, на строительстве, она заболела туберкулезом, но успешно сопротивлялась болезни в военной нужде и скудости. А после войны ее и всех нас потрясло несчастье: в Росі утонула ее дочь, подросток, оставленная на лето в Белой Церкви у дедушки. Эся особенно терзалась тем, что девочка просилась в Киев, я звал ее, но ее уговорили побыть еще недельку у деда, и теперь тиранила мысль, что, уехав в Киев, дочь была бы жива. Измученная горем, терзаниями несуществующей вины, Эся решилась вновь родить и снова родила девочку.

Теперь болезнь вновь накинута на нее, уложила ее в больницу, раз и другой, а когда нас в Москве выбросили из квартиры и матери пришлось вернуться в Киев, жизнь семьи вчетвером в маленькой комнатке сделалась трудной и горькой.

Мне не в чем винить себя: я расстался с матерью только в самой крайности и забрал ее в Москву, как только получил первый угол — сырой, полуподвальный, но свой. Забрал в Москву, но сестры уже не было в живых, — в ее гибели тоже есть вина моих преследователей-подонков — все могло быть по-иному. Большую часть первых денег — аванса из «Советского писателя» — мы истратили на лекарства для сестры. Тогда только появился «фтивазид», и немного необходимого ей лекарства я получил, добившись приема у заместительницы министра здравоохранения СССР, но бóльшую часть приходилось покупать у спекулянтов на черном рынке.

Эся была страстным и неутомимым книжником в нашей семье, читать начала в четыре года и читала всю жизнь, в любых, самых немыслимых условиях; читала все подряд, классику, русскую беллетристику, переводную литературу, на первый взгляд проглатывала все неразборчиво, а на самом деле вела свой безошибочный отбор, хорошо знала цену разным книгам.

Дважды, приезжая в Москву по службе, она находила нас в Лосиноостровске, и всякий раз я не мог дать ей свою рукопись, у меня не оказывалось свободного машинописного экземпляра. Сестра прочла издательские рецензии, верила и не верила «чуду»: с чего бы это я вдруг сочинил роман, да еще исторический, требующий опыта и знаний, которых, что ни говори, не дала мне белоцерковская семилетка.

Сестру надолго положили в больницу, я гнал от себя опасение, что весны 1953 года ей не пережить. В письмах она спрашивала о романе, кажется, уже не веря в его реальность. И я решил отослать ей единственный «блок», на нее он должен был произвести впечатление. Это уже книга, набранная, напечатанная, сброшюрованная, только что без твердого переплета.

Послать по почте я не решился, не зная, отменен ли «надзор» над моими почтовыми отправлениями, заведенный в феврале 1949 года. Ведь «блок» — незаконный двойник книги, нечто предосудительное, противоправное, уклонившееся от окончательной цензуры и разрешительного штампа, он предмет служебного пользования. Увесистая бандероль с таким странным вложением не добралась бы до сестры.

Неожиданно нашлась оказия. У гостиницы «Москва» я встретил своих учеников по Киевскому театральному институту — Юрия Тимошенко и Фиму Березина. У нас сохранялись самые добрые отношения и на Юго-Западном фронте, и во все годы после войны, — вот кому я без колебаний мог вручить «блок», втолковав им, что надо его срочно доставить в больницу, состояние сестры критическое, с передачей книги нельзя медлить...

Увы, славные мои друзья оказались не на высоте, хотя сестра прожила еще двадцать семь дней. Им помешали суетность жизни, желание показать эту «почти книгу» десяткам наших общих киевских друзей, бывшим моим студентам, слушавшим мой доморощенный факультативный курс истории и теории драматургии. Помешало желание самим прочесть книгу и, наконец, невозможность в молодую здоровую пору представить себе больничную агонию и чью-то близкую смерть. Когда они хватились, сестры уже не было в живых.

Сталин умер, оплакан страной, но нет прочности ни в чем, нет и предположительного ответа на вопрос, как будут развиваться события, прощены ли будут теперь, по смерти «друга всех народов», «беспачпортные бродяги в человечестве», прощены, разумеется, не вполне, кому придет на ум требовать такое! — а так, чтобы жить, существовать, работать.

Время оставалось смутным, и не потому вовсе, что мрак или угрюмость не уходили из нас. Мы были готовы к жизни скудной, умели радоваться и в самые тяжкие годы. Но страшное напряжение, способное исказить душу и сломить натуру, не оставляло нас.

Задолго до казни палача Рюмина и вскоре после смерти Сталина было объявлено о невинности врачей, но еще не было сил и отваги громко, вслух порадоваться этому. Счастье? Да! Но что кроется за этой поспешностью, чья воля продиктовала акт справедливости? Не новая ли ловушка за этим?

...Ночью меня поднял телефонный звонок.

Окна двухэтажного барака смотрят в пустырь, близко Ярославское шоссе, не знающее и ночами покоя. Железнодорожный переезд, унылое пространство припорошенных снегом огородов, зимой обозначенных кольями с проволокой, ржавыми кроватными спинками, кусками фанеры. Звонок городской, московский.

Теперь меня не станет разыскивать новый Шепилов, чтобы обрадовать добрыми вестями о романе Добровольского.

Звонок-ошибка, кто-то набирал в темноте или спяну.

Первое желание — не брать трубку. Ночные звонки не для живущих заботой доброго друга, Бориса Костюковского, но живущих без прописки, в постоянном напряжении, не для людей, задержавшихся на серой кромке столицы только благодаря беспечности милиции.

Все, что может случиться в издательстве, случается днем, днем мне и позвонили бы.

Все-таки снимаю трубку. Борис Яковлев, добрый товарищ, всегда первым узнающий обо всем. Он все еще тесно связан с московским газетным и журнальным миром, так тесно, что, кажется, и в одиночной камере узнавал бы новости раньше киоскеров «Союзпечати».

— Спите! В такую ночь спите! — презирает он меня. — Я вас поздравляю, Саша: врачи освобождены!..

Отвечаю не сразу, осмотрительно-холодно:

— Почему вы меня поздравляете? Мне-то что?

— Врачи, «врачи-убийцы» признаны невиновными! Поймите! — надывается Борис.

Снова пауза.

Никогда особенно не трусил, но молниеносно обдумываю ситуацию: откуда он звонит глухой ночью? Из дому, что на Соколиной горе?

Ему подкинули ложный слух и теперь прослеживают, кому он звонит, кого может *обрадовать* такая новость... Зная общественную активность Бориса, огромный круг его друзей и знакомых, я в этот миг почти ненавижу его: сколько же беды он натворит!

Снова говорю ледяным тоном:

— Неужели из-за этого надо меня будить? По-моему, вы рехнулись: разберутся с ними без нас, если невиновны — отпустят.

— Нет, Это вы сошли с ума! Понимаете, что это конец провокации? Мне товарищ из редакции позвонил, газета уже печатается.

— Кто звонил?

Он называет ничего мне не говорящую фамилию.

— Вас могут обмануть, Борис. Спровоцировать.

— Чего ради?! — уже кричит он. — Зачем? Я вам *первому* звоню.

Зачем? Этого я ему не скажу. И не прощаю дурацкой огласки, что звонит мне первому. Я напряженно вслушиваюсь: не из редакции ли он набрал мой телефон? Не услышу ли я мужские голоса, дома у Бориса дети, жена, мать, прекрасная, гордая Елена Петровна, давно потерявшая мужа на Лубянке; дети наверняка спят.

А что, если Бориса взяли и звонит он с Лубянки, его заставили вести этот лабораторный эксперимент, измерение политической «температуры» сомнительных?

Понимаю, что это не так, голос выдал бы Бориса, а его тон непринужденный, ликующий, — все понимаю, но подсознание

настороже. И я не стыжусь своей холодности, осмотрительности, не устыдился этого ночного разговора и утром, добежав до газетного киоска, убедившись, что сообщение напечатано. Не стыжусь и сегодня. Так складывалась затравленная, испоганенная жизнь, так изменялась не степень мужества, а, кажется, сами нервные клетки.

Жизнь среди провокаций, нелепых, преступных обвинений, которые тем не менее невозможно опровергнуть иначе как *исправившись*; сама возможность встретить на пути грузного вельможу-литератора, который будет публично лгать о прошлом, о тебе и твоём труде, лгать вдохновенно, прикидываясь знатоком; сознание, что в издательство, с которым были связаны все твои надежды, являются с угрозами и знакомые Софронов, Первенцев или Суров, и какие-то еще неведомые мне доброхотные загонщики, требующие, чтобы Союз писателей не позволил мне «ускользнуть» в прозу, — такая жизнь не может не обострить в человеке чувства опасности.

А все еще нет ясности относительно «безродных» (на нынешний лад — «масонов») — пришел ли час облегчения или, напротив, не знать им отныне пощады? Можно ли печалиться их судьбой, когда страну сотрясают рыдания по потере высшей, сущей, Единственной. Большая *мировая* игра потребовала каких-то уступок, пришлось освободить врачей, однако же арестован Иоганн Альтман, в лагерь упрятан Саша Исбах.

В марте и случилось нечто такое, чего не объяснишь недоразумением или прихотью руководителей Союза писателей, — я уже вскользь упоминал об этом.

Как ни велика вина Фадеева в трагедии 1949 года, повторяю, его сотрясали не антисемитские страсти. Он хотел проучить непокорных, а что большинство из них оказалось в театральной критике евреями, этого ему было не исправить и не изменить.

Но вот март 1953 года, умер Сталин, а кто-то с достаточно большой высоты, откуда позволено командовать Союзом писателей, приказал избавиться от «балласта», от критиков и литературоведов, не проявивших в последние годы творческой активности. Молчащие прозаики, давно не публиковавшиеся поэты, драматурги, отвыкшие от света рамп, были прощены. В этих жанрах не подберешь подходящую группу лиц, однородную по национальному составу. С критиками все оказалось проще: легко нашлось более семидесяти молчащих критиков, с ними Союз писателей готов был расстаться без печали, они ведь оттого и молчали, что печататься им было запрещено. Цифру назвал докладчик Виталий Михайлович Озеров, перечислив для наглядности 10-12 кандидатов на изгнание, сопровождая их фамилии краткими комментариями.

В злонамеренном бездействии обвинялся Гурвич, которому чудом удалось напечатать начало журнальной статьи, мгновенно разгромленное и преданное анафеме. Ушел в ленинградскую

типографию текст моей книги, и находчивый В. Озеров заявил: «Критики Борщаговский не пишет, романами, видите ли, занялся...»

Это была сознательная ложь. Мы получили письма, предупреждавшие о предстоящем собрании, с просьбой сообщить, что нами напечатано в последние годы и что пишется. Понимая близящуюся угрозу, каждый, посетовав на то, что мы не имели возможности печататься на протяжении четырех с лишним лет, сообщил и о том, какие рукописи, какие статьи написаны и лежат в столе.

Наши ответы никого не интересовали. Даже мой рецензент и защитник Алексей Сурков, еще недавно ратовавший за роман, отступился от меня, ушел в глухую и постыдную самозащиту. После доклада Озерова я спросил у Суркова, председателя этого собрания: как все это понимать? Ведь я написал роман, перевел на русский четыре повести Мажита Гафури, что случилось?..

Сколь высокой должна была быть *команда* гнать нас из Союза писателей, если Алексей Сурков, глядя мимо меня, хмуро ответил, что все правильно, Виталий Озеров прав, никакого нарушения нет, принимали меня в Союз писателей как критика, критической «продукции» я не даю, а выйдет роман — меня снова примут, уже как прозаика.

Виталий Озеров только расправлял крылышки, воспитанник нашего «пажеского корпуса» был бескрасочным, заурядным функционером, готовым осуждать, карать или миловать по первому кивку начальства любого ранга.

...Я покинул собрание, не дождавшись прений, которых, кажется, и не было. Уехал в городок Моссовета с сознанием, что рухнула последняя легальная опора жизни, отныне мне негде взять и пустяковой бумажки, справки, за которыми до сих пор я мог прийти к доброму человеку Тарakanову. Мифом, странной, непрочной памятью сделался и роман. Правда ли, что где-то его набирают, держат корректуры, ждут верстки, вернее, не ждут, а хмурятся в предвидении такой возможности, не зная, под каким предлогом придется на этот раз сбрасывать сотни страниц в металл; позволит ли Агитпроп ЦК заматрицировать их до лучших времен, или подойдет пора ставить на книге точку.

Потеря невелика: я мог и не написать этой книги.

Никакие расходы (ведь не личные деньги, а казенные, государственные!) не помешают Лесючевскому вновь и вновь задержать выход книги или отменить его навсегда. Даже у К. Горбунова, с его скрытой претензией на принадлежность к литературной элите, даже у М. М. Корнева, словно бы случайно оказавшегося на ниве литературной, были свои пристрастия, привязанности, живое чувство долга; Лесючевский весь был недремлющий расчет, холодное лавирование, готовность предать.

Ничего общего с Чагиным. Петр Иванович не вписывался в новые времена: перестав быть хозяином «дела», он вынужденно запутывал простейшее; хотел добра, но не справлялся с ситуацией; мучительно ждал минуты, когда можно будет, окончив день, бежать из оказавшегося издательства. Лесючевский весь, до последней клетки, был слит с пафосом оказывания, был его певцом, все теснее увязывал каждый свой шаг не только с начальством Союза писателей, но и со Старой площадью.

Вынужденное бездействие, невозможность заглянуть за стены ленинградской типографии, убедиться, что набор книги не остановлен телеграммой из Москвы, обреченные и почти бестревожные мысли, что вот с сегодняшней или завтрашней почтой придет выписка из решения секретариата СП СССР об исключении меня из Союза писателей, — вот чем были наполнены дни. Поразительно, но подобный приговор из секретариата СП СССР не показался бы мне чудовищной несправедливостью — ведь романа нет, а другие мои книги и полунаучные работы — театроведение, которому я давно изменил.

Так снова и снова, уже написав объемистую книгу и зная (нет, не зная, скорее чувствуя), что я мог бы писать и не совсем чужд литературе, я как бы внутренне снова примеривался к отъезду, к провинции, к какому-нибудь другому труду, который дал бы хлеб семье. Только не завлитом, только не в театр — здесь разочарование было сокрушительным.

Меня вывела из оцепенения телеграмма: умерла сестра. Только что врачи пообещали ей жизнь, даже позволили выйти в больничный парк, посидеть под нежарким солнцем ранней весны, и вдруг стремительно развивающийся отек легких и в два дня — смерть.

В Киеве, куда я помчался, все представилось в новом, жестоко обнаженном свете: сдержанная печаль ее мужа, давно отдалившегося от нее, хоронившего скорее собственную молодость, красивую и некогда общую у них, и скорбь сослуживцев сестры, плачущих, потрясенных так, будто именно они потеряли самого близкого человека...

А мы снова оставались без жилья, «лимит милосердия» исчерпан. Борис Костюковский и так сделал для нас невозможное, но подошли сроки, назначенные жизнью. Шуре с сыном и дочерью пришлось уехать из Иркутска в Москву, в квартиру, где они так надолго приютили нас.

Кто-то из киевских друзей рассказал мне после похорон сестры о Ходорове на Днепре, выше Канева, — о тамошней дешевизне, о старице и плавнях на ходоровском левобережье, и у меня созрело решение уехать туда на лето, убежать, оборвать все, уехать с девочками, с матерью, с пятилетней дочерью умершей сестры, вознестись в Ходоровский рай, а вместе с тем и в неизвестность.

Спустя годы я придаю какую-то систему событиям тех дней, а тогда было смятение, горечь, шаткость любого из житейских вариантов.

...Как-то в Лосиноостровске, ранним июльским утром 1950 года, выйдя на бревенчатый, с сорванными половицами остов балкона, я увидел на садовой скамейке военного моряка-офицера. Он бросился ко мне, я не сразу узнал брата моего отца Липу. Леопольда Исааковича Борщаговского, полковника медицинской службы.

Он приехал в Бабушкин (Лосиноостровск) на одной из первых электричек и терпеливо дожидался нашего пробуждения, угадывая, мною ли посажены грядки лука, редиски и два десятка помидорных кустов. Наш адрес он раздобыл через издательство, кто-то в Ленинграде сказал ему о книге, назвал «Советский писатель», это дало ключ к поискам. Мы провели с ним счастливые часы, сколько позволила Липе служба. Ушли его страшные тревоги обо мне: жив ли я, не «выселен» ли из Москвы (об этом ему в Ленинграде говорили не раз), не оставила ли меня Валя (такие слухи держались стойко), не сломлен ли я случившимся? Что ж, он нашел на Медведковской улице счастливых тогда людей, баловней судьбы: книга дописана, сдана, возникла иллюзия будущего благополучия (скорого, непременно скорого!), «Советский писатель» решился испробовать меня как переводчика прозы; Валя научилась прятать и от самой себя тревоги и была неотделима от меня, проницательный Липа ощутил это тотчас же, еще и по тому, с какой родственной нежностью и доверием Валя встретила и его самого. Они с первой же минуты стали друзьями, так, будто знали друг друга много лет. Скоро проснулись и девочки — Светлана, Аленушка, которой шел третий год, и Липа увидел семью — дружную, без раздражительности или душевного неурейства.

Начало года 1953-го выбило почву из-под ног. Мартовские события в Союзе писателей подтверждали худшие предположения.

Нужно было бежать из Москвы, освободить близких друзей от нравственного долга помогать нам, вырваться из того мучительного круга, каким стала для меня моя книга — вся в рубцах, истерзанная, изруганная челядью Лесючевского, казавшаяся мне теперь уродливо пухлой и никому не нужной.

И мы бежали в село Ходоров на Днепре.

Где-то на задах хозяйского огорода, в тени разросшегося у изгороди вишенника, чуть отойдя душой, я писал пьесу «Дом в Благодатном», — спустя год Валя удачно нарекла ее одним словом «Жена», под этим именем она и игралась потом в театрах Москвы и Ленинграда. В Ходорове все для меня было желанным отдыхом, даже то, как приходилось в толпе, с дебаркадера брать на abordаж пассажирский пароход, чтобы, если повезет, купить в буфете хлеб, пусть черствый, но хлеб, которого в Ходорове купить было негде.

Наступил день в последней декаде июля, знойный ходоровский день, — мы с Валею и девочками провели его за Днепром на старице, на прогретых солнцем песках, в камышах и под тенистыми вербами, в первозданном счастливом мире, который и знать не хотел о черных тревогах жизни, — когда, вернувшись, нашли в хате большую почту.

Липа прислал из Ленинграда — именно он, а не издательство! — тяжелую бандероль; экземпляр только что вышедшего «Русского флага». Я листал том со странным чувством отчужденности книги от меня, — все в ней уводило меня в прошлое, в прожитое когда-то с моими героями, и ничто не смотрело в будущее, ничто не обещало его, так, будто выход книги не есть начало чего-то, а только завершение, конец, вздох усталости. Некое средостение между мной и книгой, возникшее в ту минуту, никогда и не разрушилось до конца — книга не сливалась вполне со мной.

Верно, это месть, наказание за вынужденную самой жизнью поспешность, стремительность, с какой я проделал эту работу.

Судьба не дала мне и получаса успокоительных, самонадеянных иллюзий. Вот что в тот же день я прочел в пришедшем с почтой письме Бориса Яковлева: «С неделю назад на одном весьма солидном собрании Вадим Кожевников выступил с речью о... „Русском флаге“. Сначала оратор заявил, что главная задача нашей пропаганды и литературной критики это борьба против „культа личности“. Засим обрушился на злобинского „Степана Разина“, заявив, что это книга порочная и вредная, ибо она проповедует злокозненный культ личности. В заключение сообщил, что вышедшая недавно книга такого-то „Русский флаг“ в целом написана „с чуждых нам, марксистам, идейных позиций“, ибо „проповедует культ личности“. Основываясь на сем, оратор призвал собравшихся к соответствующей газетной акции. Выступление это на собрании было по счету последним, не вызвало никаких откликов, и к нему можно было бы отнестись с полным безразличием, если не видеть в нем подлую попытку сформировать авансом общественное мнение и повлиять на весьма занятых газетных людей, которые, быть может, и не удосужатся сами прочитать столь объемистую книгу... Вы можете понять охватившую меня тревогу». И далее недоумение: «...каким образом безгеройный роман, на страницах которого действует множество исторических и вымышленных лиц из всех классов общества, можно обвинить в злокозненном „культе“?»

К этой поре я хорошо знал, что обвинить можно любого и в любых грехах, было бы желание и хотя бы небольшая власть и самые примитивные средства оговора. Я вспомнил добрый порыв А. Твардовского, его искреннее намерение рекомендовать роман Вадиму Кожевникову, редактору «Знамени», и мой мгновенный отказ от этого соблазна, острое ощущение опасности. Теперь мне не пришлось сожалеть о таком решении.

А третье, задержавшееся отправкой письмо (от 13 июля 1953 г.) было от незнакомой мне Нины Ивановны Бузикошвили из «Советского писателя», со странным предложением «принять участие в литературном переводе романа эстонского писателя А. Хинта „Берег ветров“».

Уже три литератора приложили руку к этому переводу: отступился Георгий Шторм, оставались Даниэль («доверенное лицо автора») и Линда Фатеева-Сойвер, и гонорара на мою долю приходилось всего по... 33 рубля 33 копейки за авторский лист. «...Зная Вашу работу по Гафури, зная ее оценку с точки зрения соответствия перевода оригиналу, я и предложила Вашу кандидатуру в качестве переводчика романа Хинта. Здесь будет чисто языковая работа. Этот роман одно из самых лучших произведений эстонской литературы, и не только эстонской. Автор — настоящий писатель, и это действительно настоящее, полнокровное произведение. И тем более важно передать его как можно ближе к оригиналу, но хорошим русским языком».

Да! Да! Да! — ответил я незамедлительно телеграммой.

Я ответил бы согласием, даже если бы пришлось делать эту работу бесплатно или за символические 3, а не 33 рубля. Меня искали, господи, меня искали, меня уговаривали взяться за работу, мне без колебаний доверяли книгу, которую нужно перевести не кое-как, а «хорошим русским языком»!

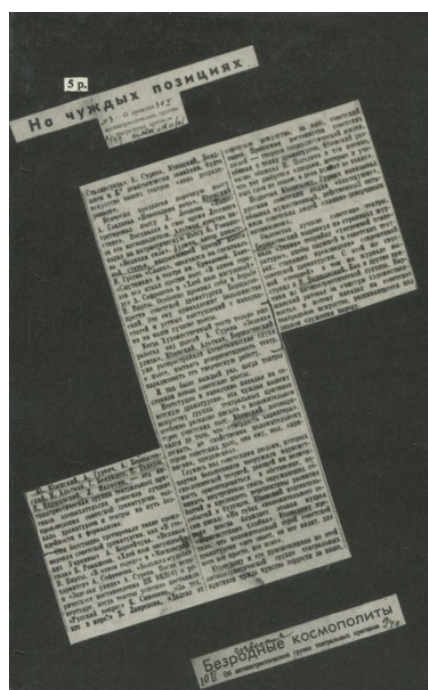
Я быстро собрался в Москву, один, оставив Валю в Ходорове, лицом к лицу со всеми сложностями, которые она умела преодолевать успешнее, чем я.

Выехал я из Ходорова в соломенном брыле, заросший, не брившийся уже больше месяца.

Наступил август, через два месяца мне исполнится 40 лет. В парикмахерской на Крещатике мастер спросил, сбривать ли и усы, и я, не задумываясь, ответил: усы оставьте. Поразительно, что мой отец обзавелся усами в 1922 году, когда ему исполнилось ровно 40 лет! Может ли такое быть заложено в генетической программе?

В плацкартном вагоне, на боковой полке, я ехал в Москву, на этот раз не ведая, что ждет всех нас с наступлением зимы.

Но это уже частная хроника семьи, одной из семей, захваченных событиями времени. Так история, о которой я решился рассказать, завершилась.



Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)
 Оставить отзыв о книге
 Все книги автора

notes

Примечания

1

«Октябрь», 1988, № 12, с. 66.

2

Правда, Сталину хотелось, чтобы сценический «рапорт» о победе социализма и продвижения к коммунизму был несколько серьезнее, солиднее, и вот какие вдохновенные, «крылатые» фразы он дарит от себя пьесе: «налог теперь будут брать не от количества скота, а от количества гектаров колхозной земли» и «разводи сколько хоть колхозного скота, налог остается тот же» («Октябрь», 1988, № 12, с. 66)!

О «капризности» ума Сталина и ограниченности его взгляда на искусство можно судить по тому, как он, назвав «В степях Украины» «замечательной штукой», за несколько лет до этого оказался «не очень высокого мнения» о пьесе «Самоубийца» Эрдмана — поистине классическом произведении нашей драматургии.

3

Здесь и далее в книге — разрядка заменена на **болд** (*прим. верстальщика*).

4

Как бы я хотел, чтобы автор письма оказался прав хотя бы в утверждении, что я выступал *за*, а не *против* Курбаса! Увы, девятнадцатилетний, запальчивый, я напечатал в журнале «Театр» (1933, № 9) еще у А. Афиногенова первую в моей жизни статью о Лесе Курбасе, точнее, лишь об одном из его спектаклей «Маклена Грасса», по пьесе М. Кулиша. Называлась она «На ложном пути» и была наполнена вульгарно-социологической критикой в адрес Л. Курбаса и М. Кулиша. Только в ослеплении нелюбви и враждебности можно было приписать мне восхваление Леся Курбаса.

5

Из Главреперткома Украины я ушел решительно и безоговорочно, когда весной 1938 года в Киев приехал заместитель начальника союзного реперткома Махлин и принялся наставлять меня, уверяя, что при малейшем, ничтожнейшем сомнении я должен запрещать пьесу,

пусть ЦК потом поправит, прикажет разрешить, за строгость ко мне претензий не будет. Стало ясно: работать, как прежде, сохранять самоуважение и доброе, достойное, даже с оттенком душевности, отношение театральной Украины ко мне будет отныне невозможно, — значит, надо ставить точку.

6

Тогда — Россия, Российская империя, Царство Польское в ее составе.

7

В марте 1989 года сын Максима Рыльского, директор Киевского литературно-мемориального музея его имени, Богдан Максимович Рыльский прислал мне письмо с размышлениями о «Записках баловня судьбы» (по журнальной публикации), добрыми и расположенными, и с указанием на несколько частных неточностей, за что я ему благодарен. По поводу этого места «Записок» Богдан Максимович заметил, что «здесь у читателя может сложиться впечатление, что Корнейчук в этот период был руководителем Союза писателей Украины. Это не так. Председателем Союза Корнейчук стал с 14 ноября 1946 года, а до этого с 27 июня 1944 года этот пост занимал М. Ф. Рыльский». Тут нет предмета спора: Максим Фаддеевич, с его нелюбовью к канцелярщине, к формальностям, к казенной стороне жизни, конечно же оставлял своим коллегам по Союзу, его секретарям или членам президиума полную свободу действий. Все, о чем я здесь написал, слишком памятно для меня и описано точно.

8

«Об этом человеке скажу только одно: я трижды в своей жизни плакал — один раз, когда умерла мать, и дважды из-за него!»

9

Наша дочь 1940 года рождения, Светлана Кармалита, — киносценарист, лауреат Государственной премии. Родного отца — участника финской, а затем Великой Отечественной войны, погибшего в Карпатах в 1943 году, она не успела узнать и запомнить.

10

В самом начале травли «безродных космополитов» и редактор «Известий» Л. Ф. Ильичев, который восторгался пьесой Миллера и

вахтанговским спектаклем, взял под козырек и в редакционной статье «Безродные космополиты» (1949, 10.II.) сам себя высек: «Серьезную ошибку допустила редакция газеты „Известия“... опубликовав неверную рецензию Борщаговского на спектакль „Все мои сыновья“». Это тогда называлось «большевистской самокритикой». В человечестве случались и трагические отречения под страхом дыбы и огня, но едва ли оно знало такую понурую, покорную, почти мазохистскую, массовую практику отречений и самооговоров, жалкого карьеристского спасения ради.

11

Так ли это было, щадил ли его Фадеев, не рассказав всего о принятом в ЦК решении гнать отовсюду, или Симонов, зная, пощадил меня, чтобы не обрушить на нас все сразу?

12

«Modern Rysk humor», Stockholm, «Folket j Bild». Под карикатурой Ю. Ганфа (1949) комментарий: «Она относится к ждановскому периоду гонения на критиков. Хищный гриф, заглядывающий в дворовый ящик для помоев и мусора, говорит: „Да, тут будет чем мне поживиться...“»

13

«Театр», 1980, № 10.

14

«В мае 1942 года, — вспоминает дочь Михоэлса, Наталия Вовси-Михоэлс, в книге „Мой отец Соломон Михоэлс“, изданной в Тель-Авиве в 1984 году, — Михоэлса неожиданно вызвали в Москву. Поселили его в гостинице... Насколько мне известно, именно тогда его пригласил председатель Совинформбюро Лозовский и сообщил о решении создать Еврейский антифашистский комитет во главе с Михоэлсом» (с. 201).

15

«Пришел он поздно, — вспоминает Наталия Михоэлс об отце в 1944 году, уже после поездки в США, — о подробностях встречи с Молотовым не рассказывал, но, кажется, именно тогда состоялась передача шубы для Сталина» (с. 219).

16

Фрейлахс — свадебный танец (*идиш*).

17

Понимаю желание Наталии Михоэлс всячески отгородить Госет от жестокого сталинского сатрапа, но нельзя закрывать глаза на факты. Быть может, Михоэлс впервые встретил Кагановича только в 1936 году, «когда этому еврейскому вельможе вздумалось посетить наш театр», и случилось это в вечер премьеры «Разбойник Бойтро», по пьесе М. Кульбака. Быть может, Каганович и правда «бушевал», возмущался («Где вы видели таких кривых евреев?!»), а Михоэлс «вернулся с премьеры домой подавленный. Он понимал, чем чревато недовольство высокого гостя» (с. 248). На этом, если судить по книге, знакомство обрывается. Но нет нужды, даже из самых лучших побуждений, скрывать правду. Каганович был поклонником Госета, до поры играл роль мецената, бывал на спектаклях театра. Дочь Михоэлса сама же опровергнет себя, когда напишет о приходе к ним в дом после убийства Михоэлса Юли Каганович, племянницы Кагановича, и назовет ее своей близкой подругой.

18

В апреле 1985 года я был в Нью-Йорке и прочитал в «Новом русском слове» спор двух эмигрантов из СССР, спор со взаимной руганью, подозрениями, переходом на личности, о том, кто сопровождал Михоэлса в поездке: Голубов или Потапов? Не могу поручиться, какая из двух фамилий Володи настоящая, а какая его журналистский, давно нам привычный псевдоним. Еврей по национальности, он от рождения носил одну из этих фамилий, а в печати пользовался обеими. Тут нет ни малейшего повода для детектива или спора.

19

Впервые книга вышла во французском переводе в Париже в 1974 году.

20

Те, кто видели Фефера во время следствия и на суде, все без исключения пишут о его раздавленности и потерянности.

21

Цитирую по публикации: Никита Сергеевич Хрущев. Воспоминания. — «Огонек», 1990, февраль, № 8, с. 22–23.

22

Вот небольшая цитата из книги Лидии Норд «Маршал М. Н. Тухачевский», изданной в Париже в изд-ве «Лев». Л. Норд приводит слова Тухачевского о Сталине: «...он скрытый, но фанатичный поклонник Гитлера. Я не шучу. Это такая ненависть, от которой только один шаг до любви... Стоит только Гитлеру сделать шаг к Сталину, и наш вождь бросится с раскрытыми объятиями к фашистскому... Когда мы говорили частным порядком, то Сталин оправдал репрессии Гитлера против евреев, сказав, что Гитлер убирает со своего пути то, что мешает ему идти к своей цели, и с точки зрения своей идеи Гитлер прав. Успехи Гитлера слишком импонируют Иосифу Виссарионовичу, и если внимательно приглядеться, то он многое копирует у фюрера...» (Цитирую по документальному роману В. Карпова «Маршал Жуков» — «Знамя», 1989, № 10, с. 26-27.)

23

Цитирую по тексту журнала «Огонек», 1990, № 8, с. 22.

24

Проницательно и сильно написал об убийстве С. М. Михоэлса Михаил Матусовский: «Тускло освещенные улицы послевоенного Минска уже не расскажут о том, как все было на самом деле. Так король Лир умер вторично уже в наши дни. Михоэлс был слишком крупной, заметной фигурой, и ее нужно было смахнуть с доски прежде, чем запечатать двери Государственного еврейского театра». Добавлю от себя, что замысел убийц был обширнее, — и театру приходил конец и надо всей еврейской культурой в стране занесена была секира.

25

Больной, заматавшийся, еще не веря своей обреченности, он в составе писательской группы впервые поехал во Францию, вообще за рубеж. И когда наш автобус сделал остановку на пустынном в январе берегу Атлантики, в пути из Бордо на север, к Ла-Рошели, Иосиф Ильич, чуть отделившись, от всех, побрел к воде, вступил в нее по щиколотку, наклонившись, зачерпнул ладонью воду и приник к ней губами.

Я подождал его, спросил, зачем это он? Юзовский удивленно вскинул на меня глаза, красивые, печальные, тронутые желтизной, и с детской, такой внезапной в его мефистофельском облики беззащитностью, сказал, что есть примета: океанская вода врачует, кто испил ее, еще не раз вернется сюда...

Он не помнил, что только что набрал полные туфли воды. А меня именно в этот миг, в багровом закате, в странной тишине неслышного прилива, у шоссе, на которому словно бы из почтительности не мчались

машины, — в этот миг ошеломило ранящее, горчайшее сознание, что удивительный талант, который должен принадлежать миру, быть ему известен к вящей славе нашего искусства, который должен был представлять страну на любом мировом театральном форуме и в Каннах тоже, и в кинематографической Венеции, — он, а не бездарные, безликие чиновники! — что этот талант навсегда унижен, загнан в капкан.

Был январь 1964 года. Юзовскому больше никогда не привелось приехать к тихому океанскому приливу

26

Как неспешно врачевалась *душа* Фадеева и как долго имели над ним власть ложь и догматические стереотипы, видно из того, как и два года спустя после смерти Сталина Фадеев в речи на Втором съезде писателей, 23 декабря 1954 года, упорствовал в восхвалении карательных акций послевоенных лет. «Необходимо, чтобы все мы помнили, — утверждал он, — что борьба с проявлениями национализма и космополитизма, с обывательщиной, безыдейностью, упадочничеством, которую мы вели на протяжении ряда лет, была справедливой борьбой, и если бы мы не проводили ее со всей решительностью, наши идейные противники могли бы принести большой вред развитию советской литературы».

Пусть никого не введет в заблуждение упоминание «национализма». С так называемыми «националистами» в союзных республиках кровавую сечу провели еще в 30-е годы, а «Памятью» и русским шовинизмом еще и не пахло в литературе. На «протяжении ряда лет», упомянутых Фадеевым, шла все та же борьба с «еврейским буржуазным национализмом» и «космополитизмом». Тени расстрелянных в августе 1952 года писателей еще не взывали к совести руководителя Союза писателей, — все еще на языке и в душе гневные в их адрес слова.

27

В опубликованных записках Симонова «Глазами человека моего поколения» Константин Михайлович только мельком коснулся событий 1949 года: «В истории с критиками-антипатриотами, начало которой, не предвидя ужаснувших его потом последствий, положил он сам, Фадеев, я был человеком, с самого начала не разделявшим фадеевского ожесточения против этих критиков. Из Софронова, оценив его недюжинную энергию, но не разобравшись несколько в сути этого человека, Фадеев сделал поначалу послушного подручного, при первой же возможности превратившегося во вполне самостоятельного литературного палача» («Знамя», 1988, № 4, с. 73). На собрании, где

выгоняли из партии Альтмана, Софронов и выступил уже в роли *литературного палача*, а Фадеев и пальцем не пошевелил для установления истины. Видимо, к этому времени он уже весь предался тому «литературному политиканству», «которое иногда, — по утверждению Симонова, — как лихорадка, судорожно овладевало Фадеевым, вопреки всему тому главному, здоровому и честному по отношению к литературе, что составляло его истинную сущность» (там же, с. 73).

28

Любопытная подробность: в статье обо мне, напечатанной в августе 1937 г. в молодежной газете Украины (статью подписал Мельниченко, подручный Николаенко, которую вознес Сталин, похвалив ее), мне ставились в вину три преступления: растрата сотен тысяч рублей в Русском драматическом театре, где я и не служил, и разрешение «контрреволюционных» пьес Остапа Вишни, репрессированного еще в 1933 году, и Вадима Собко, здравствовавшего, но никогда не злоумышлявшего против революции и Советской власти. Такими давними оказались наши «преступные» связи!

29

Доходило и до курьезов. Глава Агитпропа ЦК Ф. Головенченко, просматривая издательские планы, обнаружил, что несколько томов собрания сочинений Салтыкова-Щедрина в Гослите комментирует литературовед Борщевский, и вычеркнул его. Ученому, уже завершившему долгую работу, испуганному, сбитому с толку, долго пришлось доказывать, что мы даже не... однофамильцы! В те дни «Правда» на первой полосе напечатала панорамную фотографию новых домов в Киеве, на Борщаговской улице. Но казалось богопротивным сохранять подлинное название улицы и она превратилась в Борщеговскую улицу. Так в борьбе с «безродными» претерпела и знаменитая, старинная славная Борщаговка, откуда пошла и наша фамилия и тысячи Борщаговских — украинцев, чьи потомки и ныне расселены по Днепру.

30

Как-то вечером мы с Кривицким уходили из опустевшей редакции мимо столов, с лежащими на них рукописями и гранками. Взяв в руку красный карандаш, Кривицкий походя, не вчитываясь в тексты, не глядя жирно отчеркивал какие-то абзацы, поставил два-три вопросительных знака. «Поправят! Увидите, поправят... Не узнают, чей

карандаш, ничего не поймут, но поправят!..» Его уроки цинизма бывали не без блеска.

31

Я не случайно дал слово «инициатива» в разрядку. В Малый театр на знаменитый в свое время спектакль «Отелло» с Остужевым в роли венецианского мавра пришли Сталин и Берия. В ложе с ними был Царев, от которого и стало все известно. В какой-то момент, когда интрига Яго достигла верха изощренности злодейства, Сталин весело подтолкнул локтем Берию и сказал: «А этот Яго — инициативный товарищ!»

32

Приношу сердечную благодарность вдове И. С. Новича Анне Александровне и вдове Льва Кривенко Елене Савельевне за предоставление мне такой редкой возможности: получить все материалы в подобранном, систематизированном виде.

33

Как актуальна и жизненно важна эта мысль сегодня, когда в качестве «чемпионов» нам вот уже три-четыре десятилетия предлагали отнюдь не Горького, Серафимовича или Вересаева, а литературных сановников и «генералов», литераторов средней — и похуже! — руки, невозбранно издаваемых и защищенных всеми возможными знаками отличия!

34

Узнаем ли мы когда-нибудь, где и какая фраза была брошена Сталиным, прервав печатные поношения? Но как и лицемерный окрик в пору коллективизации мало что изменил в существе дела, так и в конце марта 1949 года (когда неведомый благодетель позвонил мне по измолчавшемуся телефону и, не назвавшись, сказал: «С этого дня, вся эта история кончилась...») высокая команда не изменила реального положения вышвырнутых из жизни людей.

35

Партийный функционер, один из златоустов, готовых подхватить и развить любое положение Сталина (и не только Сталина), председатель Художественного совета при Министерстве кинематографии СССР Л. Ф. Ильичев, выступая на пятидневном

совещании киноактива страны в начале марта 1949 года, потребовал «решительнее и скорее» освободить наше искусство от антипатриотов, завершить «полный разгром всех космополитов, их явных и тайных приверженцев, сейчас, когда советская страна осуществляет переход от социализма к коммунизму». Проповедника пролетарского интернационализма настолько не смущало, что ярость «очищения» бьет по тем, кто «без роду и племени», по «беспаспортным бродягам», хотя и при «серпастых и молоткастых» гордых паспортах! Ему важно было в который раз пропеть зорю, а поелику коммунизм рядом, только руку протяни, то и да здравствует «конфликт хорошего с лучшим».

36

Имеется в виду редакционная статья «Правды».

37

В этой связи хочу указать на одну невольную опisku в уже упоминавшейся мною книге Александра Некрича «Отрешись от страха» (Лондон, 1979). «Один из наших аспирантов, некто Кузин, который вернулся с фронта тяжело раненным в голову, — вспоминает Некрич, — возбужденно говорил кому-то: „...и вот Гурвич написал письмо в ЦК: предоставьте мне работу в качестве учителя. И знаете, что ему ответили? — Кузин торжествующе обвел глазами слушателей, предвкушая эффект, который произведет концовка рассказа, — Ему сказали: нельзя дурному пастуху доверять стеречь стадо“» (с. 46).

Кузин ошибся. Беспартийный Гурвич, пожилой, больной, чуть приволакивавший ногу, не помышлял о школе и не писал в ЦК. Написал это я в предчувствии скорой бездомности и нужды. Ф. Головенченко, к которому попало письмо, не снизошел до личного ответа.

38

Равную с Поповым оплату получал, по высокому чину, и начальник пожарной части ЦТКА!

39

Кавычки у слова «уничтожить» — из «Красной звезды». В них все ничтожество и нелогичность разоблачителей: зачем тут кавычки? Оказывается, нужно, чтобы одновременно сказать: усилия злоумышленников тщетны, великое *творение* неуничтожимо, потуги критика напрасны.

40

В зале было несколько престарелых еврейских писателей-ортодоксов, зачем-то сбегавшихся на подобные аутодафе. Один из них, глуховатый, не расслышал реплики Первенцева и спросил у соседа: «Вус от эр гезагт?» («Что он сказал?») — «Эр полимизирт мит Юзовски», — услышал он деловитый, горделивый даже, ответ. («Он полемизирует с Юзовским».)

41

Вот отрывки из моих писем в Киев, Вале (от 30 и 31 марта 1950 года, когда работа над рукописью еще не завершена): «Знаешь, как тяжело перечитывать написанное год назад! Все не так, все не то, все раздражает... Основательно сокращаю, но, кажется, не порчу». «Не думай, что исправляя, я позволю себе отделяться пустяками. Буду править жестоко, как чужую рукопись, которая пришлась по душе. И даже резче, чем чужую, потому что не побоюсь никого обидеть!»

42

«Сейчас уже, верно, Вы отдали рукопись, — писала мне Лидия Витольдовна из поселка художников в Песках 12 августа 1950 года, — и в тягостном ожидании? Во всяком случае, если бы добрые пожелания могли оказывать действие на результат, то Вы вполне бы обошлись пожеланиями нашего дома для достижения успеха. Но так или иначе — он обязательно будет! Я уже успела привыкнуть и к Максutowым, и к Завойко и не могу дождаться того времени, когда они опять придут в наш дом, в хорошем переплете, хорошей печати».

43

Просьба Фадеева касаться только истории основательно задела Тарле. «В общем, — писал он ниже, — роман передает близко к действительности истории события 1854–1855 гг. на Камчатке. Он, мне кажется, будет очень читаться. Русские люди показаны хорошо. А если бы они не были, такими уж совершенными, но были бы хоть маленькие грешки (как у лермонтовского Максима Максимовича или у толстовского Кутузова), то было бы еще лучше. Но это уже из другой оперы: меня просили оценить лишь с чисто исторической точки зрения».

44

Встречи с Алексеем Сурковым тех лет были для меня неожиданно дружелюбны и открыты, я должен это сказать, как и то, что мы прежде не были знакомы. Во Внукове, закончив разговор о книге, Сурков как-то неожиданно перешел к поэзии, прочитал вслух по памяти что-то из Бёрнса в переводе Маршака, заговорил о своих литературных затруднениях, о потере мужества писать новые стихи. Все чаще, сказал он, после того, как прочитаешь Шекспира, Пушкина или того же Бёрнса, не решаешься писать свое. Оно кажется таким малым, необязательным, уже написанным другими и много лучше. В молодости все воспринималось иначе...

При другой встрече в Москве на улице Горького Сурков папку с моей рукописью (когда ее снова погнали по «кругу») с силой брякнул на какую-то тощую рукопись. «Видел, на что я положил роман? Это — символично! Смотри!» Он приподнял мою рукопись, под ней лежала пьеса Софронова «Карьера Бекетова». При всех своих прегрешениях Сурков знал цену Софронову.

45

За несколько лет до смерти мой друг и земляк Борис Ямпольский написал теперь хорошо известную повесть «Арбат» — об одном дне жизни приарбатского обитателя перенаселенной коммунальной квартиры, о блужданиях по Арбату и прилегающим улицам и доходящих до болезненности страхах сталинской поры. Как-то в Переделкине, слушая рассказ о наших скитаниях по режимным улицам, он вдруг взмолился, опасаясь, что я поскуплюсь: «Отдай мне это слово! *Режимная* улица! Понимаешь, как это точно ложится?! „Режимная улица...“» Я хорошо знал повесть и сразу согласился, — трудно было представить себе более подходящее название. Но в журнальной публикации нашлось другое: «Московская улица».

46

Горбунов Кузьма Яковлевич.

47

«Новый мир», 1988, № 9.

48

А. Твардовский записал в рабочей тетради 9 апреля 1955 года: «Собрание по поводу создания Московской организации. Тот же Сурков. Ощущение омерзения, оскорбления, усталости, почти отчаяния от всех речей и всей меры, где так-сяк, а, по Суркову, оказывается, вся

„скверна“ восходит к четырем статьям „Нового мира“. Стоило мне ходить за этим, сидеть там 6 часов? Но не пойти нельзя — день и ночь на примете, помянули и пропуск предыдущего собрания» («Знамя», 1989, № V).

В эту пору Твардовский — член президиума, один из секретарей Союза писателей СССР. Пройдет время, и станет одним из деятельных и уважаемых членов парткома МО СП.

49

Совсем недавно мы получили новое подтверждение того, что так выделяло Софронова — его готовность к сговору. Как-то в конце 60-х годов Н. Ильина заговорила с А. Твардовским о писателях, противниках «Нового мира». «Напечатай я их завтра, — сказал Твардовский, — перестанут ругать! Уж подкупить пытаются. Софронов звонил. Предлагал издаться в „Библиотеке „Огонька“». Верное дело: тираж большой, стихи оплачиваются поштучно, много денег. Отказался» „Почему же отказался?“ — спросила Твардовского жена, Мария Илларионовна. „Из-за тебя, Маша. Хочу, чтобы ты на старости лет уважать меня могла“» («Огонек», 1988, № 17, с 28)